Анри Труайя

Член Французской академии

Александр Дюма

Роман-биография

«ЭКСМО»

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Александр Дюма (1802–1870) – выдающийся французский драматург, поэт, романист, оставивший после себя более 500 томов произведений всевозможных жанров, гений исторического приключенческого романа.

Личная жизнь автора «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо» была такой же бурной, разнообразной, беспокойной и увлекательной, как и у его героев. Бесчисленные любовные связи, триумфальный успех романов и пьес, сказочные доходы и не менее фантастические траты, роскошные приемы и строительство замка, который пришлось продать за неимением денег на его содержание, а также дружба с главными европейскими борцами за свободу, в частности, с Гарибальди, бесконечные путешествия не только по Италии, Испании и Германии, но и по таким опасным в то время краям, как Россия, Кавказ, Алжир и Тунис…

Анри Труайя с увлеченностью, блеском и глубоким знанием предмета воскрешает одну из самых ярких фигур за всю историю мировой литературы.

- Анри Труайя
  - Предисловие
  - Часть I
    - Глава I
    - Глава II
    - Глава III
    - Глава IV
    - Глава V
    - Глава VI
    - Глава VII
    - Глава VIII
    - Глава IX
    - Глава X
    - Глава XI
  - Часть II
    - Глава I
    - Глава II
    - Глава III
    - Глава IV
    - Глава V
    - Глава VI
    - Глава VII
    - Глава VIII

- Часть III
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35

- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79

- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105

Анри Труайя
Александр Дюма

Предисловие

При жизни Бальзак и Дюма соперничали в сумасбродствах и мерились славой. И хотя простые читатели глотали книги и того и другого не отрываясь, утонченные эстеты и того и другого упрекали в излишней плодовитости и неправдоподобии интриг. С Бальзака и его произведений эти обвинения в конце концов сняли, а вот к сочинениям Дюма любители безупречного стиля и глубоких размышлений до сих пор относятся сдержанно. Его кухня кажется слишком тяжелой, его не воспринимают всерьез, считают «развлекательным» писателем, наспех стряпавшим один приключенческий роман за другим.

Мне показалось интересным провести исследование различий, существующих между двумя этими каторжниками пера, обреченными до конца света завораживать читателей своими историями. И в этот раз, как, впрочем, и всегда, пришлось обратиться в поисках нужных мне сведений к работам выдающихся предшественников: Клода Шоппа, Даниеля Циммермана, Андре Моруа, Анри Клуара, Алена Деко, многих других – всех, кто прослеживал буквально шаг за шагом биографию Дюма и изучал ее с безукоризненной точностью и проницательностью, частично реабилитировав писателя. Однако этот безусловный классик так велик, так разнообразен, полон таких противоречий, что я счел возможным и сам принять участие в восстановлении репутации писателя, который одних восхищает, других возмущает. Удивляться нечему – разве может автор, хоть сколько-нибудь размышляющий о своем ремесле, остаться равнодушным к страданиям и радостям человека, всю жизнь посвятившего таинственным битвам сочинительства?

А.Т.

Часть I

Глава I
До Александра

В годы царствования Людовика XV у человека более или менее знатного происхождения после того, как он промотал свое состояние и истощил терпение друзей, еще оставалась возможность вернуть себе утраченное положение и наполнить карманы, отправившись в колонии. Именно такой путь избрал для себя в 1760 году беспечный кутила Александр Антуан Дави де ла Пайетри, потомок нормандского дворянского рода и маркиз королевской милостью. Было ему в то время сорок шесть лет. На Сан-Доминго[1] жил его брат Шарль, управляющий сахарным заводом и работорговец, – оба занятия были в те времена столь же почтенными, сколь и прибыльными. Однако Александр Антуан с братом не ладил и, прибыв на остров, предпочел действовать самостоятельно. Он купил плантацию под названием «La Guinodée» в Тру-Жереми, на юго-западном берегу острова, открыл собственное дело и выбрал наложницу из числа самых красивых рабынь в округе. Чернокожая Мари Сессета была грациозной, но с крутыми бедрами. Она быстро забрала власть в свои руки и стала заправлять всем в доме хозяина, за что ее наградили прозвищем «Мари из усадьбы» – «la Marie du mas», вскоре превратившемся в «Marie Dumas» – Мари Дюма. Надо отметить, что многочисленные и разнообразные обязанности по дому нисколько не мешали Мари Дюма усердствовать и в постели. На редкость плодовитая, она произвела на свет одного за другим четверых детей: двух мальчиков и двух девочек. Старший, родившийся 25 марта 1762 года и нареченный Тома Александром, с младенчества рос таким здоровым и бойким мальчуганом, что отец привязался к нему сильнее, чем к другим, несмотря на темный цвет кожи и курчавые волосы малыша.

Казалось, жизнь в чужих краях улыбается маркизу, его самого, его подругу-невольницу и их потомство ждет самое радужное будущее, но… в 1772 году над островом пронесся тайфун, разоривший плантации и убивший или разогнавший сотни рабов. За тайфуном последовала эпидемия дизентерии, унесшая жизни многих, кому посчастливилось уцелеть в первом бедствии, а среди них – и Мари Дюма. Александр Антуан, на которого разом обрушились и траур, и разорение, еще некоторое время пытался противостоять судьбе, но в конце концов совершенно пал духом и решил вернуться во Францию. К тому времени ни одного из его братьев в живых не осталось, и он

надеялся, оказавшись на месте, собрать хоть какие-то крохи наследства. Денег на дорогу у него не было, и ради того, чтобы вернуться на родину, ему пришлось продать более удачливому колонисту своих четверых детей. Правда, в договоре уступки было оговорено особое условие, касавшееся его любимца Тома Александра. Отец оставил за собой право выкупить сына через пять лет за ту же цену, что ему за ребенка дали.

Вернувшись в метрополию после двенадцати лет отсутствия, Александр Антуан поначалу чувствовал себя сбитым с толку и даже нескрываемо разочарованным. Он успел привыкнуть пользоваться рабским трудом, привыкнуть к тому, что хозяйство в его доме ведет деятельная и покладистая негритянка… А что ему оставалось теперь? За неимением рабыни, которая занималась бы домом и удовлетворяла его желания, бывший рабовладелец нашел-таки и на родине привлекательную молодую женщину белой расы, согласившуюся исполнять при нем двойные обязанности покойной Мари Дюма. Эту женщину, которая стала для него одновременно и прислугой, и любовницей, звали Франсуазой Элизабет Рету. Александр Антуан, которому к тому времени было уже под шестьдесят, очень хотел сделать ей ребенка, чтобы скрасить старость, но боялся, что у него это уже не получится, и, повздыхав о благословенных временах Сан-Доминго, надумал туда отправиться. Что заставило его так внезапно пойти на немалые расходы – запоздалое раскаяние или ностальгия? Как бы там ни было, в 1776 году он был уже на острове, где выкупил Тома Александра, привез его в Сен-Жермен-ан-Ле, где к тому времени обосновался, и признал своим внебрачным сыном, записав под именем Тома Александр Дави де ла Пайетри. Разлученный с братьями и сестрами, которые не понадобились отцу и остались на острове у чужих людей, подросток блаженствовал, наслаждаясь положением настоящего господского сына: он получал образование, с ним обходились уважительно, он не знал недостатка в деньгах.

В 1784 году, когда маркиз и его «экономка» перебрались в Париж, двадцатидвухлетний Тома Александр последовал за ними и с головой окунулся в столичные развлечения. Ему не терпелось все попробовать, ему хотелось везде успеть, и его можно было встретить не только в гостиных, но и в игорных домах. Его высокий рост – пять футов девять дюймов,[2] смуглая мулатская кожа, искрометный взгляд, изящество и легкость движений, а главное, репутация неутомимого любовника, какую приписывают всем темнокожим, – все это по отдельности, а тем более вместе взятое кружило головы парижанкам, жаждущим экзотических приключений. Успех темнокожего «пришельца» у женщин

выводил из себя многих аристократов, которые не желали относиться к нему как к равному, отказывались признавать «своим» и за спиной называли «негром» и «ублюдком». Как-то раз, когда Тома Александр был с дамой в ложе Оперы, какой-то дерзкий мушкетер попытался заговорить с его спутницей. Дама сказала, что мушкетер ей мешает, и обратила его внимание на то, что она не одна. «Ах, простите! – воскликнул в ответ мушкетер. – Я принял этого господина за вашего лакея!» Задетый оскорблением, Тома Александр схватил наглеца и, без труда подняв его, бросил через барьер ложи в партер, прямо на зрителей. Дуэль была неизбежна, и она состоялась. Противники дрались на шпагах. Мушкетер, раненный в плечо, не стал продолжать поединок, и легенда о бесстрашном красавце-мулате пополнилась историей первой победы. Порой, желая продемонстрировать свою физическую силу, Тома Александр засовывал четыре пальца одной руки в дула четырех ружей, поднимал их на вытянутой руке и держал перед собой горизонтально в течение нескольких минут – вот такие были у него забавы. Но и всерьез он был известен как превосходный фехтовальщик, меткий стрелок и отличный наездник. Рассказывали, будто он способен развлечения ради, сидя верхом, подтянуться на балке манежа и приподнять своего коня, зажав его между ног.

Подобные склонности неминуемо должны были привести молодого силача прямиком в армию. Тома Александр уже и сам подумывал об этом в течение некоторого времени, затем одно обстоятельство заставило его поторопиться: в 1786 году его семидесятидвухлетний отец – как всегда, внезапно – решил-таки сыграть свадьбу со своей «экономкой», которой минуло всего тридцать два. Сын посмел упрекнуть старика за нелепую блажь, грозившую далеко идущими последствиями, а тот, придя в негодование от того, что «мальчишка» призвал отца к порядку, немедленно прекратил давать ему деньги. Неожиданно лишившись средств к существованию, Тома Александр принял окончательное решение и объявил отцу, что намерен идти в армию простым солдатом. Однако при одной только мысли об этом маркиз закипел от ярости. «Ну и прекрасно! – крикнул он. – Вот только я зовусь маркизом де ла Пайетри, я – полковник и генеральный комиссар артиллерии, и я не потерплю, чтобы мое имя трепали среди нижних чинов армии. Вам придется завербоваться под другим именем!» Тома Александр признал требование более чем справедливым. «Что ж, завербуюсь под фамилией Дюма!» – объявил он.[3]

В тот день, потребовав для себя чести назваться фамилией

матери, черной рабыни, он прекрасно понимал, что тем самым бросает вызов отцу, который никогда не простит ему этого. Но в действительности все получилось куда хуже, чем он предполагал: через две недели после того, как сын нанес ему такое оскорбление, старик начал слабеть и скончался на руках Франсуазы Элизабет. «С его кончиной, – напишет позже Александр Дюма, – оборвалась последняя связь, которая соединяла моего отца [Тома Александра] с аристократией».[4]

Вскоре после похорон, состоявшихся в конце июня 1786 года, Тома Александр прибыл в Лан, где был расквартирован драгунский полк королевы. Жизнь новобранца в гарнизоне была отмечена веселыми выходками и яростными схватками с драгунами короля, чье соперничество с драгунами королевы было неизменным поводом для ссор. Взятие Бастилии и волнения в Париже не слишком огорчили мулата. Напротив, он подумал, что революция, которой так боялась знать, лично ему не только не повредит, но вполне может даже облегчить его продвижение, разрушив прежние иерархические порядки.

В августе 1789 года полк, в котором служил Тома Александр, по неизвестным причинам был переведен в городок Вилле-Котре. Драгунам пришлось селиться у местных жителей, и Дюма оказался в гостинице «Щит Франции», хозяин которой, Клод Лабуре, командовал местным подразделением Национальной гвардии. Впрочем, молодого человека воинские доблести хозяина гостиницы волновали мало: самой привлекательной его особенностью юноше казалось наличие у него дочери Мари-Луизы. Девушке в ту пору едва исполнилось двадцать лет, и она, по мнению мулата, была истинным образчиком красоты, прелести и ума – было от чего потерять голову и самому закаленному вояке. Мари-Луизу тоже покорил смуглый атлет, увлеченно, по его словам, читавший Цезаря и Плутарха и способный, опять же по его заверениям, нести на спине трех человек. Любовь с первого взгляда оказалась взаимной, но Клод Лабуре не решался отдать дочь в жены человеку без будущего и без состояния. Однако, тронутый мольбами влюбленных, он в конце концов дал согласие на брак, выставив при этом условие: претендент на руку дочери для начала должен проявить себя в армии и дослужиться по крайней мере до капрала – капрал в то время был офицером высшего ранга, командовавшим бригадой, и простому драгуну требовалось немало храбрости и сметки, чтобы добиться этого звания.

Тома Александр, подстегиваемый сразу и любовью, и честолюбием, так старался, что уже 16 февраля 1792 года получил первые нашивки. Мало того. Как раз в это время

Франция объявила войну Австрии, и ему представился великолепный случай показать свою доблесть в сражении. А ко всему еще – революционные вожди были благосклонны к мгновенным карьерам.

Пылкий Дюма позволил себе роскошь в одиночку взять в плен тринадцать тирольских стрелков – и тут же сделался сержантом. Еще одно усилие – и еще одна удача: прославленный шевалье де Сен-Жорж, увлеченный республиканскими идеями, только что сформировал свободный легион американской кавалерии и пообещал присвоить Дюма звание младшего лейтенанта. Другой офицер, полковник Буайе, тут же повысил ставку, предложив Тома Александру перейти под его начало в звании лейтенанта. Задетый за живое, шевалье де Сен-Жорж сделал ответный выпад, поманив мулата капитанским чином, а затем решительно забрал его к себе, сделав подполковником. Для самого же заинтересованного лица его головокружительная карьера означала прежде всего то, что теперь-то уж наверное он стал приемлемым в качестве мужа! И Тома устремился в Вилле-Котре, где его встретила Мари-Луиза, проливая слезы счастья. А папаша Лабуре, со своей стороны, признал, что этот удивительный человек, с легкостью чистокровного скакуна преодолевающий любые препятствия, возможно, и в самом деле заслуживает того, чтобы жениться на его дочери.

Брак был заключен 28 ноября 1792 года в мэрии Вилле-Котре. Свадьбу сыграли на военный лад и на скорую руку. Со стороны Тома Александра свидетелями были подполковник Эспань и лейтенант Бэз из седьмого гусарского полка, со стороны Мари-Луизы – Жан-Мари Девиолен, инспектор лесного ведомства, и Франсуаза Элизабет Рету, вдова маркиза Дави де ла Пайетри, мачеха жениха. Разумеется, во время войны о свадебном путешествии и речи быть не могло, и потому после медового месяца, сокращенного до семнадцати дней, которые молодые провели в гостинице «Щит Франции», молодому супругу пришлось разжать объятия удерживавших его слабых рук и отправиться вдогонку за своим полком во Фландрию. Вскоре оказалось, что, кроме нежных воспоминаний, он оставил Мари-Луизе нечто более существенное: едва расставшись с мужем, молодая женщина поняла, что беременна.

А Тома Александр продолжал вдали от нее свою головокружительную карьеру…

30 июля 1793 года он стал бригадным генералом, месяцем позже командовал дивизией, а еще пять дней спустя под его начало перешла вся Западная Пиренейская армия. Где-то между двумя повышениями мужа кроткая Мари-Луиза родила девочку,

которую назвали Мари Александрина Эме, и очень сокрушалась, что с первого раза не смогла подарить супругу сына. Но Тома Александр, вроде бы не огорчившись, примчался взглянуть на младенца и обнять жену; правда, он пробыл тогда дома всего четыре дня – служебные обязанности не давали ему большей передышки.

Этот суровый воин был вместе с тем добрым и справедливым человеком. Принципиальный противник смертной казни, Тома Александр отказался в Байонне смотреть из окна на то, как будут казнить нескольких аристократов, и, несмотря на ропот толпы, недовольной таким избытком чувствительности у бравого воина, демонстративно захлопнул ставни. Санкюлоты в насмешку прозвали его Господин Человеколюбец. На него стали доносить властям, обвиняя в преступной снисходительности. Не желая вызывать еще большее недовольство байоннских патриотов, начальство в следующем же году перевело Дюма в Вандею, затем – в Альпы, но и там, войдя в один прекрасный день в деревню Сен-Морис, генерал увидел на площади… гильотину, ожидавшую очередную порцию жертв: четверых граждан, которые попытались уберечь от принудительной переплавки церковный колокол. Возмущенный нелепостью приговора, Тома Александр приказал разобрать машину для отсечения голов и изрубить ее на дрова для полка, составил в этом расписку, которой потребовал от него лишившийся рабочего инструмента палач, и освободил пленных. Подобные проявления мягкости сочетались у Дюма с любовью к риску, приводившей в изумление его людей. Он с равным удовольствием охотился на серну и преследовал укрепившихся в горах пьемонтцев. Отбив у них гору Валезан, он и этим не удовольствовался и пожелал с горсткой солдат захватить вершину Мон-Сени, подступы к которой считались неприступными. Для того чтобы его люди смогли взобраться по крутому склону, Тома Александр велел изготовить три тысячи стальных крюков, которые прикреплялись бы к подошвам. С тремя сотнями добровольцев сам взобрался по каменному склону и двинулся по заснеженному плато. Вскоре отряд натолкнулся на высокий палисад. Операция, проведенная ночью в полной тишине, не привлекла внимания вражеских часовых, но нападавшие к тому времени выбились из сил, и им трудно уже было перебраться через преграду из кольев. Тогда генерал Дюма, хватая солдат за штаны и за ворот, одного за другим перебросил всех атакующих через палисад. Они беззвучно приземлялись в снег. Толком не проснувшиеся пьемонтцы оказались не способны к сопротивлению, Мон-Сени взяли без боя, и слава храброго и находчивого генерала Дюма еще упрочилась. Начальники в своих

рапортах все как один его превозносили. Один из них, Ружье, писал из Бриансона: «Дюма неутомим, он почти в одно и то же время оказывается во всех подразделениях своей армии […] Он всякий раз наголову разбивает итальянцев. Его цель – победа или смерть».

И все-таки слава Господина Человеколюбца не защищала его от подозрений Комитета общественного спасения. Узнав от доносчиков о случае с гильотиной в Сен-Морисе, грозный Колло д'Эрбуа призвал к себе генерала Дюма и потребовал, чтобы тот объяснил свое «антипатриотическое» поведение. Несмотря на все свои заслуги, Тома Александр рисковал и сам попасть под нож гильотины, он уже так и чувствовал затылком мерзкий холодок. Но мулат был достаточно красноречив для того, чтобы уговорить судей не карать его смертью, и Конвент ограничился тем, что принялся без конца перебрасывать храбреца из одного полка в другой, должно быть, опасаясь, как бы тот, задержавшись надолго на одном месте, не приобрел слишком большого влияния среди войска.

К концу 1794 года, после четырех назначений за двенадцать месяцев, Дюма настолько устал от этой «видимости командования», от тайных интриг и склок между офицерами, что подал в отставку и уехал в Вилле-Котре к жене и ее родным. В течение долгих восьми месяцев он в тиши и томительной праздности перебирал свои разочарования, а 5 октября 1795 года вдруг наметились благоприятные перемены. Конвент срочно призвал его в Париж: революции необходим был решительный человек, способный подавить начавшиеся в столице роялистские волнения. Донельзя счастливый тем, что может снова вступить в бой за правое дело, Тома Александр утер слезы жены, наскоро с ней попрощался и 14 октября прибыл в Париж, чтобы со шпагой в руках защищать республику.

Но опоздал! Как раз накануне молодой и никому до тех пор не известный генерал по имени Наполеон Буонапарте расстрелял «врагов» у церкви Сен-Рош и благодаря этому мгновенно прославился. Конвент был спасен, пост командующего внутренними войсками достался подавившему мятеж победителю – немыслимо честолюбивому, как о нем говорили, корсиканцу.

Надеясь заглушить разочарование и досаду, Тома Александр отправился сражаться в Арденны, потом на Рейн. В феврале 1796 года взял отпуск, чтобы присутствовать при рождении второй своей дочери, Луизы Александрины, которую зачал в прошлом году, удалившись от дел в Вилле-Котре, а после отпуска вернулся в армию, довольный тем, что одинаково успешно исполняет свой долг и на поле боя, и в тылу. Однако, к несчастью, слабенькая,

болезненная девочка умерла, не прожив и года…

В октябре 1796-го Тома Александр вернулся к милой его сердцу Альпийской армии, но на этот раз – под начало Бонапарта, успевшего к тому времени переименоваться на французский лад, выбросив «у», которое придавало его фамилии чересчур итальянское звучание.

Подвиги тридцатичетырехлетнего «ветерана» забавляли «новобранца», которому к тому времени сравнялось двадцать семь. Первый был прежде всего стратегом, второй – рубакой. Они дополняли друг друга, не переставая друг другу завидовать. Если Бонапарт одерживал одну победу за другой и приобретал все большую любовь народа, Тома Александр поражал воображение своими героическими деяниями. Один раз он отбил у противника шесть знамен, в другой раз, умело допросив шпиона, расстроил планы австрийцев, и благодаря этому французы покрыли себя славой при Риволи, в третий – во главе своих войск одержал победу над армией Вурмзера. В том, последнем по времени, бою под ним дважды убивали коней, его самого уже считали погибшим, но счастливая звезда помогла ему остаться невредимым. Годом позже, в Тироле, храбрец в одиночку остановил на мосту под Клаузеном целый австрийский эскадрон. Мост был очень узким, вражеским всадникам негде было развернуться, больше двух человек одновременно проехать не могли, и Дюма так и рубил их попарно – по мере приближения. Из этой череды поединков он вышел с тремя ранами, плащ его в семи местах был пробит пулями. Австрийцы прозвали неустрашимого мулата *Schwartz Teufel*– Черный Дьявол. Бонапарт, понимая, что Дюма может немало помочь ему в политике завоеваний, призвал отважного воина в Италию и назначил губернатором провинции Тревизо. Несмотря на то что генералу Дюма было куда привычнее размахивать саблей, чем разбирать бумаги, он оказался настолько заботливым и совестливым правителем, что муниципалитет Тревизо положил ему триста франков в день на расходы, а жители города иначе и не называли, как другом и благодетелем. После подписания мирного договора в Кампоформио 18 декабря 1797 года Тома Александр испросил отпуск и уехал к семье в Вилле-Котре, где его просто-таки увенчали лаврами.

Что же, получается, героическая эпопея на этом и закончилась? Ничего подобного! Ненасытный Бонапарт уже готовился к походу на Восток. Решив назначить генерала Дюма командующим кавалерией, он срочно вызвал героя прошлых сражений в Тулон, куда тот, предчувствуя новые великолепные приключения, немедленно и прибыл. Бонапарт принял его в

спальне, рядом с ним в постели лежала Жозефина, которая плакала, отвернувшись к стене, потому что муж отказывался взять ее с собой в Египет. Разговаривая с гостем, Бонапарт нежно похлопывал супругу по заду.

– Вот вы, Дюма, разве берете с собой жену? – ласковым и вместе с тем насмешливым тоном поинтересовался он.

– Конечно, нет, – ответил Тома Александр. – Думаю, жена сильно стесняла бы меня!

– Если нам придется задержаться на несколько лет, – Бонапарт пошел на уступки, – мы вызовем к себе жен. Дюма, который делает одних девчонок, и я, которому даже это не удается, приложим все усилия, чтобы сделать по мальчишке.[5]

Тут он дружески похлопал по плечу боевого товарища…

Оказавшись на африканской земле, генерал Дюма, как и во время прошлых кампаний, не щадил себя. Какой бы противник ни оказался перед ним, он с равным пылом на него набрасывался. Австрийцы, англичане, арабы – не все ли равно? Однако со временем долгий поход в песках стал казаться ему нелепым, более того – бесполезным. На подходе к Каиру армия страдала от голода и жажды. Некоторые офицеры начали задаваться вопросом, зачем они отправились в этот негостеприимный край. Как-то вечером Тома Александр, собрав в своей палатке нескольких генералов и предложив разделить с ним три жалких арбуза, осмелился вслух сказать о том, что не одобряет опасную и дорогостоящую кампанию, начатую только ради того, чтобы удовлетворить честолюбие одного-единственного человека. Разумеется, эти слова дошли до ушей Бонапарта, и после битвы у Пирамид, после того, как французы победителями вошли в Каир, он вызвал к себе Дюма и стал упрекать в том, что он деморализует войска. Признает ли он свою вину?

– Да, – гордо ответил обвиняемый, – я действительно говорил, что ради славы и чести родины готов обойти весь свет, но и шагу бы не сделал, если бы речь шла лишь об удовлетворении ваших прихотей!

Бонапарт, выслушав ответ, и бровью не повел, только прошептал:

– Слепец тот, кто не верит в мою счастливую звезду!

Едва простившись с неумолимым корсиканцем, Тома Александр понял, что обзавелся врагом на всю жизнь. Разочарование и печаль лишили его желания служить под знаменами этого человека. Тем не менее он испытал прилив энергии, узнав о том, что часть арабского населения восстала против французских завоевателей, и, вскочив на коня, с саблей наголо принялся теснить толпу до самых дверей главной мечети,

где укрылись последние мятежники. Правда, после снова впал в сумрачную безучастность и мечтал теперь только об одном: поскорее вернуться во Францию.

Бонапарт долго не решался с ним расстаться, но в конце концов согласился дать Дюма отпуск.

Третьего марта 1799 года Тома Александр отплыл на небольшом корабле «Прекрасная мальтийка» («Belle Maltaise») к берегам Франции. На середине перехода на суденышко налетела сильная буря, корабль дал течь и принужден был укрыться в ближайшем порту, которым оказался Тарент в Калабрии. Но, пока продолжался неудачный переход, между Францией и Неаполитанским королевством вновь вспыхнула война, и потому случилось так, что пассажиров, которые, сами того не зная, высадились на вражеской территории, немедленно заключили под стражу. В том числе, естественно, и генерала Дюма. В течение двух лет Тома Александр терпел жестокое обращение своих тюремщиков, впадая поочередно то в ярость, то в уныние. Несколько раз тюремщики пытались его отравить. Мышьяк, который подмешивали ему в еду, вызвал у этого человека, до тех пор не знавшего никаких болезней, расстройство пищеварения, неукротимую рвоту, затем он оглох на правое ухо. Врач под предлогом необходимого для облегчения страданий больного кровопускания перерезал ему сухожилие на ноге. Только могучий жизненный инстинкт помешал узнику лишить себя жизни! Но наконец пятого апреля, после того, как было заключено перемирие, генерала Дюма обменяли на знаменитого генерала Мака, которого австрийский император выдал неаполитанцам. Состояние Тома Александра к этому дню стало таким жалким, что он не был уверен в том, узнают ли его близкие.

Действительно, человек, кое-как приковылявший 1 мая 1801 года домой в Вилле-Котре, был озлобленным калекой, хромым на правую ногу, наполовину оглохшим и с больным желудком… Печальное зрелище! Но еще более горестным было удивление самого Дюма, когда он обнаружил, что жена его по-прежнему молода и хороша собой, что дочке исполнилось уже восемь лет, что тесть и теща озабочены лишь тем, чтобы заставить свою гостиницу с таким героическим названием – «Щит Франции» – приносить доход в разоренной непрерывными войнами стране, и что все вокруг безропотно покоряются власти беспокойного коротышки Бонапарта, ставшего к этому времени первым консулом.

Дюма, лишившийся во время своего заключения всех денег и два года не получавший жалованья, не сомневался в том, что все-таки будет должным образом вознагражден как за свои прежние

подвиги, так и за нынешние несчастья. Он засыпал письмами своих друзей-генералов и военные канцелярии. Напрасно старался – в Бонапарте еще жила старая обида: как это Дюма позволил себе осудить безумный Египетский поход! Когда Деженет, главный врач Египетской армии, осмотрев генерала Дюма, подтвердил, что тот предельно изнурен испытаниями, которые ему пришлось перенести ради Франции, и сказал, что герой заслуживает от государства помощи, первый консул ответил: «Так как вы считаете, что по состоянию здоровья он уже не сможет спать по шесть недель кряду на раскаленном песке или в трескучие морозы на снегу, прикрывшись лишь медвежьей шкурой, то как кавалерийский офицер он мне больше не нужен. Его с успехом можно заменить первым попавшимся капралом…»[6]

Доведенному до отчаяния Тома Александру пришлось поступиться гордостью и самому написать непосредственно военному министру Бертье, а потом и Бонапарту – напомнить им о своих подвигах, о своем бедственном положении и о своем праве на благодарность отечества. Оба письма остались без ответа.

В июне 1802 года, едва живой, Дюма тем не менее подал официальное прошение, намереваясь вернуться в армию. На этот раз Бонапарт, которого подобная настойчивость крайне раздражала, отозвался, предложив генералу отправиться на Сан-Доминго и усмирить там чернокожих, которые под предводительством некоего Туссена Лувертюра восстали против французских властей. Дюма, задохнувшись от возмущения, ответил: «Гражданин консул, вы забываете о том, что моя мать была негритянкой. Как я могу вам повиноваться? Я сам по происхождению негр и не способен принести оковы и бесчестье ни родной земле, ни людям моей расы».[7]

Пока он таким образом сражался с неблагодарным правителем, Мари-Луиза, снова беременная, собралась рожать. Только бы у нее родился сын! И только бы он был нормальным ребенком! Ведь за несколько недель до предполагаемого срока родов она посмотрела представление Полишинеля, которое сильно ее взволновало: в этом фарсе участвовал черт по имени Берлик с черным лицом, длинным хвостом и ярко-алым языком, изъяснявшийся невнятными звуками, – и теперь Мари-Луиза, не в силах забыть ужасного зрелища, опасалась, как бы малыш не оказался похож на буквально околдовавшее ее чудовище.

Настал день родов – 24 июля 1802 года. Акушерка увидела, что появившийся на свет новорожденный наполовину задушен пуповиной; когда же его наконец полностью высвободили, цвет

лица у ребенка оставался темно-фиолетовым, почти черным, и дитя издавало какое-то ужасное невнятное мычание. «Берлик! Берлик!» – простонала перепуганная мать, но подоспевший к этому времени доктор Лекос ее успокоил: да никакой это не черный черт, а отличный крепкий мальчик весом в девять фунтов, с белой кожей и пронзительным голосом! Самые требовательные родители остались бы довольны! Записав ребенка в мэрии под именем Александр, счастливый отец поспешил известить старого товарища, генерала Брюна, о радостном событии и попросил его стать крестным отцом новорожденного. «Мой дорогой Брюн, – писал Тома Александр, – с радостью сообщаю тебе, что вчера утром моя жена разрешилась от бремени большим мальчишкой: он весит девять фунтов, и в нем восемнадцать вершков. Если он будет расти так же быстро после своего появления на свет, как рос до, похоже, не подкачает. Да, кстати, хочу тебя предупредить, что ты будешь крестным отцом. […] Приезжай поскорей, хоть новорожденный и не выказывает желания покинуть этот мир; приезжай поскорей, потому что я уже давным-давно тебя не видел и очень хочу с тобой повидаться.

P.S. Я распечатал письмо, чтобы сообщить тебе: озорник только что пустил струю выше головы. Неплохое предзнаменование, а?»[8]

Несмотря на эту веселую шутку в приписке, Брюн не решался принять лестное предложение. Должно быть, опасался, что суровый и придирчивый Бонапарт останется недоволен его сближением с семейством Дюма, и из осторожности начал отказываться под различными предлогами. Затем, поскольку Тома Александр продолжал настаивать, пришли к компромиссу: Брюн станет крестным отцом маленького Александра, но передаст свои полномочия деду по материнской линии, Клоду Лабуре.

Старшая сестра Александра, Эме, уже училась в парижском пансионе, и генерал Дюма все внимание и всю нежность безраздельно отдал позднему сыну. Он то и дело склонялся к колыбельке полюбоваться его молочной кожей и его голубыми глазами. Та четверть негритянской крови, что текла в жилах мальчишки, проявилась лишь в чудесных темных волосах, которые уже начали виться. С самого раннего детства ребенок боготворил отца – и чем старше становился, тем больше восхищался выправкой и силой этого почти сорокалетнего человека, который, даже и ослабев от болезней, поднимал словно пушинку самые тяжелые предметы. Александр мог часами напролет, ловя каждое слово, слушать рассказы генерала о прошлом, полном яростных сражений и побед, – эти рассказы о

битвах заменяли ему волшебные сказки. Мальчик только о том и мечтал, чтобы стать когда-нибудь похожим на сверхчеловека, чье имя он носил.

Тем временем генералу Дюма, которого первый консул после отказа восстанавливать рабовладельческий строй на Сан-Доминго отправил в отставку на общих основаниях, пришлось сократить расходы. Теперь ему не на что было рассчитывать, кроме собственных сбережений. А как на них проживешь? Хорошо еще, что он сумел отложить немного денег, это позволило снять поблизости от Вилле-Котре небольшой замок «Рвы», где Дюма и поселился со своей семьей. Несмотря на скудость средств, у них было четверо слуг: кухарка, садовник, сторож и чернокожий лакей Ипполит – умственно отсталый, но преданный и наделенный могучей силой. Хозяйский сын то играл с ним, то катался верхом на большой собаке по кличке Трюфель, воображая себя кавалерийским генералом, таким же, как отец. А последний все больше слабел, здоровье его ухудшалось…

Тома Александр поверил было, что исцелится от своего недуга, если сменит обстановку, и перебрался из замка «Рвы» в скромный домик в Антильи, однако переезда оказалось недостаточно для того, чтобы болезнь отступила, и в 1805 году Дюма решился наконец поехать в Париж – показаться знаменитому доктору Корвизару. Теперь его неотступно преследовали мысли о смерти, и он намеревался воспользоваться поездкой еще и для того, чтобы представить жену и сына нескольким влиятельным друзьям: они ведь могут стать для мальчика надежными покровителями в том случае, если он рано осиротеет, думал несчастный.

Едва прибыв в столицу, Дюма отправился к врачу, который попытался его успокоить, но рассуждения доктора пациент выслушал скептически и заключил про себя, что, значит, никакое лекарство уже не способно его спасти. Вскоре после этого Тома Александр пригласил на завтрак Мюрата и Брюна – приглашение было принято. За год до того сенат провозгласил империю, и оба гостя теперь были маршалами. Но тяжело больной и всеми забытый отставной генерал испытывал больше гордости за свое прошлое, чем зависти к настоящему и будущему прежних товарищей по оружию. Он подробно рассказал им о своих денежных затруднениях, о своей физической немощи – и попросил, когда его не станет, позаботиться о дорогих существах, которых оставит после себя. Брюн отозвался на просьбу с сочувствием и даже сердечностью, Мюрат же остался холоден, однако и тот и другой пообещали, если потребуется, помощь вдове и сыну старого боевого друга. Стараясь хоть немного

оживить невеселое застолье, Дюма предложил сыну проскакать вокруг стола верхом на сабле Брюна, нахлобучив на голову шляпу Мюрата. Все засмеялись, но продолжали чувствовать себя неловко и принужденно – так, словно собрались на поминках.

Будучи в Париже, Дюма на всякий случай попросил аудиенции у нового императора, на словах желая «засвидетельствовать ему свою безраздельную преданность», а на самом деле – попытаться вернуть его расположение. Однако злопамятный Наполеон наотрез отказался его принять, и генералу, огорченному и уязвленному, ничего не оставалось, как только вернуться в свой домик в Антильи, откуда, впрочем, не в силах усидеть на месте, он вскоре снова переехал вместе с женой и сыном в Вилле-Котре.

Родители жены, которым к тому времени пришлось-таки расстаться со своей гостиницей, теперь сами оказались постояльцами в номерах гостиницы чужой – она называлась «Шпага». Семья Тома Александра присоединилась к ним.

Генерал предчувствовал, что эти комнаты станут его последним приютом: неизлечимая язва точила его внутренности. Тем не менее октябрьским днем 1805 года он нашел в себе довольно сил для того, чтобы вместе с трехлетним сыном отправиться в соседний замок Монгобер. Гостей провели в затянутый кашемиром будуар, где они увидели раскинувшуюся на софе красивую молодую женщину. Это была сестра Бонапарта, княгиня Полина Боргезе, разведенная с мужем.

Усадив генерала Дюма рядом с собой, Полина положила ножки ему на колени и принялась кончиком туфельки теребить пуговицы на мундире гостя. Ребенок на всю жизнь сохранит воспоминание об удивительной паре. «Эта ножка, эта ручка, эта прелестная женщина, белая и пухленькая, рядом с темнокожим геркулесом, могучим и красивым, несмотря на свои болезни, – картину очаровательнее трудно себе представить.

Внезапно до нас донесся звук рожка, раздававшийся где-то в парке.

– Охота приближается, – сказал отец. – Зверя погонят по этой аллее. Давайте посмотрим на него, княгиня?

– Не стоит, дорогой генерал, – ответила она. – Мне здесь хорошо, и я не тронусь с места: ходьба меня утомляет; но если уж вам так хочется, можете поднести меня к окну».[9]

Довольный тем, что может продемонстрировать, насколько он еще силен и крепок, Дюма поднял красавицу на руки – «как кормилица берет ребенка», твердым шагом пересек комнату, встал у окна и простоял так в ожидании охоты добрых пять минут. Взглянув на оленя и помахав платком охотникам, Полина

Боргезе велела Тома Александру отнести ее обратно на софу и попросила его сесть на прежнее место подле нее. Чем был вознагражден галантный мулат? «Что происходило за моей спиной, я не знаю, – напишет в своих мемуарах Александр Дюма. – Я был целиком поглощен оленем, промчавшимся по дорожке парка, охотниками и собаками. Все это тогда интересовало меня куда больше, чем княгиня…»[10]

Генералу Дюма, очень любившему охоту, так хотелось и самому еще хоть разочек проскакать верхом по лесам Вилле-Котре, но его пыл умерялся опасениями, что он не сможет несколько часов кряду продержаться в седле. В следующем году он все же решился, попытался совершить верховую прогулку и, как и следовало ожидать, вернулся с нее продрогшим и разбитым. Несмотря на протесты, его уложили в постель. Он бредил. «Неужели, – восклицал он, – генерал, который в тридцать пять лет командовал тремя армиями, должен в сорок пять умирать в своей постели словно трус! О, Господи Боже мой, чем я так прогневил тебя, что ты обрек меня таким молодым покинуть жену и детей?»[11]

На следующий день, 26 февраля 1806 года, Тома Александр попросил пригласить священника, исповедался, соборовался, затем позвал жену и незадолго до полуночи, повернувшись к ней, испустил последний вздох. Маленького Александра, чтобы уберечь его от тягостных впечатлений, несколькими часами раньше увели из дома к его дяде Фортье.

Мальчик спал глубоким сном в комнате, которую делил с двоюродной сестрой Мари-Анной. Обоих внезапно разбудил громкий стук в дверь. Соскочив с постели, Александр бросился к двери.

– Куда ты? – окликнула его Мари-Анна.

– Разве не видишь, – ответил он, – я хочу открыть папе, он пришел проститься с нами!

Кузина насильно уложила ребенка в постель, но он продолжал плакать и кричать: «Папа, прощай! Папа, прощай!» Затем усталость все-таки взяла верх, и в конце концов он уснул, во сне продолжая всхлипывать. Назавтра ему сообщили жестокую весть:

– Бедный малыш, твой папа, который так тебя любил, умер…

– Мой папа умер? – переспросил он. – Что это значит?

– Это значит, что ты больше его не увидишь.

– А почему я больше его не увижу?

– Потому что Боженька его забрал.

– Навсегда?

– Навсегда.

– А где живет Боженька?

– На небе.

Лицо маленького Александра стало замкнутым. Он не сказал больше ни слова, но, улучив минуту, когда никого из взрослых рядом не оказалось, убежал от дяди и помчался домой. Пробравшись в чулан, где хранилось оружие, мальчик схватил отцовское ружье и принялся карабкаться вверх по лестнице. На площадке он столкнулся с матерью, которая, вся в слезах, вышла из комнаты покойного.

– Ты куда? – спросила она.

– Я иду на небо.

– А что ты собираешься делать на небе, бедный мой малыш?

– Убью Боженьку, который забрал папу!

Мари-Луиза подхватила его на руки и крепко обняла.

– Нельзя говорить такие вещи, маленький мой, – со вздохом сказала она. – Нам и без того горя хватает![12]

Глава II
Прощание с детством и с империей

Мари-Луизе даже и тогда, когда муж был тяжело болен, по-прежнему казалось, будто она под надежной защитой. После того как его не стало, она почувствовала себя до того одинокой и растерянной, что уже не понимала, к кому броситься, у кого искать поддержки. Оставшись совершенно без средств и не зная толком, кто в ее окружении способен дать хороший совет, она первым делом обратилась к прежним боевым друзьям покойного. Но как ни старались Брюн, Мюрат, Ожеро, Ланн и Журдан, им так и не удалось добиться для вдовы товарища той скромной пенсии, о которой она просила. Тогда она отправилась в Париж и попросила аудиенции у императора. Наполеон отказался ее принять!

Мари-Луиза не могла скрыть огорчения: надеяться больше было не на что и не на кого. Из-за недостатка средств ей пришлось забрать дочь из пансиона, в котором девочка училась, а на то, чтобы дать образование сыну, денег и подавно не было. Безутешная, она вернулась в Вилле-Котре и поселилась с двумя детьми в тех комнатах, которые ее родители когда-то сняли в гостинице «Шпага». Мать ее к тому времени умерла, отец сильно постарел, но тем не менее согласился на последние гроши, какие у него оставались, содержать вдову и сирот.

Правду сказать, маленький Александр нисколько не страдал ни от этого нового траура, ни из-за возросшей стесненности в средствах. Семья жила более чем скромно, но мальчика все ласкали и баловали. Он потерял отца и бабушку, но всегда мог рассчитывать на безгранично преданную ему мать, на двоюродных сестер Фортье, Мари-Анну и Мари-Франсуазу, и на дочь мадам Даркур, Элеонору, которой исполнилось к тому времени двадцать пять лет и которая стала для него самой нежной и заботливой воспитательницей.

Кроме того, время от времени Дюма отправлялись погостить к Девиоленам. Глава семьи, Жан-Мишель, доводился Мари-Луизе родственником по мужу, а должность инспектора лесов Вилле-Котре делала его одним из самых значительных лиц в округе: пусть эти огромные лесные пространства и не принадлежали ему лично, все равно он ведь был их полновластным хозяином.

Маленького Александра пленяло само звучание слова «лесничий» – таинственный человек, носивший такое высокое, с его точки зрения, звание, представлялся ребенку каким-то

лесным духом, древним, как дерево, шероховатым, словно кора, но дающим благодетельную тень. Почтение было тем больше, что все в доме трепетали перед этим властным патриархом с трубным голосом. Он всем делал замечания, направо и налево раздавал приказы – так же часто, как другие люди улыбаются. Не зря взрослые прозвали его Дедом с розгами.[13]

Другой покровитель семейства Дюма, Жак Коллар, был полной противоположностью этому домашнему тирану. Неизменно ровное настроение, снисходительность к окружающим – славный малый казался едва ли не святым. Жак Коллар был близким другом Жан-Мишеля Девиолена (столь непохожего на него самого), а в недавнем прошлом – и близким другом генерала Дюма и, не раздумывая, согласился стать официальным опекуном Александра. Он с радостью принимал мальчика вместе с его матерью в своем маленьком замке Вилле-Элон, а как-то, решив, что тот, приезжая погостить, должен не только развлекаться, но еще и учиться, дал в руки воспитаннику великолепно изданную Библию – опекун предполагал, что это должно побудить ребенка к размышлениям.

Возможно, Александр и впрямь заинтересовался бы поучительными библейскими историями, если бы вокруг него не было столько резвых и шаловливых детей! У самих гостеприимных хозяев их было четверо – сын и три дочери, да еще к этим озорникам нередко присоединялись отпрыски Девиоленов. Короткие штанишки и юбочки целыми днями мелькали то тут, то там, у Александра от веселой суматохи кружилась голова.

А еще ему нравилось, чтобы его окружали женщины, которые наставляли и развлекали бы его. Разве мог самый лучший педагог сравниться с матерью, которая учила его читать, водя пальцем по строчкам книги Бюффона, украшенной цветными гравюрами? Иногда Александр рассеянно прислушивался к разговорам старших, вспоминавших семейные предания. Малыша – и это естественно, в таком-то возрасте! – нисколько не занимало, что мадам Коллар была дочерью госпожи де Жанлис и того самого Филиппа Эгалите, который проголосовал в Конвенте за то, чтобы Людовик XVI был казнен; и он нисколько не радовался тому, что сад Девиоленов примыкал к парку, где некогда прогуливались герцогиня д'Этамп, Диана де Пуатье, Габриэлла д'Эстре… Шестилетнему мальчику была интересна лишь настоящая минута, для него существовали только те люди, которые были рядом именно в этот миг, только те события, что происходили при нем. И вот тут все для него служило поводом посмеяться и порезвиться… Однако случалось и так: наскучив игрой в прятки,

мальчик вдруг загорался желанием немного поучиться. Правда, с жадностью проглотив «Робинзона Крузо», приобщившись к античности, изложенной в «Письмах к Эмили о мифологии», дидактическом произведении Альбера Демустье в стихах и прозе, и в «Мифологии для юношества», он проявил глубочайшее отвращение к арифметике. Окружающих тревожило это полное нежелание иметь дело с числами, зато восхищала быстрота, с какой мальчик бегал наперегонки. Должно быть, думали они, текущая в его жилах негритянская кровь и дает ему эту почти животную свободу движений.

Школьный учитель господин Обле напрасно старался приохотить мальчика к учению. Все, чего наставнику удалось добиться, это приобщить Александра к радостям каллиграфии – вскоре нажимы и волосяные линии, росчерки, петельки и завитушки раскрыли его юному ученику все свои тайны. Стараясь убедить Мари-Луизу в том, насколько важен для карьеры красивый почерк, Обле сказал ей, что все бедствия, постигшие Наполеона, вызваны одним обстоятельством: каракули императора были настолько неразборчивыми, что маршалы нередко ошибались, истолковывая его приказы на свой лад.

Желая дать ребенку воспитание, достойное памяти славного генерала, чье имя он носил, Мари-Луиза каждый месяц отрывала от хозяйства еще десять франков ради того, чтобы сын учился играть на скрипке. Но уже через несколько недель преподавателю, господину Иро, надоело заставлять ленивого ученика заниматься, он отказался брать даром деньги у несчастной матери и покинул дом, где ему слишком часто приходилось слышать фальшивые ноты. Его сменил учитель фехтования Мунье, у которого, несмотря на постоянную невоздержанность в напитках, глаз оставался по-прежнему верным, а рука – твердой. Александр очень скоро увлекся предложенным ему мужественным занятием. Став первоклассным фехтовальщиком, с удивительным для ребенка его возраста искусством управлявшимся со шпагой и саблей, он только об одном и мечтал: разделаться с воображаемыми врагами. Однако столь воинственные намерения нисколько не мешали ему дрожать от страха при виде ящерицы или даже обычной жабы, попавшейся ему на глаза в саду Девиоленов, испытывать головокружение при попытке влезть на дерево или ударяться по ночам в слезы вообще без всякого повода. «Уж не растет ли он трусом? – думала мать. – Какой позор для сына генерала Дюма!» Мари-Луиза упрекала себя в том, что слишком балует мальчика, что слишком нежна с ним, – и тут же, с самой безмятежной непоследовательностью, настаивала на том, чтобы он спал в ее

комнате, а если точнее – «в том же алькове». И трудно ее не понять: по-настоящему спокойна мать могла быть лишь тогда, когда слышала в темноте ровное дыхание сына, лежавшего совсем рядом.

Александр, со своей стороны, научился ценить мирное и вместе с тем чувственное наслаждение, которое получал от присутствия женщины на соседней постели. Он засыпал, окутанный теплом и благоуханием матери, и это давало ему силы и уверенность в себе, без которых вряд ли можно было преодолеть неизбежные в будущем испытания…

Мари-Луиза вскоре перебралась вместе с сыном из гостиницы «Шпага» в небольшую квартирку на улице Лорме, неподалеку от того дома, в котором Александр увидел свет. Она пыталась добиться для него стипендии в императорском лицее – не мог ведь Наполеон отказать в этой милости сыну человека, так доблестно сражавшегося под его знаменами! Нет, императору не было дела ни до вдовы, ни до сына генерала, посмевшего когда-то упрекнуть его за Египетский поход. Дело было в 1812 году, его величество намеревался воевать с Россией, победить ее и тем самым, как говорили, утвердить господство Франции над всей Европой. Ну, разве можно в такое время досаждать главе государства столь мелочными просьбами!

На счастье Мари-Луизы, скончавшийся незадолго перед тем родственник, аббат Консей, оставил ей в наследство полторы тысячи франков, а Александру завещал стипендию в суассонской семинарии. Расставаться с сыном очень не хотелось, но она решила, что ради того, чтобы мальчик получил образование, можно пожертвовать проведенными рядышком ночами, и, собравшись с силами, стала готовить его к отъезду. Однако Александр заупрямился. Спать-то вдали от матери он как раз мог, дело было в другом – мальчик испытывал атавистическую ненависть к священникам и заявил Мари-Луизе категорически, что ни за какие на свете блага не позволит запереть его среди сутан. Десятилетний мальчуган высказывался так властно, словно был главой семьи, и потрясенной женщине казалось, будто она слышит голос безвременно ушедшего мужа. Глотая слезы, она пыталась как-нибудь уломать сына, переговоры затянулись на несколько недель, и в конце концов Александр неохотно сдался, в доказательство своей покорности материнской воле попросив дать ему двенадцать су на покупку чернильницы. В лавке, куда он отправился за этим предметом первой необходимости, ему встретилась давняя подружка по детским играм, Сесиль Девиолен, девочка с повадками «парня в юбке» и неизменно готовой насмешкой на языке. Услышав, что приятель готовится

стать семинаристом, она высмеяла великолепную духовную карьеру, ожидавшую его в конце обучения. Александра возмутили язвительные замечания подружки, но тем не менее он и сам уже начал сожалеть о том, что опрометчиво позволил навязать себе столь не соответствующий его темпераменту выбор: поступить в семинарию означало навсегда отказаться от девочек! Может ли нормальный человек смириться с подобным лишением? И, бросив Сесиль, в изумлении оставшуюся стоять посреди лавки, он выскочил за дверь, купил на двенадцать су, предназначавшиеся для покупки чернильницы, колбасы и хлеба, убежал в лес и поселился у человека по имени Буду, который жил в шалаше и кормился вместе с собаками, порученными его заботам.

Грязный и невежественный дикарь, промышлявший браконьерством и воровством, с радостью принял нежданного гостя. Не спрашивая о причинах, побудивших мальчишку бежать из дома, Буду поспешил раскрыть ему тайны зверей и деревьев в своих владениях. За три дня совместной жизни с этим грязным аскетом Александр научился ловить птиц на смолу и ставить силки на зайцев. Но за эти же дни он понял, что мать, должно быть, обеспокоена его внезапным исчезновением, и, охваченный запоздалым раскаянием, вернулся к ней. Мари-Луиза, беспредельно счастливая от того, что сын вернулся целым и невредимым, нежно расцеловала его, простила нелепую выходку и отказалась от намерения отсылать Александра в семинарию.

Он остался в Вилле-Котре и поступил в частный коллеж, которым руководил аббат Грегуар (без аббатов никак нельзя получить образование!) – человек, по общему мнению, здравомыслящий и просвещенный. Правда, все единодушно считали, что цельный характер мальчика не подходит для жизни в коллективе, но мать надеялась, что в обществе товарищей по учебе он исправится. «В этом возрасте, – признается впоследствии Александр Дюма, – другие дети из нашего города не очень-то меня любили; я был тщеславным, дерзким, высокомерным, самоуверенным, преисполненным восхищения собственной персоной, однако при всем том был способен на добрые чувства, когда вместо самолюбия или ума позволял высказаться сердцу». [14]

К поступлению в коллеж Мари-Луиза из старого дедушкиного сюртука сшила сыну «наряд цвета кофе с молоком в черную крапинку» и пребывала в полной уверенности в том, что этот костюм произведет самое благоприятное впечатление на школьников. Александр ее счастливой уверенности не разделял, и его опасения вскоре подтвердились. Несмотря на царившую в коллеже строжайшую дисциплину, «старички» подвергли

новенького унизительному испытанию: когда он входил во двор, одноклассники помочились на него с высоты составленных бочек. Мокрый с головы до ног Александр завопил от ярости и набросился с кулаками на заводилу, которого звали Блиньи. Тот хотел было задать новичку изрядную трепку, но Александр оказался проворнее противника и быстро обратил его в бегство. Спасаясь, Блиньи выронил книгу, Александр ее подобрал и захватил как военный трофей. Оставшись в одиночестве, он принялся листать книгу, которая оказалась серьезным трудом доктора Тиссо, посвященным пагубным последствиям онанизма. Вернувшись домой, Александр гордо предъявил матери трофей, который она из осторожности у него отняла. «Два года спустя я нашел эту книгу и прочел ее, – напишет он впоследствии. – Если бы я прочел сей ученый труд в день своей победы над Блиньи, то никакой бы пользы из этого чтения не извлек, поскольку ничего бы не понял. А вот двумя годами позже эти сведения оказались как нельзя более кстати».[15] В самом деле, если верить многомудрому доктору Тиссо (а как можно ему не верить?), мастурбация у тех несчастных, которые ею занимаются, становится причиной бессилия, бесплодия, глухоты и наконец приводит к смерти от истощения. Поскольку всеми этими страшными последствиями угрожал специалист, глубоко изучивший проблему, подросток твердо решил проявлять умеренность в одиноких наслаждениях. Впрочем, столь добродетельным ему придется быть недолго: очень скоро сочувствующие женщины начнут помогать красивому мальчику в удовлетворении всех его сексуальных позывов.

С самого нежного возраста Александр проявлял страстный интерес к любовным интригам, а потому с любопытством наблюдал за поведением старшей сестры Эме, которую, несмотря на то что она была бесприданницей, хотел взять в жены молодой сборщик налогов Виктор Летелье. Из кокетства или из страха перед замужеством она не решалась ответить согласием, ее мать тоже проявляла сдержанность, и Виктор Летелье, желая, очевидно, завоевать благосклонность семейства, подарил Александру, которого уже считал своим будущим шурином, карманный пистолет. Будущий шурин, в свою очередь, немедленно нашел у претендента на руку сестры множество самых выдающихся достоинств, а уж о достоинствах подарка и говорить было нечего. В полном восторге он палил по всему, что попадалось на глаза. Мари-Луиза, которая, хоть и была вдовой генерала, слышать не могла выстрелов, хотела отобрать у сына опасную игрушку: ведь, забавляясь с пистолетом, ребенок мог ранить прежде всего самого себя! Но Александр отказался сдать

оружие. Тогда доведенная до отчаяния мать попросила сельского полицейского Турнемоля разоружить мятежника, ставшего грозой соседских кроликов, кур и голубей. После короткой схватки Турнемолю удалось-таки завладеть пистолетом, а мальчику только и оставалось, что захлебываться бессильной руганью. «Для меня это разоружение было величайшим позором, – читаем мы в мемуарах Дюма, – позором, о котором не смогли заставить меня забыть даже пришедшие на другой день важные известия».[16]

Новости и в самом деле были «важные», потому что непременно должны были вызвать глубокие перемены в жизни страны, привыкшей к успехам Великой армии: известия о заговоре Мале против империи, о казни виновных, о том, как императорской армией была оставлена горящая Москва, о позорном и изнурительном отступлении из России и о бесславном возвращении Наполеона в Тюильри… Да, новости были важные и утешительные для людей, оскорбленных императором. Вот только радости хватило ненадолго: вот уже Орел, хоть и изрядно ощипанный, расправляет крылья, начинается германская кампания с ее чередой побед и поражений – те и другие обходятся одинаково дорого. Смирившись в свое время с опасностями войны, угрожавшими ее мужу, генералу Дюма, Мари-Луиза теперь страшно боится за сына. Не для того она отнимала у Александра пистолет, чтобы вместо него ему сунули в руки ружье: ведь на военную службу призывают уже и шестнадцатилетних мальчишек, причем отправляют их на передовую! И если военные действия продлятся еще всего-навсего четыре года, очередь дойдет до Александра! Мари-Луиза втайне молится о том, чтобы корсиканский Людоед, причинивший столько зла ее мужу, не сделал ничего плохого сыну. Что тут дурного? Разве нельзя любить Францию, осуждая ее правителя? В конце концов, тысячи женщин по всей стране лелеют ту же святотатственную надежду, что и она…

Молитвы перепуганных матерей были услышаны, их чаяния сбылись. Но какой ценой! Чужеземные полчища топтали теперь родную землю. Говорили, что пруссаки и русские только и делают, что наперебой грабят и насилуют. Опасность с каждым днем приближалась. После того как пал Суассон, Мари-Луиза стала обдумывать, как бы получше встретить захватчиков. Разумеется, она не собиралась выступить против казаков с оружием в руках, наоборот – всерьез рассчитывала смягчить их ласковым приемом. Услышав от других, что завоеватели прожорливы и любят выпить, она приготовила для них огромный чугун бараньего рагу и запасла несколько бочонков суассонского вина. Не менее предусмотрительно она зарыла в дальнем уголке

сада три десятка золотых луидоров и забронировала два места в подземном карьере, где около шестисот ее земляков укрылись в надежде избежать расправы, которую неминуемо должны были учинить над ними дикари с берегов Дона и Волги. Однако в почти обезлюдевший город вступили не казаки, а войска маршала Мортье: им было поручено защищать подступы к лесу. И баранье рагу, предназначавшееся русским, досталось славным французам, явившимся первыми. Выпив вино, которым Мари-Луиза намеревалась купить расположение иностранной солдатни, они после ночной перестрелки уже наутро отступили к Компьеню.

Столь внезапное затишье не могло быть долгим. «Вопрос времени!» – говорили в Вилле-Котре. В ближайшие за тем несколько дней страх населения перерос в панику. Стоило на дороге показаться хотя бы одному всаднику, раздавался крик: «Казаки! Казаки идут!» Улицы мгновенно пустели, ставни и двери закрывались наглухо. Мари-Луиза благоразумно прибегла к испытанному средству и вновь принялась стряпать баранье рагу. Приглядывая за стоявшим на огне чугуном, она прижимала к груди сына, который никак не мог понять, почему же император не возвращается, чтобы покарать злодеев. Странный мальчик этот Александр – в честолюбивых мечтах он заносился так далеко, что хотел бы один заменить собой всю французскую армию, и в то же время начинал трястись от страха, как только орудийная пальба нарастала. Сражения шли в Мормане, Монмирайле, Монтеро, а баранье рагу тем временем продолжало томиться на кухонной плите. На пятый день мать и сын поняли, что им придется самим съесть блюдо, которым они собирались угостить страшных казаков. Но опасность отнюдь не миновала. Увы! Прошло совсем немного времени, и у Мари-Луизы, уже знавшей о жестоких боях в Бар-сюр-Об и Мео, о сдаче Ла Фера, не осталось ни малейших сомнений в том, что и Вилле-Котре непременно попадет в руки врага. Ну и что же ей оставалось делать в ожидании грядущих бедствий, как не взяться снова, патриотично и предусмотрительно, за стряпню, за третье по счету баранье рагу?

И вот туманным зимним утром через Вилле-Котре бешеным галопом промчались бородатые казаки с длинными пиками. Конница вихрем пронеслась по улице, и один из дикарей на скаку уложил выстрелом из пистолета соседа-чулочника, спешившего запереть дверь. Нет, эти русские, несомненно, варвары, нечего и думать ублажать их вкусной едой и добрым старым вином! Перепуганная Мари-Луиза, поручив все-таки служанке на всякий случай приглядывать за бараньим рагу, на которое еще так недавно возлагались все надежды, схватила сына за руку и, обезумев от страха, побежала вместе с ним к спасительному

карьеру. Там, затаившись в темноте среди толпы таких же перепуганных горожан, они молча ждали, как станут развиваться события. Через сутки самые смелые решились выбраться из норы и отправиться на разведку. Никаких казаков в Вилле-Котре уже не было! Они исчезли, никого больше не убив и не разграбив ни единого дома. Но ведь они могли вернуться – и потому Мари-Луиза с благодарностью приняла приглашение друзей, богатых фермеров Пико, потерявших сына из-за несчастного случая на охоте. Теперь Александр и его мать весь день проводили на ферме и только на ночь возвращались в карьер. Так, в непрочном затишье, прошла неделя. Где-то вдали по-прежнему рокотали пушки. Впрочем, не в такой уж дали: бои шли в Нейи-Сен-Фрон, и горожане Вилле-Котре даже ночью опасались внезапного нападения…

В конце концов терпение Мари-Луизы истощилось, и внезапно она решила бежать в Париж. Но перед тем, ненадолго вернувшись домой, велела Александру взять заступ и выкопать зарытые в саду тридцать луидоров. Затем, исполняя свое намерение, наняла повозку и двинулась к столице – вместе с сыном, мадемуазель Аделаидой, безобразной и очень богатой горбуньей, и приказчиком по фамилии Крете. Путешественники заночевали в Нанте, а на следующий день были уже в Мениль-Амело. Справедливо или ошибочно, но Мари-Луиза полагала, что здесь они будут в большей безопасности, чем в Вилле-Котре, и позволила сыну, которому не давало покоя вполне естественное любопытство, съездить вместе с мадемуазель Аделаидой и Крете в Париж, чтобы посмотреть парад Национальной гвардии. Здесь затерявшийся в толпе Александр увидел среди моря знамен и султанов белокурого и кудрявого мальчика лет трех, которого чьи-то руки благоговейно подняли над головами. И тотчас тысячи голосов оглушительно прокричали: «Да здравствует римский король! Да здравствует регентство!» Стало известно, что Наполеон готов отречься от престола в пользу сына. Легенда под звуки военных оркестров рассыпалась в прах. На этот раз враг был уже у ворот Парижа, и снова надо было бежать. Но куда? Как куда – в Вилле-Котре, черт возьми! Нигде не будет лучше, чем дома. Снова поспешили запрячь лошадей, погрузились в повозку и тронулись в путь. Вперед! Только бы враг не догнал! В Крепи, где Александр с матерью остановились в гостеприимном доме госпожи Милле, предложившей сдать им квартиру, мальчик увидел из окна мансарды схватку между отрядом прусской кавалерии и французскими гусарами. Опасаясь шальной пули – а разграбления города ждали вообще каждую минуту, – Мари-Луиза хотела спрятать сына в погребе. Но Александр изо всех сил

вцепился в оконную задвижку – ни за что на свете он не согласится упустить такое зрелище, хотя, конечно, участвовать в представлении он побоялся бы… Когда бой закончился и остатки разбитого прусского отряда отступили, жители Крепи выбрались из укрытий и подобрали раненых, не разбирая, где свои, где чужие. Хозяйский сын, который, на их счастье, был врачом, с равной самоотверженностью лечил французов и немцев. Мари-Луиза и несколько женщин, живших по соседству, ему помогали.

Александр тоже был при деле – держал лохань с водой, из которой доктор Милле промывал раны. Вид крови, стоны страдальцев, суета добровольных сиделок вокруг истерзанных тел – все это вместе, муки, героизм и преданность вызывали в мальчике смешанное чувство восторга и отвращения. В двенадцать лет ему открылась жестокая и неприглядная сторона жизни. Ночью скончался один из французских офицеров, которому пуля пробила голову…

Ближайшие несколько дней были ознаменованы множеством событий, сменявшихся в бешеном темпе: Париж сдался; союзники отслужили *Te Deum*[17] на площади Людовика XV; Наполеон, покинутый всеми, отрекся от престола и, простившись с гвардией, отплыл на английском корабле на остров Эльба, куда его сослали; наконец, Людовик XVIII прибыл из Компьеня, чтобы с благословения врага взойти на трон. И все это за каких-то две недели! Самая крепкая голова от такого пойдет кругом!

Теперь у Франции больше не было императора, но у нее появился король. Стоило ли этому радоваться? Мари-Луиза за свою жизнь видела столько политических переворотов, что уже больше ни во что не верила и ни на кого не надеялась. Вернувшись вместе с сыном в Вилле-Котре, она только о том и думала, как уцелеть, несмотря на превратности судьбы, как приспособиться к неблагоприятным обстоятельствам. Опережая события, в 1813 году позаботилась на всякий случай о том, чтобы в книгах записей гражданского состояния к простонародному имени отца ее ребенка прибавили дворянскую фамилию маркиза, деда Александра. Тем временем сменилась власть, и Мари-Луиза объяснила мальчику, какой нынче перед ним встает выбор. Если он хочет пользоваться милостями новой власти, выгоднее представляться Александром Дави де ла Пайетри, внуком маркиза, который некогда был придворным его высочества принца Конти и генералом артиллерии: аристократическое происхождение поможет ему получить от королевской семьи стипендию или назначение в пажеский корпус. Но, если он будет упорствовать в своем желании именоваться попросту Дюма – в память об отце, республиканском генерале и слуге империи, ему

не преуспеть, лучшие дороги будут для него закрыты. Опекун Александра, Жак Коллар, в это время как раз собирался отправиться в Париж, где у него были обширные связи, множество влиятельных знакомых, в их числе – господин де Талейран и герцог Орлеанский. Заручившись такой поддержкой, Коллар, несомненно, добьется для своего подопечного всевозможных привилегий, если только тот соизволит проявить благоразумие в выборе имени.

– Подумай хорошенько перед тем, как дать ответ! – умоляюще глядя на сына, говорила Мари-Луиза.

В глазах Александра сверкнула гордость.

– Мне не о чем раздумывать! – воскликнул мальчик. – Меня зовут Александр Дюма и никак иначе. Я знал своего отца и не знал деда; что подумал бы мой отец, приходивший проститься со мной перед смертью, если бы я от него отрекся ради того, чтобы носить имя деда только потому, что он маркиз?

Растроганная Мари-Луиза со слезами на глазах поблагодарила сына за этот простой и достойный ответ.

– Порой ты меня сердишь, – прошептала она, – но на самом деле я нисколько не сомневаюсь в том, что сердце у тебя доброе!

Ложась в тот вечер спать, Александр осознал, что несколькими словами навеки определил свою судьбу.

Перед отъездом в Париж Жаку Коллару было сказано, что не надо ни о чем просить для генеральского сына, следует добиваться лишь помощи вдове. Он вернулся расстроенный, разочарованный плодами своих стараний: все, что ему удалось получить, – неопределенное обещание посодействовать Мари-Луизе в открытии табачной лавки! Так-то олимпийские боги вознаграждают жену героя, усмехнулся Александр. И с тех пор твердо знал, что должен рассчитывать только на себя самого, больше никто не поможет ни ему самому, ни его семье справиться с трудностями.

Все произошедшее настолько серьезно нарушило ход школьных занятий мальчика, что мать сильно обеспокоилась его невежеством. Аббат Грегуар, лишившийся к этому времени разрешения держать пансион, довольствовался теперь тем, что давал уроки на дому. Вот ему Мари-Луиза и поручила проследить за тем, как учится Александр, и помочь ему вступить во взрослую жизнь хоть с какими-то практическими познаниями. Благодаря аббату генеральский сын приобрел пусть слабое, но все-таки знание латыни, истории и географии, а господин Обле постарался примирить его с арифметикой. Что же касается Катехизиса, Александр через силу смирился с необходимостью выучить самое главное, но, как только выпадала свободная минутка, откладывал

благочестивые сочинения и углублялся в «Письма Элоизы и Абеляра», которые Колардо переложил в стихи. Однажды мать, застав подростка за этим грешным чтением, выхватила у него из рук книгу и обвинила в том, что он засоряет свой ум всего за несколько дней до того, как ему по приглашению приходского священника Вилле-Котре предстоит произнести обет.

Александр и сам побаивался торжественной церемонии: вообще-то он уже затвердил наизусть необходимые слова, но вдруг в решающий момент ошибется? По случаю первого причастия ему сшили соответствующий наряд: короткие чесучовые штаны, белый пикейный жилет, синий сюртучок с металлическими пуговицами, белый галстук, батистовую сорочку. К этому парадному костюму полагалась еще двухфунтовая восковая свеча. Всю ночь перед обрядом Александр ворочался с боку на бок, пытаясь вообразить таинственный феномен, который преобразит его плоть и его душу в тот миг, когда его нечистый рот примет тело божественного Спасителя. Задыхаясь и судорожно вздрагивая, он терзался почти до утра и заснул только на рассвете.

Когда он вошел утром в церковь, сердце у него сладостно сжалось от звуков органа, извлеченных искусными руками господина Иро, а когда облатка коснулась губ, он разрыдался, потом лишился чувств. Потрясенному таинством мальчику потребовалось три дня на то, чтобы оправиться и немного успокоиться. Аббат Грегуар, навестивший в эти дни Александра, желал понять, в самом ли деле он после причастия сделался глубоко набожным, но тот ничего не мог сказать – просто с плачем упал в его объятия. «Дорогой мой, – вздохнул священник, – по мне, так лучше бы это было не так сильно, зато надолго!» Видимо, святого отца не обманул этот внезапный прилив религиозности. После того как впечатление от первого причастия сгладилось, столь взволнованный причастник очень скоро стал отдаляться от церкви: если он и продолжал верить в Бога, то без малейшего раскаяния отказался от исполнения обрядов.

Александр больше никогда в жизни не подойдет к причастию, он на всю жизнь предпочтет церковным престолам те столы, на которых в изобилии громоздятся сочные земные плоды: по его мнению, это больше соответствовало его непомерному жизнелюбию.

Глава III
Первые волнения

Бури утихли. Для Александра главным занятием оставалась охота: он только и делал, что вместе с другими преуспевшими в этом искусстве мальчиками ловил птиц на манок и в силки. А Мари-Луиза была озабочена прежде всего тем, как бы честно заработать им обоим на жизнь. Получив благодаря стараниям Жака Коллара разрешение открыть табачную лавку, она перебралась в дом на площади Лафонтена, где медник Лафарж уступил ей магазин с двумя прилавками: за одним торговали табаком, за другим – солью. Мари-Луиза с сыном поселились над лавкой; здесь, верные своей милой привычке, они по-прежнему спали рядом, в одном алькове. И хотя Александр сетовал на участь, выпавшую на долю вдовы героя империи, – разве пристало ей торговать! – сама лавочница, обслуживая покупателей, получала скорее удовольствие, ведь и ее родители, содержавшие гостиницу «Щит Франции», занимались чем-то подобным. Впрочем, и щепетильный Александр позабыл о своих предубеждениях, когда к старикам Лафаржам приехал их сын, Огюст, служивший у парижского нотариуса главным помощником.

Этот статный молодой человек одевался по последней моде, в свободное время сочинял песенки и любил прихвастнуть своими приятельскими отношениями со столичными литераторами. Александра мгновенно покорили многочисленные таланты заезжего гостя. Он предложил Огюсту – высший знак уважения! – повести его в лес охотиться на птиц, и тот с радостью принял приглашение. Однако главную цель молодого Лафаржа все же составляло вовсе не истребление славок и дроздов – в Вилле-Котре он намеревался преследовать совсем другую дичь. Парижанин рассчитывал соблазнить на родине предков девицу с приданым, достаточно большим для того, чтобы он смог купить нотариальную контору. Выбор пал на Элеонору Пико, дочь зажиточного фермера, с которым семейство Дюма было хорошо знакомо. Однако, несмотря на все ухищрения искусного обольстителя, предложение его принято не было, и весь городок, узнав об отказе, потешался над неудачливым претендентом на руку богатой невесты. Оскорбленный Огюст, решив отомстить, сочинил эпиграмму, в которой высмеял и саму Элеонору, и ее родителей. Стихи разошлись по Вилле-Котре и имели такой успех, так всех рассмешили, что автор мог уехать обратно в

столицу с высоко поднятой головой – он все-таки в конечном счете оказался победителем! Такой поворот событий немало удивил Александра, который внезапно открыл для себя убийственную силу таланта: оказывается, всего несколько строчек, написанных остроумным сочинителем, могут действовать не хуже огнестрельного оружия! Ему приоткрылась даль славы, и он стал умолять аббата Грегуара научить его складывать французские стихи, такие же прекрасные, как те, что сочинял младший Лафарж.

Скептически настроенный священник ответил: «Я с удовольствием за это возьмусь, вот только тебе самому через неделю это прискучит – так же, как и все остальное». И чтобы приучить мальчика легко жонглировать словами, задал ему рифмы, на которые надо было сочинить стихи. Александр немедленно взялся за дело, однако фразы, которые выходили из-под его пера, никак не укладывались в размер. Он быстро начал злиться и через неделю, как и предсказывал аббат Грегуар, охладел к поэзии. «Посмотрим потом, не окажусь ли я более способным к прозе», – решил подросток и, забыв о стихах, забросил уроки аббата Грегуара ради наставлений оружейника Монтаньона, который научил мальчика собирать, разбирать, чистить, смазывать и чинить всевозможные смертоносные орудия. Это занятие подходило ему куда больше!

Восхищенный усердием, которое проявлял ученик, Монтаньон вскоре доверил ему одноствольное ружье, и тот, используя неожиданно выпавшую счастливую возможность, принялся напропалую браконьерствовать в окрестных лесах. Чем больше удавалось настрелять птиц и зайцев, тем более счастливым парнишка себя чувствовал. Однако тут не было ни страсти к убийству, ни малейшего проблеска злобы: Александр просто-напросто гордился тем, как метко целится. Точно так же, как, удачно отпустив колкость в разговоре, гордился своим превосходством над тем, кому не удалось уколоть его самого.

В один из февральских дней 1815 года, когда юный Дюма, по обыкновению своему, предавался любимому занятию, некий Кретон, сторож охотничьих угодий, застав браконьера на месте преступления, погнался за ним, перепрыгнул, стремясь его настичь, через овраг, неудачно приземлился и вывихнул ногу. Поскольку этот официальный покровитель лесных тварей получил увечье при исполнении служебных обязанностей, он подал жалобу инспектору лесного ведомства Девиолену, а тот пригрозил виновнику несчастного случая штрафом в пятьдесят франков, если он не извинится перед беднягой Кретоном, причем немедленно. Но Александр, полностью признавая свою вину, из

гордости отказался просить прощения у дурака: генеральский сын не станет унижаться, чтобы угодить простому сторожу. Если надо, лучше он заплатит полсотни франков, но никаких извинений от него не дождутся! Мари-Луиза понимала чувства сына, но была в отчаянии: ей нечем было заплатить этот штраф – табак и соль в это время так плохо продавались! К счастью, одна из подруг, госпожа Даркур, неизменно преданная семейству Дюма, пообещала дать эти деньги. Мать и сын вздохнули с облегчением. Может быть, Александр подумывал даже о том, не изложить ли всю эту историю в юмористических стихах в стиле Огюста Лафаржа – стихах, в которых он высмеял бы неуклюжесть Кретона… Но, как бы там ни было, он не успел этого сделать. Умы жителей городка вскоре оказались заняты куда более важными событиями.

Население, по большей части роялистски настроенное, с изумлением узнало, что Наполеон бежал с острова Эльба и направляется к Парижу. Неужели он ради собственной славы снова начнет проливать кровь? Сумеет ли Людовик XVIII убедить свои войска встать на пути врага престола? По улицам уже расхаживали толпами возбужденные молодые люди с криками «Да здравствует король!», они грозили перебить сторонников «корсиканского бандита».

Мари-Луиза и ее сын считались бонапартистами. Разве генерал Дюма не служил при Наполеоне? То обстоятельство, что за свою доблесть он был очень плохо вознагражден, в расчет не принималось. Генерал был слугой империи, и его близкие обязательно должны походить на него. Время от времени какой-нибудь сумасброд врывался в лавку Мари-Луизы, выкрикивая оскорбления в адрес тех, кто радуется возвращению узурпатора. Когда случались подобные выплески ненависти, Мари-Луиза и Александр прятались за прилавком и не решались протестовать.

Пятнадцатого марта 1815 года по городу проехали три кабриолета в сопровождении жандармов – это везли двух «генералов-предателей»: Франсуа Антуана и Анри Доминика Лальманов. Братьев обвиняли в том, что несколькими днями раньше они пытались собрать войска в поддержку императора. «Генералы-предатели» были арестованы в Ла Фере, а теперь препровождались в Суассон, где они должны были предстать перед судом за государственную измену. Обоих ждал расстрел. На всем их пути, в том числе и пока процессия двигалась через Вилле-Котре, собирались яростно орущие толпы. Шляпница мадам Корню, еще более неистовая, чем все прочие горожане, выбежала из своей лавки, чтобы плюнуть в лицо пленным и попытаться сорвать с них эполеты. Александр и его мать молча

страдали, видя, какому оскорблению подвергается мундир, который некогда с такой гордостью носил генерал Дюма. А стоило повозкам скрыться, завернув за угол, Мари-Луиза взяла сына за руку и коротко бросила: «Пойдем!» – и в этом единственном слове, произнесенном изменившимся от волнения голосом матери, он расслышал обещание великого приключения.

Когда они вернулись в лавку, Александр во все глаза уставился на мать, с трудом узнавая Мари-Луизу. Неужели ее до такой степени взволновало унижение, нанесенное офицерам, чье единственное преступление состояло в том, что они остались верны прежнему властителю? Она, всегда такая кроткая и боязливая, как ему показалось, внезапно превратилась в неустрашимую амазонку. А дальше действительно начались приключения.

Мари-Луиза попросила Александра побыстрее одеться, усадила его рядом с собой в наемную карету, и они отправились через парк к замку, в котором обитал мэтр Меннесон, нотариус, известный своими бонапартистскими взглядами. Взяв у нотариуса какой-то таинственный сверток, госпожа Дюма приказала кучеру поворачивать на дорогу, ведущую в Суассон. Здесь путешественники остановились в гостинице «Трех девственниц» и стали осторожно расспрашивать о братьях Лальманах. К счастью, тех отправили не в военную, а в гражданскую тюрьму. Еще одна удача – Александр был хорошо знаком с Шарлем Ришаром, сыном тюремного привратника: в детстве они нередко играли вместе. Можно ли найти более подходящий случай воспользоваться давней дружбой? Мари-Луиза, всегда так боявшаяся, как бы с ее мальчиком чего-нибудь не случилось, на этот раз была готова к любым опасностям. Ей чудилось, будто муж из гроба приказывает ей, не страшась, идти на все ради чести императорской армии. Охваченная тревогой, но испытывая вместе с тем какой-то непонятный подъем, она вытащила из полученного от нотариуса пакета пару пистолетов и сверточек с полусотней золотых луидоров. Александр, посвященный наконец в тайну, взялся, спрятав под полой, пронести в тюрьму оружие и деньги, чтобы там незаметно передать их узникам. Дружба с Шарлем Ришаром открывала ему свободный доступ в коридор, куда выходили двери камер. Ни у кого не должен вызвать подозрений мальчик, расхаживающий по тюрьме в сопровождении сына привратника. Возбужденный сознанием того, что мать ожидает от него подвига, Александр без труда уговорил товарища по играм отвести его туда, где содержались братья Лальманы. Оказавшись в камере старшего из узников, он под каким-то надуманным предлогом удалил Шарля Ришара, вытащил спрятанные под одеждой оружие

и золотые луидоры и посоветовал генералу как можно скорее бежать, пригрозив тюремщикам пистолетом. Но тот отказался от попытки бегства, считая ее заведомо бесполезной в сложившихся на то время обстоятельствах. «Император будет в Париже раньше, чем начнут нас судить!» – сказал генерал. Александр, разочарованный тем, что старался напрасно, был все-таки страшно горд своим участием в самом настоящем заговоре. Генерал Лальман подарил ему за труды оба пистолета и на прощание поцеловал в лоб.

Увидев, что сын возвращается целым и невредимым, Мари-Луиза подумала, что Господь простил ей ту неосторожность, которую она совершила, послав «малыша» прямо в волчью пасть. На следующий день она вернулась в Вилле-Котре, в свою табачную лавку, к своим трусливым согражданам, уже не знавшим, что и думать о победоносном шествии императора к столице. Вскоре Людовик XVIII бежал в Гент, Наполеон занял его место в Тюильри, и братья Лальманы, освобожденные по его приказу, снова проехали через Вилле-Котре – опять в кабриолете, но настроение было совершенно иным. Перед лавкой непримиримой шляпницы один из братьев, тот, кому она несколько дней тому назад плюнула в лицо, велел остановить экипаж. Мадам Корню, стоявшая на пороге своей лавки, сжала губы и окинула его ледяным взглядом. Склонившись к ней, генерал с улыбкой произнес: «Как видите, сударыня, мы живы и здоровы. Каждому свой черед». С искаженным от негодования лицом шляпница прошипела сквозь зубы: «Не беспокойся, разбойник! Еще настанет и наш черед!»[18]

Как ни странно, именно ненависть, которую открыто проявляли к императору многие роялисты, подтолкнула Александра и Мари-Луизу к тому, чтобы желать победы этому человеку, любить которого у них не было никаких причин: он ведь так скверно обошелся с генералом Дюма! Когда Наполеон, едва вернувшись на престол, должен был противостоять всей объединившейся Европе, Александр, позабыв о семейных обидах, по-прежнему готов был верить в победу Франции. Вместе с другими мальчишками из Вилле-Котре он присутствовал на сборе нескольких полков старой гвардии, отправлявшихся на границу. Решительные лица, потрепанные мундиры, покрытые славой знамена и разрозненное оружие; оркестр снова, как в былые времена, играет «Встанем на защиту империи». Узнав о том, что его величество проедет через город, чтобы встать во главе своей армии, Александр испытал прилив патриотической горячки. Задолго до того часа, когда в Вилле-Котре должен был прибыть император, мальчик пробрался в первые ряды зевак. И вот, после

долгого ожидания, из толпы послышались крики: «Император, император!» У почтовой станции остановились две кареты, запряженные каждая шестеркой покрытых пеной лошадей. Пока разряженные и напудренные форейторы суетились, меняя упряжку, Александр, растолкав стоявших рядом зевак, приблизился к карете и, привстав на цыпочки, разглядел в глубине ее маленького пузатого человечка в зеленом мундире с белыми отворотами, украшенном одним-единственным орденом – Почетного легиона. «Его бледное, нездоровое лицо, казавшееся грубо вырезанным из слоновой кости, слегка клонилось на грудь», – напишет позже Дюма в своих мемуарах. «Где мы?» – спросил монарх у своего брата Жерома, сидевшего слева от него. «В Вилле-Котре, это в шести лье от Суассона», – ответил кто-то из толпы. «Давайте поживее!» – проворчал Наполеон и снова впал в угрюмую дремоту. Конюхи заторопились, кони начали нетерпеливо приплясывать, бить копытами о землю, щелкнули кнуты, и императорская карета тронулась с места. Нельзя было терять ни минуты. Впереди – Ватерлоо!

После этого мгновенно промелькнувшего и почти нереального видения городок снова замер в ожидании. Теперь уже никто не понимал, на что надеяться, а чего опасаться. Со всех сторон во множестве приходили ложные известия. С каждым днем тревога делалась все более неясной и вместе с тем все более мучительной. Двадцатого июня по городу проскакали двенадцать всадников, они спешились во дворе мэрии. Горожане бросились к ним, засыпали их вопросами. Всадники оказались поляками, служившими Франции, но едва знавшими несколько французских слов. Из их тарабарщины жители Вилле-Котре все же поняли, что битва при Ватерлоо закончилась 18 июня полным разгромом. Французская армия в беспорядке бежала, преследуемая врагом. Александр и его мать были ошеломлены этим известием. Им хотелось узнать побольше, и они отправились на почту, куда приходили официальные сведения. В семь часов вечера явился измученный, растерзанный, с ног до головы покрытый грязью гонец – он попросил приготовить четверку сменных лошадей для кареты, которая прибудет следом за ним. Новоприбывшего умоляли рассказать подробнее о необычайных событиях, происходивших во Франции, но он ничего не знал или не хотел говорить и ускакал с такой поспешностью, словно черт колол его вилами в зад. Станционный смотритель вывел из конюшни четырех свежих лошадей, велел запрягать, и тут у станции остановилась разбитая карета. К этому времени уже стемнело. Смотритель, посветив себе фонарем, заглянул внутрь кареты, но сразу же, низко кланяясь, попятился. Александр, спешивший

узнать новости, дернул его за полу и спросил: «Это он, да, это император?» Тот беззвучно выдохнул: «Да». Тогда и мальчик, в свою очередь, заглянул в карету. Ни малейших сомнений – перед ним был тот самый человек, который несколькими днями раньше спокойно и торжественно шествовал навстречу врагу! Да, это император, вот только сегодня голова его еще тяжелее клонится на грудь… «Что это было? Всего лишь усталость или боль оттого, что он поставил на карту весь мир и проиграл?» – размышляет Александр Дюма в своих мемуарах. «Где мы?» – в точности как в прошлый раз спросил император. «В Вилле-Котре, ваше величество», – ответила тень. Усталый, тусклый голос произнес: «Пошел!» Александр едва успел отскочить, тяжелая карета тронулась с места и покатила. Отдохнувшие лошади бежали быстро, Наполеону потребуется всего несколько часов на то, чтобы добраться до Парижа. Слишком поздно. Императором ему больше не быть. Орел снова расправит крылья над Францией всего на каких-то три месяца.

На следующий день через Вилле-Котре потекли остатки побежденной армии. За невредимыми солдатами, шедшими без команды, без музыки, а порой и без оружия, следовали раненые, хромающие пехотинцы, всадники, едва державшиеся на призрачных конях, и, наконец, повозки, нагруженные безрукими и безногими страдальцами, наспех перевязанными на поле боя. Время от времени кто-то из этих жалких обрубков, приподнявшись, выкрикивал хриплым голосом: «Да здравствует император!» – и тут же снова падал на неподвижных товарищей по несчастью, полумертвых от боли и стыда. Александр понимал отчаяние этих гордых калек и сильнее обычного чувствовал, как его раздирают на части бессознательный патриотизм и невозможность жалеть того, кто некогда не сумел сжалиться над его отцом. Было ли то, что он видел перед собой, наказанием для всей Франции – или посмертным отмщением генерала Дюма? Мать ничем не могла помочь сыну в эти дни – она и сама растерялась, сама оказалась не в силах справиться с одолевавшими ее разнообразными, но равно возвышенными чувствами. Смирившись, Мари-Луиза ждала неизбежного вторжения чужеземных войск и – в который раз! – ставила на огонь баранье рагу.

Наконец трубы протрубили у входа в город незнакомый военный марш, и на площади, в сопровождении британского полка, показалась тысяча пруссаков в парадных мундирах. Двое офицеров его величества английского короля Георга III явились к Мари-Луизе с записками на постой. Они не знали ни слова по-французски, изъяснялись знаками, но вели себя вполне прилично

и оценили баранье рагу по достоинству.

Пока враг со всеми удобствами располагался в маленьком городке, Людовик XVIII успел возвратиться в свои тюильрийские покои, а Наполеон – подняться на борт «Беллерофона» и отплыть на остров Святой Елены. Посреди всего этого вихря исторических событий в Вилле-Котре неожиданно появились сестра Александра Эме и его зять Виктор Летелье, назначенный разъездным инспектором. А господин Девиолен, грозный Дед с розгами, со своей стороны, поспешил обратиться с письмом в высшие инстанции, заверяя в своих верноподданнических чувствах. Результат не заставил себя ждать. Господин Девиолен был утвержден в должности главного лесничего, традиционно охраняющего угодья герцога Орлеанского, что позволило Александру с полнейшей безнаказанностью возобновить свои охотничьи вылазки. Но теперь он охотился вместе с другом матери, адвокатом Пико. Мари-Луизу немного успокаивало то, что за сыном присматривал такой серьезный человек: она всегда боялась «неподходящих встреч», которые могли случиться в лесу. Размышляя же о будущем сына, теперь она метила куда выше, чем прежде, но начала, как водится, с малого.

Опасаясь, как бы Александр не ограничил свои честолюбивые намерения тем, чтобы каждый день приносить с охоты все больше дичи, Мари-Луиза попросила нотариуса Армана Жюльена Максимилиана Меннесона взять его в свою контору младшим помощником, иными словами – мальчиком на побегушках, рассыльным. Дело сладилось в один миг: уже на следующий день Александр с головой окунулся в бумаги и принялся старательно выводить буквы.

Но, как бы старательно он их ни выводил, его не покидало убеждение в том, что «настоящая жизнь» протекает отнюдь не в стенах конторы, а в лесах, среди зверей, и в гостиных, среди женщин. Едва получив первое жалованье – правду сказать, весьма скудное, – он тотчас начал брать уроки танцев у Брезетта, бывшего капрала, который славился на весь город своим хореографическим искусством. Дела пошли успешно. Юный рассыльный так быстро преуспел в прыжках и поворотах, что аббат Грегуар, видевший танцора в деле, предложил ему быть кавалером своей племянницы Лоранс и ее подруги, испанки Виттории, которые должны были при-ехать из столицы в Вилле-Котре ради праздника и бала по случаю Троицы. Александр, которого одновременно и возбуждала, и пугала мысль о том, что вскоре ему предстоит впервые выйти в свет, принял лестное предложение. И для начала озаботился своим нарядом. Не найдется ли на чердаке, среди старых костюмов его отца, чего-

нибудь подходящего? Юный Дюма перемерил все, что отыскал, но отцовская одежда все еще была безнадежно велика мальчику. Может быть, года через два, через три…

Огорчение быстро сменилось радостью: роясь в сундуках и корзинах, он нашел восемь томов, которые, видимо, оставил на хранение его зять, Виктор Летелье, когда гостил у них. «Любовные похождения шевалье де Фобласа». Название ничего ему не говорило, но гравюры выглядели весьма заманчиво. Он постарался припомнить… Да, точно, Виктор запретил ему читать эти истории, сказав, что он еще до такого чтения не дорос! Что ж, тогда тем более надо заглянуть в эти книги!

Мальчик отнес вниз первые четыре тома, спрятав их под одеждой, и с наслаждением и признательностью прочел тайком от матери. Для того чтобы блеснуть на балу по случаю Троицы, ему недоставало познаний об искусстве соблазна – и вот они перед ним! Он станет вторым шевалье де Фобласом, молодым распутником, покорителем женских сердец! Вот только у него так и нет подходящей для этой роли одежды… Мари-Луиза слишком бедна и не может купить сыну модный наряд. Придется для первого появления в свете довольствоваться тем самым костюмом, в который он облачался для первого причастия: короткие штаны из чесучи, белый пикейный жилет, ярко-синий сюртучок. Правда, костюм этот за три года стал ему до того тесен, что при каждом движении трещит по всем швам. Посмотревшись в зеркало, Александр убедился в том, что выглядит слишком быстро выросшим мальчуганом, и уже готов был отказаться выступать в роли кавалера двух парижских барышень, но не удалось.

Когда его представляли племяннице аббата Лоранс, стройной нарядной блондинке, и ее подруге, бледной и полной испанке Виттории, обладательнице огненного взгляда и внушительного бюста, он заметил, что девушки обменялись насмешливыми и разочарованными улыбками. Обе оказались старше его. Ну и пусть, ему все равно, он твердо решил их завоевать – и завоюет! Преодолев робость, Александр предложил Лоранс опереться на его руку и прогуляться по парку, пока не начался бал. Виттория пошла следом за ними об руку с сестрой аббата Грегуара, безобразной, горбатой, одетой в жалкие обноски. Александр сознавал, до чего смехотворную картину представляла собой четверка, шествовавшая среди деревьев парка. Гости оборачивались им вслед и, наверное, потешались над его допотопными короткими штанишками – все одевающиеся по моде мужчины теперь носили длинные брюки. Так и вышло – его знакомый парижанин, служивший в доме призрения нищих при

замке, приблизился к нему и стал разглядывать через лорнет. Сам-то он был одет щегольски, это, должно быть, только придавало нахалу дерзости. «А вот и Дюма, – громко воскликнул он, так чтобы все кругом его услышали. – Наш малыш снова отправился к первому причастию, вот только свечку поменял!»

Побледнев от оскорбления, Александр хотел было придушить насмешника, удержался лишь из боязни скандала, но, когда Лоранс спросила, кто тот молодой человек, который только что прошел мимо них, он презрительно проворчал: «Некий Мио, служит в доме призрения нищих», – рассчитывая тем самым унизить и развенчать франта в ее глазах. Однако девушка мечтательно прошептала:

– Как странно, а я приняла его за парижанина…

– Парижанина? Почему?

– По его манере одеваться.

Последние слова еще больше усилили смятение Александра. Значит, прекрасным полом «манера одеваться» ценится больше, чем мужественная красота, ум и темперамент! А ведь его собственная «манера одеваться» выглядит сейчас всего лишь убогой карикатурой на современную моду! Стараясь хоть как-то поднять свой авторитет в глазах Лоранс, он указал барышне на ров шириной в четыре с половиной метра и заявил, что может перескочить его одним прыжком.

– Уверяю вас, господин Мио такого не совершит, – насмешливо прибавил подросток.

– И правильно сделает, – заметила Лоранс. – Зачем ему это надо?[19]

Что было Александру делать, услышав такие слова? Кровь бросилась ему в голову. Надеясь все-таки вызвать восхищение равнодушной красавицы, он перескочил через ров, приземлился, согнув колени, по ту сторону, – и в то же мгновение услышал жалобный треск – задний шов его штанишек, не выдержав испытания, треснул по всей длине. Невозможно продолжать любезничать с такой неприличной дырой на одежде, больше того – невозможно и открыть парижанке истинную причину своего смущения. Единственное, что оставалось, – бежать как можно скорее, бежать без объяснений, оправданий и извинений.

Бросив на месте недоумевающую Лоранс, мальчик со всех ног припустил к дому и стал умолять Мари-Луизу спасти его от позора. Взяв в руки иглу, она принялась зашивать штаны, а сын тем временем переминался рядом с ноги на ногу, дрожа от нетерпения, сверкая голым задом и сгорая от стыда. Едва мать закончила работу, он поспешно оделся, залпом проглотил стакан сидра, чтобы взбодриться, и помчался назад. К тому времени как

Александр, совсем запыхавшись, подбежал к замку, бал уже начался. Лоранс танцевала с Мио. Стоя в углу, Александр подробно изучал наряд соперника: обтягивающие брюки цвета кофе с молоком, замшевый жилет с резными золотыми пуговицами, коричневый фрак с высоким воротом и сапоги со складочками на подъеме. Золотой лорнет, болтавшийся на тонкой стальной цепочке, и необычные брелоки, подвешенные к кошельку, дополняли этот образ мужского совершенства. Ну, и как соревноваться с подобной картинкой из журнала мод, когда на тебе короткие штаны, кое-как зашитые сзади? Александра душила безмолвная ревность, а Лоранс тем временем жеманно мурлыкала в объятиях своего роскошного кавалера… Наконец контрданс закончился, Мио проводил девушку к ее стулу и, проходя мимо юного неудачника, насмешливо бросил, усугубив его смущение: «Вот так-то, дружок, щеголять в коротких штанишках!» Зато Лоранс, то ли из вежливости, то ли из сочувствия, казалось, обрадовалась возвращению своего простодушного чичисбея. Она боялась, что он почувствовал недомогание… а может быть, просто отправился домой за перчатками? В самом деле, всем ведь известно, что танцевать с голыми руками неприлично! Александр, которого вкрадчивый голос барышни таким образом призвал к порядку, покраснел, растерялся, бессвязно пробормотал несколько слов, потом, оглянувшись, он заметил друга-парижанина, Фуркада, который как раз в эту минуту натягивал перчатки, подлетел к нему и тихонько спросил, нет ли у него про запас еще одной пары, а если есть, не одолжит ли Фуркад ее ему. У Фуркада, человека предусмотрительного, в самом деле оказались в кармане запасные перчатки, которые он отдал новичку. Поблагодарив приятеля за великую услугу, Александр предложил Фуркаду стать его визави в следующем контрдансе. Тот согласился и пригласил пышнотелую темноволосую Витторию, в то время как сам Александр склонился перед стройной белокурой Лоранс. Девушки охотно согласились танцевать, собираясь потешиться над своими кавалерами. Но, едва раздались первые такты музыки, Александр ошеломил Лоранс легкостью движений. Поверив в себя, он решился затем пригласить на вальс испанку. Когда и Виттория похвалила его чувство ритма и ловкость, он окончательно расхрабрился и признался в том, что вообще-то научился танцевать вальс давно, еще в год своего первого причастия, но аббат Грегуар, ревностно оберегавший целомудрие ребенка, вверенного его заботам, требовал, чтобы тот вместо партнерши держал на уроках танцев в объятиях… стул. Рассказ испанку позабавил, и она целиком отдалась наслаждению

головокружительного танца. Александр впервые видел так близко настоящую барышню, он впервые получил возможность так тесно прижимать к себе существо противоположного пола. Иногда локон, выбившийся из прически Виттории, касался лица мальчика. Он упивался благоухающим дыханием девушки, не мог оторвать глаз от ее обнаженных плеч, дрожащей рукой ощущал изгиб ее поясницы. «Это дыхание, эти волосы, это исходившее от нее ощущение женственности за несколько минут сделали меня мужчиной», – написано об этом вечере Дюма в мемуарах.

…Оркестр умолк, и Александр, не в силах совладать с охватившим его волнением, прошептал: «Мне намного приятнее вальсировать с вами, чем со стулом!» Виттория в ответ весело рассмеялась: похоже, девушка нисколько не рассердилась на него. Что же, проиграл он или выиграл? И кого он любит теперь, Витторию или Лоранс? Мальчик ничего не понимал, лицо у него горело, сердце пылало. А подруги теперь оспаривали одна у другой удовольствие танцевать с ним… Однако ослепление своим внезапным успехом не помешало ловкому танцору в конце концов догадаться, что для девушек он всего лишь «ничего не значащая игрушка, что-то вроде волана, которым можно беззаботно перекидываться»,[20] – и рана, нанесенная его честолюбию одновременно с познанием любви, показалась ему первым шагом к тому миру, в котором человек обречен страдать даже от счастья.

В ближайшие за тем дни он поклялся себе соблазнить Лоранс, которая казалась ему все же более привлекательной, чем Виттория. Но для того чтобы произвести на девушку впечатление, необходимы были мягкие сапоги и обтягивающие брюки, как у Мио. Александр попытался объяснить матери, как важно для человека, который стремится занять видное положение в управлении, или правосудии, или даже торговле, одеваться по последней моде. Мать спорила, возражала, но пришлось в конце концов уступить – ведь удовольствие сына всегда было для Мари-Луизы превыше всего, и если он не радовался, то и ей самой все было не в радость. Сапоги оплатят в рассрочку, одежду для первого причастия быстренько переделают в соответствии с требованиями моды. Полагаясь отчасти на искусство портного и сапожника, отчасти на поучительный пример шевалье де Фобласа, Александр с успехом одолел еще остававшиеся сомнения в том, что вскоре крепость – Лоранс – сдастся на милость победителя. Пока для него шили мундир обольстителя, он время от времени встречался с ней, довольствуясь своей повседневной одеждой, прогуливался в сумерках, порой осмеливался даже прикоснуться к ее локтю или поцеловать кончики пальцев. Сделавшись же наконец счастливым

обладателем сапог и обтягивающих штанов, тотчас бросился к аббату Грегуару, в доме которого жила Лоранс.

Оказалось, что она только что вышла, оставив для поклонника записку. Прочитав и перечитав изящно начертанные строки несколько раз, Александр едва не лишился чувств.

«Дорогое мое дитя, вот уже две недели, как я постоянно упрекаю себя за то, что решилась злоупотребить любезностью, которую вы считаете себя обязанным проявлять по отношению к моему дядюшке, весьма неделикатно попросившему вас быть моим кавалером, – ведь какие бы усилия вы ни прилагали, чтобы не показать, насколько вам скучны и досадны занятия, до которых вы еще не доросли, я заметила, что нарушаю уклад вашей жизни, и корю себя за это. Возвращайтесь же к вашим юным товарищам – они с нетерпением ждут вас, чтобы побегать наперегонки или поиграть в камушки. Обо мне не беспокойтесь: на то время, что мне осталось провести в доме дяди, я приняла предложение руки господина Мио. Позвольте, милый мальчик, выразить вам мою благодарность за вашу любезность и поверьте, что я искренне вам признательна.

Лоранс».[21]

Вместо того чтобы разозлиться на ветреницу, Александр обрушил свой гнев на того, кого она ему предпочла. Он вызвал Мио на дуэль письмом, составленным в крайне резких выражениях, но назавтра же вместо ответа получил пучок розог с приложенной к нему визитной карточкой противника. Всему городу сразу стало известно, каким образом взрослый остроумный человек проучил не в меру разошедшегося мальчугана. Сам нотариус Меннесон потешался над этой историей вместе с другими клерками. Александру оказалось не под силу вынести подобное унижение: он заболел и слег в постель. Доктор Лекос нашел у него воспаление мозга, но заверил, что при начатом вовремя лечении недуг пройдет без всяких последствий. Нежная забота матери помогла Александру простить и забыть нанесенную ему обиду, но он постарался затянуть свое выздоровление и не выходил из дома до тех пор, пока обе парижанки не отбыли в столицу.

Надо сказать, что пережитое мальчиком любовное разочарование нисколько не отбило у него охоту продолжать, наоборот – разожгло в нем интерес к женщинам. Только теперь он смотрел на них другими глазами, не так, как прежде. Теперь он старался под платьями угадать заманчивую наготу. Все существа женского пола отныне представлялись ему дичью наподобие той, которую он так хорошо умел выслеживать и ловить в лесах, а Вилле-Котре – редкостным заповедником, полным красивых

девушек. И все такие разные! Вот Луиза Брезетт, племянница его учителя танцев, вот черноволосая Альбина Арди и белокурая Аглая Телье, а вот – Жозефина и Манетт Тьерри, одна розовая и пухленькая, другая – хохотушка, то и дело выставляющая напоказ зубки и кончик язычка… Александру есть из кого выбирать! Но вот вопрос: нравится ли он сам этим невинным девушкам так же сильно, как нравятся ему они? К шестнадцати годам кожа его сделалась чуть более смуглой, а во взгляде, как казалось самому юнцу, появилось нечто африканское. Уж не превращается ли он потихоньку в негра? Что ж, в утешение остается только твердить себе, что с возрастом он начинает все больше походить на отца. Впрочем, как бы там ни было, у тех красоток, на которых Александр с вожделением поглядывал, чаще всего уже были постоянные поклонники. Самым мудрым решением было бы, конечно, затаиться и выждать, пока та или другая отделается от надоевшего чичисбея.

Надежды юного ловеласа отчасти оправдались. Аглая Телье, мечтавшая выйти замуж за сына одного из богатых местных фермеров, только что пережила глубокое разочарование: родители юноши воспротивились браку. И вот девушка свободна, а стало быть – готова к новым приключениям! То обстоятельство, что Аглая была четырьмя годами старше самого Александра, последнего нисколько не смущало, – напротив, он видел в этом залог наслаждений более утонченных, чем те, какие могли бы его ожидать с девчушкой-ровесницей. Теперь он что ни вечер присоединялся к компании молодых людей и девиц, в которой была и Аглая, все они прогуливались в парке, разбившись на парочки, перешептывались и в полумраке позволяли себе кое-какие вольности. И Александр тоже, прижимаясь к девушке, осмеливался дотронуться до тех местечек, куда она его допускала. В десять часов развлечения заканчивались: кавалеры провожали своих барышень по домам, каждая парочка шла медленным шагом, взявшись за руки. Оказавшись у порога родного дома, девушка одаривала спутника последней на сегодня милостью: они усаживались на скамью у дверей и, вздыхая, осыпали друг друга поцелуями. Когда же из-за двери слышался сердитый голос матери, напоминавшей легкомысленной дочке о том, что давно пора ложиться спать, последняя послушно отвечала: «Да-да, мама, уже иду!» – но на самом деле шла домой лишь после десятого напоминания.[22]

Выдержав затянувшиеся на несколько месяцев препирательства, Александр, все сильнее жаждавший независимости, добился наконец от матери согласия на то, чтобы спать в отдельной комнате. Аглая, со своей стороны, выпросила

разрешение ночевать в беседке, стоявшей в дальнем конце сада. Но, хотя теперь ее воздыхатель мог беспрепятственно приходить к ней поболтать и обменяться невинными поцелуями, она неумолимо прогоняла его ровно в одиннадцать вечера. Ждать пришлось целый год: только спустя такой долгий срок Аглая согласилась снова открыть дверь в половине двенадцатого. Но ждать стоило! Едва Александр ступил на порог, как почувствовал прикосновение горячих губ к своему рту, и голые руки обвили его шею, призывая к более смелым ласкам. Истомившаяся за долгие месяцы полуцеломудрия, девушка уступила со стонами, слезами и блаженными вздохами. Но если подросток торжествовал победу и не мог опомниться от радостного изумления – он по-настоящему обладал женщиной! – то она, лишившись невинности, испытывала только тревогу и раскаяние. Аглая сожалела о потерянной девственности – и в то же время не без удовольствия думала о том, что такие порывы восторга и распутства будут отныне повторяться так часто, как ей захочется.

В три часа ночи довольный Александр тихо, словно вор, прокрался домой. Мать не спала, она ждала его, сидя у окна, прижав руки к сердцу и вглядываясь в темноту полными слез глазами. Мари-Луиза догадывалась, что тут любовное приключение, и заготовила для сына выговор, намереваясь призвать его к порядку, однако у нее не хватило смелости произнести эту речь. Поняв, что за несколько ночей вчерашний мальчик превратился в мужчину, Мари-Луиза отослала его спать, с нежной грустью вспоминая о тех временах, когда ничто, кроме охоты, ребенка не занимало. И Александр отныне по три раза на неделе тайно наведывался к подруге, вот только, чтобы не проходить под окнами ее матери, предпочитал обходной путь, перелезая через каменную ограду. Ему удалось приручить сторожевую собаку Телье, грозного Муфтия, задобрив его куриными косточками. Цербер не ворчал даже тогда, когда ночной гость спрыгивал со стены. Но однажды, когда Александр, только что расставшийся с возлюбленной, спешил домой, на него набросился незнакомец с черным, вымазанным сажей, лицом и поколотил его палкой. Был ли то бродяга, намеревавшийся ограбить ночного прохожего, или соперник, завидовавший успеху юнца у Аглаи? Поди разбери в потемках! Александру, более проворному, чем противник, удалось обезоружить того и повалить на землю, а потом, когда нападавший вскочил и замахнулся ножом, заломить ему руку за спину и разбить голову. Назавтра, снова отправляясь на любовное свидание, он из осторожности запасся карманным пистолетом. Опасаясь, как бы раненый не указал на место их стычки – в двух шагах от дома

Аглаи, которую вся эта история могла бы скомпрометировать, – он рассказывал направо и налево, что вот, мол, случилось то-то и то-то, но совсем в другом квартале Вилле-Котре, неподалеку от жилища нотариуса Пьера Александра Лебега. А у нотариуса была жена – красивая, остроумная и кокетливая Элеонора, урожденная Девиолен, в которую Александр когда-то был немного влюблен, хотя и без малейшей надежды на взаимность. И тотчас же по городку поползли слухи: все решили, будто молодой Дюма – любовник супруги нотариуса. Предположение было настолько лестным для Александра, что он не стал его опровергать. Однако слухи дошли до мэтра Лебега, и тот, до сих пор весьма благосклонно относившийся к семейству Дюма, сразу закрыл свою дверь как перед сыном, так и перед матерью. Элеонора же, несправедливо заподозренная в супружеской измене, не только отвернулась от Александра, но и прилюдно назвала его хвастуном, лгуном и трусом. Конечно, огорчение такой резкой переменой в отношении к нему красивой и порядочной женщины было очень сильным, но Александр нашел себе великолепное оправдание: ему ведь следовало любой ценой защитить честь своей настоящей любовницы! Так какое же ему дело до того, что мэтра Лебега называют рогоносцем, а его жену обвиняют в измене! Главное, чтобы все это не коснулось Аглаи! Лишь много лет спустя, припомнив эту неприглядную историю, Дюма скажет о ней в своих мемуарах: это «единственный дурной поступок, в котором я могу себя упрекнуть за всю свою жизнь». И прибавит: «Я могу смело сказать всему остальному человечеству, всем мужчинам и женщинам: посмотрите на меня и попробуйте заставить меня покраснеть!»

Глава IV
Зов театра

И как только иные ворчливые жители Вилле-Котре осмеливаются утверждать, будто их городишко расположен на краю света и там никогда ничего не происходит?! Александр был настолько любопытен и любознателен, что ничтожнейшее из местных событий давало ему повод для новых открытий и удивления. Завсегдатай сельских праздников, он никогда не упускал случая повеселиться и всегда старался подстроить все так, чтобы потанцевать с Аглаей.

Как-то в воскресенье, отправляясь на очередной деревенский бал, он встретил по дороге знакомую молодую женщину, Каролину Коллар, ставшую к тому времени баронессой Каппель. С ней был молодой иностранец – похоже, ровесник Александра, высокий, худощавый, смуглый, с коротко остриженным ежиком темных волос, с аристократическими манерами, в туго натянутых и великолепно сшитых небесно-голубых панталонах. Каролина их познакомила. Ее спутником был виконт Адольф Риббинг де Левен, сын графа Адольфа-Луи Риббинга де Левена, вельможи, причастного к убийству Густава III, короля Швеции. Вот неожиданность-то – встретить в Вилле-Котре потомка такого прославленного человека! Адольфу-старшему после того, как он совершил преступление, пришлось бежать сначала в Швейцарию, затем в Бельгию и, наконец, во Францию! В Париже он подружился с семьей Коллар. Разве не может все это служить двойной рекомендацией? Сын генерала Дюма и сын шведского цареубийцы мгновенно почувствовали, что между ними зародилось взаимное влечение, и Каролина, убедившись в том, что молодые люди поладили друг с другом, пригласила Александра погостить несколько дней в замке ее родителей, Вилле-Элон, где ненадолго остановился обворожительный Адольф. Александр нашел эту мысль превосходной, однако Аглая не разделила его восторгов из опасения, как бы он, оказавшись вдали от нее, не поддался чарам какой-нибудь безмозглой, но титулованной болтушки. Стремясь развеять опасения подруги, юноша заверил ее в том, что верность его непоколебима, и постарался внушить, что его собственное будущее всецело зависит от того, сколько и каких связей он сумеет завязать в свете. Она неохотно уступила, посоветовав возлюбленному быть поосторожнее в отношениях с незнакомками.

На самом деле Александра в замок Вилле-Элон притягивали

не женские лица, какими бы прелестными они ни оказались, но непринужденные манеры и вдохновенный облик Адольфа де Левена. Этот юноша не только умел себя держать, не только производил сильное впечатление своей внешностью, он еще и писал стихи и посылал их девицам, чьей благосклонности надеялся добиться. Несколькими месяцами раньше старший клерк Огюст Лафарж уже открыл Александру таинственную власть поэзии, теперь же молодой Дюма млел от восхищения, преклоняясь перед талантами нового друга. Восторженно читая его элегии, он все больше проникался мыслью о том, что человек, владеющий пером, может завладеть и сердцами.

Тем не менее, когда Адольф, успевший покорить всех окружающих, снова уехал в Париж, Александр недолго тосковал в разлуке: едва утратив друга, он тотчас нашел себе нового, сумевшего затмить прежнего. Еще не окончательно выйдя из-под обаяния юного шведа, Дюма увлекся офицером в отставке по имени Амеде де Ла Понс, приехавшим в Вилле-Котре с тем, чтобы, обосновавшись в городе, выгодно жениться и жить на ренту. Несмотря на то что Амеде де Ла Понс был двенадцатью годами старше Александра, он привязался к нему, удивился тому, что ум молодого человека настолько неразвит, и выбранил как следует за разбросанность и безделье. «Поверьте мне, дорогой мой мальчик, – говорил Амеде, – в жизни есть и другие вещи, не только удовольствие, любовь, охота, танцы и безумные увлечения молодости! Есть еще и труд! Научитесь трудиться… это необходимо, потому что это означает научиться быть счастливым!»[23]

Мысль о том, что труд может сделать счастливым, ошеломила Александра. Он-то думал, что, стараясь ускользнуть от скучных повседневных обязанностей, обретает надежду развлечься. Тем не менее уверенный тон наставника произвел на него впечатление, и он согласился проделать над собой опыт. Более того – он с радостью принял предложение старшего друга, который готов был давать ему уроки немецкого и итальянского языков. От изучения иностранных языков пользы мало, думал юноша, но это дает приятную возможность путешествовать, не покидая своей комнаты.

Читатель уже знает, что Александра всегда привлекало все новое. Детство его прошло под рассказы о легендарном, героическом и волевом отце, чья жизнь была заполнена приключениями, а выросши, он уже и сам не мог представить для себя будущего без ярких вспышек, без театральных эффектов. Он больше полагался на смелость, чем на умение, рассчитывал больше на удачу, чем на логику, верил в слепой случай больше,

чем во вмешательство всеведущего Господа Бога. Крепкое сложение и пылкая фантазия молодого человека создали у него иллюзию, будто он – некая стихийная сила, что-то вроде неудержимого потока, увлекающего за собой щепки, или ветра, сгибающего вершины деревьев. Но, может быть, это горячая кровь предков с берегов Сан-Доминго заставляла Александра любить все чрезмерное и опасное? Он нередко говорил себе, что рожден стать таким же генералом, как и его славный родитель. Он готов был последовать примеру отца – вот только к этому времени закончились великие войны, которые давали возможность отчаянным смельчакам утвердить свое превосходство над недотепами, – так куда же ему приложить свои силы? Какое занятие выбрать, чтобы дать выход кипящей в нем энергии, чтобы использовать ее наилучшим образом? Литература? Почему бы и нет? Генерал, отдающий приказы армии писателей, – это, пожалуй, ему подошло бы!

Как-то раз труппа молодых актеров, разъезжавшая с гастролями, остановилась в Суассоне, чтобы дать представление «Гамлета» в бездарном стихотворном переложении Дюси. Александр никогда не читал трагедии Шекспира, да и вообще не имел о нем ни малейшего понятия. «Трудно представить себе более невежественного человека, чем был я в те времена, – расскажет он впоследствии в мемуарах. – Матушка пыталась заставить меня прочесть трагедии Корнеля и Расина, но должен, к стыду своему, признаться, что мне было нестерпимо скучно их читать… Я был в полном смысле слова дитя природы; все, что меня забавляло, было для меня хорошим, все, что заставляло скучать, – плохим». Несмотря на свои предубеждения, мать и сын решили посмотреть этого суассонского «Гамлета», в афише прямо названного трагедией. Слово «трагедия» неприятно напоминало Александру нудных классиков, которыми его пытались пичкать с детства. Оба, и Мари-Луиза, и он сам, собираясь в театр, намеревались всего-навсего выйти из дому, провести вечер «в городе», побыть в приятной обстановке. Однако едва поднялся занавес, Александр испытал настоящее потрясение: пьеса захватила его целиком. Ему казалось, будто все то, что он видит и слышит, придумано им самим, причем в состоянии какого-то умопомешательства. В разгоряченной голове юноши сцены наползали одна на другую, перемешивались без всякого хронологического порядка. Упреки, обращенные Гамлетом к матери, страшный монолог принца у могилы шута Йорика, призрак убитого отца, которого мог видеть только сын, смерть Офелии – все нравилось ему в этом фантастическом кипении бушующих страстей. На сцене один внезапный поворот судьбы

сменялся другим, а ему представлялось, будто все это сочинил он сам или, по крайней мере, мог бы сочинить – настолько пьеса отвечала его пристрастию к необузданным речам и резким переменам.

Александр вышел из театра совершенно другим человеком. Решение было принято. Драматургом – вот кем ему следует стать! На следующий же день он попросил друга-парижанина прислать текст «Гамлета». Тоненькая книжка сделалась его настольной книгой, он читал ее постоянно, словно молитвенник, и вскоре выучил наизусть главную роль. Отныне юноша не чувствовал себя одиноким: Шекспир крепко держал его за руку, уверенно вел по жизни. Вспыхнувшая в нем страсть была так велика, что он уговорил нескольких друзей из Вилле-Котре создать любительскую труппу. Адольф де Левен, как нельзя более кстати вернувшийся из Парижа, пришел в восторг от этой затеи. И Александр, осмелев от его поддержки, предложил старшему другу сыграть в Вилле-Котре те его пьесы, от которых отказались в других местах: дескать, это станет проверочным испытанием перед триумфальным движением театральной труппы к столице. Но в душе будущий писатель дал себе клятву, что и он непременно напишет те пьесы, замыслы которых уже пришли недавно ему в голову, больше того – сам же в них сыграет. Можете на него положиться! Завербованные им в любительскую труппу молоденькие актрисы – среди них были Аглая, Альбина Арди, Луиза Брезетт – безоглядно в него поверили, он им нравился во всех отношениях, а большего и не требовалось. Адольф де Левен присоединился к компании. На первом этаже пустующего дома позади гостиницы «Шпага» поспешно обустроили театральный зал. Лесоторговец подарил молодежи досок, чтобы сделать скамьи для зрителей. Сокровища из семейных сундуков и шкафов были отданы на разграбление ради изготовления костюмов. Жители Вилле-Котре, да и всей округи пришли в неописуемое волнение. Патриотизм местного населения разгорелся до невозможности. Вместе с ним – и любопытство. А неутомимый Дюма, назначив себя одновременно и постановщиком, и актером, тем временем регулярно проводил репетиции. Он указывал каждому, с какой интонацией ему говорить, как встать, как сесть, как держаться, как себя вести… И никто не смел ему противоречить, никому и в голову не пришло бы спорить – власть «режиссера» была безгранична. Адольф де Левен только удивлялся, глядя на этого восемнадцатилетнего юношу, который почти ничего не читал и, можно сказать, никогда не бывал в театре: откуда только у него взялось понимание сцены? Неужели оно врожденное?

Первые представления стали событием для всего городка. Поскольку в Вилле-Котре развлечений было немного, зал каждый вечер был полон до отказа, но зрители, похоже, аплодировали больше из дружеских чувств, чем от восторга. Однако, несмотря на умеренный прием сограждан, Александр не унимался. Переиграв все, какие мог, чужие пьесы, он вознамерился предложить публике тексты собственного сочинения. Вместе с Адольфом де Левеном набросал несколько водевилей в стихах. Увы! В 1821 году его блестящему соавтору – вместе с отцом, который рассчитывал на благосклонность Людовика XVIII, – пришлось вернуться в Париж. Но все-таки в багаже младший де Левен увозил целую кипу рукописей – пьесы, сочиненные им совместно с Александром: «Страсбургский майор», «Дружеский ужин», «Абенсераги»… Не может быть, чтобы хоть один из этих шедевров не привлек внимания директора какого-нибудь театра!

После отъезда «парижанина» театральный зал в Вилле-Котре опустел, и Александр начал томиться нетерпением и вынужденным бездействием. Что стало с водевилями, которые он сочинил вместе с другом, как там Адольф? Каждый день он надеялся, что наконец-то придет письмо с утешительными вестями, но тщетно – Париж безмолвствовал. Еще одно огорчение: он потерял место рассыльного в конторе мэтра Меннесона: должно быть, перегнул палку, слишком часто прогуливая, слишком небрежно обращаясь с документами – и терпение хозяина лопнуло. Наконец, самое горькое разочарование: нежная Аглая, устав слушать обещания возлюбленного с пустыми карманами и опасаясь, как бы ей не остаться старой девой, в двадцать три года стала женой владельца кондитерской, Никола Луи Себастьена Аннике, который был тринадцатью годами старше ее.

Удрученный «предательством» возлюбленной, Александр не пожелал в «черный день» ее свадьбы остаться в Вилле-Котре. Покинув на время злополучный городок, где его постигло столько неудач, он уговорил одного из друзей отправиться на охоту в лес. Там они, расставив силки, заночевали в шалаше, а утром принялись охотиться. Александр срывал злость на ни в чем не повинных тварях, без разбору убивая всех, кто только попадался под руку. Ближе к вечеру он услышал звуки скрипки, взрывы смеха и увидел, как среди деревьев пронеслась веселая свадьба с приплясывающим деревенским музыкантом во главе. Конечно же, это было свадебное шествие Аглаи и ее пирожника…

Обманутый как в своих любовных надеждах, так и в честолюбивых театральных замыслах, Александр больше не находил в жизни ни радости, ни смысла, ни удовольствия. А

Мари-Луиза страдала, глядя на то, какой сын стал несчастный и неприкаянный. Только честный труд может излечить мальчика от меланхолии, решила любящая мать, и принялась усердно обивать пороги. Ее старания увенчались успехом: для сына удалось найти место младшего помощника в конторе мэтра Пьера Никола Лефевра, нотариуса из Крепи-ан-Валуа. Александр без особой радости согласился и отбыл из дома.

Место, в общем-то, оказалось неплохим: у него был кров над головой, его досыта кормили, и по вечерам он мог сколько угодно заниматься сочинительством в своей каморке, расположенной прямо над конторой. Мог-то мог, да только вдохновение его покинуло, а прежние сомнения вернулись и принялись точить юношу с удвоенной силой. Можно было подумать, будто без друга Адольфа де Левена и любимой своей Аглаи он вовсе не способен распорядиться собственной жизнью! Совершенно ясно, думал Александр, что, прозябая вдали от Парижа, никогда не сочинить чего-то такого, что можно напечатать или сыграть на сцене.

В один прекрасный день его навестил Пьер Ипполит Пайе, прежде служивший старшим помощником у мэтра Меннесона, и Александр поделился с приятелем своими любовными горестями и писательскими разочарованиями. Подумать только, мэтр Лефевр – человек, впрочем, во всех отношениях превосходный – завтра уедет в Париж, где собирается пробыть целых три дня, а он, Александр, который уже совершенно извелся, пропадая здесь, в этой глуши, должен все это время изнывать от тоски, переписывая скучнейшие брачные контракты и завещания! Но пока «неудачник» жаловался на судьбу, ему пришла в голову удивительная мысль. А почему бы ему не воспользоваться этой – будь она благословенна! – отлучкой мэтра Лефевра для того, чтобы и самому потихоньку сбежать в столицу, провести там двое суток и так же незаметно вернуться как раз к возвращению хозяина? Никто ни о чем и не догадается! Собеседник, с которым он поделился внезапно осенившей его идеей, весело рассмеявшись, сказал, что ему страшно нравится мысль вот так сбежать вдвоем, только где взять денег на дорогу? У Пайе при себе было только двадцать восемь франков, у Александра и того меньше – всего-навсего семь. Но ведь для Дюма не существовало безвыходных положений, уж он-то всегда придумает, как извернуться! Ничего страшного, решил Александр, по дороге они станут браконьерствовать, все, что сумеют настрелять, продадут какому-нибудь парижскому трактирщику, и этих денег хватит на то, чтобы заплатить за номер в гостинице.

«План Дюма» был в точности приведен в исполнение. Александр сел на лошадь позади Пайе, и друзья тронулись в путь.

Раз двадцать молодые люди спешивались и стреляли по всему, что шевелилось в зарослях. К тому времени, как они добрались до Парижа, им удалось разжиться четырьмя зайцами, четырьмя куропатками и парой перепелов. После долгих переговоров удалось сторговаться с хозяином гостиницы «Старых Августинцев» на улице, носившей то же имя:[24] он согласился в обмен на содержимое ягдташей предоставить друзьям стол и кров на двадцать четыре часа. Сделка состоялась, и Александр в полном изнеможении, но упоительно счастливый, повалился на постель, поздравляя себя с тем, что одержал первую победу.

Назавтра он с самого рассвета пустился бродить по огромному незнакомому городу в поисках площади Пигаль, где обитала семья Левен. Где-то посреди своих скитаний остановился у здания Французского театра и прочел на афише, что вечером здесь будут давать «Суллу», трагедию господина де Жуи в пяти актах. Внизу было крупными буквами приписано: «В роли Суллы выступит господин Тальма». Александр, до которого и в его провинциальной глуши дошли слухи о великом актере, не колебался: он непременно должен увидеть этот спектакль, пусть даже ему придется отдать за билет последние гроши. Но, может быть, Адольф, у которого всегда в запасе есть какое-нибудь средство, что-то придумает, как-нибудь ему поможет? Раз двадцать переспросив дорогу у прохожих, он в конце концов отыскал жилище Левенов и в девять утра ворвался в спальню друга, который еще спал – должно быть, после ночи безудержного распутства.

Адольфа, которого ранний гость нетерпеливо растолкал, немало позабавило простодушное волнение юноши, и он пообещал Александру представить его Тальма, с которым он был лично знаком и который, несомненно, мог им дать бесплатные билеты на вечернее представление.

Нетерпение достигло предела – и друзья без промедления отправились к Тальма. В одиннадцать часов они уже звонили у дверей дома на улице Тур-де-Дам, которому выпала честь дать кров великому актеру.

Их провели к Тальма, который в это время был занят утренним туалетом: плескал водой себе на грудь, энергично растирал почти наголо остриженную голову. Узнав, что новоприбывший – сын генерала Дюма, он величественно, словно в тогу, завернулся в купальное полотенце, в нескольких словах рассказал о давней встрече с героем наполеоновских войн и протянул руку юному поклоннику. Александр, находившийся от всего происходящего в полном смятении, хотел было эту руку поцеловать, но Тальма, которого нисколько не тронуло волнение,

вызванное им в душе молодого человека, высвободился и тут же выписал контрамарку на двоих.

Выйдя из дома великого актера, Александр от радости спотыкался на каждом шагу. Однако Адольф, которому подобные милости были не в новинку и даже несколько наскучили, сомневался в том, сумеет ли он освободиться, чтобы пойти на спектакль. У него, по его словам, было столько приглашений от всяких людей из литературного и театрального мира, что он уже и не знал, куда податься, но в конце концов согласился пожертвовать сегодняшним вечером в угоду своему пылкому другу. Больше того, пригласил его позавтракать; что касается обеда, то Александр собирался пообедать вместе с Пайе у «Старых Августинцев». И пообедал: в обмен на двух зайцев и четырех куропаток они получили суп, филе с оливками и ростбиф с картошкой, – после чего, с набитым животом, но ясным умом Александр явился к Адольфу в Королевское кафе, излюбленное место встречи писателей, откуда они направились в театр.

Зал был переполнен. Над океаном голов перелетал нетерпеливый шепот. Но вот наконец занавес поднялся…

С первых же реплик Александр был совершенно заворожен: прежде всего, конечно, самой пьесой, поскольку отречение Суллы трагически напоминало об отречении императора, но никак не меньше – внешностью Тальма, который сделал себе грим Наполеона, а главное – его талантом, соединением мощного голоса с искренностью чувства. В самом деле, Тальма был врагом той напыщенной декламации, которой так страдала французская сцена, и стремился и в величии оставаться простым. Он не играл драматическую ситуацию, он проживал ее в полную силу – так, словно все слова до последнего только что родились в его душе, и Александр, несмотря на свой небольшой театральный опыт, понимал это. Зрители, сидевшие рядом с ним, тоже, как ему казалось, были потрясены мастерством актера и всеми теми воспоминаниями о славном и трагическом прошлом Франции, которые он вызвал в них под прикрытием образа Суллы.

Когда последний, пятый акт закончился и под гром аплодисментов и оглушительные крики «Браво!» опустился занавес, Александр, не переставая хлопать в ладоши, вскочил на кресло. Адольф, растроганный восторгом друга, предложил отвести его в уборную Тальма. Несколько минут они пробирались через лабиринты коридоров, и вот наконец перед ними святая святых.

В уборной было полно народа. Все парижские знаменитости столпились здесь, в тесной комнате царила радостная сумятица. Тальма, только что сменившего пурпурную императорскую

мантию на белый домашний халат, окружали Казимир Делавинь, Люсьен Арно, Непомусен Лемерсье, Вьенне и Жуи, автор «Суллы», пьесы, только что сыгранной с таким триумфом. Нимало не смутившись при виде этой блестящей когорты, Адольф заявил:

– Тальма, это мы – пришли вас поблагодарить.

И прибавил, что его спутник, Александр Дюма, как и он сам, Адольф, намерен посвятить себя литературе. Александр, в свою очередь, сбивчиво пробормотал какие-то восторженные слова, в ответ на что Тальма великодушно предложил:

– В таком случае вам надо снова прийти ко мне и попросить билеты на другое представление.

– Это невозможно, – вздохнул Дюма, – мне надо возвращаться в провинцию.

– А что вы делаете в провинции?

– Мне совестно вам в этом признаться: служу помощником нотариуса.

– Ничего, – улыбнулся Тальма, – не надо отчаиваться. Корнель был помощником прокурора.

И, повернувшись к кучке поклонников, воскликнул:

– Господа, позвольте представить вам будущего Корнеля!

Лестная шутка, которую слышали столько выдающихся людей, столько знаменитостей, вознесла Александра на седьмое небо. Он залился краской и, охваченный внезапной смелостью, тихонько попросил:

– Прикоснитесь к моему лбу, это принесет мне удачу.

Тальма, не заставляя просить себя дважды, возложил руку на голову юноши и провозгласил торжественным тоном, достойным репертуара Французского театра:

– Да будет так: я нарекаю тебя поэтом во имя Шекспира, Корнеля и Шиллера… Возвращайся в провинцию, трудись в своей конторе, и, если у тебя действительно есть призвание, ангел поэзии сумеет тебя отыскать, где бы ты ни был.

Услышав слова, которые заставили его окончательно потерять голову от благодарности, Александр схватил руку великого Тальма и на этот раз осмелился-таки поднести ее к губам.

– Ну, что ж! – воскликнул актер. – Мальчик полон воодушевления, из него выйдет толк![25]

На этом аудиенция закончилась. После оказанного им в театре ласкового приема друзья снова оказались на площади Пале-Рояль, к этому времени затихшей, опустевшей и темной. Александр, все еще очарованный великолепной простотой Тальма, поблагодарил Адольфа, которому был обязан столь великим счастьем, и объявил, что теперь его будущее совершенно

определилось.

– Можешь не сомневаться, – сказал он другу, – я вернусь в Париж, это уж точно!

Молодые люди расстались, и Александр, чувствуя себя потерянным в ночном Париже, нанял фиакр, чтобы добраться до улицы Старых Августинцев, которая, впрочем, оказалась совсем рядом – он вполне мог дойти пешком. Между тем поездка обошлась ему в пятьдесят су – до чего нелепая трата! Но ничего не поделаешь – ради такого вечера стоит потратиться!

Вернувшись в гостиничный номер, он застал там Пайе, который к тому времени тоже успел вернуться из Оперы, где слушал «Волшебную лампу». Они обменялись впечатлениями, потом подсчитали, сколько осталось наличности: в общем кошельке лежало всего-навсего двенадцать франков – явно недостаточно для того, чтобы продолжить приятный отдых в столице… Что ж, друзья без всякой радости решили на следующий же день возвратиться в Крепи-ан-Валуа.

Александр надеялся, что мэтр Лефевр все еще путешествует, но, явившись в контору, узнал, что нотариус неожиданно вернулся прошлой ночью. Объяснение с хозяином было неминуемо, и оно произошло в тот же вечер, после ужина. Мэтр Лефевр упрекнул младшего помощника за необъяснимую двухдневную отлучку, но сказал, что на этот раз ограничится порицанием. Этот вполне отеческий выговор, казалось, нисколько не должен был задеть Александра. Однако, хотя славный нотариус особенно подчеркивал, что с его стороны речь идет всего только о простом замечании, провинившийся ни с того ни с сего вспылил. Тоном, не допускающим возражений, Дюма заявил, что немедленно увольняется.

Избавившись от ярма и покинув сословие судейских писцов, он мог окончательно отрясти со своих ног прах святилища старых бумаг, в котором мать слишком долго принуждала его томиться. «Великое решение было принято, – напишет он потом. – Отныне мое будущее принадлежало Парижу, и я готов был на что угодно, лишь бы поскорей уехать из провинции».[26]

Уложив вещи, он, беспечный и преисполненный надежд, вернулся в Вилле-Котре. Мари-Луиза, хотя и огорчилась, узнав о том, что он опять потерял работу, все же встретила его с пылкой радостью. Она была совершенно уверена в том, что мальчик добьется успеха. Успеха – в чем? Этого она пока не знала, просто верила в сына. Разве не течет в его жилах кровь героя?

Едва оказавшись дома, Александр тотчас принялся рыться в отцовских архивах, извлек оттуда дюжину писем от разных маршалов и, смахнув с них пыль, решил, что среди этих людей

непременно найдется хотя бы один, способный добыть для сына старого товарища по оружию место на тысячу двести франков в год. Надо будет обойти их всех поочередно, главное – попасть в счастливую минуту. А обойти несложно: почти все они живут в Париже, – вот только нужны деньги на то, чтобы добраться до столицы и пробыть там достаточно времени для подготовки к осуществлению его честолюбивых намерений.

Где же взять эти деньги? С болью душевной Александр уступил своего любимого пса, Пирама, одному англичанину, который давно на него заглядывался. Мари-Луиза, со своей стороны, продала с торгов кое-какие земли, чтобы пополнить кошелек сына. После того как расплатились с долгами, у матери осталось двести пятьдесят франков на то, чтобы продолжать прилично жить в Вилле-Котре, у Александра оказалось пятьдесят франков на то, чтобы завоевать Париж…

Весной 1823 года он распрощался с мэтром Меннесоном, аббатом Грегуаром, Луизой Брезетт, несколькими менее близкими друзьями, простился с матерью, которая едва сдерживала слезы, но старалась улыбаться. Мари-Луизе казалось, будто она снова переживает минуты одного из тех мучительных расставаний, которых так много было в ее жизни – всякий раз, как муж уходил на войну. Сходив на кладбище, поклонившись могиле генерала, она вместе с сыном направилась к гостинице «Золотой Шар», где им предстояло ждать прибытия дилижанса. Около получаса они просидели друг напротив друга, она – опечаленная и встревоженная, он – охваченный радостным нетерпением. Наконец послышался стук колес. Александр и Мари-Луиза обменялись прощальным поцелуем, торопливыми обещаниями. «Ни один, ни другой из нас не видели тогда Бога, – вспомнит Дюма позже, – но, несомненно, Бог был там, и Бог улыбался».[27]

Садясь в почтовую карету, молодой человек чувствовал себя так, словно выходит на сцену. Еще немного – и он услышит аплодисменты публики…

Колымага дрогнула и тяжело стронулась с места. Его мать – маленькая фигурка, еле видная в утреннем тумане, – осталась наедине со своими воспоминаниями. А для него начинается настоящая жизнь! Главное на сегодняшний день – на все надеяться и ни о чем не жалеть.

Глава V
Перо писца и перо писателя

Верный гостинице «Старых Августинцев», Александр и на этот раз расположился здесь. Ночью спал плохо, беспокойно, ворочался с боку на бок, неотступно думая о том, что завтрашний день станет решающим в его жизни, а с рассветом вскочил и побежал к Левенам по воскресным – пустым, тихим и скучным – улицам Парижа. Нигде ни души, у магазинов закрыты ставни, люди сидят по домам и зевают – ничего не поделаешь, новые королевские указы выбора не оставили…

Однако граф де Левен, как оказалось, уже встал. Он прогуливался в своем саду и, узнав, что молодой Дюма приехал «насовсем», немедленно предложил ему приют. Этот образованный, остроумный и влюбленный в свободу человек, который вел раздел иностранной политики во «Французском Курьере» («Le Courrier Français»), был истинным воплощением своей эпохи. Зная о том, что у Александра сложности с работой, что он не может найти себе место, граф посоветовал ему поговорить с Адольфом, который в делах такого рода способен дать дельный совет. Ну и что с того, что сын еще спит, заявил он, самое время вытащить его из постели!

Едва проснувшийся Адольф и впрямь охотно взялся исполнить обязанности консультанта. Он посоветовал другу прежде всего обратиться к тем, кто находится на верхних ступеньках военной иерархии. С его одобрения Александр написал для начала маршалу Виктору – прежнему товарищу по оружию генерала Дюма и нынешнему военному министру – и попросил у него аудиенции. Для большей верности написал затем еще по письму маршалу Журдану и генералу Себастиани. Однако все три прошения пропали даром, все три попытки чего-то добиться провалились самым жалким образом. Виктор ответил, что перегружен работой и не имеет времени с ним встретиться. Журдан сделал вид, будто не верит, что проситель на самом деле сын генерала Дюма, и считает его самозванцем. Что же касается Себастиани – тот, конечно, позволил Александру войти в кабинет, но нимало посетителем не занимался, а вместо этого диктовал письма сразу четырем секретарям. Каждый раз, как генерал приближался к одному из них, чтобы произнести очередную фразу, секретарь, угодливо изогнувшись, протягивал ему золотую табакерку. Взяв понюшку табаку, тот продолжал разглагольствовать, расхаживая по кабинету и словно бы даже не

замечая, что посетитель робко жмется у дверей, надеясь хоть чем-нибудь привлечь внимание великого человека.

Так ничего и не добившись, не сумев заставить себя выслушать, Александр вернулся к Адольфу, и оба друга принялись листать «Альманах двадцати пяти тысяч адресов» – своего рода справочник, содержавший сведения обо всех выдающихся людях страны. Кого выбрать из этого блестящего ряда? К кому обратиться? Александр в конце концов остановил свой выбор на генерале Вердье, который служил когда-то в Египте под началом его отца. Вердье принял юношу любезно, но откровенно объяснил, что сам не в ладах с властью, больше того – его уже отправили в отставку, и что самый верный способ чего-то добиться для человека, желающего заручиться надежной поддержкой, – обратиться к генералу Фуа, который в 1819 году сделался депутатом от Эна и до сих пор пользуется большим влиянием.

Александр принял совет к сведению и на следующий день, едва пробило десять, уже звонил у дверей человека, на которого возлагал свои последние надежды. Он позаботился о том, чтобы запастись рекомендательным письмом господина Данре, депутата от округа Вилле-Котре и друга – хотя и слегка подзабытого – его сегодняшнего собеседника. Запасливость оказалась не напрасной: прочитав письмо, генерал Фуа – человек лет пятидесяти, маленького роста, тощий, с желчным цветом и властным выражением лица – внезапно просиял и сделался на удивление благосклонным к гостю. Должно быть, рекомендации господина Данре затронули в нем какую-то чувствительную струну.

– Вот как, – произнес он, складывая листок, – значит, Данре вас очень любит?

– Почти так же, как любил бы родного сына, – самоуверенно заявил Александр.

Генерал Фуа оценил дерзкий ответ и стал расспрашивать молодого человека о том, что он умеет и к чему у него есть склонности.

– Прежде всего, я должен понять, в чем вы сильны.

– Да ни в чем особенно, – пробормотал Александр.

– Вы сколько-нибудь знаете математику?

– Нет, генерал.

– Но хоть какое-то понятие об алгебре, геометрии, физике имеете?

На все вопросы Александр, взмокший и багровый от стыда, отвечал отрицательно.

– Право-то вы по крайней мере изучали?

– Нет, генерал.

– Латынь и греческий?

– Латынь – немного, греческого не знаю вовсе!

– В бухгалтерии разбираетесь?

– Нисколько, – признался Александр, окончательно павший духом.

Он внезапно почувствовал, насколько унизительно признаваться в своем невежестве, и его прорвало:

– О, генерал, мое образование никуда не годится, и самое позорное то, что я только сегодня, только сейчас это понял… Но я все выучу, даю вам слово, и когда-нибудь, в один прекрасный день, отвечу «да» на все те вопросы, на которые только что отвечал «нет».

Генерала Фуа, должно быть, тронуло простодушное юношеское признание.

– Так… А пока у вас есть какие-нибудь средства к существованию? – поинтересовался он.

– Никаких!

Тут генерал растерялся и, пообещав подумать, чем можно помочь просителю, велел ему записать свой адрес на листке бумаги, для чего любезно подал гусиное перо, которым только что писал сам. Взяв перо, Александр почтительно взглянул на острие с еще не высохшими чернилами и вернул его владельцу со словами:

– Я не стану писать вашим пером – это было бы святотатством!

Конечно, лесть грубоватая, но генерал снисходительно улыбнулся, пробормотал: «Какой же вы еще ребенок!» – и подал ему новое перо. Пока Александр писал, он с любопытством смотрел на нежданного гостя. И вдруг, совершенно неожиданно, захлопал в ладоши.

– Вот оно, спасение! – воскликнул Фуа.

– О чем вы, генерал?

– У вас же прекрасный почерк! Сегодня вечером я приглашен на ужин в Пале-Рояль. Поговорю о вас с герцогом Орлеанским, скажу, что он должен взять вас в свою канцелярию – вас, сына республиканского генерала!

Вспыхнувшая у Александра надежда на то, что его возьмут на службу к герцогу Орлеанскому, умерялась горечью от сознания того, что этим счастьем он обязан исключительно своему прекрасному почерку. «Прекрасный почерк! – пожалуется он впоследствии. – Вот и все, чем я обладал… Стало быть, когда-нибудь я мог надеяться дослужиться до делопроизводителя. Вот какое будущее меня ожидало! Я охотно дал бы отрубить себе правую руку».[28] Но на данный момент надежда пересиливала,

поэтому он рассыпался в благодарностях перед генералом Фуа, пообещал ему назавтра вернуться, чтобы узнать решение герцога, и вышел на улицу, толком не понимая, должен ли он ликовать или, напротив, посыпать голову пеплом.

На следующий день, с утра пораньше, он снова устремился к дому 64 по улице Монблан, где жил генерал Фуа. Как и накануне, тот сидел за письменным столом. Едва Дюма успел ступить на порог, как генерал, сияя от радости, объявил ему:

– Дело сделано!.. Вы поступаете в канцелярию герцога сверхштатным служащим, будете получать тысячу двести франков. Деньги, конечно, небольшие, но работайте – и всего добьетесь!

На этот раз Александр не стал раздумывать и привередничать. Тысяча двести франков для голодранца вроде него – это же целое состояние! Он станет помогать матери, может быть, даже сумеет перевезти ее в Париж. К тому же никто ему не мешает, старательно переписывая официальные документы, одновременно с этим пытаться преуспеть и в литературе. Не зная, как выказать свою признательность генералу-депутату, юноша пылко расцеловал ветерана в обе щеки, а тот, без особых церемоний, попросту велел поставить еще один прибор к завтраку. За столом Александр был в таком смятении, что даже не замечал, чем его угощали, и вместо того, чтобы расспрашивать, в чем будут заключаться его будущие обязанности писца, делился с хозяином дома планами, подробно распространяясь о своих сочинительских замыслах. На самом деле ему казалось, что генерал Фуа распахнул перед ним не двери канцелярии герцога Орлеанского, но – сам того не зная – парадную дверь, открывающую доступ во французскую литературу.

Прямо от генеральского стола Александр побежал делиться только что обретенным счастьем с семейством Левен, а оттуда бросился к дилижансу, чтобы ехать в Вилле-Котре. Ему не терпелось объявить радостную весть матери, которая так давно уже томилась в ожидании. До дома он добрался к часу ночи. Мари-Луиза уже легла, но при виде сына вскочила с постели – растрепанная, с округлившимися от удивления глазами. Не дав ей опомниться, Александр закричал: «Победа, дорогая матушка! Я победил!» И рассказал ей все, сжимая в объятиях так крепко, что едва не переломал все ребра.

Назавтра весь город уже знал о том, какое «чудо» свершилось в столице, и радовался этому. В то время молодых людей возраста Александра как раз призывали в армию, но его это не касалось: как сын вдовы, он был освобожден от воинской службы, и,

несмотря на то что во время призыва он вытащил неудачный номер – девятый, его не взяли. Мало того – из суеверия и вместе с тем забавы ради он тогда поставил в лотерею на тот же девятый номер тридцать су – и выиграл семьдесят три франка. Решительно жизнь наконец-то соизволила ему улыбнуться! Юноша принялся уговаривать Мари-Луизу, чтобы она уложила вещи и отправилась вместе с ним в Париж, где ему предстояло со следующего понедельника приступить к исполнению своих обязанностей в канцелярии герцога Орлеанского. Но она все еще колебалась. А что, если эта работа у Александра окажется временной?.. Более осмотрительная, чем сын, она не хотела с ним ехать, пока у мальчика не будет постоянной должности. И он уехал один, но на этот раз до дилижанса его с почетом провожали все друзья из Вилле-Котре.

Вернувшись в Париж, Александр отыскал для себя маленькую комнатку на четвертом этаже ветхого дома – номер один на площади Итальянцев,[29] – которую согласились сдать за сто двадцать франков в год. В ожидании, пока прибудет мебель, которую перевозчик должен был доставить из Вилле-Котре, он снова поселился в гостинице «Старых Августинцев» и стал слоняться по бульварам, то и дело заходя в кафе, чтобы почитать газеты – любые, ему было безразлично, какого политического направления они придерживаются. Несмотря на то что в душе Дюма – так же как и граф де Левен, как и генерал Фуа, наконец, как и сам герцог Орлеанский – был либералом, политические новости он пропускал и выискивал в газетах главным образом сведения, касающиеся литературной жизни.

Однажды вечером, не зная, чем себя занять до того, как настанет время возвращаться в свой номер, Александр решил пойти развлечься. И выбрал для этого театр «Порт-Сен-Мартен», где с шумным успехом шла мелодрама Кармуша «Вампир». Может быть, этот спектакль вдохновит его на создание собственных пьес?

Он встал в очередь у окошка кассы и вскоре, пережив несколько перебранок с франтами, потешавшимися над его длинными курчавыми волосами и сюртуком, доходившим до щиколоток, уже сидел в партере рядом с каким-то седым господином. Сосед держался весьма сдержанно и, чтобы скоротать время до начала представления, почитывал маленькую книжечку. Александр из вежливости завязал с ним разговор и узнал, что этот человек – собиратель редких изданий, а томик, который он держит в руках, – драгоценный эльзевир 1655 года. Александр, до тех пор ничего не знавший об утонченных наслаждениях библиофилов, был очарован знаниями и

любезностью незнакомца. Но больше всего юношу удивила внезапная перемена, происшедшая в поведении последнего, едва поднялся занавес. Ни с того ни с сего этот человек, такой до сих пор сдержанный, принялся во весь голос ругать витиеватый стиль и полный ошибок французский язык пьесы. В антракте Александр тихонько спросил у него, что же ему так не нравится в «Вампире». Все, ответил тот, – и стиль, и текст, и игра актеров! Тем не менее, прибавил он, с точки зрения вкуса и с философской точки зрения нет ничего плохого в наличии гномов, сильфов, женщин-вампиров и прочей нечисти, когда они представляют собой элемент превосходного произведения. Увлекшись, библиофил пустился рассуждать об уместности использования сверхъестественного в литературе. Александр слушал его раскрыв рот – так он внимал бы речам вдохновенного наставника. Но кончился антракт, спектакль продолжился, и ученый вновь разошелся. Возмущенный неуклюжим диалогом и бездарными мизансценами, он даже захотел, не дожидаясь конца, покинуть зал. Александр умолял его остаться, но напрасно: прошло еще несколько минут, и человек с эльзевиром поднялся с места и вышел из зала, провожаемый недовольным ворчанием потревоженных зрителей. Но они ошиблись, подумав, будто он ушел окончательно! Это оказалось всего лишь уловкой: бывший сосед Александра укрылся в глубине ложи и вскоре принялся свистеть что было мочи. Публика зашумела. Со всех сторон раздались крики: «Выгоните его! Пусть уходит!» Дирекция театра обратилась в ближайший полицейский участок, и почтенного старика, не переставшего вопить, вывели из зала жандармы.

На следующий день Александр прочел в газете, что господином, который вчера мешал играть спектакль, был не кто иной, как Шарль Нодье, анонимный соавтор «Вампира», явившийся показать, насколько он пренебрегает этим неудачным творением. Боже мой! Подумать только! Вчера он, сам того не зная, сидел рядом с прославленным литератором! Александр погрузился в мечты. Ему хотелось снова увидеться с вчерашним соседом, снова услышать, как тот рассуждает о проявлениях потустороннего и о грамматических ошибках. Но как к нему приблизиться, когда самому ровным счетом нечего предъявить? Александру, нравилось ему это или нет, приходилось смириться с реальностью. А реальностью были не его неясное пока что будущее в театре и не его ненаписанные книги, но его новые обязанности писца в канцелярии герцога Орлеанского.

Каждый день к десяти часам утра он являлся в Пале-Рояль и приступал к работе. Познакомившись поочередно со старшим служащим Эрнестом Бассе, помощником начальника канцелярии

Ипполитом Лассанем и, наконец, с начальником канцелярии Жаком Ударом, он узнал от последнего, что к рекомендации генерала Фуа внезапно прибавилась еще одна – оказалось, что его рекомендовал Жан-Мишель Девиолен. Значит, Дед с розгами простил его! Простил ему то, что он невольно отдал его дочь на растерзание провинциальным сплетникам? Растроганный Александр поспешил к славному старику, который, хотя и был ворчуном, неизменно хранил верность тем, к кому был привязан, – поспешил, чтобы обнять благодетеля.

Ну вот, наконец-то новый служащий при деле: прочно усевшись на стул, он усердно переписывает документы, даже не пытаясь вникнуть в их содержание. Труд однообразный и утомительный. К счастью, управлял этой бумажной каторгой утонченный щеголь Лассань – тридцатилетний человек с живым взглядом, роскошными черными волосами и тонкими, почти женственными чертами лица. Ради того, чтобы отвлечься и отдохнуть от своих обязанностей руководителя, на досуге он сочинял песенки, участвовал в создании водевилей и поставлял остроумные статьи в такие газеты, как «Белое знамя» («Le Drapeau Blanc») и «Гром и молния» («La Foudre»). Заметив пристрастие нового подчиненного к литературе, Лассань набросал перед восхищенным взором провинциального юнца картину мирка, в котором действовали труженики пера. Увлекаясь всем новым, он – во всяком случае, на словах – готов был немилосердно растерзать в клочья всех тех, кто составлял прежнюю славу империи: Арно, Жуи, Непомусена Лемерсье. А как он кривился, говоря об их недостойных преемниках – Суме, Гиро, Ансело, как свирепо критиковал Казимира Делавиня, соглашаясь признать наличие вдохновения и самобытности лишь у Ламартина и Гюго! Да и то при этом замечая, что из этих великих людей тоже ни один не отвечает художественным запросам эпохи. Исторический роман и драма, по его словам, еще ждали своих выдающихся авторов.

Слова желчного критика упали на благодатную почву. Если верить Лассаню, думал Александр, получается, лучшие места пока что свободны? Отлично! Скорее! Время не терпит! Конкуренция жесточайшая! Дюма, еще не написавший ничего такого, чем мог бы гордиться, был готов принять вызов. А для начала он благоразумно поинтересовался у Лассаня: «Но кому же надо тогда подражать?» Ответ был хлестким: «Прежде всего, никогда не надо подражать, надо изучать; человек, следующий за проводником, вынужден идти позади него… Так что изучайте, мой друг! Берите страсти, события, характеры, переплавляйте и лейте все это в форму вашего воображения».

Наставник донимал Александра вопросами, и ему пришлось признаться в том, что, несмотря на страстное желание добиться успеха, он не читал ни Эсхила, ни Шекспира, ни Расина, ни Шиллера, ни Гете, ни Вальтера Скотта и едва знает несколько комедий Мольера. Лассань велел ему, не медля, с головой погрузиться в чтение полных собраний сочинений всех этих авторов. Растерянный и удрученный сознанием собственного невежества, Александр спросил:

– И сколько все это вместе составит томов?

– Две или три сотни, – ответил Лассань.

Несмотря на непомерный труд, который, как выяснилось, ожидал его в ближайшее время, Александр пообещал, что попробует все это прочесть.

– Но вы ведь поможете мне, правда? – пробормотал он.

И, опасаясь, как бы помощник начальника канцелярии, выглянув из-под маски литератора, не упрекнул его в том, что он пренебрегает своими обязанностями переписчика, поспешил заверить того, что работа из-за чтения нисколько не пострадает.

– Я буду читать по ночам, – пылко говорил он, – я буду учиться по ночам, а в канцелярии я буду только работать! Но ведь мы с вами сможем время от времени поговорить?

Появление начальника канцелярии, господина Удара, прервало это неделовое совещание. Александр после него чувствовал себя так, словно получил пинок, но никак не мог понять, что это означает: следует ли ему отказаться от своих намерений или, напротив, приступить к их исполнению, не теряя ни минуты? Он выбрал второе истолкование, поскольку оно было единственным, которое отвечало его боевому задору. В тот же вечер, когда он ужинал у Левена, в комнату вошел донельзя расстроенный Адольф: как выяснилось, одну из его пьес, написанную в соавторстве с Фредериком Сулье, театр «Жимназ» принимал лишь при условии, что в нее будут внесены исправления. Однако Сулье, отличавшийся вздорным характером, заявил, что не станет менять ни строчки. Несколько недель труда пойдут прахом из-за упрямства одного-единственного человека. Изо всех сил стараясь утешить Адольфа, которого постигли такие неудача и разочарование, Александр подумал о том, что Лассань был прав: путь, ведущий к славе, усеян препятствиями и скрытыми подвохами, и, если хочешь, чтобы когда-нибудь Париж оказался у твоих ног, надо много читать, упорно трудиться и сотнями глотать обиды!

В ожидании признания, на которое считал себя вправе рассчитывать, несмотря на всю свою неопытность, он без разбору поглощал все старые и новые сочинения, какие только

попадались ему под руку. Жадность молодого Дюма к чтению была так велика, что через несколько дней ему уже начало казаться, будто он усвоил самую суть человеческих познаний. Вся история Франции, как думал юноша, поместилась у него в голове, готовая к употреблению, – любой кусок на выбор, какой потребуется, – а все великие писатели прошлого и настоящего теснятся у него за плечом, стремясь научить ремеслу.

Надо сказать, что погоня за энциклопедическими знаниями отнюдь не мешала юноше при случае наслаждаться более простыми и осязаемыми радостями. Начал он с того, что завел шашни с легкомысленной Манетт Тьерри, с которой познакомился еще в Вилле-Котре, когда она была подружкой Сонье. Теперь девушка перебралась в Париж, где работала белошвейкой. Интрижка оказалась недолгой, вскоре, покинув Манетт, Александр пустился на поиски других любовных приключений. Он предпочитал женщин полных, белокурых и розовых, по возможности старше себя, и таких, у которых пылкий темперамент соединялся бы с поистине материнской нежностью. Аглая в его глазах обладала всеми этими достоинствами, но Аглая осталась в Вилле-Котре…

Зато на одной площадке с ним жила молодая особа, казавшаяся ее точным повторением. Дюма часто встречался с ней на лестнице, нередко завязывал разговор и вскоре узнал, что она бросила в Руане полупомешанного мужа, жить с которым было совершенно невозможно, и открыла в Париже маленькую швейную мастерскую, что ее зовут Мари Катрин Лор Лабе и ей двадцать девять лет. На восемь лет старше – да это же залог счастья! Несколько романтических прогулок в медонских лесах помогли молодому человеку окончательно убедиться в том, что лучшей подруги ему не найти, поскольку она такая же пухленькая и белокожая, как Аглая, и при этом такая же мягкая, кроткая, спокойная, так же способна все ему простить, как Мари-Луиза. Лор, со своей стороны, не смогла остаться равнодушной к пылкому юноше, который служил скромным писцом, но тянулся ко всем царствам одновременно. То обстоятельство, что она была намного старше, женщину не только не смущало, но, напротив, придавало ей уверенности. Лор представлялось, что она благодаря своему здравому смыслу сумеет уберечь возлюбленного от заблуждений, свойственных юности, и научит его правильно распоряжаться деньгами. Он будет одновременно ее любовником и ее ребенком: именно о таком сочетании она всегда и мечтала. Словом, они быстро поладили и зажили по-семейному. Экономия, удобство и удовольствие – здесь все сошлось. Немедленно съехав со своей квартиры, Александр

вместе со всей мебелью – надо сказать, весьма скудной! – перебрался в квартиру напротив. В обмен на его ночные ласки Лор соглашалась мириться с тем, что он возвращается из канцелярии, когда ему заблагорассудится, что он и не думает знакомить ее со своими друзьями, что он оставляет ее одну, а сам отправляется в театр или где-нибудь ужинает… Что тут такого? Было же дано объяснение: вся эта светская суета необходима любовнику для того, чтобы он мог добиться успеха, – как не поверить? Разве не может он быть не только представительным внешне, но и талантливым? Дюма только что напечатал в «Альманахе, посвященном Девицам» прелестные стихи. Нет, на самом деле Лор ровным счетом ничего не понимала в поэзии, но, подобно многим бесхитростным людям, с почтением относилась к «печатному», – и потому с этого дня обрела твердую уверенность, что *ее* Александр далеко пойдет. Он и в самом деле пошел далеко, вернее, дело зашло далеко: очень скоро Лор поняла, что ждет ребенка. Разумеется, и речи не могло быть о том, чтобы Александр узаконил свои отношения с белошвейкой. Она прелестна, в этом нет ни малейших сомнений, но с ней невозможно показаться в свете! Карьера обязывает! Разве не безумие, когда готовишься взобраться на вершину самой высокой горы, обременять себя женой и младенцем? Пусть Лор, если ей так хочется, оставит ребенка, но он не возьмет на себя никаких лишних обязательств, и их отношения не изменятся!

В следующем году от этой тайной связи родился сын. Ни один из родителей его не признает, тем не менее отец, довольный тем, что у него появилось потомство, даст маленькому бастарду собственное имя – Александр.[30]

В жизни Дюма в то же время случилось и еще одно важное событие – его работу сверхштатного служащего канцелярии оценили начальники. В один прекрасный день Удар объявил, что герцог Орлеанский ищет надежного человека, который сможет быстро переписать очень секретный документ, и решено поручить этот деликатный труд именно Александру. Ошеломленный выпавшей ему честью, Александр, весь трепеща, предстал перед его королевским высочеством. Герцогу Орлеанскому было тогда около пятидесяти лет, он был дородный, пышущий здоровьем, с открытым лицом и живым взглядом. Все знали, что герцог унаследовал от отца, Филиппа Эгалите, республиканские пристрастия, странным образом соединенные с непомерной династической гордостью.

«Вы – сын того храбреца, которого Бонапарт, если не ошибаюсь, уморил голодом?» – обратился он к Дюма.

Александр поклонился в знак подтверждения и вместе с тем

почтительности, герцог дал ему переписывать длинный меморандум и вышел. Через два часа он вернулся, взглянул на тщательно выведенные строки, поморщился и пробормотал: «Так-так, вижу, пунктуация у вас своеобразная!» После чего, взяв перо, его королевское высочество пристроился на углу стола и расставил недостающие запятые, точки и прочие знаки препинания. Александр испугался, как бы подобная небрежность (он никогда не обращал внимания на пунктуацию!) не уронила его достоинства в глазах герцога, но тот, вместо того чтобы упрекать молодого провинциала, решил тут же, не откладывая, продиктовать ему официальный ответ, адресованный интриганке по имени Мария Стелла Петронилла Кьяппини, утверждавшей, будто она является наследницей огромного состояния герцогов Орлеанских. Медленно выговаривая слова, чтобы писец за ним поспевал, герцог размеренно вышагивал по комнате, напоминая актера, повторяющего роль. После долгого предисловия он, повысив голос, произнес фразу, которая, должно быть, казалась ему главной: «И если бы только и было, что *поразительное сходство, существующее между герцогом Орлеанским и его августейшим предком*, разве такого сходства не достаточно для того, чтобы показать всю несостоятельность притязаний этой авантюристки?» Услышав слова, противоречившие всему, что он с недавнего времени знал о происхождении его королевского высочества, Александр поднял голову и удивленно посмотрел на герцога. Это не ускользнуло от внимания его высочества, и он высокомерно изрек: «Господин Дюма, запомните: даже если ведешь свое происхождение от Людовика XIV через одних только бастардов, этого одного уже достаточно, чтобы им гордиться». И продолжал диктовать, а пристыженный Александр втянул голову в плечи и уткнулся в свои бумаги. Несмотря на неудачное начало работы, в итоге герцог Орлеанский остался доволен послушанием и прилежанием молодого Дюма. Недели через три после этой памятной встречи Удар пригласил Александра в свой кабинет, чтобы сообщить ему приятную новость: в виде особой милости он «включен в штат», иными словами – назначен на должность с годовым окладом полторы тысячи франков.

Первая мысль, которая всецело завладела Александром, едва он услышал радостное известие, – теперь-то он уговорит матушку перебраться к нему в Париж! У нее больше не остается никаких причин отказывать сыну, поскольку теперь у него появилась наконец постоянная работа. И, не дожидаясь согласия матери, он принялся рыскать по городу в поисках квартиры, где удобно было бы разместиться вдвоем. Разумеется, Лор опечалилась, видя, как возлюбленному не терпится переехать, она успела привыкнуть к

их почти супружескому существованию. Но разве можно противостоять этому неукротимому человеку, который движется по жизни скачками и рывками? Александр, правда, попытался успокоить подругу: даже если он будет жить с Мари-Луизой вдали от нее, то все равно будет часто навещать ее по вечерам, чтобы поболтать и заняться любовью. И она снова, в который уже раз, смирилась. Нельзя же в самом деле ревновать его к матери!

Между тем Александр отыскал квартиру в доме 53 по улице Фобур-Сен-Дени и перевез туда мебель со старой квартиры. Мари-Луиза, которую ему наконец-то удалось уговорить, отправила туда же свою, после чего, продав табачную лавку, подсчитала скудные сбережения и отправилась в Париж, безмерно счастливая от того, что между нею и сыном восстанавливаются прежние близкие отношения. Вот они и снова неразлучные друзья, почти сообщники. И маленькая тихая Лор, сосланная в дальний угол, не нарушит их безмятежного счастья!

Все было бы совсем чудесно, если бы не одно обстоятельство: Александр был настолько занят работой, что у него почти не оставалось времени писать! Конечно, в пять часов пополудни он покидал Пале-Рояль, но каждую вторую неделю должен был возвращаться туда к восьми и оставаться до десяти вечера, чтобы заниматься «почтой». Эта важная миссия заключалась в том, чтобы посылать с курьером в Нейи герцогу Орлеанскому вечерние газеты и все пришедшие за день письма, а затем ждать гонца, который должен был передать распоряжения его высочества на завтрашний день.

Разумеется, в дни «дежурств» ему приходилось отказываться и от ужинов, и от спектаклей, но Александр утешался тем, что читал, как велел ему Лассань, переводы сочинений Вальтера Скотта, Фенимора Купера, а главное – Байрона, благодаря которому познал болезненное упоение, сопутствующее утрате чувства меры. Время от времени встречался с Адольфом де Левеном, и они вместе, хотя и без особой надежды, работали над пьесой. Может быть, если проявить достаточное упорство, им удастся в конце концов убедить директора хоть какого-нибудь театра в том, что у них есть талант?

Продолжая приобщаться к литературной и художественной жизни столицы, Дюма бывал у Арно, встречался с Беранже. Он навестил Жерико, которого застал на смертном одре, он дышал лишь воздухом кулис… Однако, ежедневно и в подробностях рассказывая матери о том, где был и что делал, он не решался признаться ей в том, что у него есть сын от Лор Лабе. Мари-Луиза с ее прямотой, порядочностью и благочестием вполне могла почувствовать себя оскорбленной, узнав о незаконнорожденном

ребенке. Поскольку он не признал сына, лучше оставить бабушку в неведении.

Мир вокруг него менялся, но это ничего не меняло в его собственной судьбе. 16 сентября 1824 года скончался Людовик XVIII, который давно уже был болен, бессилен и не способен управлять государством. На престол взошел Карл X. После коронации в Реймсе он начал править страной в лучших монархических традициях и тем самым вдохновил Гюго и Ламартина на сочинение приличествующих случаю стихов. Эти двое не пренебрегают политикой, усмехнулся проницательный Лассань. Что ж, в награду за это каждый из них получил крест Почетного легиона! По этому поводу тот же Лассань сообщил своему подчиненному, что литература во Франции пробуждается под сотрясающими ее мощными ударами молодого поколения. Даже водевиль благодаря Скрибу стал теперь не таким, как прежде, утверждал он. Разве это не самый благоприятный момент для того, чтобы вступить в бой? Прислушавшись к словам начальника, Александр поговорил с Адольфом, и они решили пригласить в соавторы специалиста в этом жанре: Джеймса Руссо. Надеясь этим соблазнить непревзойденного сочинителя куплетов, пригласили его к Левену на ужин с шампанским. Однако Руссо, несмотря на то что пил один бокал за другим, никак не мог утолить жажду и, видимо, потому пребывал в желчном настроении. Оказалось, что его невозможно ничем увлечь, он все подряд ругал, ему ничего не нравилось. Тем не менее, когда, уже за второй бутылкой, Александр рассказал довольно забавную охотничью историю, глаза у гостя заблестели, а после третьей бутылки он наконец-то перестал хмуриться. Они договорились втроем написать смешной водевиль под названием «Охота и любовь». Разгоряченные вином сотрапезники быстро набросали план пьесы, которая должна была состоять из двадцати одной сцены. Каждому предстояло написать по семь. Александр пообещал быстро представить семь сцен экспозиции, Адольф – семь центральных сцен, на долю Руссо оставались семь сцен развязки.

На следующий вечер соавторы снова собрались за бутылкой: семь сцен Александра и семь сцен Адольфа были готовы, тогда как Руссо не написал к своим семи ни единого слова. Ничуть не обидевшись, что третий автор их подвел, двое других пообещали виновному помочь сдержать обещание. Неделю спустя благодаря их объединенным усилиям пьеса была закончена, и Руссо, знавший толк в этом деле, заявил, что его приводят в восторг комические куплеты, сочиненные Александром. Читать пьесу в театре «Жимназ» должны были Адольф и Руссо, Александр

предпочел дожидаться «приговора» в канцелярии. Заботясь о том, чтобы карьера началась с произведения значительного, он заранее попросил не указывать его имени на афише. Каждая минута, которую он проводил в тревожном ожидании, притворяясь, будто усердно пишет, была для него пыткой. Но когда терпение его окончательно истощилось, на пороге появились Руссо с Адольфом. Вид у них был похоронный: «Охоту и любовь» решительно отвергли.

Но, несмотря на неудачу, Руссо не пал духом, ему удалось добиться того, что пьесу прослушали еще раз – теперь в «Амбигю-Комик». И снова, укрывшись за кипами бумаг, Александр в тревоге смотрел на закрытую дверь. Наконец за ней послышались шаги. На этот раз Адольф и Руссо сияли. «Приняли!» – в один голос закричали они, и Александр так и подпрыгнул на стуле от радости.

Теперь, после приезда матери, у него появились новые расходы, любые поступления денег были очень кстати, так что первым делом он осведомился о том, какая сумма отчислений причитается автору в этом театре. Автор получал двенадцать франков и два места в зале. Стало быть, на каждого из них приходилось по четыре франка за вечер, а кроме того – два билета по сорок су. Но для того, чтобы автор мог полностью получить причитающиеся ему деньги, надо было ждать, пока пьесу сыграют, а Александр ждать не мог. Его жалованья не хватало на то, чтобы обеспечить ему и матери пристойное существование.

Руссо, знавший все ходы и выходы, посоветовал ему обратиться к некоему Порше, который прежде был мастером, изготовлявшим парики, а теперь сделался профессиональным клакером. Этот тайный посредник ссужал авторам сумму, которую они должны были выручить за билеты, получая с этой сделки небольшие комиссионные, что было вполне справедливо, поскольку в случае, если пьеса не шла, он мог потерять часть денег.

В тот же вечер, после «дежурства», Александр отправился на встречу с Порше в кафе рядом с театром, где тот играл в домино с другими завсегдатаями. В театральной среде новости доходят быстро, клакер уже знал о том, что директор «Амбигю» принял к постановке «Охоту и любовь», он согласился ссудить Александру полсотни франков в обмен на его авторские билеты и тут же отправился за деньгами. «Немного мне довелось испытать ощущений столь же сладостных, как от прикосновения к первым деньгам, которые я заработал своим пером, – напишет Дюма в мемуарах, – ведь то, что я получал раньше, я зарабатывал всего

лишь своим почерком».

Старый театральный волк, тронутый волнением, которое угадал в этом новичке, предложил Александру порекомендовать его плодовитому водевилисту Мелезвилю, который мог бы взять дебютанта в соавторы. Услышав эти слова, Александр вскинулся и с гордостью заявил, что избрал другой путь и намерен «через год-другой» без помощи каких бы то ни было соавторов написать серьезную пьесу для «Комеди Франсез». Порше в ответ только головой покачал и пробормотал себе под нос: «Предупреждаю, это будет нелегко!»[31]

Вернувшись домой, Александр отдал матери полученные от клакера пятьдесят франков. Она приняла деньги с радостной благодарностью, поскольку знала, что на этот раз речь идет уже не о простом вознаграждении за труд переписчика, на этот раз признание получил не прекрасный почерк сына, а его писательский талант. Убирая первый литературный заработок своего мальчика в ящик, она, узнавшая так много разочарований, осмелилась высказать надежду на то, что ее Александр сделал первый шаг на пути к славе и богатству.

Глава VI
На подступах

Если имя Александра Дюма и не стояло на афише водевиля «Охота и любовь», премьера которого состоялась в «Амбигю-Комик» 22 сентября 1825 года, то на обложке изданной Дювернуа книжечки с текстом пьесы имен авторов все-таки было три. Вот только и здесь никаких следов Дюма! Его заменил некий Дави. Укрывшись таким образом под фамилией деда, маркиза Дави де ла Пайетри, Александр надеялся отвести от себя подозрения герцога Орлеанского, который – как всем было хорошо известно! – терпеть не мог, чтобы его служащие баловались литературой. Конечно, можно было закрыть глаза на то, что некоторые большие начальники время от времени отвлекались на журналистику или театр, но тем, кто стоял на более низких ступенях служебной лестницы, и думать было нечего о подобном умственном распутстве.

Из осторожности Александр с Лассанем, трудясь в поте лица над новой пьесой, которую назвали «Свадьба и похороны», прятались словно воры. На этот раз в качестве третьего соавтора был приглашен уже не Джеймс Руссо, а Гюстав Вюльпиан. Сюжет позаимствовали из сказок «Тысячи и одной ночи», работу, как и следовало ожидать, поделили на три равные части, намереваясь, когда каждый представит готовый текст, соединить куски в единое целое и отшлифовать. Все соавторы приступили к делу с тем большим воодушевлением, что «Охота и любовь» имела в «Амбигю» немалый успех. Шестнадцать представлений с аншлагом – этого оказалось вполне достаточно, чтобы подстегнуть перья троицы.

Однако успех литератора Дюма совершенно не радовал тех, кто руководил скромным переписчиком бумаг. Несмотря на то что Александр тщательно скрывал от них побочные занятия, которым предавался в том числе и ради того, чтобы пополнить кошелек, слухи о его принадлежности к «миру театра» дошли в конце концов, переползая из кабинета в кабинет, до ушей главного начальника, Франсуа Манша де Броваля. Последний, когда новый письмоводитель впервые явился на службу в его ведомство, соблаговолил лично преподать ему науку складывать письма квадратом или прямоугольником – в зависимости от того, насколько важный человек адресат, делать конверты, соблюдая принятые в канцелярии традиции, и запечатывать их гербом герцога Орлеанского. Проявив подобное участие, подобную

заботу о подчиненном, Броваль рассчитывал, что признательность Александра выразится в чем-то ином, только не в этом внезапном влечении к пустой театральной суете. Он открыто высказал все это Удару, который не замедлил дрожащим от негодования голосом повторить его слова виновному. Поначалу, когда заведующий канцелярией только начал ему выговаривать, молодой человек выглядел удрученным, он склонился, словно под хлещущим ливнем, но потом гордость в нем внезапно взяла верх над благоразумием, и он, возвысив голос, произнес, что не видит ничего плохого в желании заработать немного денег литературным трудом, если, занимаясь им, он нисколько не ущемляет интересы его королевского высочества. Поглядев на то, как подчиненный неистовствует, вопит и размахивает руками, Удар усмехнулся:

– Стало быть, вы непременно хотите заниматься литературой?

– Да, сударь! – ответил Александр. – По призванию и по необходимости!

На это господин Удар, рассчитывая поставить-таки наглеца на место, издевательски заметил:

– Что ж, пишите так, как Казимир Делавинь, и мы вместо того, чтобы порицать, станем хвалить вас!

Александр знал, что для всех благонамеренных и «благочитающих» людей Казимир Делавинь был образцом таланта, добродетели и достоинства, и потому в ответ воскликнул с пылом ярого иконоборца:

– Сударь, я совсем не в том возрасте, что господин Казимир Делавинь, ставший придворным поэтом в 1811 году, и я не получил такого образования, как господин Казимир Делавинь, который учился в одном из лучших коллежей Парижа. Нет, мне двадцать два года,[32] а моим образованием я занимаюсь ежедневно, может быть, в ущерб собственному здоровью, поскольку все, что я узнаю, – а узнаю я многое, клянусь вам! – так вот, все, что я узнаю, – я узнаю в те часы, когда другие развлекаются или спят. Стало быть, я не могу сейчас делать то, что делает господин Казимир Делавинь. Но выслушайте в конце концов то, что я сейчас вам скажу, господин Удар, пусть даже то, что я скажу, покажется вам очень странным: если бы я думал, что в будущем стану делать только то, что делает господин Казимир Делавинь, я пошел бы навстречу вашим желаниям и желаниям господина де Броваля и сию же минуту дал бы вам нерушимое обещание, торжественную клятву больше не заниматься сочинительством![33]

Удар не верил своим ушам: неужели этот жалкий

бумагомарака Дюма смеет воображать, будто он, если дать ему на это время, превзойдет великого, несравненного Казимира Делавиня? Подобные честолюбивые замыслы граничат с безумием. А ведь если хочешь, чтобы во вверенном тебе отделе царили трудолюбие и порядок, следует держать подальше от себя таких буйных молодчиков. Надо что-то предпринять, причем срочно! Подумав, начальник канцелярии его высочества, возмущенный и испуганный одновременно, решил прежде всего пожаловаться Девиолену на непозволительное поведение его протеже. Дед с розгами не слишком удивился этой последней выходке своего протеже, но, из вежливости притворившись, будто разделяет гнев начальника канцелярии, пообещал ему Александра образумить и приструнить. На деле же ограничился тем, что позвал к себе Мари-Луизу и объяснил ей, что непокорство ее сына в очередной раз едва не стоило ему места.

Вернувшись домой, Александр застал мать в слезах. К огорчению из-за того, что она расстроена и встревожена по его вине, на следующий день прибавилась безмолвная ярость, вызванная тем, что шестьдесят служащих канцелярии, когда он проходил мимо, посмеивались ему вслед так, словно он вернулся с прогулки забрызганным грязью с головы до ног: история о том, как «малыш» Дюма намеревается оставить далеко позади великого Казимира Делавиня, уже облетела всех писарей. Война объявлена – теперь его будут донимать насмешками. Александр принял вызов и продолжал неустанно твердить, что в один прекрасный день о нем будут говорить куда больше, чем о дивном Казимире Делавине!

И вдруг – внезапный просвет, тучи разошлись, выглянуло солнце: Вюльпиан сообщил Александру и Адольфу, что сочиненный ими водевиль принят к постановке театром «Порт-Сен-Мартен». Разумеется, предстояло еще дождаться своей очереди, прежде чем начнутся репетиции. Но профессиональным авторам следует привыкать к долгим периодам ожидания, и они смирились. Впрочем, у Александра вскоре появился другой случай прославить свое имя, да еще как громко! 28 ноября 1825 года скончался его благодетель, генерал Фуа, и похороны прославленного депутата-либерала, проходившие под дождем, превратились в массовые выступления протеста против неограниченной власти Карла X. В ответ на этот взрыв недовольства сторонники короля пустили гулять оскорбительную для покойного анонимную песенку. Мимоходом в ней был задет и герцог Орлеанский – как потомок «цареубийцы» Филиппа Эгалите. Из чувства благодарности к тому, кто пристроил его на службу в канцелярию герцога, Александр немедленно сочинил

«Элегию на смерть генерала Фуа». В двух с лишним сотнях нескладных и патетических стихов он воспевал «благородного героя», чей полет был прерван и перед чьей памятью безутешный народ преклоняется, восклицая:

Еще один камень выпал
Из храма Свободы.

Дюма хотел издать поэму и рассчитывал, конечно, на официальную дотацию, но никто и не подумал ему ее предложить. Пришлось ему запустить руку в собственный карман и напечатать свой опус за счет автора. Столь напыщенное произведение показалось ему вполне достойным того, чтобы признаться в своем «отцовстве», а потому оно было подписано уже не именем Дави, но именем Александра Дюма, и автор принялся широко распространять его среди знакомых.

Начальники поэта-дебютанта, начиная с Удара и заканчивая Бровалем, сочли, что если метрика оставляет желать лучшего, то по крайней мере автором руководили весьма достойные побуждения. Его королевское высочество также одобрил поступок своего служащего. Один только Лассань кривился, поскольку был крайне щепетилен в вопросах просодии. Но, как бы там ни было, канцелярским насмешникам пришлось прикусить языки. Конечно, Александр и сам понимал, что те, кто расточает ему улыбки, выражают тем самым скорее согласие с его политическими взглядами, чем восхищение его литературным даром, и все же он обрадовался и тому, что «Элегия» удостоилась похвалы Этьена Араго в «Фигаро», и тому, что она, вместе с прочими сочинениями того же толка, была включена в сборник, озаглавленный «Поэтический венок генералу Фуа».

На волне этого успеха у сторонников Дюма перешел от поэзии к прозе и написал, одну за другой, три новеллы, навеянные недавними и потрясшими Францию событиями. Фоном для его историй служили поочередно наполеоновская эпоха, начало Реставрации и Французская революция. Несмотря на то что стиль новелл был неестественным и несамостоятельным, они все же свидетельствовали о том, что автор одарен способностью создавать драматическое напряжение и явно склонен к отображению великих исторических событий прошлого.

Тексты, объединенные под общим названием «Современные рассказы», автор посвятил Мари-Луизе. «Моей матери – дань любви, уважения и признательности» – так звучало это посвящение. В десятый раз перечитывая фразу, сопровождавшую щедрый дар, Мари-Луиза прижимала руки к сердцу, словно

стараясь унять его счастливое биение. Никакие признания мужа в любви не волновали ее до такой степени. Она молилась о том, чтобы эта книга – первая книга ее Александра – была встречена восторженно. Но издатели, у которых новеллы вызвали куда меньшее восхищение, чем у любящей матери, поочередно отказывались их печатать. Тем не менее жене владельца типографии Сетье автор показался столь привлекательным внешне, что она уговорила мужа издать сборник «в складчину». Александру достаточно было внести триста франков, составлявших его долю, – его «дитя» сразу же увидит свет и дойдет до читателей. Но где их взять, эти чертовы триста франков? Наилучшим решением было бы, вероятно, снова прибегнуть к помощи «короля клакеров». Воспользовавшись тем, что «Свадьбу и похороны» недавно приняли к постановке в театре «Порт-Сен-Мартен», Дюма попросил у Порше аванс под будущие гонорары. Тот выдал требуемую сумму, и «Современные рассказы» были сданы в печать. Дата выхода в свет – 27 мая 1826 года. Тираж – тысяча экземпляров. Первая статья о книжке – все того же Этьена Араго в «Фигаро». Критик предсказывал читателям, что они испытают поочередно «сладостное, печальное и мучительное волнение». Александр счел, что такие слова для начала звучат совсем неплохо. Но вместе с тем Араго посоветовал автору работать над стилем: в его текстах, дескать, много «неуклюжих оборотов», «затертых выражений», «ошибок» и «погрешностей». Словом, это была, конечно же, похвала, но умеренная. Больше ни один рецензент не высказался, больше о книге не было сказано ни единого слова – ни плохого, ни хорошего. «Современные рассказы» никого не заинтересовали.

Через несколько недель после того, как сборник появился в книжных лавках, Александр подвел итог: продано четыре экземпляра. Неудача, казалось бы, должна была его образумить, однако у Дюма была достаточно толстая кожа, и он продолжал двигаться вперед, просто-напросто решив изменить направление.

Познакомившись у Сетье с неким Марлем, который называл себя реформатором орфографии и руководил «Грамматическим журналом», выходившим небольшим тиражом, Александр живо заинтересовался неожиданно открывшейся перед ним новой возможностью. Марль, намереваясь прекратить выпуск своего еле живого издания, готов был «за гроши» уступить картотеку своих подписчиков. Разве это не тот самый случай, которого никак нельзя упустить? Уверенный в своем коммерческом чутье, Александр убедил друга Левена в том, что очень выгодно было бы опереться на плывущую им прямо в руки группу любителей французского языка для того, чтобы начать издавать

великолепный журнал. Если у него самого не было за душой ни гроша, который он мог бы вложить в дело, Адольф Левен благодаря своей семье в средствах не нуждался и легко дал себя уговорить, даже поблагодарив Александра за предложение. Радостно перекупив «клиентов» Марля, друзья основали ежемесячный журнал «Психея». Теперь у них будет по крайней мере приличный «канал сбыта» для собственных творений! Александр, используя удобный случай, принялся строчить стихи по любому поводу и даже без всякого повода. Вооружившись пером, он с готовностью воспевал то влиятельных политиков, то людей, царствовавших в парижских гостиных. Разумеется, он вполне мог бы довольствоваться прославлением их в своих статьях. Но Александр давно уже заметил, что слава достается в первую очередь тем, кто занимается стихосложением. Все, от Ламартина до Гюго, в том числе и Виньи, заливали Францию потоками гармонии. В любом доме желанным гостем был тот, кто умеет жонглировать рифмами. Проза же, несмотря на мощный голос Шатобриана, оказалась несколько заброшенной. Разве создание ее не доступно всякому желающему? О великих страстях, великих скорбях, великих радостях и великих надеждах не повествуют – о них «поют». Стало быть, если молодой писатель жаждет добиться успеха, он должен «петь». Даже в том случае, если он, как Александр, поет фальшиво. Пусть пока и фальшиво, думал он про себя, но ведь тесное общение с музами в конце концов, безусловно, поможет найти верный тон.

Дюма тем увереннее двигался по этой главной на тот момент для него дороге, что Казимир Делавинь, Марселина Деборд-Вальмор и Арно согласились печататься в «Психее», и даже сам Гюго отдал в его журнал два неопубликованных стихотворения: «Сильфа» и «Фею и Пери». А Жан Вату предложил Александру сотрудничество в выпуске дорогого издания, «Галереи литографий», – своего рода каталога всех картин, составляющих сокровищницу Пале-Рояля, с поэтическим комментарием к каждому из полотен.

Александр был счастлив, что именно он выбран для того, чтобы возвеличить художественные богатства рода герцогов Орлеанских, и с радостью согласился. В сотне стихов он воспел красоты литографии с полотна Монвуазена, где был изображен спящий пастух на фоне римского пейзажа, и остался весьма доволен результатом. Особенно ему нравилось, как легко бежит по бумаге перо, но не меньше грело убеждение, что чем больше он станет писать стихов по случаю, тем громче прозвучит его имя в ушах всех любителей литературы.

Тем не менее Дюма сознавал и то, что стихотворные опыты

никогда не принесут ему славы Гюго. Удача, думал он, ждет его скорее на сцене. Бесспорно, самые удивительные, самые яркие имена появляются сейчас в театре. Во всех молодых головах кипит романтизм. И, если хочешь быть современным, надо присоединиться к этим революционерам языка и мысли. Почему бы мне, размышлял Александр, не написать вызывающую, необыкновенную пьесу для гениального Тальма, ведь он так ласково меня принял во время первого моего приезда в Париж?

Как и тогда, Адольф согласился сопровождать друга к Тальма и помочь ему в этом деликатном деле. Актер выглядел похудевшим и беспокойным, но о своем будущем спектакле, «Тиберии», трагедии Люсьена Арно, говорил так же восторженно, как если бы речь шла о его дебюте на подмостках. И вот тут Дюма отчаянно не повезло: всего через несколько дней после этой встречи Тальма скончался от «кишечной болезни». Александр пришел в отчаяние: один из лучших козырей уплыл у него из рук!

Но жизнь шла своим чередом, и 21 ноября 1836 года в театре «Порт-Сен-Мартен» состоялось первое представление «Свадьбы и похорон». Александр и Мари-Луиза присутствовали на премьере. Зал был настроен доброжелательно, некоторым куплетам даже аплодировали. Автор преисполнился гордости. А Мари-Луиза… она на такое не рассчитывала! Неужели ее шалопай не зря забавляется тем, что складывает словечко к словечку?

Однако, несмотря на аплодисменты и смех зрителей, она все еще опасалась, как бы литературные успехи Александра не повредили его продвижению по служебной лестнице в канцелярии герцога Орлеанского. Ей вспоминался Огюст Лафарж, тот элегантный клерк из нотариальной конторы, который некогда поселился в Вилле-Котре, а потом захотел стать писателем и в конце концов умер всеми забытый и заброшенный, сожалея о выгодах «конторы» и оплакивая свое нынешнее бедственное положение. Только бы Александр не решил подобно ему бросить надежную службу ради призрачной славы! Не станет ли для него приманкой успех «Свадьбы и похорон»? Не увлекут ли ее «малыша» крики «браво», которые сегодня звучат, а завтра могут умолкнуть, на путь, усеянный ловушками и западнями?

Занавес упал под восторженный гул. Александр прикинул, на что можно рассчитывать при пятидесяти представлениях; подсчитать оказалось совсем просто, теперь следует вычесть полученный от Порше аванс… Да, конечно, останется не так уж много, но зато он поднимется еще на одну ступеньку. Может быть, надо было подписаться не Дави, а Дюма? И он пообещал себе в следующий раз так и сделать. И тут услышал, как человек, сидевший в соседнем кресле, встает со словами: «Ну-ну, это еще

не та пьеса, на которой держится театр!»[34]

Резкое замечание ошеломило Александра, он едва удержался от того, чтобы влепить пощечину недовольному зрителю. Однако, как ни странно, порыв гнева скоро улегся, уступив место трезвому рассуждению. Был найден выход. Задетый за живое, Дюма решил «отыграться», сочинив другую пьесу. Но – сменив соавтора.

Теперь его выбор пал на Фредерика Сулье, многословного драматурга, который с равным успехом кропал диалоги и руководил рабочими на своей лесопилке. Сулье тут же согласился попробовать. Францию к тому времени покорили сочинения Вальтера Скотта, и решено было инсценировать роман «Old Mortality», переведенный на французский язык, поставив его на сцене под названием «Шотландские пуритане». Увы, дальше первого наброска дело не пошло: у каждого из двух соавторов оказалось свое, причем непреложное, мнение насчет деления по эпизодам и поведения основных персонажей. Разочарованный Александр предпочел сменить тему и работать в одиночестве.

Хорошенько порывшись в исторических книгах, он набрел на историю конфликта между братьями Каем и Тиберием Гракхами. Пьеса «Гракхи» была написана стремительно, и вскоре Дюма уже показывал ее друзьям. А они высказались пессимистически: слишком много политики, слишком много жестокости, слишком много призывов к народу!.. Даже если цензура и пропустит это подстрекательское сочинение, ни один театр не отважится его поставить.

Александр, не унывая, засунул рукопись в дальний ящик и принялся за рифмованное переложение шиллеровского «Заговора Фиеско в Генуе». Но и тут промашка! В этой пьесе оказалось полным-полно республиканских выпадов, которые тоже могли не понравиться властям. А пока он гнул спину над инсценировкой, усердно пересказывая историю странного заговора Фиеско с ее двумя героями, один из которых, для начала попытавшись уничтожить тиранию, в свой черед сам становится тираном, а второй продолжает непримиримую борьбу за свободу, – пока он так старательно трудился, исписывая страницу за страницей, в маленьким мирке канцелярии герцога Орлеанского происходили глубокие и серьезные изменения.

Благоприятную обстановку следовало использовать. Поняв, что кругом происходят перемещения и повышения, Александр вынырнул из своих литературных трудов и, набравшись смелости, попросил Удара назначить его на должность с окладом в тысячу восемьсот франков. Тот согласился, добавив, правда, что Александру ради прибавки придется перейти из канцелярии в

службу социальной помощи. Можно ли было рассматривать это как повышение по службе? С одной стороны – да, поскольку прибавили жалованье, а вот с другой – нет, поскольку теперь, занимаясь благотворительными делами, он будет пребывать в безвестности, вдали от ослепительного сияния его королевского высочества. Хотя не все ли ему равно? Главное – это три сотни франков прибавки к годовому жалованью! Такие деньги никогда не помешают человеку, у которого на руках мать, любовница и малыш!

Вообще-то Александр все реже и реже навещал Лор Лабе и с каждым разом испытывал, приходя к ней, все большее разочарование. Привычка притупила желание, и, как ни старался молодой человек пробудить в себе нежность, его только раздражал вечно болтавшийся между ним и любовницей ребенок, который пускал слюни, лепетал что-то невнятное, хныкал и упорно называл его «папа».

К счастью, Мари-Луиза по-прежнему ничего не знала или делала вид, будто ничего не знает об этой уже обременительной для сына связи. И каким же облегчением для него было, исполнив свой долг по отношению к незаконной семье, вернуться домой к матушке! Она-то, по крайней мере, не задавала ему никаких нескромных вопросов, она постоянно восхищалась всем, что он делает, и для полного счастья ей было достаточно смотреть на него, слушать его, быть рядом, дышать одним воздухом. Настолько же, насколько Александр блаженствовал в роли сына, он оставался равнодушен к мысли о том, что и у него самого есть сын. Но, разумеется, одной только Мари-Луизы, хотя она и была в его глазах воплощенным идеалом женщины, ему было недостаточно, он искал вдали от нее мимолетных встреч, легких побед над слабо обороняющейся добродетелью, поверхностных связей, – и это неизменно удавалось. Когда ты красив лицом, крепок телом, здоров, силен и при этом у тебя чарующий взгляд и хорошо подвешен язык, ты всегда будешь иметь успех у женщин. Если бы только директора театров были к нему так же благосклонны! Но те утверждали, будто ничем не смогут ему помочь, пока он не «сделает себе имя».

Самому же Александру отсутствие громкого имени нисколько не мешало посматривать в сторону Французского театра. После смерти Тальма барон Тейлор, королевский комиссар при театре, искал способов вновь завоевать публику, охладевшую к «Комеди Франсез» после кончины кумира. Тейлор изощрялся, придумывая декорации, костюмы, выбирая постановки, которые показали бы всем, что спектакли театра по-прежнему великолепны: как раз в это время состоялась премьера грандиозной исторической

комедии «Людовик XI в Перонне» по роману Вальтера Скотта «Квентин Дорвард». Снова Вальтер Скотт! Александр подумал, что он был тысячу раз прав, намереваясь использовать сочинение этого автора для создания собственного драматического произведения. Фредерик Сулье, присутствовавший 15 февраля 1827 года на первом представлении «Людовика XI в Перонне», вышел из зала в полном восторге. Теперь он, несколькими месяцами раньше отказавшийся работать над «Шотландскими пуританами» того же Вальтера Скотта, признал, что был не прав, теперь он снова увлекся проектом.

Александр, обрадованный этой переменой мнения, не сомневался в том, что перья, трудящиеся в братском единении, приведут соавторов к победе. Наставниками в искусстве строить диалог, внезапно поворачивать ситуацию и усиливать напряжение для них были Шекспир, Шиллер и все тот же Вальтер Скотт, но вместе с тем они полагались на силу собственной молодости, которая должна была помочь им обновить сюжеты и методы великих предшественников.

А в то время как они трудились, «заново создавая» исторический театр, Карл X совместно с Виллелем сделали все для того, чтобы недовольство правительством возросло, попытавшись навязать так называемый «закон справедливости и любви», который должен был задушить прессу налогом в один франк с каждого печатного издания. Выступления против этого «варварского», по выражению Шатобриана, закона последовали незамедлительно. Начались уличные беспорядки, принявшие такой размах, что Виллелю пришлось отозвать проект. Слишком поздно! Недоверие к власти распространялось все шире. 29 апреля, во время парада Национальной гвардии на Марсовом поле, Карла X встретили злобными выкриками: «Долой министров! Долой иезуитов!» Александр, затерявшись в толпе солдат-граждан, кричал громче всех. В тот же вечер Национальная гвардия была расформирована.

Дюма был в эти дни необычайно возбужден, хотя считал себя слишком занятым собственными делами и планами для того, чтобы ввязываться в политику: Франция как-нибудь сама разберется. И все-таки – кто же он? Кто же – бонапартист из ностальгических побуждений, роялист умом, республиканец душой? Он и сам толком не понимал, однако испытывал настоятельную потребность присоединиться к тем, кто говорит «нет». «Нет» – установившемуся порядку, «нет» – официальному признанию, «нет» – неправедно нажитому богатству, «нет» – старости…

Для того чтобы мир принадлежал людям его поколения,

полагал Александр, надо ниспровергнуть тех, кому выгоден нынешний режим. Начиная с «ультрароялистов», которые безоговорочно поддерживают Карла X, и заканчивая пользующимися успехом писателями, которые не дают молодым занять их место. Он готовился к борьбе с тем большим пылом, что ему нечего было терять. Мать вечерами подолгу смотрела, как «малыш» лихорадочно пишет и пишет при свете лампы. Что он делает – возводит для себя пьедестал или роет себе могилу? В два часа ночи, когда сын, смертельно уставший, но полный самых радужных надежд, падал на постель, она тоже укладывалась спать, моля Бога о покровительстве их семье, над которой нависла опасность мании величия.

Глава VII
До успеха – рукой подать?

Даже Бонапарту в начале карьеры требовалась поддержка влиятельных людей. Естественно, тому, кто хочет добиться литературного успеха, тоже требуются связи в том мире, куда он рассчитывает с боями прорваться.

Александр, одержимый неотступной мыслью об этом, врывался во все салоны, в какие только его соглашались впустить, устремлялся во все двери, какие только перед ним открывались. Никакое знакомство не казалось ему неподходящим, если только новый знакомый мог замолвить за него словечко в полном сплетен литературном или театральном мире. Вот так и случилось, что, послушавшись совета Корделье-Делану – поэта, время от времени сотрудничавшего с «Психеей», он отправился 3 июня 1827 года в Пале-Рояль слушать лекцию, которую читал Матье Гийом Вильнав, в то время уже старик, слывший великолепным оратором и тонким ценителем талантов почивших литераторов.

Публика собралась многочисленная, элегантная, кое-где мелькали лица знаменитостей, привлекавшие внимание Александра. Однако очень скоро ему наскучило их разглядывать, и он обратил внимание на Мелани, дочь Вильнава. Она была темноволосой, худощавой, плоскогрудой, с нездоровым цветом лица, но в ее глазах горел многообещающий огонек. Александр на всякий случай расспросил о ней, прежде чем идти на лекцию, и потому уже знал, что ей около тридцати, что ее муж, Франсуа Жозеф Вальдор, капитан интендантской службы шестого полка легкой пехоты, месяцами остается в Тионвиле, где расквартирован его полк, что их брак оказался неудачным, и бедняжка Мелани, которая живет у родителей с дочкой двух с половиной лет, смертельно скучает, несмотря на все старания хоть как-то забыться, сочиняя стихи.

По его мнению, все эти подробности указывали на то, что «бедняжка Мелани» нуждается в утешении. Пристально разглядывая женщину издалека, Дюма в конце концов решил, что она, хоть и тощая и чернявая, все-таки не лишена привлекательности. А то обстоятельство, что она была дочерью литератора с лестными знакомствами и при этом женой военного, находившегося в далеком от Парижа гарнизоне, делало ее в его глазах привлекательной вдвойне. Александру пришлось, не дождавшись конца лекции, на минутку сбегать в канцелярию, но

он успел вернуться вовремя и смешаться с толпой поклонников, засыпавших профессора комплиментами. Больше того, он принял приглашение на чашку чая у Вильнава, в доме 82 по улице Вожирар, куда все решили отправиться, чтобы весело завершить вечер.

Мелани обрадовалась тому, что ее отец отличил этого статного молодого красавца, обладающего к тому же отменным вкусом. Она согласилась даже опереться на руку Александра, когда вся компания пешком отправилась из Пале-Рояля в дом ее родителей. Дорога с правого берега на левый была достаточно долгой, они разговорились. Мелани жаловалась на свое одиночество, на неисцелимую меланхолию, говорила о том, какое разочарование испытывает от того, насколько мелко повседневное существование, рассказала и о своих предпочтениях в поэзии. Александр отвечал ей, что тоже задыхается в тесных рамках своей жизни и тоже мечтает посвятить себя великому делу и великой любви. Вот так, шаг за шагом, улица за улицей, окутанные нежным теплом парижской весны, они постепенно открыли, что созданы друг для друга, и рука Мелани более удобно устроилась на руке спутника.

Но вот они добрались до места назначения. Угрюмый, обветшалый дом в заброшенном саду, темный, сырой, пропахший плесенью первый этаж, а на втором – большая и малая гостиные, где хозяева и приглашенные устроились кто как мог под сумрачными взглядами потемневших портретов. На мраморном столе торжественно возвышалась бронзовая погребальная урна. По преданию, в ней хранилось сердце Баярда. Александр сделал вид, будто поверил в легенду, издал несколько приличествующих случаю восклицаний и принялся уплетать пирожные, блюдо с которыми ему, ласково на него глядя, подала Мелани. Вся семья мгновенно приняла его и полюбила: и деспотичный, самодовольный, тщеславный отец, и мать, Мари-Анн, крохотная, увядшая, вся так и лучащаяся морщинками и улыбками, и сын Теодор, крепкий парень, «сочинитель мимолетных стихов», и дочь Мелани, у которой под невзрачной внешностью, похоже, таился пылкий нрав, и даже единственный ребенок Мелани – белокурая розовощекая девчушка, говорившая (ну до чего же трогательно!), будто бабочки – это летающие цветы.

Отныне Дюма будет каждую пятницу приходить на улицу Вожирар, чтобы слушать, как патриарх Вильнав делится своими воспоминаниями, и развлекать Мелани, рассказывая ей истории из собственной жизни – чаще всего выдуманные.

Вильнав был страстным собирателем автографов и очень огорчался из-за того, что у него не было ни одного автографа

Бонапарта тех времен, когда будущий император подписывался «Буонапарте». Александр принес ему письмо из архива отца, подписанное фамилией с пресловутым «у», заметно повышавшим ценность документа. Вильнав возликовал: «Вот оно! Вот это „у“! О, это, несомненно, его „у“, ошибки быть не может… Великий исторический вопрос разрешен!»[35] После чего, рассыпавшись в благодарностях, убрал драгоценную реликвию в белый конверт, снабдил пояснительной надписью и спрятал в картонную папку. Право, день просто озарен подарком этого славного парня, как хорошо, что Мелани приглашает его в дом!

Что касается самой Мелани, она тоже получала письма, но только не от Бонапарта. Александр украдкой передавал их ей на пороге. От одной нежной записочки до другой он все больше смелел, все свободнее изливал нахлынувшие на него чувства. Он совсем перестал стесняться. «Вчера вы сами видели, какую власть имеете над моими чувствами, как легко вам одним дуновением заставить их вспыхнуть или угаснуть», – писал он ей 7 сентября 1827 года. Вскоре они перешли на «ты». Александр старался бывать с Мелани на тех приемах, куда ее звали: там, не переставая ухаживать за спутницей, он успевал заодно обхаживать и тех знатных особ, которые их приглашали. Любовь и умение ловить благоприятный момент казались ему неразлучными спутниками человека, желающего блеснуть в парижском обществе. 12 сентября 1827 года ему наконец удалось – танцуя на балу – заключить молодую женщину в объятия. Едва дыша после стремительного кружения вальса, она отделила цветок герани от букетика, украшавшего ее корсаж, и поднесла его к губам Александра. Тот поцеловал привядшие лепестки, вдохнул аромат разгоряченной и задыхающейся партнерши и, едва вернувшись домой, лихорадочно набросал несколько строк записки, которую ей предстояло прочесть на следующий день: «Мне необходимы были это полное доверие, эти откровенные признания, теперь я обладаю твоим доверием, я получил твои признания, у меня есть ты!.. До чего это чудесно – говорить себе: „Я думаю о ней, и я уверен, что она тоже думает обо мне…“ Потому что я буду везде, где будешь ты, я могу появляться почти во всех ваших салонах, эти равнодушные глупцы и не заметят, что я прихожу только с тобой и только ради тебя. Но теперь ты не будешь задыхаться, меня не будет бросать в дрожь, теперь нам обоим надо жить».

Несколько дней спустя Мелани, совершенно околдованная Александром, сдалась и забыла в его объятиях о том, что она замужем, что у нее есть ребенок, что ее социальное положение не допускает подобных выходок и что она на шесть лет старше

возлюбленного. Что же касается Александра, то ему, разгоряченному только что одержанной победой, с трудом удавалось распределить время между любовными утехами, требованиями службы и семейными обязанностями.

Едва, в шестом часу вечера, вырвавшись из канцелярии, он забегал к матери пообедать, потом спешил к Лор, на ходу бросал ей несколько ласковых слов, трепал по щечке малыша – и вот уже, принарядившись, он сидит в гостиной у Вильнава, где Мелани принимает его со светской любезностью словно чужого, а в его ушах еще звучат слова любви, которые она вчера шептала в забытьи наслаждения.

Чаще всего они тайно встречались по воскресеньям – сначала в гостинице, потом в скромной комнатке, снятой нарочно для любовных свиданий. «Какой блаженный день, любовь моя, – пишет Александр 24 сентября 1827 года после одной из таких страстных встреч. – Нам удалось постепенно вновь пережить все наши первые впечатления! Я покоен… Я был одновременно и тот *я*, каким был в день, когда поцеловал тебе руку, и *я*, каким я был 12 сентября, и *я* сегодняшний; и этот сегодняшний *я* – самый счастливый из всех». А три дня спустя, после того, как Мелани за что-то на него обиделась или испытала запоздалое раскаяние, он принялся изливать свои чувства еще более пламенно: «Простила ли ты меня, ангел мой?.. Нет, я не стану больше уговаривать тебя, убеждать скучными рассуждениями, я просто заключу тебя в объятия или брошусь к твоим ногам, я буду, глядя на тебя, молить о любви, и ты забудешь обо всем ради меня, да, обо всем, не правда ли? Ты снова придешь ко мне спокойная и будешь трепетать в моих объятиях только от наслаждения и любви».

Иногда на их безоблачном небосклоне появлялась тучка, омрачавшая радость свидания: например, некстати припомнившийся муж, который тоскует в своем тионвильском гарнизоне. Александр кривился, хотя на самом деле его вполне устраивала эта двусмысленная ситуация, – просто, повинуясь законам жанра, он должен был проявлять ревность. Дюма и делал это – с байроновскими интонациями. А иногда внезапно начинала ревновать Мелани, и его это приводило в восторг, он видел в этом подтверждение своей власти над ней.

Радуясь тому, что способен возбуждать столь лестные для него подозрения, Александр еще подливал масла в огонь, рассказывая о тех адских муках, какие испытывает, воображая ласки, которыми изредка награждает ее супруг: «Проклятье, эта мысль способна толкнуть на преступление. Мелани, моя Мелани, я люблю тебя безумно, больше жизни, потому что я понимаю смерть, но не могу понять, как можно остаться равнодушным к

тебе […], тысячу раз целую твои губы теми жгучими поцелуями, которые отзываются во всем теле, которые заставляют содрогаться и в которых заключено блаженство, доходящее почти до боли».[36]

Благодарная Мелани не только дарила ему наслаждение, она еще и с гордостью представляла его наиболее высокопоставленным своим знакомым. Именно благодаря ей Дюма познакомился с принцессой де Сальм, графом де Сегюром, мадам де Беллок, Низаром и еще двумя десятками парижских знаменитостей. И повсюду он важничал, и повсюду он пользовался своим полуфранцузским, полуафриканским обаянием, прекрасно сознавая, насколько привлекателен.

Однако, для того чтобы обеспечить себе блестящую карьеру писателя, недостаточно красоваться в обществе. Надо еще сверх того что-то придумывать, марать бумагу – одним словом, работать! Французский театр, давным-давно уснувший и покрывшийся слоем пыли, ждал своего воскрешения, добрую сотню раз обещанного романтиками и постоянно откладывавшегося из-за отсутствия выдающихся спектаклей, а тем временем прибывшие из Лондона актеры триумфально выступили в «Одеоне», где играли Шекспира на английском языке. Подлинным волнением в голосе, верными мимикой и жестами они сумели расшевелить публику, пробудить ее от спячки. За «Гамлетом» последовали «Ромео и Джульетта», «Отелло» и прочие пьесы британского репертуара.

Александр был в восторге от игры главных актеров труппы: Кина, мисс Фут, мисс Смитсон… «Впервые я видел на сцене подлинные страсти, владеющие мужчинами и женщинами из плоти и крови», – расскажет он в своих мемуарах. Но ведь и в «Комеди Франсез» есть, скажем, Фредерик Леметр и Мари Дорваль, способные, по его мнению, соперничать с лучшими актерами, прибывшими из-за Ла-Манша! Стоит только вложить им в уста достойный текст… В те времена, когда жизнь становится слишком мирной, надо волновать умы, учащать биение сердец, прибегая для этого к неожиданным поворотам сюжета, к внезапным переменам ситуации и громким крикам. «Когда телам ничто не угрожает, ум жаждет воображаемой опасности, – напишет он еще. – Человеческой жалости необходим повод для проявления. Двенадцать лет покоя привели к тому, что всякий захотел проливать слезы».[37]

Все, что Александр видел, и все, что Александр читал, лишь укрепляло его в этом убеждении. Теперь он знал, что прежнее, дедовское искусство отжило свое и похоронено. За кулисами театров уже суетилась толпа длинноволосых молодых людей.

Даже живопись закипала. Революционно настроенным художникам удалось прорваться в Салон. «Смерть Сарданапала» Делакруа вызвала возмущение «лысых черепов» смелостью композиции и ослепительной яркостью красок. Александр, восхищенный этой оргией обнаженных тел, сваленных грудами сокровищ, алого пламени и трагических взглядов, увидел на полотне приглашение присоединиться к сторонникам излишеств. То, что Делакруа изображал при помощи кисти, ему захотелось изобразить при помощи пера. Идя через зал, где была выставлена скульптура, Дюма в восхищении остановился перед барельефом мадемуазель Фелиси де Фово, изображавшим убийство Мональдески, совершенное по приказу его недоверчивой любовницы, шведской королевы Христины. Вот только он ровным счетом ничего не знал ни об одном из двух персонажей, вдохновивших автора на создание этого прекрасного произведения, посвященного любви и смерти. Не рискнув расспрашивать других посетителей выставки из страха, что его примут за невежду, Александр так и покинул Салон в смятении и нерешительности. Все еще под впечатлением от барельефа мадемуазель де Фово, он явился к Фредерику Сулье, надеясь, что тот его просветит. И в самом деле, у друга нашлась «Всеобщая биография», в которой содержались сведения обо всем на свете. Александр не только прочитал, но и переписал статью, посвященную королеве Христине. Там рассказывалось, что после отречения от престола в 1654 году она путешествовала по Европе и, остановившись проездом в Фонтенбло, поразила двор тем, что приказала убить своего любовника, обер-шталмейстера Мональдески, обвинив его в неверности. В течение нескольких минут Александр грезил этой драмой деспотизма и ревности и страшился, что не справится в одиночку со столь богатым материалом. Для большей верности он предложил Фредерику Сулье работать над пьесой в соавторстве, однако тот заявил, что сам давно заинтересовался этим сюжетом и намерен написать «свою собственную» «Христину». Александр, хоть и был огорчен этой неприятной неожиданностью, все же не отказался от своего намерения. Поскольку ни тот, ни другой не желали уступить, решено было, что будет две «Христины»: одна – принадлежащая перу Сулье, другая – Дюма, и комитету Французского театра останется только выбрать ту, которая понравится ему больше.

Александр ушел от Сулье, не слишком довольный столь ненадежным соглашением. До полуночи оставалось совсем немного, на улице было темно, тихо, безлюдно, только дождь барабанил по крышам и журчал по мостовой. Добравшись до ворот Сен-Дени, Дюма услышал где-то в темноте, шагах в

тридцати впереди себя, громкие крики. Двое напали на женщину, толкнули на землю и пытались сорвать с нее ожерелье. Спутник жертвы старался отбиться от нападавших, бестолково размахивая тростью. Дюма одним прыжком настиг воров и сбил с ног более наглого. Пока он расправлялся с ним, придавив грабителю грудь коленом и держа за горло, второй налетчик пустился улепетывать со всех ног. Услышав крики о помощи, из ближайшей казармы Бонн-Нувель прибежали солдаты и, не желая слушать никаких объяснений, увели всех «нарушителей общественного порядка», не разбираясь, кто прав, кто виноват, в караульное помещение. И только там, когда молодая женщина принялась благодарить Александра за героическое заступничество, он с изумлением узнал в ней свою возлюбленную из Вилле-Котре: перед ним была Аглая! Она приехала в Париж вместе с мужем, Николя Аннике, и они первым делом отправились смотреть в театре «Порт-Сен-Мартен» «Свадьбу и похороны», поскольку весь городок прекрасно знал, что настоящий автор пьесы – Дюма.

Эта встреча показалась Александру не менее важной, чем то, что он увидел «Смерть Сарданапала», открыл для себя гений Шекспира или узнал о трагической судьбе королевы Христины и ее любовника. Эта встреча доказывала, что невероятнейшие совпадения в жизни случаются так же часто, как в вымыслах самого безумного писателя. Неожиданные развязки, свидетелем которых он ежедневно становился, подталкивали Дюма к тому, чтобы дать волю своему воображению, пренебрегая здравым смыслом и логикой, чтобы отказываться от возможного ради невозможного.

Он охотно согласился провести ночь в участке вместе с двумя призраками, явившимися из его прошлого, и с воришкой, которому было явно не по себе. Аглая вскоре уснула, прикорнув у мужа на плече. Сидя рядом с ними в камере, Александр разглядывал эту дружную и заурядную чету и жалел их, пресно и безмятежно счастливых. Затем он перестал о них думать и вновь погрузился в свои мечтания. Есть ли для творца большая радость, чем ощущать, как персонажи, теснящиеся в голове, требуют выпустить их на сцену или на страницы книги? «Я видел глазами памяти барельеф мадемуазель де Фово, врезанный в стену, и там, в караульном помещении на бульваре Бонн-Нувель, рядом с этой женщиной и ее мужем, напротив этого вора, которого на ближайшем же заседании суда присяжных должны были приговорить к трем годам тюремного заключения, мое воображение создало первые сцены „Христины“[38]», – вспоминал он.

На рассвете появился комиссар, выслушал показания тех и

других, невиновных отпустил, а виновного отправил в тюрьму предварительного заключения при префектуре полиции. Распростившись с четой Аннике, Александр побежал домой, на улицу Фобур-Сен-Дени, чтобы успокоить мать, которая провела бессонную ночь, встревоженная его долгим отсутствием. Затем, когда в доме воцарилось спокойствие, задумался о последствиях странной встречи с Аглаей. Уж не попытается ли он возобновить прежние отношения? Нет, может, они и увидятся, но не больше чем два или три раза, да и то из вежливости: он терпеть не может подогретую еду. Его областью всегда было будущее. А будущее в этот момент представляет ненасытная и деятельная Мелани. Она дает ему такие удачные советы, она так помогает добиться, чтобы «Фиеско» поставили во Французском театре!..

Между прочим, там только что была принята «с поправками» пьеса некоего Гюстава Друино, посвященная тем же историческим событиям. Непременно надо как-нибудь устранить с дороги это досадное препятствие. Александр обратился к своим сторонникам, но, несмотря на поддержку Вату, Арно и Альтюлена, адъютанта герцога Орлеанского, всемогущий барон Тейлор, королевский комиссар при первой французской сцене, не откликнулся на ходатайство молодого Дюма. Ну и пусть! Одержимый замыслом «Христины», Дюма мало-помалу утратил интерес к этому заговору Фиеско, некогда вдохновившему Шиллера. Его собственная пьеса на эту тему казалась ему теперь недостойной увидеть огни рампы, тогда как с «Христиной» он набрел на золотой сюжет, это уж точно! Только бы политика не встала на пути его честолюбивых стремлений!

Со времен последних выборов оппозиция владела большинством голосов в палате. После того как Виллель ушел в отставку, его место во главе правительства занял считавшийся более либеральным Мартиньяк. В Пале-Рояле тоже произошли перемены, на многих должностях появились другие люди. Александра перевели из службы социальной помощи в архивы его королевского высочества. Куча преимуществ: теперь ему не надо было «отбывать дежурство», заниматься почтой, и его расписание стало более свободным. К тому же новый начальник, «папаша Бише», казался истинным воплощением снисходительности. В свои восемьдесят лет он одевался, как при дворе Людовика XVI, любил литературу и серьезно к ней относился. Ко всему еще Бише был некогда знаком с Пироном, чьи произведения знал наизусть, – потому неудивительно, что он поощрял молодого подчиненного, позволяя ему тратить сколько угодно времени на собственные вымыслы, забросив ради этого, если потребуется, все дела и предоставляя папкам накапливаться на рабочем столе. По

мнению добряка-начальника, работа могла и подождать, тогда как поэтическое вдохновение ждать не может.

Но за спиной этого ангела вскоре начались интриги. Служащие, получавшие меньше поблажек, упрекали «любимчика» папаши Бише в том, что он сочиняет пьесы вместо того, чтобы заниматься работой, за которую ему платят деньги, и думает, будто ему все позволено, если ему покровительствует Девиолен.

Девиолен, до которого дошли эти разговоры, решительно их пресек, заявив, что ему безотлагательно требуются услуги господина Дюма, который, хоть и кажется на первый взгляд несерьезным человеком, является одним из самых ценных сотрудников канцелярии. Александр немедленно решил воспользоваться случаем и добиться для себя еще кое-каких преимуществ. Набравшись дерзости, он нашел способ уберечь себя от недоброжелательства завидовавших ему писарей и прочей мелкой сошки: взял да и вселился самовольно в крохотную каморку, где конторские служащие обычно держали пустые склянки из-под чернил. Этот государственный переворот потряс Пале-Рояль от подвалов до самых верхних этажей. Девиолен снова призвал к себе виновного и задал ему головомойку, но – только для приличия, а в глубине души забавлялся, глядя на выходки чиновника-сочинителя. «И кто только подбросил мне такого шалопая? – ворчал он, хмуря брови. – Еще немного, и он начнет подбирать себе начальников по вкусу!.. Ну, ладно, ступай в свой кабинет».[39] И Александр, радуясь, что так легко отделался, поспешил вернуться к своей «Христине», которая нетерпеливо ждала его, погребенная среди груды бумаг в окружении пустых склянок.

Едва дописав последнюю строчку пьесы, Дюма озаботился тем, как бы самым выгодным образом представить ее во Французском театре. Поскольку, собираясь попытать счастья, он никак не мог решить, чьей рекомендацией тут лучше воспользоваться, Лассань посоветовал ему обратиться за поддержкой к Шарлю Нодье, близкому другу барона Тейлора. Дюма, сказал он, достаточно будет напомнить милому главному библиотекарю Арсенала о встрече в театре на представлении «Вампира», о небольшой лекции на тему эльзевиров, о беседе в антракте, предметом которой служили гости из потустороннего мира. Александр послушался, хотя совершенно не верил в то, что от этого может быть какая-нибудь польза, однако все удалось как нельзя лучше. Нодье поговорил с Тейлором, и Тейлор назначил Александру встречу у себя дома в семь часов утра.

Когда Дюма явился к королевскому комиссару, тот лежал в ванне, погруженный по горло в воду, и героически слушал чтение

неким автором сочиненной им «Гекубы». Пьеса была бесконечно длинной, и Тейлор нетерпеливо ждал финала, поскольку вода с каждым актом становилась все холоднее. Время от времени монотонное чтение прерывал еле слышный плеск. Наконец Гекуба испила до дна чашу скорби и сполна насладилась местью, после чего певец ее благородных несчастий удалился, так и не сумев пробудить ни малейшего интереса у хозяина дома.

Едва за докучным гостем закрылась дверь, как Тейлор, дрожа всем телом и чертыхаясь, выскочил из ванны, влетел в спальню, нырнул в постель и натянул одеяло до подбородка. Захочет ли он теперь слушать «Христину»? Обеспокоенный Александр поинтересовался, не лучше ли ему прийти на следующий день, но Тейлор проворчал: «Раз уж вы здесь, читайте, я вас слушаю!» Александр неуверенным голосом начал читать.

К концу первого акта, совершенно убежденный в том, что попусту теряет время, он робко спросил:

– Сударь, мне продолжать?

– Ну конечно, продолжать! – воскликнул Тейлор. – Право же, это очень хорошо!

Согретый словами Тейлора не хуже, чем сам Тейлор – своими одеялами, Дюма приступил к чтению второго акта. Сцены сменяли одна другую, королевский комиссар все так же одобрительно кивал, и Александр в конце концов совершенно успокоился. Перевернув последнюю страницу рукописи, он уже нисколько не сомневался в том, что ему удалось завоевать уважение, а может быть, и восхищение хозяина дома. В самом деле, Тейлор сказал, что пьеса ему нравится, и объяснил, что надо делать дальше, в ближайшие дни: теперь автору следует прочесть «Христину» комитету Французского театра. Чтение было назначено на двадцатое марта.

Явившись в этот день в театр, Александр застал там ареопаг актеров, собравшихся вокруг длинного стола, накрытого зеленым сукном. Дамы были в украшенных цветами шляпах, мужчины одеты во фраки. На всех лицах – выражение доброжелательного и сдержанного внимания. Оказавшись перед этими неумолимыми, по слухам, судьями, Александр решился поставить на карту все. Он чеканил стих и менял интонации в соответствии с тем, к какому переходил персонажу. Когда же, совершенно измученный и оробевший, он наконец умолк, раздались громкие похвалы. Однако ликовать оказалось рано: после тайного совещания комитет объявил, что «Христина» будет принята лишь после нового чтения или же после того, как рукопись побывает в руках арбитра, выбранного труппой из числа писателей, внушающих ей доверие. Отсрочка? Повод отклонить пьесу? Александр,

безоглядный оптимист, счел это простой формальностью. В его представлении все было очень просто: пьеса понравилась, пьесу единодушно одобрили и, после того, как он внесет в первоначальный текст незначительные поправки, ее будут играть величайшие актеры эпохи.

Безумно гордый, словно только что из объятий первой своей любовницы, он спешил объявить новость женщине, которая, как никто другой, могла за него порадоваться. Нет, не к Лор, матери своего сына, он бежал, размахивая руками и разговаривая сам с собой, и не к Мелани, чьей любовью еще вчера упивался до изнеможения, – он торопился к Мари-Луизе. В его глазах она стояла куда выше всех родительниц детей и дарительниц наслаждений. Нетерпеливо расталкивая прохожих, Дюма еле удерживался от того, чтобы не выкрикнуть им в лицо: «Вы-то не написали „Христину“! Вы-то не идете сейчас из Французского театра! Вас-то не расхваливали наперебой!»

«В своей радостной поспешности, – продолжает мемуарист свой рассказ, – я не мог верно рассчитать расстояние, перепрыгивая через сточную канаву, и плюхался в середину, я не замечал экипажей и бросался под ноги лошадям».[40] Добравшись до предместья Сен-Дени, он обнаружил, что где-то по дороге потерял рукопись, но нисколько не огорчился из-за этого: пьесу-то он знал наизусть!

Человек, едва не задушивший Мари-Луизу объятиями и поцелуями, больше всего походил на веселого безумца. Мать сразу же встревожило возвращение Александра в неурочный час, когда, по ее разумению, «малышу» следовало сидеть в канцелярии, и он прерывающимся голосом рассказал ей о том, какую величайшую победу только что одержал над актерами Французского театра. Она слушала, прижав руку к сердцу, ослабевшая от смешанной с тревогой надежды. Как всегда, она боялась за их с Александром будущее. Он слишком быстро увлекается. Не будут ли в канцелярии недовольны тем, что он забросил работу ради призрачного театрального блеска?

– Но что с нами будет, если твоя пьеса провалится, а место ты потеряешь? – простонала она.

– Напишу другую пьесу, которая будет иметь успех! – весело успокоил он ее.

Утешив таким образом мать, Александр вспомнил о том, что комитет, конечно, прекрасно принял «Христину», но для того, чтобы она была принята окончательно, в пьесу следует внести некоторые изменения, после чего ее должен одобрить автор, пользующийся доверием у актеров Дома Мольера. В ту же ночь он восстановил пьесу слово в слово, как была, и переписал ее

набело, отшлифовав мельчайшие детали. Результат показался ему безупречным.

Французский театр попросил высказать свое мнение о пяти актах, созданных молодым Дюма, академика Бенуа Пикара, автора посредственных комедий. Александр забеспокоился. «Пикар был не способен понять „Христину“ ни по форме, ни по сути, – напишет он в воспоминаниях. – Я отбивался, как только мог, от третейского суда Пикара».[41] Но комитет с актером Фирменом во главе настаивал на том, чтобы решение непременно осталось за академиком, Фирмен даже предложил Александру сопровождать его, когда он отправится на «экзамен». Дюма долго сопротивлялся, потом сдался и дал согласие представить назначенному арбитру переписанную набело рукопись, свернутую в трубочку и даже перевязанную хорошенькой ленточкой, которую Мари-Луиза выбрала сыну «на счастье».

Фирмен, как и обещал, отправился к судье вместе с ним. Их принял маленький горбун с пронзительным взглядом и длинным лисьим носом. Неделю спустя они снова пришли к Пикару, на этот раз за ответом. Приговор обрушился, словно нож гильотины: пьеса никуда не годится! Пикар с желчной любезностью посоветовал начинающему собрату бросить литературу и вернуться к занятиям писца. «Если я могу позволить себе дать вам совет, возвращайтесь в контору, дитя мое, возвращайтесь в контору!»

Совершенно ошеломленный и утративший всякую надежду Александр забрал рукопись, испещренную пометками, восклицательными знаками и крестиками на полях. Назавтра же он показал ее Тейлору, которому «Христина» так нравилась раньше. Королевский комиссар был раздосадован тем, насколько мало с ним считаются в его собственном театре, и тут же решил узнать мнение Шарля Нодье: он-то настоящий писатель, способный и чувствовать, и здраво судить! Прочитав пьесу, Шарль Нодье вернул ее с такими словами: «По чести и совести заявляю, что „Христина“ – одно из самых замечательных произведений, какие я прочел за последние двадцать лет». Тейлор торжествовал, и Дюма вместе с ним. «Понимаете, – объяснял Тейлор новичку при новой встрече, – мне это было необходимо для того, чтобы действовать наверняка. Вы будете еще раз читать пьесу в субботу, готовьтесь!»

По окончании повторного чтения перед комитетом Французского театра пьеса была принята единогласно, автора попросили только внести несколько мелких поправок по желанию актера Самсона. После этой окончательной правки пьеса снова была представлена комитету и на этот раз принята без

голосования. Теперь оставалось преодолеть последнее препятствие: кордон цензуры.

Александр, состоявший на службе у герцога Орлеанского, который считался либералом, тем самым делался подозрительным в глазах ультрароялистов. Как и следовало ожидать, ответ цензоров, датированный 30 мая, нимало не обнадеживал: несмотря на то что в пьесе есть несколько удачных сцен, говорилось там, в ней «много погрешностей, которых легко было избежать». Заключение: «два последних акта следует переработать». На этот раз сам герцог Орлеанский почувствовал себя задетым нелестными высказываниями привередливых господ цензоров. В конце концов это к «его» человеку мелочно придираются из-за пустяков. И он поручил Бровалю заступиться за Дюма перед графом Мартиньяком. Александр, со своей стороны, счел необходимым написать этому высокопоставленному лицу письмо с заверениями в совершеннейшей своей преданности, а заодно и напомнить о заслугах отца: «Я – сын генерала Александра Дюма, мне двадцать пять лет,[42] произведение, которое сейчас находится в ваших руках, стало бы первой моей пьесой, сыгранной во Французском театре. У моей матери не было ни состояния, ни пенсии, когда герцог Орлеанский дал мне место в своей канцелярии; с тех пор мы с матушкой живем на мое жалованье. […] Если ваше превосходительство даст себе труд прочесть мою драму „Христина“, вы заметите, что нигде в ней я не стремился к успеху, на что-то намекая. […] Напротив, я неизменно добивался воздействия при помощи самого сюжета, который ни на миг не отступает от Истории».

Что помогло – поддержка Броваля? Речь Александра в свою защиту? То и другое одновременно? Как бы там ни было, 13 июня 1828 года на пьесе была поставлена виза, и сразу после этого ее начали репетировать. Роль Христины получила мадемуазель Марс, Мональдески – Фирмен. К сожалению, настроения актеров так же непредсказуемы, как и у цензоров. Мадемуазель Марс, прославившаяся своими капризами, попросила изменить те реплики, на которых она запиналась, а поскольку Александр отказался уступить ее требованиям, актриса сослалась на внезапное недомогание, стала пропускать репетиции, а потом заявила, что на все лето берет отпуск по болезни. Глядя на нее, и другие актеры начали задаваться вопросом о психологическом «смысле» своих персонажей и требовать поправок в тексте.

И тут 4 августа Французский театр внезапно принимает к постановке другую «Христину, королеву Швеции» – принадлежащую перу Луи Бро, бывшего префекта и близкого

друга герцога Деказа. Роль Христины отдали мадемуазель Вальмонзе, любовнице Эвариста Дюмулена, грозного издателя газеты «Le Constitutionnel». Последний потребовал, чтобы «Христину» Луи Бро поставили раньше, чем пьесу Дюма. Как можно ответить отказом на просьбу короля прессы, высказанную в форме ультиматума? Александр неохотно уступил свою очередь. Ему пообещали при первой же возможности возобновить репетиции, но он уже не верил в чудеса и с тоской провожал взглядом свою «Христину», ссылаемую в катакомбы – к бесчисленным незавершенным проектам театра. И не успел он проститься со своей шведской мечтой, как Фредерик Сулье сумел заинтересовать «Одеон» третьей «Христиной» – своей собственной. А вот это Александра не очень огорчило. Более того, к тому времени ему стало казаться, что Французский театр, отклонив его пьесу, не только ничего у него не отнял, а напротив, оказал ему услугу. С некоторых пор драматург усомнился в достоинствах своей «Христины». Да, думал он, как она ни хороша, ей не по силам встряхнуть вялую французскую публику. Этой пресыщенной толпе требуется драма одновременно политическая и любовная, театральное подобие картин Делакруа. Но где найти сюжет достаточно новый, достаточно волнующий, достаточно сильный для того, чтобы заставить весь мир ему аплодировать? Может быть, надо полистать исторические сочинения?

Александра удручало его собственное невежество. Как он жалел теперь о часах, потраченных на браконьерство, – лучше было в это время рыться в библиотеках! Не пришлось бы сегодня наверстывать упущенное. Что лучше? Читать или выдумывать? На его взгляд, одно без другого существовать не могло. Разве не самое лучшее время в работе над пьесой или книгой то, когда автор выдумывает приключения своего героя, но пока еще не должен их описывать? Вот тогда-то он получает полную свободу, а в результате его ждет верный успех! Увлеченный этим миражом, Александр готов был поверить, что правильно поступил, согласившись отложить на неопределенный срок постановку «Христины»: благодаря этому у него появится возможность громко заявить о себе драмой, ни одной строки которой еще не написано, но которая, несомненно, будет верхом совершенства.

Глава VIII
«Генрих III и его двор»

Как-то раз Александр, истомившись в своей пале-роялькой каморке, решил подняться на тот этаж, где занимались счетоводством; поиски сюжета для драмы к этому времени продолжались уже не первый день, и он намеревался поговорить о своих литературных, а заодно и прочих заботах с Амеде де Ла Понсом. Но Ла Понса на месте не застал – тот, не более усердный служащий, чем сам Александр, вышел погулять. А на его столе осталась толстая книга, раскрытая на девяносто пятой странице: «История Франции» Луи Пьера Анкетиля. Александр машинально взял ее в руки и пробежал глазами несколько строк: перед ним был рассказ о трагической любви одного из «миньонов», фаворитов Генриха III, Сен-Мегрена, и Екатерины Клевской, жены герцога де Гиза. Запутанная интрига, сплетенная под знаками страсти, коварства, кинжала и яда. Исторические сведения только разожгли его любопытство, и он пообещал себе при первом же удобном случае проверить их и узнать обо всем этом поподробнее. Пришлось снова обратиться за помощью к «Всеобщей биографии»: настоящая сокровищница для человека, который мается в поисках вдохновения! Здесь он нашел ссылку на мемуары Пьера д'Этуаля и, продолжая свои изыскания, попросил всезнающего господина Вильнава одолжить ему эту редчайшую книгу, которая, на счастье молодого автора, обнаружилась в библиотеке ученого. Старался не зря! В ней-то Дюма и прочел о том, каким образом герцог де Гиз покарал неверную жену, приказав убить ее любовника, Поля де Сен-Мегрена. С этим эпизодом перекликался еще один, похожий – история Бюсси д'Амбуаза, убитого другим обманутым мужем, господином де Монсоро. Жестокие нравы того времени подстегнули воображение Александра. Стремясь побольше разузнать о прихотях двора Генриха III, он по совету все того же Вильнава прочел блестящие и язвительные сочинения Агриппы д'Обинье и «Остров гермафродитов», анонимный памфлет, бичующий гомосексуальные отношения короля с его фаворитами. Пряный душок, исходивший от этого королевского двора, щекотал ноздри Дюма. Он так и видел перед собой и красавца фаворита – нарядного, дерзкого, изнеженного, вспыльчивого, и Генриха III – слабого, инфантильного, капризного и непоследовательного, и его мать, властную и суеверную интриганку Екатерину Медичи, обожающую сына и готовую все ему простить, лишь бы он

предоставил ей править королевством, укрывшись за его спиной. С каждым днем эти призраки все отчетливее представлялись его разгоряченному уму. Он увез их с собой в Вилле-Котре, куда отправился к открытию охоты, и между двумя походами в лес рассказал их историю давним друзьям. Те слушали с интересом, а сам он, пока говорил, внезапно осознал, что, еще не успев взять в руки перо, сочинил всю драму до мельчайших ее подробностей.

Вернувшись в Париж, Дюма повторил свой рассказ Мелани, и ее он тоже задел за живое. И все же она не соглашалась с Александром, убеждавшим ее, что проза куда больше, чем стихи, подходит для этой сумрачной интриги. Она боялась, что диалог, лишенный ритма и рифмы, зрителям, привыкшим к музыке александрийского стиха, покажется слишком грубым. Но Александр крепко держался за свое намерение: на этот раз его герои будут разговаривать, как обычные люди. Так они начали говорить в его голове, так продолжат и на сцене.

Пьеса сочинялась стремительно и оказалась закончена уже в августе 1828 года. Она изобиловала безотказно действующими элементами мелодрамы: тут были политические и любовные интриги, темные дела астролога-отравителя, распутство фаворитов, столкновения короля с герцогом де Гизом, тайные происки Екатерины Медичи, подлый замысел ловушки, в которой погибнет Сен-Мегрен… Зрителю не дадут и секундной передышки, он должен сидеть как на иголках в течение всего действия! Все жестокие поступки, обычно оставляемые классиками за кулисами, здесь будут выведены на свет: больше никакого единства места, действия и стиля, никакого приукрашенного рассказа о событиях, которые неприлично представлять на сцене, – герои будут развлекаться, спорить между собой, ненавидеть и убивать друг друга, «как в жизни». Совершая все эти смелые перевороты, Александр сознавал, что своим «Генрихом III» открывает царствование романтической драмы. Он одновременно и гордился этим, и был несколько испуган.

Первое чтение пьесы состоялось в салоне Вильнавов. Мелани отчаянно аплодировала, но ее отец заявил, что его оскорбляют «подобные заблуждения человеческого ума». Ну и пусть! Вильнав, конечно, великий ученый, но на его мнение влияет преклонный возраст. К тому времени, когда у человека не остается ни волос, ни зубов, он утрачивает и способность ясно мыслить. Теперь Александру хотелось узнать мнение нового поколения – поколения «смельчаков», «ниспровергателей памятников». Он добился от Нестора Рокплана, главного редактора «Фигаро», чтобы тот собрал у себя сотрудников своей газеты и журнала «Сизиф», страстных приверженцев романтического направления.

К ним присоединились Лассань и Фирмен, вся компания устроилась на разложенных по полу тюфяках, и, потребовав полной тишины, Александр, в свою очередь, уселся с рукописью за стол, на котором горели свечи, и начал читать. Голос его звучал ясно и уверенно, до слушателей доходило каждое слово; едва он закончил чтение, раздались аплодисменты и восторженные крики. Было единодушно решено, что ему надо забыть о «Христине» и сделать все для того, чтобы на сцене Французского театра был поставлен именно «Генрих III». Фирмен – не только талантливый актер, но и искусный дипломат – предложил до того, как предстать перед полным составом комитета, устроить предварительную читку для нескольких наиболее прославленных и влиятельных актеров.

В роли экзаменаторов на этом испытании выступили мадемуазель Марс, мадемуазель Левер, Мишло, Самсон и «национальный поэт» Беранже. Александр, как почтительный сын, явился на это собрание вместе с Мари-Луизой, желая разделить с ней свой успех. Как он и надеялся, по окончании чтения она услышала такие восторженные крики, что, несмотря на все былые опасения, вернулась домой радостная. Через день, 17 сентября 1828 года, пьесу не менее восторженно принял весь комитет. И все было бы как нельзя лучше, если бы два дня спустя в «Театральном курьере» не появилась статья Шарля Мориса, который загадочным образом обо всем узнал и, высмеяв «вредную и безнравственную пьесу», указал властям на то, что представление старого французского двора как сборища миньонов и убийц может вызвать сильное возмущение.

Ловкий способ привлечь внимание цензуры! Оскорбленный выпадом Александр бросился к автору статьи, вооружившись дубинкой и прихватив с собой Амеде де Ла Понса. Журналист, которому они пригрозили немедленной расправой, сдался и позволил драматургу ответить на несправедливое обвинение, так что 26 октября Дюма в той же газете смог объяснить, что, когда он писал «Генриха III», в его намерения нисколько не входило обличать мерзость и низость королевского окружения в XVI веке: он хотел серьезно и точно рассказать о том, как развивалось соперничество между герцогом де Гизом и последним представителем династии Валуа.

Цензура, удовлетворенная такими разъяснениями, разрешила постановку. Можно было начинать репетиции. Мадемуазель Марс, которой досталась роль герцогини де Гиз, немедленно взяла дело в свои руки. Она потребовала, чтобы роль Генриха III отдали актеру Арману, а роль пажа Артура – мадемуазель Менжо. Однако Дюма предпочел бы видеть в роли короля Генриха совсем другого

исполнителя – Мишло, а главное – хотел, чтобы в роли пажа выступила прелестная Луиза Депрео, чьей благосклонности он только что добился. Боже, боже! Ну, разве можно было пренебрегать тем обстоятельством, что мадемуазель Марс, в свои пятьдесят лет все еще претендующая на роли героинь, не потерпит рядом с собой свеженькой девочки, по сравнению с которой будет выглядеть еще старше? Желая избавиться от соперницы, мадемуазель Марс объявила, что у той узловатые коленки. Дюма, у которого была возможность лично убедиться в том, что это совсем не так, решительно заступился за подругу, и мадемуазель Марс в конце концов нехотя уступила. Что касается Армана, здесь положение было еще более сложным. По мнению мадемуазель Марс, он превосходно сыграл бы Генриха III, но Александр считал, что гомосексуальные наклонности этого актера так хорошо известны всему городу, что его персонаж на сцене будет выглядеть пародией. Только как бы сказать ему об этом так, чтобы не обидеть? Несмотря на все предосторожности и ухищрения, Арман все же обиделся, отказался от роли и смертельно возненавидел того, кто слишком верно его оценил.

Из-за этих междоусобных распрей Александр все реже и реже бывал в канцелярии и все больше времени пропадал во Французском театре. Конечно, его присутствие на репетициях было вызвано интересом, с которым он относился к постановке своей пьесы, но вместе с тем – и чарами некой мадемуазель Виржини Бурбье, игравшей одну из второстепенных ролей. Не разрывая отношений с Луизой Депрео, Дюма стал и ее любовником. При этом его сердце, разумеется, по-прежнему было отдано Мелани. Поведение по отношению к трем женщинам, в которых он был влюблен, определялось для него только проблемами расписания, удобством и градацией чувств.

Все было бы прекрасно, если бы тут не начались неприятности на работе. Начальники Александра в Пале-Рояле как-то еще соглашались закрыть глаза на его любовные приключения, но постоянных отлучек они долго терпеть не могли, поскольку тем самым он подавал дурной пример коллегам. И генеральный директор Манш де Броваль вызвал его к себе, чтобы предложить выбор между постоянным присутствием на рабочем месте и отпуском без сохранения содержания. Жестокий выбор: с одной стороны – верный кусок хлеба, с другой – зыбкие посулы театральной славы и призрачного богатства.

Загнанный в угол Александр рассказал о своих затруднениях Фирмену, и тот обратился к Беранже, который и отвел злополучного автора, над чьей головой собрались грозовые административные тучи, к своему другу-банкиру Жану Лаффиту.

Немного поколебавшись, финансист согласился помочь писателю, которого Беранже расхваливал на все лады, и безотлагательно выдал ему беспроцентную ссуду в три тысячи франков. А взамен всего лишь оставил у себя в сейфе экземпляр рукописи «Генриха III» и попросил полностью с ним расплатиться, как только она будет напечатана.

Уладив таким образом материальные проблемы, Александр мог позволить себе роскошь избежать увольнения, попросив освободить его от занимаемой должности по личным мотивам. Еще одна выходка этого строптивого писаря! Начальство, желая наказать его за дерзость, лишило его вознаграждения, которое герцог Орлеанский пообещал выплатить в конце года. Дюма негодовал, но только из принципа – на самом деле он был настолько уверен в своем будущем, что, когда вручал матери полученные от банкира Лаффита три бумажки по тысяче франков, ему казалось, будто он закладывает первый камень в основание здания, которое отныне будет непрестанно расти. Мари-Луиза плакала от радости, да и Мелани тоже так и сияла любовью и гордостью, недоволен был один только старый Вильнав. Не разделяя восторгов жены и дочери, он упорно продолжал считать пьесу «литературной нелепостью».

А может быть, старик попросту догадался о том, что Мелани, забыв о супружеском долге, стала любовницей ее автора? Если так, то, конечно, это обстоятельство могло несколько смутить его, но ведь нисколько не возмутить: он невысоко ставил капитана Вальдора, который в своем Тионвиле, должно быть, целыми днями только и делал, что пересчитывал пуговицы на гетрах. Нет, в его понимании серьезным оскорблением было не то, которое нанес мужу его дочери проказник Дюма, но нанесенное его «Генрихом III» Расину, Корнелю, Вольтеру, всем тем великим сочинителям, которые умели показывать страсть, не заставляя актеров кататься по доскам сцены.

Тем не менее пьеса, даже не объявленная еще на афишах, вызвала интерес любителей театра ошеломляющей, как говорили, смелостью замысла и исполнения. Стремясь пополнить ряды своих союзников, Александр поручил Мелани рассказывать в салонах, где собирались «романтики» – писатели, журналисты, художники или просто любители всего нового, что во Французском театре готовится великая битва и что во имя молодости необходимо ее выиграть. К заговору присоединились политики: поговаривали о том, что в пьесе содержатся намеки на деспотичный характер нынешнего правителя и что она предсказывает падение династии Бурбонов.

Эти слухи сердили как сторонников короля, так и

приверженцев классицизма, и кое-кто стал даже обращаться к властям с просьбой запретить постановку пошлой мелодрамы на величайшей сцене Франции. Но Карл X, равно остерегавшийся и ультрароялистов, и либералов, посоветовался с мудрым Мартиньяком и решил, что ему незачем вмешиваться в эти мелкие распри. Король философски отвечал всем, кто обращался с жалобами: «Господа, я ничего не могу здесь поделать, у меня, как и у всякого француза, есть всего лишь место в партере».

Перед премьерой – она должна была состояться во вторник 10 февраля 1829 года – Александр получил двести пятьдесят бесплатных билетов, предназначенных друзьям. Он послал приглашения Виньи, Луи Буланже, Гюго: несмотря на то что Дюма еще не был лично с ними знаком, он знал, что может рассчитывать на их поддержку. Его сестра Эме нарочно приехала из Шартра, чтобы быть с ним рядом в решительный момент. В преддверии этого определявшего все его будущее вечера Александр был настолько полон уверенности, что заранее распределял доходы, которые принесет ему пьеса «Генрих III и его двор»: Лор и маленького незаконнорожденного сына он переселит в более приличное жилище, найдет и для себя самого что-нибудь получше, наконец, снимет третью квартиру – для матери, от которой он теперь хотел уже отделиться, поскольку в его двадцать шесть лет, с его многочисленными связями ему становилось трудно жить с ней под одной крышей, не задевая ее чувств.

Седьмого февраля Дюма осторожно известил Мари-Луизу о намеченных им переменах. После чего, воспользовавшись случаем, сообщил заодно о том, что пять лет назад стал отцом маленького мальчика, которого тоже назвали Александром. Рада ли она была тому, что оказалась бабушкой? Не обиделась ли на то, что сын так долго скрывал от нее существование внука? Ошеломленная, едва дыша, с полными слез глазами, Мари-Луиза, по обыкновению своему, прижала руку к сердцу. Но, как и всегда, не способна оказалась упрекнуть сына в чем бы то ни было. Если он так долго умалчивал о своем отцовстве, значит, у него были на то веские причины. И поскольку мать продолжала безмолвно стоять перед ним, Александр кинулся к ней сам, приласкал, утешил, как мог, расцеловал и… оставив под впечатлением ошеломляющей новости, поспешил на последнюю репетицию.

Сидя в партере, он наслаждался, следя за ходом действия своей пьесы. Актеры играли убедительно. Ни одной лишней реплики. Роскошные костюмы, великолепные декорации, созданные Сисери, историческая точность во всем, вплоть до мельчайших деталей. От всего этого рождается ощущение

подлинности всего происходящего, даже самые взыскательные критики не найдут, к чему придраться.

Пока Александр обдумывал возможные поправки, которые должны были бы усилить воздействие одной из сцен, слуга, тихонько проскользнувший в зал, пробрался к нему между кресел и сказал, что у госпожи Дюма, когда она уходила от Девиоленов, где была в гостях, закружилась голова, она упала на лестнице и к тому времени, когда он сам выходил из дома, все еще не пришла в сознание. Резко вырвавшись из плена театральных миражей, Александр мгновенно забыл о драме «Генрих III» и вообще обо всем на свете, кроме своей личной драмы. Не на нем ли лежит ответственность за недомогание Мари-Луизы? Не его ли запоздалое признание насчет ребенка так ее потрясло? Не умрет ли она по его вине накануне триумфа, который ему так хотелось с ней разделить?

В безумной тревоге он бросился к Девиоленам и увидел там мать полулежащей в большом кресле. Она узнала сына, но не смогла выговорить ни слова. Мари-Луизе сделали ножную горчичную ванну – никакого действия: левая половина тела осталась парализованной. Доктор Флоранс, постоянный врач Французского театра, которого Дюма спешно вызвал к больной, пустил ей кровь. Язык Мари-Луизы слабо зашевелился во рту, она забормотала отрывки непонятных фраз. Шансы на выздоровление были, увы, невелики.

Первым делом Дюма и его сестра сняли свободную квартиру в том же доме, где жили Девиолены, на углу улиц Сент-Оноре и Ришелье, и устроили там импровизированную постель для больной, расстелив рядом, прямо на полу, матрасы для Александра и Эме, которые решили ни на шаг не отходить от матери.

Доктор Казаль, друг семьи, сменивший доктора Флоранса, всю ночь провел у изголовья Мари-Луизы. К утру появилась надежда: если только не случится нового удара, объявил врач, больная будет жить. Но в каком состоянии? Этого он пока с уверенностью сказать не мог. Александр был удручен и подавлен. Если Мари-Луиза утратит ясность ума, сможет ли он любить ее так, как прежде? Еще вчера она была его наперсницей, его сообщницей, его совестью, неужели ему отныне придется видеть в ней всего лишь напоминание о прошлом? Неужели их пара навсегда распалась? Друзья окружили Александра трогательным участием. Один из них, Эдмон Альфен, сын крупного ювелира, прислал ему кошелек с двадцатью луидорами, но Дюма вернул деньги, оставив себе лишь кошелек.

Теперь все его мысли были заняты тем, как сделать приятнее

последние дни жизни матери, дав ей возможность хотя бы издали приобщиться к его успеху. Конечно, она не сможет присутствовать на первом представлении «Генриха III», но, если отклики будут такими восторженными, как он рассчитывает, она сможет навеки закрыть глаза, не беспокоясь за будущее сына. Стараясь заручиться поддержкой со всех сторон, он осмелился, даже не попросив аудиенции, явиться к герцогу Орлеанскому. Едва войдя, он принялся умолять его высочество завтра прийти на премьеру, которая обещает быть шумной. Герцог, слегка удивившись, с улыбкой ответил, что не сможет быть в театре, поскольку завтра у него званый обед, на который он пригласил около тридцати иностранных принцев. Но Александр не отступал. Теперь он предложил его королевскому высочеству начать обед на час раньше, в то время как он сам на час задержит начало премьеры. Кроме того, он оставит для гостей его высочества все ложи бенуара, чтобы они могли, вкусив радостей застолья, затем насладиться представлением. Герцога предложение позабавило, и он согласился. Однако вполне возможно на самом деле, что бы ни писал Дюма в своих мемуарах, договоренность между герцогом Орлеанским и Французским театром была достигнута раньше, а не накануне премьеры. Если же герцог действительно принял это приглашение, сделанное в последнюю минуту, дело было вовсе не в смелости и таланте Дюма, а в том, что его высочеству нравилось выставлять себя защитником либеральной молодежи.

10 февраля 1829 года, проведя весь день у изголовья матери, все еще лежавшей без движения, с наступлением вечера Александр отправился в театр, где за несколько часов должна была решиться его судьба. Молодого человека терзали одновременно и горе сына, и мучительная тревога автора – не много ли это для одного? Прижимаясь к стенам, словно преступник, он пробрался в маленькую ложу, устроенную прямо на сцене. Вторую ложу заняла сестра, пригласив туда Буланже, Виньи и Гюго. Вскоре зал заполнился публикой, послышался приглушенный шум, напоминавший морской прибой. Ни одного свободного места. Билеты выхватывали из рук у перекупщиков, не глядя на цену, чуть ли не дрались из-за них. В ложах, отведенных гостям герцога Орлеанского, красовались чужеземные принцы, увешанные орденами. В остальных ложах разместились все парижские аристократы, все дипломаты и все известные политики. Женщины с обнаженными плечами, с диадемами на головах, переливались драгоценными камнями и поблескивали стеклами лорнетов, разглядывая законодателей мод и светских львов.

Наконец дали сигнал, занавес поднялся, со сцены в партер

потянуло сквозняком. Представление началось. Экспозиция показалась несколько затянутой, но несколько особенно удачных реплик были встречены аплодисментами.

В антракте Александр сбегал домой узнать, как чувствует себя матушка. Сиделка его успокоила: госпоже Дюма стало лучше, она задремала. К тому времени как он вернулся в театр, второй акт уже начался, и зал, как ему показалось, был совершенно захвачен действием, развивавшимся все стремительнее. А в третьем акте, когда герцог де Гиз ворвался в спальню жены и, стиснув ей руку латной рукавицей, заставил написать записку Сен-Мегрену, вызывая его на роковое свидание, по рядам прокатилась волна испуга. Эти решительность и грубость, этот женский крик боли были столь непривычными на сцене, что одни зрители возмутились, а другие захлопали. Вложив в уста отчаявшейся герцогини восклицание: «Генрих, мне больно!.. Вы причинили мне чудовищную боль!» – Александр даже представить себе не мог, как подействуют на публику, привыкшую к напыщенной декламации, эти простые, будничные, самые обычные слова. По восхищенному шепоту, которым была встречена его смелая находка, он понял, что одной этой фразой выиграл партию. Теперь окончательно покоренный зал с нетерпением дожидался, чтобы сработала западня, расставленная герцогом де Гизом. Александр еще раз сбегал домой, чтобы поцеловать глубоко спящую матушку, сожалея о том, что она не может разделить с ним радость, – и вот он уже снова сидит в своей маленькой ложе, прислушивается к каждому шепоту и шороху, доносящимся из зала, заполненного толпой незнакомцев, которых он поклялся завоевать. И завоюет!

Успех по мере приближения к развязке, несомненно, возрастал. Когда Сен-Мегрен, поняв, что оказался в западне, выпрыгнул в окно и его окружили сбиры, которыми командовал Майенн, зрители затаили дыхание. Падая, он поранился. Сможет ли он убежать? Или падет от рук убийц? Герцог де Гиз подтащил герцогиню к открытому окну, бросил Майенну ее платок и крикнул: «Ну, а теперь сдави ему горло этим платком; так ему будет приятнее умереть – на платке вышит герб герцогини де Гиз!» Реплика попала в самую точку. Публика содрогнулась, по залу словно пробежал электрический ток. Клака неистовствовала. Едва ли не из каждого ряда летели восторженные возгласы. Когда Фирмен снова вышел на сцену, чтобы назвать имя автора, бурные овации зала помешали ему говорить. В конце концов он все же смог объявить, что сегодняшнего триумфатора зовут Александр Дюма. «Сам герцог Орлеанский, стоя с непокрытой головой, слушал, как произносят имя его служащего»,[43] – с гордостью

оглядываясь на прошлое, напишет Дюма.

После премьеры молодые длинноволосые романтики торжествовали победу. Выбежав в фойе, они принялись плясать вокруг бюста Расина с воплями: «Обскакали Расина! Обскакали Вольтера! Расин – просто-напросто мальчишка!» Пришлось вмешаться, чтобы не дать им выбросить в окно мраморные изваяния прославленных в прошлом авторов. Александр про себя подумал, что они все-таки перегнули палку, и решил держаться подальше от этих святотатственных выступлений. Он мирно вернулся домой к Мари-Луизе, которая во время триумфа сына продолжала спать. «Мало у кого в жизни происходили такие мгновенные изменения, какие произошли в моей за те четыре часа, пока длилось представление „Генриха III“, – напишет Дюма впоследствии. – Еще вечером я был никому не известен, а назавтра, хорошо ли, худо ли, мной был занят весь Париж».[44]

Действительно, наутро начали прибывать букеты, один за другим. Не зная, куда девать цветы в таком количестве, Александр убрал ими постель матери. Она трогала рукой лепестки, не понимая, ни откуда они взялись, ни что означают. Потом уснула, а сын неотрывно смотрел на нее. Цветы парижского признания вокруг этой женщины, неподвижно лежавшей с закрытыми глазами, напоминали те, которые кладут, прощаясь навеки. В два часа пополудни Александр отнес рукопись Везару, который выложил за нее шесть тысяч франков; этими деньгами Александр, как и обещал, немедленно расплатился с любезно выручившим его в свое время Лаффитом. Покончив с формальностями, он легким шагом направился во Французский театр, уверенный в том, что застанет там праздничную атмосферу.

Однако у членов комитета, окружавших барона Тейлора, вид оказался похоронный: только что было получено письмо из министерства внутренних дел с приказом временно прекратить представления. Несомненно, это был выпад старичков, приверженцев классицизма, и ультрароялистов. Но Тейлор не пожелал сдаться без боя. Он велел Александру написать просьбу об аудиенции, адресованную господину Мартиньяку, и вызвался сам передать письмо.

Два часа спустя с нарочным прибыл ответ: господин министр ждет господина Дюма завтра в семь утра. Александр воспрянул духом: значит, не все еще потеряно! В самом деле, во время этой совершенно неофициальной встречи господин де Мартиньяк показал себя человеком остроумным, был приветлив и сговорчив и в конце концов разрешил играть пьесу, если в нее будет внесено несколько мелких поправок.

Александр, у которого словно камень с души свалился, поспешил уведомить барона Тейлора, что с особого разрешения министра «Генриха III» можно играть сегодня же вечером. Тотчас после этого в дирекцию театра пришло известие от герцога Орлеанского о том, как ему полюбилась пьеса – настолько, что он намерен присутствовать и на втором ее представлении. В антракте его высочество пригласил Александра в свою ложу и добродушно сообщил, что накануне Карл X, позвав его к себе, спросил: «Знаете ли вы, кузен, в чем меня уверяют? Меня уверяют в том, что один молодой человек из вашей канцелярии написал пьесу, где мы оба представлены: я – в роли Генриха III, вы – в роли герцога де Гиза». А когда Александр, совершенно опешив, поинтересовался, что же ответил на это герцог Орлеанский, тот с улыбкой сказал: «Я ответил: ваше величество, вас обманули трижды – во-первых, я не бью свою жену, во-вторых, госпожа герцогиня Орлеанская не наставляет мне рога, в-третьих, у вашего величества нет подданного более преданного, чем я». И еще более ласково прибавил: «Кстати, госпожа герцогиня Орлеанская хочет видеть вас завтра утром, чтобы осведомиться о здоровье вашей матушки». Глубоко растроганный, Александр поклонился, рассыпался в благодарностях и удалился на цыпочках.

На следующий день он нанес визит герцогине Орлеанской, с волнением выслушал ее похвалы достоинствам «Генриха III», равно как и ее пожелания скорейшего выздоровления Мари-Луизе, а едва вернувшись домой, тотчас набросился на газеты, желая поскорее узнать, что о нем пишут. Мнения в прессе явно и резко разделились. Либеральные издания – такие, как «Корсар», «Фигаро», «Французский курьер», «Новая парижская газета», «Жиль Блаз», «Французский Меркурий», – естественно, радовались шуму, поднявшемуся вокруг пьесы. Реакционные, вроде «Французской газеты» или «Пандоры», говорили об упадке «Комеди Франсез». Прославленная сцена, по уверениям самых недовольных, опозорилась, показав мелодраму, достойную разве что бульваров, да и то с натяжкой, и местами оскорбляющую королевскую власть, нравственность и религию. Один из критиков, наиболее резкий из всей шайки, даже завершил рецензию словами: «Этот успех, как бы он ни был велик, не может нисколько удивить тех, кому известно, каким образом вершатся темные политические и литературные дела у герцогов Орлеанских. Автор пьесы – мелкий служащий на жалованье у его королевского высочества».

Столь низкое оскорбление не могло, по мнению Александра, остаться безнаказанным. Он поручил Амеде де Ла Понсу пойти в

редакцию газеты, поместившей статью, и обсудить с клеветником условия дуэли. Ла Понс вернулся через час. Вызов был принят, но только на послезавтра, поскольку в промежутке этот газетный писака, за которым явно числилось не одно дело чести, должен был драться с полемистом Арманом Каррелем. Случилось так, что в ходе этой «предварительной» встречи Каррель выстрелом из пистолета начисто отсек противнику два пальца на правой руке, и журналист уже не мог держать оружие. Он известил об этом Александра, тот явился к нему и увидел перед собой честного и храброго человека, улыбающегося, несмотря на свое несчастье. На вопрос, насколько серьезно его увечье, раненый ответил: «Ничего страшного. Я лишился двух пальцев на правой руке, но, поскольку у меня остается еще три для того, чтобы написать вам о том, как мне жаль, что я вас обидел, мне больше ничего и не требуется!» «Но у вас, сударь, есть еще и левая рука для того, чтобы протянуть ее мне! – возразил Александр. – И это куда лучше, чем утомлять правую чем бы то ни было!»[45]

Мужественное и торжественное примирение напоминало перемирие, которое заключили бы после боя два полководца враждующих армий в случае, когда каждый признает доблесть противника. Вернувшись домой, Александр подвел итоги: зал каждый вечер полон, сборы невероятные, самое время устроиться поудобнее!

Прежде всего он снял для выздоравливающей Мари-Луизы первый этаж с садом в доме номер семь по улице Мадам. Мелани и ее мать как раз перед этим, покинув мрачного и раздражительного Вильнава, поселились в доме номер одиннадцать по той же улице. Они и сопровождали Мари-Луизу на прогулках, когда она начала потихоньку выходить на улицу. Что касается самого Александра, то он нашел себе квартиру на четвертом этаже углового дома на пересечении улицы Бак с улицей Университета. Ограничив таким образом территорию области чувств, он вполне готов был одновременно оставаться хорошим сыном, предупредительным возлюбленным и драматургом, стремительно двигающимся от триумфа к триумфу.

Глава IX
Драка из-за «Христины»

«Куй железо, пока горячо», «Не почивай на лаврах», – ежедневно твердил сам себе Александр, опасаясь утонуть в самодовольстве из-за того, что настолько удачно все устроил с постановкой «Генриха III». Все еще оглушенный шумом, который поднялся вокруг его пьесы, он чувствовал, что не в силах немедленно засесть за другое сочинение такого же масштаба. И решил воспользоваться своей новорожденной славой для того, чтобы склонить герцога Орлеанского снова принять его на службу, доверив ему спокойную должность библиотекаря.

Его королевское высочество заставил себя уговаривать, но все же позволил Дюма присоединиться к мирным трудам двух «ветеранов» герцогской библиотеки – Жана Вату и Казимира Делавиня. Первый встретил его добродушно, второй – холодно, недовольный появлением в тихом книжном царстве чересчур беспокойного молодца. Но Александр проявлял так мало усердия, что никак не мог нарушить их привычек, и в конце концов оба библиотекаря смирились с мимолетным «ассистентом». Что же касается самого Дюма, если в стенах библиотеки он показывался редко, то покрасоваться в парижских салонах случая не упускал.

Больше всего ему нравилось бывать у Нодье в его служебной квартире при библиотеке Арсенала. Шарлю Нодье было тогда около пятидесяти, это был удивительно образованный, красноречивый и любезный человек. Каждое воскресенье у него собирались к ужину писатели, известные своим умом и талантом. Гюго, Ламартин, Мюссе, Виньи были особенно желанными гостями. Дюма вскоре стал в этой компании своим. Ему всегда оставляли место между дочерью хозяина дома, Мари Нодье, в которую все молодые люди были более или менее влюблены, и госпожой Нодье, которая мягко и дипломатично правила беспокойным мирком друзей мужа. В восемь часов, покончив с десертом, Шарль Нодье прислонялся спиной к камину и начинал весело болтать, перемежая воспоминания с остроумными и парадоксальными замечаниями о литературе. После него иногда выступал с какой-нибудь прихотливой импровизацией Александр. Несмотря на то что образование его было поверхностным и обрывочным, он очаровывал слушателей врожденным умением рассказывать. Некоторое время спустя Шарль Нодье, повернувшись к Гюго и Ламартину, обычно заявлял: «Хватит с нас на сегодня прозы: теперь давайте стихи!» – и по его просьбе один

из прославленных гостей читал собственные сочинения, услаждая чувствительные души. В десять часов Шарль Нодье, привыкший ложиться рано, покидал друзей, предоставляя им продолжать вечер без него. Мари Нодье садилась к фортепьяно. Поначалу ее благоговейно слушали, затем сдвигали стулья и кресла и устраивали танцы или болтали до часу ночи. Покидая эту мирную гавань духовной гармонии, Александр всегда думал о том, каким чудом стареющему писателю удается достичь такого согласия между искусством сочинителя и счастьем жизни в семье.

Сам он не знал, как обрести это драгоценное равновесие между работой и чувством. Женщины, которых он любил, изводили его по разным, но равно эгоистическим поводам. Он удобно устроил Мари-Луизу, да и Мелани с матерью благодаря ему переехали в дом по соседству с ней, он снял неподалеку квартиру для себя самого, увез Лор Лабе с маленьким Александром в деревушку Пасси, славную своим здоровым воздухом и чистой водой, – и что же? Все им недовольны! Мари-Луиза обижается на то, что он бросает ее, больную, и пропадает за кулисами, Виржини Бурбье требует, чтобы за ее благосклонность он написал для нее большую роль в следующей пьесе, а Мелани, ревнуя к многочисленным соперницам, угрожает разрывом, если он не образумится.

Мелани и впрямь то и дело принималась осыпать Дюма упреками в непостоянстве и похотливости. Сама она в любви предпочитала всему остальному осторожные подходы, медленно уступающую стыдливость, клятвы, вырванные силой среди слез и вздохов. Словом, ей больше хотелось быть желанной, чем получать наслаждение. Соитие в глазах этой женщины было всего лишь приземленным завершением божественных радостей ожидания. Но для Александра-то любые «подготовительные работы» имели смысл лишь в том случае, если они завершались высшим наслаждением обладания!

В конце концов бесконечные укоры, страхи и запоздалые раскаяния Мелани прискучили ему не меньше, чем жалобы вечно больной и всем недовольной матери. Потеряв терпение, он пишет любовнице: «У меня есть мать, она меня терзает. У меня есть сын, который пока ничем помочь не может. У меня есть сестра, но ее все равно что нет. И если, кроме них, и ты являешься с упреками вместо утешений – Господи, что же мне делать? Собрать необходимое для того, чтобы прожить одному, покинуть мать, сына, родину и жить в изгнании, как какой-нибудь бастард безродный?» В своей жестокой невинности он желал, чтобы все женщины, которых он осчастливил, сделав своими избранницами, мирились с его пренебрежением, его хвастовством, его изменами

– одним словом, чтобы они не мешали ему работать и развлекаться на свой лад, довольствуясь терпеливым и безмолвным ожиданием момента, когда ему захочется их увидеть.

Стремясь ускользнуть от начавшей его тяготить Мелани, он внезапно решил отправиться в Шартр, к сестре, которая после успеха «Генриха III» очень гордилась близким родством с автором. Однако, прожив у Эме четыре дня, он перебрался в Нант, оттуда – в Пембеф, чтобы посмотреть на океан и подышать вольным воздухом. Дюма надеялся, что созерцание величественного пейзажа поможет ему очиститься от городской суеты, считал, что писателю иногда бывает полезнее любоваться природой, чем рыться в книгах и бумагах. Тем не менее даже тогда, когда он полагал, будто далек от неожиданных и неправдоподобных театральных совпадений, они его настигали… если только он сам бессознательно не создавал их.

За завтраком в пембефской гостинице он познакомился с четой новобрачных, которая на следующий день должна была отплыть на французской трехмачтовой шхуне «Полина» в Гваделупу, где у мужа было большое поместье. Молодая жена, хоть и была влюблена по уши, все же грустила, расставаясь с родными самое меньшее на три года. Александра тронула ее печальная улыбка, и он предложил голубкам навестить их на судне перед самым отплытием и передать матери путешественницы письмо от нее. Но едва он поднялся на борт, капитан тут же пригласил его позавтракать: беспокоиться не о чем, когда понадобится, шлюпка лоцмана доставит гостя на берег! Александр принял приглашение и при этом чувствовал себя так, словно отдался на волю какого-то фантастического приключения. Ощущение еще усиливалось оттого, что его соседка по столу, такая очаровательная и такая встревоженная, носила то же имя, что и корабль: ее звали Полиной. «На какое-то мгновение мне захотелось не сходить на берег до самой Гваделупы», – напишет он позже. И еще: «Завтрак сделал нас друзьями, расставание – едва ли не братом и сестрой». Он всегда испытывал душевную боль, если приходилось расставаться с прелестной незнакомкой, не успев прижать ее, полную счастья, к своей груди. Тем не менее он смирился с неизбежным. Как знать, не было ли дальнейшее послано ему в наказание за то, что пожелал жену ближнего?

Едва Дюма успел занять место в шлюпке лоцмана, как ураган разорвал небесный свод и море разбушевалось. Моряку пришлось спустить парус, и дальше он, как мог, шел на веслах. К тому времени, как добрались наконец до берега, Александр вымок до нитки. Отыскав в Сен-Назере постоялый двор и стаскивая у весело

горевшего огня ледяную одежду, он ругал себя за то, что вздумал заниматься молодой четой, о которой больше никогда в жизни, должно быть, и не услышит. Тем не менее, верный своему обещанию, на следующий день отнес письмо Полины ее матери.

Когда Александр вернулся в Париж, ему показалось, будто он совершил долгое путешествие, но на самом деле эта краткая перемена обстановки ему не помогла. Снова на него навалились денежные проблемы. Он по десять раз считал и пересчитывал, и все получалось, что выручка от «Генриха III» и его жалованье помощника библиотекаря, вместе взятые, не дают возможности держать двух прислуг – для себя и для Мари-Луизы – и платить за четыре квартиры: за свою, на улице Университета, за холостяцкое жилье, которое он только что нанял в Севре, за квартиру матери на улице Мадам и за ту, где жила Лор Лабе, в Пасси. После тщетных попыток пристроить свою новую пьесу, «Длинноволосая Эдит», во Французский театр, а затем в Одеон он решил вернуться к «Христине» и немного ее подправить. Гюго к этому времени как раз закончил «Марион Делорм» и намеревался читать свою пьесу у художника Ашиля Девериа в присутствии Тейлора, Виньи, Сент-Бева, Мериме, Мюссе, Бальзака, Делакруа и Дюма. Встреча, стоящая того, чтобы войти в историю: и достоинства пьесы, и достоинства собравшихся ее послушать были велики! Дюма, которому всегда с трудом давались стихи, был поражен тем, с какой естественностью струилась великолепная поэзия Гюго. Можно подумать, будто для этого чертова Виктора рифмы не становятся препятствием, а лишь подстегивают его мысль. Однако если Дюма и восхищался музыкальным строем «Марион Делорм», драматическое содержание не произвело на него ровно никакого впечатления. Последнее сочинение собрата по перу не только не навело его на мысль отступиться, но, напротив, побудило вступить с ним в соревнование и, если получится, превзойти.

Полный решимости, Дюма переписывал «Христину» сцена за сценой, добавив роль для Виржини, которая попросила его об этом в постели. А пока он в поте лица трудился, переделывая свою шведскую драму, «Марион Делорм» Гюго, хотя и принятая «Комеди Франсез», встретила категорический запрет цензуры. Александр, возмущенный этой тупой реакцией, высказал протест в напыщенном стихотворении, опубликованном в «Сильфе». Он обличал «мертвящее дыхание» тех, кто «сгустил мрак», чтобы надежнее загасить «трепещущее пламя» автора. Гюго поблагодарил его за этот дружеский жест и утешился после неудачи, постигшей «Марион Делорм», взявшись за «Эрнани».

Александр же тем временем с тайным ликованием выслушал

известие о провале 13 октября «Христины» Фредерика Сулье в Одеоне: поскольку одноименную пьесу Бро в свое время постигла та же участь, путь для «Христины» Дюма был свободен. У дальновидного директора театра Феликса Ареля были на этот счет свои соображения: если шведская королева вдохновила стольких авторов, значит, что-то такое в ней есть. И теперь все дело было лишь в том, чтобы суметь выгодно показать это «что-то».

Стремясь уговорить Александра испытать судьбу, несмотря на то, что Фредерика Сулье, взявшегося за тот же сюжет, постигла неудача, Арель написал без обиняков: «Дорогой Дюма, что вы скажете в ответ на предложение мадемуазель Жорж: немедленно играть вашу „Христину“ в том же театре и с теми же актерами, которые играли „Христину“ Сулье? […] Не думайте, будто вы тем самым задушите пьесу, написанную вашим другом. Вчера она умерла естественной смертью». Александр, которого покоробила бестактность такого подхода, переслал письмо Сулье, сопроводив следующим комментарием: «Дорогой Фредерик, прочти это письмо. Какой же он негодяй, твой друг Арель!» Сулье, нисколько не удивленный, вернул другу письмо директора Одеона, приписав внизу страницы: «Дорогой Дюма, Арель – не мой приятель, а директор театра. Арель никакой не негодяй, а спекулянт. Я не поступил бы так, как поступил он, но я посоветовал бы ему поступить именно так. Собери обрывки моей „Христины“ – заранее предупреждаю тебя, их будет много, – отдай первому попавшемуся старьевщику и играй свою пьесу».

Избавленный таким образом от сомнений, Дюма принял предложение Ареля, который, к счастью, был не только директором театра, но и любовником мадемуазель Жорж. До него в числе ее любовников, среди прочих, побывали Наполеон и царь Александр I, и двойная слава предшественников бросала свой отблеск на того, кто сменил их в объятиях актрисы.

Автор «Христины» слишком почтительно относился к историческим событиям, для того чтобы не оценить выпавшую ему удачу: его пьеса заинтересовала прославленную актрису. Эта моральная поддержка пришлась как нельзя более кстати, поскольку его сердечные дела тогда особенно осложнились по вине дурацкого мужа Мелани. Надо же до такого додуматься: Вальдор, которому наскучило прозябать в тионвильском гарнизоне, грозился прибыть в Париж на время отпуска! А отпуск неизбежно влечет за собой интимные отношения! Оказавшись на месте, капитан не преминет воспользоваться своими супружескими правами! Этого Александр, хотя сам верности не соблюдал, потерпеть не мог. Постоянно бывая вместе с ним в

салонах, Мелани в глазах всего света была его признанной сожительницей, чем-то вроде морганатической супруги, и, как он считал, обладала всеми ее привилегиями и обязанностями. Он же просто на посмешище себя выставит, если подруга станет изменять ему с мужем! Втайне польщенная этой вспышкой ревности, Мелани еще сильнее ее разжигала, уверяя любовника в том, что никак не может противиться приезду мужа, которого ей в конце-то концов не в чем упрекнуть. Александр пришел в ярость: она принадлежит ему, и только ему одному! Когда говорит сердце, законы умолкают! Продолжая встречаться с Виржини Бурбье, он клялся Мелани, что близок к помешательству, и даже угрожал убить, если она посмеет открыть свою дверь этому невесть зачем объявившемуся Вальдору. Стремясь избежать развязки, которая в театре была бы превосходной, но в реальной жизни причинила бы множество неприятностей, Александр поговорил с одним из своих друзей в военном министерстве и добился того, чтобы отпуск злополучному капитану интендантской службы отменили. Однако Вальдор не сдался и отправил начальству еще одно прошение. Когда же он наконец поймет, что жена не хочет видеть его в Париже? Александр снова и снова являлся в министерство, его постоянно видели то в одном, то в другом кабинете. Его старания не пропадали даром – военные власти продолжали отказывать Вальдору. «Трижды разрешение на отпуск, уже готовое к отправке, было уничтожено, разорвано или сожжено […], – не без гордости пишет Александр в своих мемуарах. – Муж так и не приехал».

Уладив дело таким образом, Александр смог на время отвлечься от своей любовницы Мелани, чтобы полностью посвятить себя своей героине, шведской королеве Христине. Прочел первый раз пьесу в узком кругу, в присутствии «литературных советников», Сент-Бева и Тиссо, но чтение лишь наполовину увенчалось успехом: «Христина» была ими принята с поправками. Взбешенный Александр потребовал второй читки, и пятого декабря актеры, призвавшие Жюля Жанена, чтобы подкрепить свое мнение, окончательно приняли «Христину». Однако Арель оставался по-прежнему настроен скептически. Походив достаточно долгое время вокруг да около, он явился к автору рано утром, едва ли не подняв того с постели, и предложил переписать драму прозой. Александр вскипел: вот это оскорбление! Как смеет Арель предлагать «поэту» (коим полагал себя Александр!) разломать с таким трудом составленные стихи, выбросить рифмы, которыми он так гордился, придумывая их бессонными ночами? Уязвленный в своей гордости, Дюма отказался пойти на такое святотатство. «Нечего и говорить, –

напишет он потом, – что я рассмеялся ему в лицо, а после выставил за дверь».[46]

Поняв, что этого неисправимого рифмоплета ему не переубедить, Арель сдался и начал репетировать пьесу в том виде, в каком она была. Христину играла мадемуазель Жорж, Мональдески – Локруа. Что касается Виржини Бурбье, для которой Александр написал роль Паулы, пажа-травести, она больше не участвовала ни в спектакле, ни в личной жизни автора. Соблазнившись более выгодным контрактом, Виржини покинула «Комеди Франсез» ради французского театра в Санкт-Петербурге. Что же, выходит, у Александра никого не остается, кроме Мелани, чтобы развеяться после утомительного дня? Отчего же! К счастью, за кулисами полным-полно прелестных актрис, неравнодушных как к его представительной внешности, так и к рекомендациям, которыми он мог помочь их карьере. И пока драматург порхал от одной к другой, оказалось, что цензура запретила «Христину». «Сначала „Марион Делорм“, потом „Христина“, – отмечает Дюма. – Цензура явно вошла во вкус!» Он, не откладывая дела в долгий ящик, отправился к одному из своих цензоров, безвестному писателю, но влиятельному академику Шарлю Брифо, и попытался убедить его в том, что попавшая в немилость пьеса не содержит ничего опасного. Однако Брифо оставался неумолим, он вменил автору в вину то, что у него Христина, говоря о шведской короне, произносит такие слова: «Это королевская игрушка, найденная в моей колыбели». Разве подобная реплика не представляет собою оскорбления, нанесенного божественному праву монархического наследования? И как можно потерпеть, чтобы та же Христина отправляла свою корону Кромвелю, который отдает ее переплавить словно заурядное украшение? Лишившись надежды сломить упрямство Брифо, Александр при помощи интриг добился встречи с Анри де Лурдье, главой цензурного комитета. Но тот оказался еще более непримиримым, безоговорочно осуждая пьесу. «В конце концов, сударь, – сказал Лурдье в завершение разговора, – все, что вы могли бы еще прибавить, бесполезно: до тех пор, пока трон будет занимать старшая ветвь, и до тех пор, пока я буду заниматься цензурой, ваше произведение останется под запретом». «Что ж, хорошо, – ответил Александр, холодно и насмешливо поклонившись, – я подожду!»[47]

Оставалась последняя надежда: он решил заинтересовать трудной судьбой своей пьесы фаворитку покойного Людовика XVIII, сохранившую большое влияние при дворе, «милейшую и умнейшую мадам дю Кайла». Попытка даром не пропала. Прошло

несколько дней – и ловко одураченный цензурный комитет пересмотрел свое суждение, позволив играть «Христину» без существенных поправок.

Тем временем Виктор Гюго одержал 25 февраля 1830 года блестящую победу со своим «Эрнани». Распаленные успехом «Генриха III» Дюма, молодые люди из клана романтиков – все с такими же растрепанными волосами и в тех же причудливых одеяниях – дали себе волю и на премьере «Христины». Они всласть натешились, громогласно выражая восхищение этим гениальным прославлением «кастильской чести». Их убеленные сединами противники, напротив, задыхались от ярости. И все это служило добрым предзнаменованием для нового поколения, одним из самых заметных представителей которого был Александр. «Генрих III», «Эрнани», «Христина» – «та же самая битва», объявил он, потирая руки.

Между репетициями своей пьесы Дюма навестил мадемуазель Жорж. Эта любовница Ареля и тайная советчица Жюля Жанена в свои сорок три года все еще была очень привлекательна. Высокая, дородная, сияющая здоровьем, она охотно принимала гостей, одновременно принимая ванну. Так случилось и с Александром, который, несмотря на весь свой опыт, пришел в смятение, глядя на то, с какой грацией артистка время от времени поднимает над водой то одну, то другую руку, чтобы подколоть золотой шпилькой выбившуюся прядь волос. Это движение порой позволяло увидеть начало груди, которая, по его словам, казалась «*изваянной из паросского мрамора*». Дюма с трудом овладел собой, чтобы не поддаться искушению и не присоединиться к водным забавам хозяйки дома, но ведь своим натиском он мог бы поставить под удар успех «Христины»: так мало надо, чтобы пьеса, которую явно ждало прекрасное будущее, потерпела провал! Да еще к тому же политические события заставили публику отвлечься от театра. Вот уже несколько дней атмосфера в городе была грозовая. Пресса неистово обрушилась на правительство, чья проявляющаяся по любому поводу авторитарность возмущала всех здравомыслящих людей. Король повсюду видел покушения на его верховную власть, а безраздельно преданный ему Полиньяк множил меры устрашения, направленные против тех, кого подозревали в подрывной деятельности. Двести двадцать один либеральный депутат подписал декларацию, в которой говорилось о праве граждан участвовать в «обсуждении государственных проблем». В ответ Карл X прекратил деятельность палаты депутатов. Было ли это прелюдией к новой революции? А если да? Но ведь надо было жить, писать, придумывать сценическую игру, рассылать

приглашения на премьеру – и все с этой постоянной угрозой за спиной?

Фредерик Сулье, присутствовавший 29 марта на генеральной репетиции «Христины», предупредил Александра о том, что, по его сведениям, назавтра готовится заговор. Верный товарищ опасался, что сторонников автора окажется недостаточно, они не смогут заглушить голоса недовольных, и попросил пятьдесят мест в партере для того, чтобы разместить там рабочих своей лесопилки: эти неотесанные парни, получив должные наставления от своего хозяина, сумеют, уверял он, заставить подстрекателей из вражеского лагеря умолкнуть. Сделка была заключена. 30 марта, в семь часов вечера, едва взвился занавес, поднялся оглушительный шум. Защитники умирающего классицизма вопили и свистели. По знаку Фредерика Сулье его рабочие ответили не менее громогласно. Со всех сторон неслись крики: «Негодяи! Дураки в париках! Убожества! Жеманницы из отеля Рамбуйе!» Эти крики временами заглушали голоса актеров. Правда, понемногу шум улегся, и аплодисменты перекрыли возмущенный ропот. А когда Христина при виде раненого Мональдески, лежащего у ее ног, обратилась к отцу Лебелю со словами: «Ну что ж, мне жаль его, отец… Пусть его прикончат!» – большая часть зрителей, казалось, была покорена. Оставался лишь эпилог. Однако сцена, во время которой Христина объясняет, что побудило ее к убийству, вышла затянутой, внимание зрителей ослабело, в партере и на балконах начали кашлять, вертеться, перешептываться. Хуже того: когда развенчанная королева спросила у врача, долго ли ей еще ждать смерти, какой-то шутник вскочил с кресла и завопил: «Если через час она не умрет, я уйду!»

Представление закончилось, но Александр, успевший за это время несколько раз перейти от тревоги к надежде и обратно, не мог понять, какой приговор вынесен его «Христине», что это – успех или провал? Только в одном он был теперь совершенно уверен: эпилог надо убрать, а несколько неудачных четверостиший срочно переделать.

Дюма пригласил к себе на ужин после спектакля двадцать пять человек из числа своих друзей. Мелани принимала гостей, среди которых были Гюго, Виньи, Буланже, Планш, Теодор Вильнав… Одни только знатоки. За столом обсуждали поправки, необходимые для успешного «хода» пьесы. Александр был согласен с тем, что «Христину» придется почистить, но успеет ли он исправить все, что надо, и дать актерам возможность прорепетировать все в целом до завтрашнего представления? От волнения у него пропал аппетит. Бедняга недооценил истинно

братское великодушие иных писателей, у которых талант сочетается с благородством! Гюго и Виньи немедленно предложили ему свои услуги: они закроются в кабинете и займутся «приведением в порядок» пьесы, в то время как автор с остальными гостями продолжит пировать в соседней комнате. «Они работали четыре часа без передышки так же добросовестно, как если бы работали на себя, а когда выбрались на волю и увидели, что все уже легли и спят, не стали никого будить, оставили рукопись на камине и ушли – два соперника – рука об руку, словно братья».[48]

Утром Александр, измученный вчерашними волнениями, еще дремал. Вдруг кто-то постучал в дверь. Мгновенно проснувшись, он поспешил открыть. Перед ним предстал книготорговец Барба, который пришел предложить ему двенадцать тысяч франков за право напечатать рукопись «Христины»: вдвое больше того, что автор получил за рукопись «Генриха III»! На этот раз сомнений не оставалось. «Это успех!» – провозгласил Александр. И решил первым делом расплатиться с несколькими кредиторами, а книгу посвятить герцогу Орлеанскому, который всегда был рядом с ним в трудную минуту. Неблагодарность Дюма с детства считал главным пороком низменных душ и потому, едва достигнув сознательного возраста, решил вести себя достойно.

Второе представление, с текстом, исправленным Гюго и Виньи, завершилось дружными аплодисментами и многочисленными вызовами. Газеты в целом были настроены доброжелательно. Конечно, кое-где встречались злобные выпады. Так, Филарет Шаль написал в «Парижском обозрении» («La Revue de Paris»), что новая пьеса Александра Дюма представляет собой «немыслимую мешанину», а «Театральный курьер» уверял, будто «мадемуазель Жорж – это огромная круглая тыква в женском обличье», успех же пятиактной пьесе обеспечили «бесчестные клакеры». Как бы там ни было, дело было сделано, интерес у зрителей пробудился, и зал неизменно оказывался полон.

Как-то вечером, когда Александр шел через площадь Одеона, рядом с ним остановился фиакр. Сидевшая в нем женщина выглянула наружу и окликнула его: «Господин Дюма!» Узнав в ней актрису Мари Дорваль, очаровательную возлюбленную Виньи, Дюма поклонился. Выяснилось, что Мари видела спектакль и все еще не может прийти в себя от волнения. «Ну, садитесь же рядом, ну, поцелуйте же меня! – воскликнула она. – У вас большой талант, и вы неплохо понимаете женщин!» Когда такая пленительная молодая особа говорит драматургу, что он «неплохо понимает женщин», ему незачем и ждать лучшей похвалы. Александр сел в фиакр, обнял Мари Дорваль и

запечатлел на ее щеке почтительный поцелуй. Приведет ли когда-нибудь этот простой знак дружбы к более близким отношениям? Он не смел на это надеяться, но, несмотря на восхищение и признательность, которые испытывал к Виньи, решил, что не отказался бы от такого романтического приключения.

Когда Дюма думал теперь о своих отношениях с женщинами, ему иногда казалось, будто он живет не в цивилизованном городе, но в джунглях, где царит закон силы и где все позволено. Добыча принадлежит тому, кто сумеет ею завладеть.

Не переставая мечтать о прелестях Мари Дорваль, Александр тем не менее заинтересовался еще одной актрисой, с которой только что познакомил его Фирмен. Ее настоящее имя – Белль Крельсамер, по сцене – Мелани Серр. Еще одна Мелани в его жизни! Удобства ради он предпочел сохранить за новой подругой ее странное имя Белль. Она была наполовину еврейкой, наполовину эльзаской, и у нее, по его рассказам, были «черные как смоль волосы, бездонные синие глаза, нос прямой, как у Венеры Милосской, и жемчужные зубы». Между двумя интрижками она в свое время стала любовницей Тейлора и родила ему дочь. В благодарность тот распахнул перед ней двери «Комеди Франсез». Но, поскольку талант Белль был менее очевиден, чем красота, ее не взяли в пайщики театра, пришлось довольствоваться провинциальными гастролями. Как только она вернулась в столицу, Александр решил заняться ее делами как следует. Он очень старался любым путем втиснуть ее в труппу «дома Мольера». Увы! Красавицу Белль сочли недостойной играть репертуар Французского театра. Что оставалось делать? В утешение он снял для неудачницы хорошенькую квартирку в доме семь по улице Университета – в двух шагах от дома, где жил сам. Доказательства едва зародившейся любви, которые он ночь за ночью ей дарил, нисколько не мешали ему ни усердно волочиться за Мари Дорваль, ни заверять в неизменной привязанности и верности Мелани. И как бы последняя могла в нем усомниться после того, как именно его стараниями забеременела? Вот и еще одно неожиданное осложнение!

Боясь огласки, Мелани хотела уехать вместе с матерью в принадлежавшее семье поместье в Ла Жарри, где, по ее разумению, и следовало появиться на свет драгоценному плоду незаконной любви. Она уже складывала вещи… Перед самым отъездом Мелани Александр поделился с ней замыслом, на который возлагал величайшие надежды: ему хочется написать для театра их собственную историю, чуть-чуть, конечно, «подправленную». В этой пьесе, пока еще только задуманной, он выведет человека, который, будучи застигнут мужем женщины,

только что ставшей его любовницей, заколет ее кинжалом, утверждая, будто убил за то, что она отказалась ему принадлежать. Таким образом, герой пьесы, желая спасти доброе имя любимой женщины, признает, что тщетно старался ее соблазнить, и взойдет на эшафот, так и не открыв истинной природы их взаимного чувства. Разумеется, персонажем драмы владели стремления куда более возвышенные и пылкие, чем те, что ее автор испытывал к Мелани, но ведь писателю достаточно в ничтожно малой степени проникнуться мыслями своего персонажа – и вот уже с помощью воображения он помогает им разрастись до размеров мифа!

Александр, который скоро три года как был любовником замужней женщины, считал себя вполне способным описать муки ревности. Ему почти не требовалось себя подстегивать для того, чтобы отыскать в собственной голове вопли страсти, доведенной до пароксизма и обреченной на страшную развязку: убийство ради чести. Название для пьесы он уже придумал: «Антони». Мелани, покоренная красноречием Александра, восхитилась творением, вызревавшим в этом разгоряченном мозгу, и даже решила окрестить именем Антони дитя, которое носила под сердцем. Довольный тем, как все в последнюю минуту уладилось, Александр 3 июня 1830 года усадил Мелани и ее мать в нантский дилижанс и пообещал молодой женщине приехать к ней, как только закончит «Антони».

Едва карета с драгоценным грузом скрылась из вида, он вздохнул с облегчением и вернулся в дом номер семь по улице Университета, где ждала его Белль, готовая помочь ему забыть обо всех страданиях человека, которого любят слишком сильно.

На следующий день он писал Мелани: «До встречи, ангел мой, дела здесь закончены, и хочется только одного – поехать к тебе, отправиться вместе к морю, настрелять множество птиц, насобирать множество камешков и осыпать тебя множеством поцелуев – те, которые я сейчас посылаю тебе, мой ангел, не в счет. Толстей поскорее, а я сумею заставить тебя похудеть, как следует поистязав».

Дюма так ловко управлялся со своим «Антони», что не прошло и недели, как рукопись была закончена. Сознавая, насколько ново то, что он написал, Александр, разумеется, предназначал свое творение Французскому театру. 11 июня он прочел пьесу мадемуазель Марс и Фирмену, которых наметил на главные роли. 16-го состоялась читка перед всем комитетом, собравшимся на пленарное заседание. Пьесу, эту драму страсти, ревности и ярости, слушали в напряженном молчании. Когда в конце пятого акта Антони, заколов любимую женщину,

воскликнул, обращаясь к пораженному мужу: «Она сопротивлялась мне, и я ее убил!» – даже наиболее скептически настроенные актеры рассыпались в похвалах. Александр, с его неумеренной страстью к рифмоплетству, увенчал свою написанную в прозе пьесу великолепным и нечаянным александрийским стихом, но никому и в голову не пришло его в этом упрекнуть. Все были словно оглушены неким откровением. Александр непомерно возгордился и ликовал. «Антони – это я минус убийство!» – заявил он. И в тот же день написал Мелани: «Любимая моя, сейчас половина четвертого. Я только что с заседания комитета, пьеса принята единогласно. Вот „Антони“ и вышел в свет – они уверяют, что меньше чем через месяц начнут играть, – дай-то Бог, и я тоже, потому что я желаю тебе здоровья, которого дать не могу, и любви и счастья, которые даю с наслаждением и сполна».

Уверенный, что отныне у него на руках все козыри, драматург попросил, чтобы его пьесу поставили вне очереди и начали играть с 15 сентября. Желание вошедшего в моду автора было исполнено. Сославшись на эти изменения в расписании, он отложил свою поездку в Ла Жарри, и Мелани, с нетерпением его ожидавшей, пришлось довольствоваться письмами, а он тем временем изменял ей с Белль. Однако Белль на него дулась, недовольная тем, что до сих пор не пристроена во Французский театр. Чтобы успокоить ее, Александр уверял, что это всего лишь отсрочка, и в то же время старался образумить Мелани, доказывая, что вынужден, несмотря на усталость и нежелание, оставаться в Париже, чтобы следить за тем, как ставят его пьесу, и расстраивать происки конкурентов. Он даже ругал возлюбленную за то, что она сердилась. «Я ничего не понимаю из упреков, которыми ты заканчиваешь свое письмо, кроме того, что это очередные упреки. Уже и не помню, что тебе написал. […] Но как можно после трехлетней связи, которая покоится на том, что есть самого священного в любви и чести, все еще держаться за мелкие выяснения и мелкие придирки, свойственные только начинающейся любви, – вот этого я понять не могу. Я люблю тебя ради тебя, любовь моя, столько же, сколько ради себя самого, и ни за что на свете не хотел бы примешивать к твоим тревогам свои собственные. […] Не будем больше говорить обо всем этом, будем вместе купаться в море. […] Еще раз прощай, моя Мелани, и помни, что, вблизи или вдали, ты – единственная женщина, которую я когда-нибудь любил, что я хочу снова увидеть тебя так сильно, как только можно этого хотеть, и что я буду в твоих объятиях, как только смогу. Прощай, любовь моя. Твой Алекс».

Пока Дюма вот так, из письма в письмо, старался усыпить

подозрения Мелани, правительство, со своей стороны, громогласно прославляя победы своего посланного в Алжир экспедиционного корпуса, старалось утихомирить недовольство населения.

По случаю взятия города Алжира 5 июля 1830 года в соборе Парижской Богоматери отслужили благодарственный молебен. На самом деле одни только ультрароялисты рассчитывали на военные победы, чтобы во время выборов «склонить чашу весов в правильную сторону», а почти вся страна видела во всем этом лишь далекое и бесполезное приключение. Второй тур выборов, состоявшийся 19 июля 1830 года, усилил либеральное большинство в палате. Это обещало неявную войну между представителями нации и королем. Политическая лихорадка, должно быть, оказалась заразной, поскольку теперь и у «Комеди Франсез» появились перепады настроения: внезапно театр решил отложить начало репетиций «Антони» до 1 ноября. Александр вскипел от ярости. Что означает эта нелепая отсрочка? Уж не хотят ли они избавиться от него вместе с его пьесой? Он начал подумывать, не забрать ли «Антони», чтобы отдать в Одеон. Более чем когда-либо ему необходимы были советы, помощь, любовь женщины с нежным характером и ясным умом. Но Белль была легкомысленной, а Мелани только и знала, что жаловаться на одиночество и требовать, чтобы ее Александр как можно скорее оказался рядом с ней в Ла Жарри. Должно быть, этой женщине неведомо, что драматург – раб своего творения! Ради того, чтобы это творение жило, ему иногда приходится забыть о собственной жизни… И ничего не поделаешь – закон творцов жесток! Но как объяснить это ей, которая в первую очередь прислушивается к собственному животу? Белль тоже в последнее время стала ссылаться на усталость, разочарование, тревогу… Неужели Мелани так на нее повлияла? Александр приступил к любовнице с расспросами, и она, смущенная и вместе с тем гордая, призналась, что и она тоже беременна. От кого? Да от него, черт возьми! Она ни на шаг от него не отходила с тех пор, как он приблизил ее к себе! Дюма притворялся, будто доволен, и даже изображал тщеславие, вызванное известием о еще одном, вполне неожиданном отцовстве. Но вместе с тем невольно думал о тех неприятностях, которые будут сопутствовать и без того двусмысленному положению: восхитительное тело его любовницы, изуродованное беременностью, отвратительная суета во время родов, тирания повседневных забот, которых требует новорожденный, увеличение расходов, связанное с необходимостью содержать вторую семью… Ах, бросить бы это все, сбежать бы из Парижа на край света!.. У него мелькнула

захватывающая мысль: газеты только и пишут, что о живописности алжирских пейзажей, так почему бы не поехать в Алжир и не привезти оттуда рассказ о своем путешествии? Но бросить Белль как раз теперь было бы уж слишком бессовестно. Он предложил ей принять участие в поездке. Белль удивилась: разве ты забыл, что я беременна? В подобном состоянии совершенно незачем разъезжать по варварской и лишь недавно завоеванной стране. Затем, поскольку он продолжал настаивать, она увидела в этой прихоти наивное проявление любви и согласилась сопровождать любовника – по крайней мере, до Марселя: Белль была подвержена морской болезни и из страха перед волнами Средиземного моря дальше ехать наотрез отказывалась. Довольный тем, как все уладилось, Александр собрал три тысячи франков, радостно уложил чемоданы и приготовился вместе с подругой отправиться в путь 26 июля 1830 года.

Однако накануне этого дня Карл X подписал в своей резиденции в Сен-Клу четыре драконовских указа, которыми отменял свободу печати, объявлял о роспуске палаты депутатов, устанавливал новый закон о выборах и назначал 6 и 28 сентября следующие выборы, на «правильный» исход которых надеялся Полиньяк.

Утром 26 июля, того самого дня, на который был назначен отъезд, Александра и Белль разбудил их общий друг, Ашиль Конт, преподаватель естественных наук в лицее Карла Великого. Он влетел в комнату, размахивая газетой и крича: «Указы напечатаны в „Вестнике“ („Le Moniteur“)!.. Вы все еще собираетесь ехать в Алжир?» Александр мгновенно оценил значимость события. На этот раз столкновение между улицей и властью неизбежно. Всякий уважающий себя француз должен быть готов вмешаться… или хотя бы посмотреть. Даже не спрашивая мнения Белль, он ответил: «Не такой я дурак! То, что мы увидим здесь, будет куда интереснее того, что я увидел бы там!» И, позвав слугу, прибавил: «Жозеф! Сходите к моему оружейнику, принесите двустволку и двести патронов двадцатого калибра».[49]

Когда Александр отдавал это распоряжение, ему казалось, что он придумал одну из лучших своих театральных реплик. Но разве это его вина, если он всегда ведет себя так, словно играет на сцене? Изумленная Белль не сразу решилась распаковать чемоданы, но Дюма твердо на этом настоял, и в глубине души она была скорее рада помехе, позволившей ей остаться дома и, прислушиваясь к себе, до конца прочувствовать таинственные ощущения беременности.

Слуга, едва дослушав, бросился к оружейнику и два часа

спустя вернулся с воинским снаряжением, которое потребовал хозяин. Александр, заперев на ключ ружье и патроны, вышел на улицу – поглядеть, чем дышат сограждане.

Глава X
Июльская революция

По первому впечатлению, Париж, залитый слепящим июльским солнцем, выглядел спокойным. Удивленный безмятежностью, сменившей вчерашнее напряжение, Александр отправился в Пале-Рояль, но там, как ему показалось, тоже все пребывало в дремотном оцепенении. Ненадолго заглянул в Королевское кафе, где кучка ультрароялистов праздновала появление указов. Здесь он встретил своего друга Этьена Араго, не скрывавшего своих республиканских убеждений; брат Этьена, астроном Франсуа Араго, должен был в этот день произнести в Институте Франции похвальное слово в честь инженера Огюстена Френеля. Посовещавшись, Дюма и Араго отправились на заседание, хотя и сомневались в том, что оратор решится выступать в такой ненадежной политической обстановке: сегодня любое неосторожное слово, тем более – произнесенное публично, может навлечь серьезные неприятности. Однако Франсуа Араго не дрогнул. Отдав дань уважения памяти ученого, он принялся яростно обличать возмутительное нарушение Хартии Карлом X. Обрадованный тем, что ему довелось присутствовать при этом проявлении гражданского мужества, Александр отправился обедать в «Гран Вефур», где узнал, что «три процента» уже потеряли на бирже шесть франков, а это плохое предзнаменование. В садах Пале-Рояля он увидел разгоряченных молодых людей, которые размахивали листками «Вестника» и кричали, что все это – провокация. Затем он добрался до редакции «Парижского курьера» («Courrier de Paris»), газеты господина де Левена, где сотрудники спорили о том, должны ли они отказаться выпускать следующий номер, повинуясь распоряжениям правительства, или, напротив, им следует пренебречь этим запретом, который господин де Белейм, председатель суда первой инстанции, только что объявил незаконным. После долгих споров решено было действовать, несмотря ни на что. Было уже около полуночи, когда Александр, измученный и по-прежнему не знающий, на что решиться, вошел в спальню Белль, но задержался там ненадолго: любовные подвиги лучше было отложить. Поцеловав подругу, он вернулся домой, чтобы за ночь как следует отдохнуть и к утру обрести полную ясность ума и свободу действий.

Утром 27 июля небо было таким же ясным и солнце так же сияло, как накануне, но настроение Парижа совершенно

изменилось. Выйдя из дома, Александр тотчас наткнулся на баррикаду, которую строили рабочие и студенты. Впрочем, толпа тотчас ее разметала под крики манифестантов. «Да здравствует Хартия! Долой министров!» – вопили они. Пока ничего серьезного не происходило. Тем не менее Александр, заботливый сын, забеспокоился, как бы Мари-Луиза не восприняла события слишком трагически, и поспешил к матери с намерением успокоить – однако застал ее безмятежной, ничего не понимающей и не предпринимающей. Больше всего она сожалела о том, что Мелани и мадам Вильнав уехали в деревню и оставили ее одну, а «малыш» так редко ее навещает. Дюма не стал ничего рассказывать о парижских беспорядках, приласкал мать, отдал необходимые распоряжения прислуге, снова выбежал на улицу, вскочил в фиакр и назвал кучеру адрес Армана Карреля, главного редактора оппозиционной газеты «National». Когда Александр вошел, Каррель завтракал. Не переставая жевать, он объяснил гостю, что «ничего серьезного» не предвидит, а указы в конце концов пройдут как по маслу, но тем не менее согласился пойти с Александром.

Бок о бок они прошли по бульварам среди бушующей толпы и присутствовали при осаде полицией редакции газеты «Время» («Le Temps»), осмелившейся напечатать манифест протеста против пресловутых указов. Слесари, несмотря на требования комиссара, один за другим отказывались взламывать двери типографии. Кто из них был не прав – рабочий, остававшийся глухим к требованиям представителя власти, или представитель власти, исполняющий распоряжение, признанное незаконным? Когда последний из вызванных на подмогу рабочих сослался на то, что потерял инструменты, комиссар хотел было его арестовать, но толпа воспрепятствовала, шумно приветствуя скромного борца за свободу. Конные жандармы вяло попытались людей оттеснить. После того как жандармы отправились восвояси, толпа всколыхнулась и принялась выплескивать в особенно громких криках свою ненависть к режиму.

Попавшие в толчею Александр с Каррелем кое-как протиснулись к Пале-Роялю. Оттуда доносилась перестрелка. Каррель, сочувственно относившийся к простым людям, терпеть не мог уличных беспорядков. Бросив спутника, он решил вернуться домой, чтобы спокойно подумать и отдохнуть. Александр его понимал, но не мог последовать его примеру. Возбужденный запахами пота и пороха, он продолжал свои скитания по Парижу. Уже в сумерках он увидел на улице Вивьен, как войско с примкнутыми штыками теснит кучку взрослых и детей. В открытых окнах женщины размахивали платками и

кричали: «Не стреляйте в народ!» На площади Биржи оборванные мальчишки бросали камнями в солдат. Один из гвардейцев, которому камень попал в голову, пошатнулся и выстрелил, не целясь. Какая-то женщина рухнула на землю. «Убийца!» – взревела толпа. Огни мгновенно погасли, в лавках захлопнулись двери. Только здание театра Нувоте, где в тот вечер давали «Белую кошечку», оставалось ярко освещенным. Увлеченные пьесой зрители понятия не имели о том, что делается за его стенами. Внезапно из-за угла вылетела группа человек в двенадцать во главе с Этьеном Араго. «Никаких представлений! – кричали они. – Закрывайте театры! На улицах Парижа убивают!» Тело женщины, застреленной случайной пулей, все еще лежало на ступеньках перистиля, и Этьен Араго, ворвавшись в здание, потребовал от дирекции театра немедленно вывести всех из зала. Пока пристыженные зрители в темноте разбредались, старательно обходя убитую, Александр обратился к Этьену:

– Что будем делать? Что решили?

– Пока ничего! – ответил тот. – Как видишь, строят баррикады, убивают женщин и закрывают театры!

И, повернувшись к своим спутникам, добавил:

– В «Варьете», друзья мои! Как только театры закроются, над Парижем взовьется черное знамя!

Это «черное знамя», символ народного гнева, несколько встревожило Александра. Отказавшись идти дальше с Араго, он внезапно понял, что голоден как волк, и немедленно отправился ужинать в только что вновь открывшее двери кафе при театре. Но, пока он спокойно и основательно подкреплялся, на площади Биржи вновь начались беспорядки. Восставшие захватили врасплох солдат, ненадолго сделавшихся хозяевами территории, опрокинули, отняли у них ружья, патронные сумки и сабли. Тело убитой женщины положили на носилки, и похоронная процессия при свете факелов обошла соседние улицы. Из рядов время от времени доносились выкрики: «Месть!» Добравшись к полуночи до улицы Университета, Александр услышал из темноты оклик: «Кто идет?»

– Друг, – ответил он, пожав руку незнакомцу, строившему вместе с другими баррикаду. Он мог бы присо-единиться к восставшим, но предпочел идти своей дорогой. После долгого пребывания среди толпы ему не терпелось остаться одному, у себя дома, чтобы «определиться». Войдя в квартиру, он тотчас открыл окно. «Париж казался безлюдным и тихим, – напишет он в мемуарах, – но в этом спокойствии не было ничего реального, чувствовалось, что эта безлюдность населена, что эта тишина дышит».[50]

Рано утром 28 июля Ашиль Конт – снова он! – прибежал сообщить Александру о том, что мятежники овладели уже несколькими районами города, что за ночь баррикад стало втрое больше, что всех оружейников «разоружили» и что оставившему по себе недобрую память маршалу Мармону поручено с восемью тысячами солдат восстановить в городе порядок. Александр не колебался: он, сын генерала-республиканца, должен до конца помогать делу революционеров. Но как одеться, чтобы выступить в роли борца за права Человека и Гражданина? Дюма всегда, во все времена, очень заботился о том, чтобы его облик соответствовал событиям. Позвонив Жозефу, он приказал подать ружье и охотничий костюм. «Для того, чем нам предстояло заняться, это было удобнее всего, а главное – меньше всего должно было привлекать внимание», – скажет он потом.

Одеваясь, Александр услышал оглушительный шум, доносившийся с улицы Бак. Араго и Гожа призывали людей к оружию: только что перед манифестантами появились два конных жандарма. Раздались выстрелы. Один из жандармов, раненый, упал с коня, другой, не дожидаясь продолжения, предпочел скрыться. Наконец Александр с помощью слуги оделся и снарядился с ног до головы. Теперь можно было спуститься к восставшим, что он и сделал. Дюма тотчас принялся руководить действиями, отдав распоряжение строить две баррикады: одну – на улице Университета, другую – на улице Бак. И пока он при помощи лома выворачивал булыжники, которыми была вымощена улица, в конце ее показались три солдата регулярных войск. Схватив ружье, он прицелился и крикнул им, чтобы бросали оружие: в таком случае им ничего не угрожает. Посовещавшись, эти трое подчинились. Что делать – захватить их в плен? А дальше? Александр великодушно отпустил солдат. Впрочем, он вообще уже устал строить баррикады. Предоставив рабочим и студентам трудиться, он решил с ружьем на плече навестить свой прежний порт приписки – Пале-Рояль.

В канцелярии Дюма застал своего бывшего начальника Удара, бледного от страха перед нарастающими событиями. Войска маршала Мармона как раз в это время собирались перед зданием и готовились двигаться к ратуше. Воинственный вид Александра встревожил мирного предводителя племени писцов. Не натворит ли этот безрассудный Дюма чего-нибудь такого, за что после придется расплачиваться всем приближенным его королевского высочества? Александр, забавы ради, сделал вид, будто целится через окно в строящиеся войска.

– Вы ведь сейчас уйдете отсюда, не правда ли? – жалобно спросил Удар.

– Не могу же я в самом деле в одиночку выступить против двух или трех тысяч человек? – весело отозвался бывший подчиненный.

Как только к зданию подтянулись последние солдаты, он вышел из Пале-Рояля, оставив Удара наедине с его страхами, и направился к центру Парижа.

На каждом перекрестке были выстроены баррикады. Студенты и рабочие объединились в своей ненависти к Бурбонам. Мирные обыватели, забившись в дальние углы своих квартир, затаились и выжидали. Над собором Парижской Богоматери развевался трехцветный флаг. Александр, охваченный восторгом, собрал кучку добровольцев и решил вместе с ними выступить к ратуше. Высокий рост, пылающий отвагой взгляд, двустволка и соответствующий обстоятельствам костюм естественным образом делали его руководителем штурма. Когда маленький отряд показался у перекинутого через Сену подвесного моста, пушка, заряженная картечью, скосила первые ряды наступающих. Александр приказал подобрать раненых и открыть огонь по канонирам, укрепившимся на том берегу. Те ответили двумя залпами, после чего началось контрнаступление войск. Мятежники, которых теснили штыками, в беспорядке отступали. Александр бежал среди прочих.

Попытка штурма провалилась, но, несмотря ни на что, Александр был доволен тем, как вел себя под вражеским огнем. Его отец-генерал, смотревший с небес, мог им гордиться!

Тем временем от героических поступков у него разыгрался аппетит, настало время подкрепиться. Александр, оглянувшись в поисках дружеского приюта, наугад постучался к художнику Гийому Летьеру. Его встретили с почестями и пригласили к ужину. Он пил и ел за четверых. Сын Летьера отправился за новостями и вернулся радостный. Мятежники повсюду одерживали победы. Говорили, будто депутаты от оппозиции во главе с Жаком Лаффитом и Казимиром Перье пытаются вступить в переговоры с маршалом Мармоном, но тот не идет на уступки, поскольку рассчитывает, что из провинции явятся на подмогу войска, которые окончательно сломят сопротивление революционеров-недоучек. Александр, разочарованный известием, задумался над тем, не придется ли ему бежать за границу, чтобы не подвергнуться репрессиям. Вспомнив, что у него были отложены на поездку в Алжир три тысячи франков, он попросил младшего Летьера сбегать к нему домой и принести деньги вместе с паспортом. Все это хранилось в маленьком шкафчике, ключ от которого Дюма ему дал, заодно поручив зайти в дом семь по той же улице и передать Белль, должно быть,

сильно встревоженной, письмо, в котором заверял, что цел, невредим и не имеет ни малейшего намерения «совершать безрассудные поступки».

Молодой Летьер проворно исполнил это двойное поручение и вскоре вернулся с сообщением, что предместье Сен-Жермен полностью перешло в руки их друзей. Теперь, поскольку чаша весов, похоже, качнулась в правильную сторону, Александр решил сходить к Лафайету, с которым прежде не раз встречался, и поинтересоваться его ближайшими планами. Встреча состоялась через час, но Лафайет пребывал в нерешительности.

– Я покидаю депутатов! – вздохнул он. – С ними ничего не сделаешь!

– А почему бы вам не сделать то, что считаете нужным, в одиночку? – бесцеремонно спросил Александр.

– Пусть мне предоставят возможность действовать – я готов! – ответил генерал.

Этот ответ, который можно было расценивать как согласие, привел Александра в восторг, и он тотчас передал слова Лафайета Этьену Араго. Затем они вдвоем поспешили в редакцию газеты «National», сотрудники которой как раз в это время обсуждали возможность создания временного правительства, куда могли бы войти Лафайет, генерал Жерар и герцог де Шуазель. Александр поддержал их. Конспираторы без колебаний составили предназначенную для прессы прокламацию соответствующего содержания, не постеснявшись подделать подписи заинтересованных лиц. Вполне удовлетворенный этой патриотической фальшивкой, Александр вернулся домой с чувством, что не зря потерял время, бегая по улицам города и по редакциям газет.

«Поскольку за день я очень устал, – напишет он потом в своих мемуарах, – то крепко уснул под гул большого колокола собора Парижской Богоматери и неравномерное потрескивание редких запоздалых и случайных выстрелов».

В четверг 29 июля Жозеф разбудил его рано утром. Возмущенный слуга рассказал, что беспорядки нарастают и что повстанцы осаждают Артиллерийский музей на площади Святого Фомы Аквинского. Встревожившись при мысли о грабежах и кражах, угрожавших хранившимся в музее бесценным археологическим коллекциям, Александр наспех оделся, залпом проглотил для поднятия боевого духа стакан мадеры и присоединился к собратьям по мятежу. Когда он вошел в музей, все уже разбрелись по ближайшим залам, и он стал упрашивать восставших не трогать хотя бы старинное оружие. Какой-то веселый рабочий метко ответил: «Да ведь мы как раз за оружием-

то сюда и пришли!» Разве можно было что-либо объяснить этим вандалам! Отказавшись от дальнейших разговоров, Александр удовольствовался тем, что унес домой аркебузу, шлем, меч, топор и палицу, чтобы спасти хотя бы их от разграбления.

Затем, снова вооруженный одним своим ружьем, направился к только что захваченному Тюильри. Во время столкновения несколько человек убили, были и раненые. В зале маршалов неизвестные люди расстреливали в упор портрет ненавистного Мармона. В королевской спальне разыгрывались забавные и непристойные сцены. Библиотеку герцогини де Берри разорили, и Александр подобрал валявшийся в углу экземпляр своей «Христины» в лиловом сафьяновом переплете с вытисненным на нем гербом герцогини – когда-то он сам преподнес ей эту книгу. Позже он подарит ее молодому Феликсу Девиолену в память о детских играх в фамильном поместье. Развороченный, поруганный, лишившийся своих царственных обитателей дворец превратился в проходной двор…

Карл X, укрывшийся в Сен-Клу, все еще надеялся, что ему удастся снова овладеть ситуацией, однако в ратуше уже объявили о падении династии Бурбонов. Кто же придет на смену сверженному королю? Лафайет в качестве президента республики? Или, может быть, герцог Орлеанский, чьи либеральные настроения всем хорошо известны? А что произойдет, если Карл X, собрав своих приверженцев, со свежими силами двинется на Париж? Придется ли сражаться до последней капли крови? Даже сам Лафайет не мог сказать ничего определенного. Александр слышал, как он шепнул Этьену Араго, призывавшему к решительным действиям: «Если Карл X вернется, нам не хватит пороха и на четыре тысячи выстрелов!»

Услышав эти слова, сын генерала Дюма встрепенулся: как только речь заходила о невероятном подвиге, он тотчас чувствовал в себе готовность его совершить. «Генерал, – воскликнул Александр, – хотите, я добуду порох?» Лафайет подумал было, что Дюма окончательно помешался, но тот продолжал стоять на своем, утверждая, что сумеет отправиться в Суассон и в одиночку забрать все запасы пороха в этом городе, в котором знает каждый уголок. Лафайет был слишком осторожным человеком для того, чтобы пойти на такой риск; все, что он согласился дать Александру – да и то только ради того, чтобы от него избавиться, – это пропуск, составленный в неопределенных выражениях. Не все ли равно! Дюма дополнил этот документ собственноручно написанным приказом: властям Суассона предписывалось выдать «подателю сего» требуемое количество пороха. Попросив генерала Жерара скрепить

фальшивку своей подписью, он весело тронулся в путь, на котором первым этапом должен был стать Вилле-Котре.

Для того чтобы придать своей официальной командировке больше блеска, Дюма выехал в наемном кабриолете, украшенном собственноручно сшитым трехцветным знаменем. Он мчался от станции к станции, загоняя лошадей, впрочем, и сам прибыл в родной городок измученным, грязным и взъерошенным.

В Вилле-Котре Александр первым делом объявил населению, собравшемуся встретить «парижского посланника», об установлении республики. В тот же вечер, ужиная у бывшего старшего клерка Пайе, он рассказал собравшимся за столом друзьям о невероятных событиях, которыми были наполнены «три славных дня». Однако стоило ему заговорить о намерении «обобрать» Суассон, они принялись его отговаривать, поскольку город надежно охранялся роялистским гарнизоном.

Александр, небрежно махнув рукой, отмел эти возражения.

31 июля он прибыл в Суассон, переговорил с некоторыми либералами, которых ему порекомендовали, и отправился к коменданту гарнизона, шевалье де Линьеру. Предъявив не скрепленный никакими печатями документ, он потребовал выдать двести фунтов пороха, хранившихся в городе. Комендант что-то заподозрил и отказался повиноваться указаниям документа, выглядевшего поддельным. Александр, готовый на все, выхватил пистолет и пригрозил застрелить строптивого офицера. В эту минуту дверь распахнулась, и перепуганная госпожа де Линьер бросилась к мужу с криком: «Уступи, уступи ему, друг мой! Это второе негритянское восстание!» Несчастная вспомнила своих родителей, когда-то убитых туземцами на Сан-Доминго. Женщина с ужасом смотрела на высокого тощего парня со смуглым лицом и курчавыми волосами, говорившего с легким креольским акцентом: перед ней кошмарным видением встало все ее колониальное прошлое. Распростершись перед мужем, она ломала руки и молила. Александр, чтобы заставить коменданта решиться, послал за несколькими офицерами гарнизона, готовыми перейти на сторону республики. Линьеру пришлось сдаться. После вялого сопротивления, оказанного мэром города, двери склада были взломаны, порох погружен в повозки, и обоз в сопровождении всех местных пожарных тронулся к Вилле-Котре. Хмельной от усталости и гордости, Александр уснул в своем кабриолете, украшенном флагом возрождающейся Франции.

Первого августа 1830 года, около девяти утра, он прибыл в Париж. Лафайет встретил его в ратуше с распростертыми объятиями. Получив свою порцию дружеских поцелуев и поздравлений, Дюма поспешил принять ванну в школе плавания

Делиньи: он ведь не мылся три дня! А как только привел себя в порядок, причесался и надушился, то первым делом отправился с визитом к герцогу Орлеанскому, которого уже называли будущим королем Луи-Филиппом и который при виде его воскликнул: «Господин Дюма, только что вы создали лучшую свою драму!» Александр поблагодарил за комплимент, но в глубине души испытал некоторое разочарование: похоже, ему напомнили о том, что, несмотря на все свои подвиги, он остается всего лишь драматургом? Он-то предпочел бы, чтобы ему пообещали портфель в новом правительстве… Пока этого не произошло, он принялся сочинять победное послание к Мелани, которая по-прежнему была в Ла Жарри вместе с мадам Вильнав. «Все закончилось. Как я тебе много раз предсказывал, наша революция продлилась всего-навсего три дня. Я имел счастье принять в ней достаточно активное участие, чтобы это заметили Лафайет и герцог Орлеанский. […] Сама понимаешь, как трудно мне сейчас покинуть Париж. Тем не менее мне так хочется тебя увидеть, что приеду, наверное, с первой же почтовой каретой, как только смогу – пусть на минуту, только ради того, чтобы сжать тебя в объятиях. В моем положении многое должно измениться. […] Думаю, ты на многое можешь рассчитывать для своего Алекса».

Второго августа Карл X отступил из Сен-Клу в Рамбуйе. Он отрекся от престола в пользу своего девятилетнего внука, графа де Шамбора, и назначил до совершеннолетия мальчика регента – герцога Орлеанского. Однако орлеанисты отвергли эту полумеру и решили, воспользовавшись случаем, принудить монарха отправиться в изгнание, распустить временное правительство и посадить на трон собственного претендента. Александр не мог не понимать того, какие выгоды сулит ему возвышение давнего покровителя. В городе ходили слухи о том, что он собирается осаждать Париж с двадцатью тысячами войска и пушками! Снова начались приготовления к боям. Вооруженная толпа готовилась выступить против монарха, не желавшего понять, что Франция больше не желает его власти.

Александр сел в фиакр вместе с другими республиканцами, и маленький отряд тронулся в путь, подгоняемый яростью всего народа. Но выступление вскоре завершилось. Четвертого августа стало известно, что Карл X, от которого отвернулись даже самые верные сторонники, покинул Рамбуйе и направляется в Шербур, чтобы оттуда отплыть в Англию. Александр ликовал, все-таки при этом чуточку побаиваясь будущего. Вокруг него раздавались победные крики, слышалось пение «Марсельезы». Парламент объявил трон свободным. Как и было предусмотрено, герцога Орлеанского объявили королевским наместником, затем он

взошел на престол под именем Луи-Филиппа, короля Франции, и девятого августа дал торжественную клятву соблюдать Хартию. Политический горизонт мгновенно прояснился. Те, кто совершил революцию, поняли, что старались ради монархии.

Александр на это не жаловался. Конечно, республика, овеянная славой Лафайета, пленяла его разум, но он не мог не думать о том, что теперь, когда бывший герцог Орлеанский оказался на самой вершине власти, ему будет оказана помощь во всем, что он ни предпримет. Словно для того, чтобы подтвердить свое к нему расположение, Луи-Филипп пригласил его 10 августа на роскошный ужин, устроенный во дворце по случаю восшествия на престол нового короля. Гордый и счастливый Александр напишет Мелани: «Весь вечер я провел при дворе; вся семья так же проста и добра, как прежде», но ему не удастся отвести глаза покинутой любовнице, ослепить ее своими светскими успехами. Пока он сражался за правое дело, Мелани узнала от друзей, что, в то время как она томится вдали от него, в провинции, он завел в Париже целых две любовных связи! Охваченная жгучей ревностью женщина принялась забрасывать негодующими письмами Мари Дорваль и Белль, посмевших прибрать к рукам ее Алекса. Обеих ее ярость только рассмешила, и они рассказали обо всем Александру. Он приуныл. Как уладить конфликт между этими тремя женщинами, двое из которых – Мелани и Белль – от него беременны? Хорошо еще, что Мари Дорваль удалось не обрюхатить!.. Зато она болтает без удержу, и скоро весь город узнает о том, что он одновременно сделал детей нескольким женщинам… Лучше всего, решил он, отправиться к Мелани и попытаться ее успокоить. Он всегда умел с ней обходиться, и чаще всего оказывалось достаточно нескольких слов, чтобы образумить разъяренную любовницу.

Однако такой человек, как он, не может путешествовать подобно простым смертным. Ему понравилось ездить с важными поручениями, он уже вошел во вкус. По его мнению, всякое серьезное дело должно быть соответствующим образом обставлено. Вдохновленный этой мыслью, Дюма явился к Лафайету и предложил отправить его в Вандею, с тем чтобы создать там Национальную гвардию, способную, если потребуется, подавить легитимистский мятеж. В этой отсталой местности еще немало сторонников Бурбонов, уверял он, и при первом удобном случае гидра может поднять голову. Лафайет, на которого произвела впечатление уверенность Александра, немедленно назначил его особым полномочным посланником в Вандее с неограниченными правами по отношению к местным властям. Все было улажено!

Первым делом Александр озаботился тем, какая одежда больше всего будет соответствовать его новой должности. Тот наряд, в котором красовался его друг Леон Пилле, когда они случайно встретились на площади Карузель, пленил его с первого взгляда. Воинственный и бросающийся в глаза, он был придуман Пилле для конной гвардии и сшит в ателье знаменитого портного Шеврея. «Кивер с волной разноцветных перьев, серебряные эполеты, серебряный пояс, ярко-синие мундир и штаны». Александр тотчас бросился к Шеврею и заказал себе точно такую же форму, испытывая при этом лихорадочное удовольствие, какое охватывает ребенка, собирающегося на маскарад. Едва портной отдал ему готовый костюм, он поспешил проститься с матерью, которая так и не поняла, что Карла X сменил Луи-Филипп I, показался во всей красе любовницам, друзьям и актерам и без промедления тронулся в путь.

В Анже он задержался, чтобы присутствовать на заседании суда присяжных: судили вандейца, обвиненного в изготовлении фальшивых денег. Александра тронула участь несчастного, который нарушил закон лишь ради того, чтобы «купить хлеба своим детишкам». Двадцать лет каторжных работ – слишком тяжкое наказание за такой проступок! Разве сам он, Дюма, не обманул недавно власти, подделав подписи? Благородство побуждений искупает незаконность поступка! И, прислушиваясь лишь к своему доброму сердцу, Дюма написал Удару, попросив того заступиться перед королем за преступника. В ожидании, принесет ли его ходатайство какие-либо плоды, он осматривал город. Ему и в голову не приходило, что, оставшись в Анже, он огорчает Мелани, которая в Ла Жарри ждет не дождется его приезда. Наконец пришел ответ из Парижа: фальшивомонетчику даровано помилование. Александр, оседлав коня, снова тронулся в путь.

Дороги были небезопасны. В этих традиционно роялистских краях символы республики воспринимались как оскорбление, нанесенное прошлому. Посланец властей с его трехцветным плюмажем раздражал шуанов. На дороге между лесом Сен-Леже и лесом Брей-Ламбер Дюма услышал, как кто-то, задыхаясь, окликает его по имени. Измученный человек бросился к нему, остановил коня, ухватился за сапог всадника и поцеловал ему колено. Александр узнал фальшивомонетчика, помилованного благодаря его заступничеству. Бедняга рассказал, что следует за ним по пятам от самого Анже и хочет защищать его от всех, кто мог бы пожелать ему зла в этих местах. «Кто посоветовал вам путешествовать по Вандее в таком мундире? – спрашивал он. – Все здесь думают, будто вы оделись так в насмешку!.. Христом

Богом молю, не подвергайте себя опасности!» И он предложил Александру бежать впереди его коня наподобие «скорохода», извещая всех и каждого о том, что господин, следующий за ним, спас жизнь здешнему уроженцу. Александру предложение польстило и вместе с тем позабавило, он согласился принять услуги этого герольда на новый лад, они вместе продолжили путь и два дня спустя достигли Ла Жарри. Добровольный гонец успел заблаговременно оповестить население о том, что его доверитель явился с самыми лучшими намерениями.

Александр увидел перед собой красивый дом, окруженный дубами и кедрами. Мелани жила здесь с матерью и дочкой Элизой пяти с половиной лет. Идеальное убежище для тайных родов, признал Александр.

А вот встреча с молодой женщиной его разочаровала. Обезображенная беременностью, озлобленная ревностью и одиночеством, она осыпала непостоянного любовника упреками. Дюма оправдывался как мог, уверял с безмятежным видом, будто у него в Париже были всего лишь мимолетные увлечения, что он никогда не переставал ее любить, что она должна отгонять все тревоги и думать только о ребенке, который вскоре должен родиться, о прелестном «цветке герани», о малыше Антони, плоде их нынешнего союза и залоге будущего счастья. Но, как он ни старался, Мелани не поддавалась на его уговоры. Послушать ее – она глубоко несчастна и он – виновник всех ее страданий! Устав целыми днями оправдываться и сочувствовать, Александр теперь только и мечтал о том, как бы сбежать от этой вечно недовольной любовницы. Втайне от нее он написал одному из своих парижских друзей, Эжену Жаме: «Что за край эта Вандея! Во-первых, здесь не увидишь ни одной куропатки, ни одного зайца, только заросли шести футов высотой с колючками длиной в два дюйма. Прибавьте к этому, что нигде нет ни единого трехцветного флажка, даже самого маленького, который радовал бы глаз, и жандармов, которые несут службу в шапочках, чтобы нельзя было прицепить кокарду. Вызволите меня отсюда, друг мой, вызволите меня отсюда поскорее! Вот каким образом: сходите, дорогой мой, к Фирмену и попросите его немедленно поручить Массону, секретарю „Комеди Франсез“, написать мне, что мое присутствие необходимо в Париже ради „Антони“. Никому, кроме него, об этом ни слова. Вы ведь догадываетесь, почему мне надо сделать вид, будто я вынужден срочно уехать».

Единственным утешением оставалась политика. Чтобы оправдать свою поездку в Вандею, Александр, по-прежнему красуясь в парадном мундире, кое-как сколотил маленький отряд Национальной гвардии: десяток одуревших дядек, которых

жандарм обучал, скрываясь от любопытных, – опасался, как бы его не подняли на смех. Жалкий результат для явившегося из Парижа посланца, намеревавшегося вербовать республиканских патриотов! Александру не терпелось уехать, а Мелани с каждым днем становилась все более неуравновешенной, беспокойной и резкой. 18 сентября у нее случился выкидыш. Неимоверное облегчение для несостоявшегося отца, который, разумеется, делал вид, будто безмерно удручен потерей «цветочка Антони». Не переставая утешать любовницу, он тревожно ждал письма от Массона, которое должно было дать ему предлог для поспешного отъезда. Но вот наконец и грозное послание: автора «Антони» срочно вызывают в театр, его присутствие необходимо! Ах, ему, конечно, очень жаль, но долг писателя призывает его к изголовью другого Антони! Ах, эти тяжкие обязанности литератора! Он клянется Мелани в том, что отныне их отношениям ничто не угрожает: встреча с Белль нужна лишь для того, чтобы объявить ей, что их роман закончился; что же касается Мари Дорваль, она всегда была для него только актрисой, чье самолюбие он благоразумно предпочитает щадить.

Распрощавшись с Мелани под аккомпанемент рыданий и клятв, он останавливается на станции Шоле, заказывает чашку кофе и повторяет в письме к любовнице все ту же милосердную ложь: «Ты должна была увидеть, что только жестокая необходимость могла заставить меня уехать. Бога ради, ангел мой, не терзай себя так. Главное, верь, что между нами существует нечто более глубокое, чем любовь, оно переживет все наши огорчения. Я не увижусь с *ней*, приехав в Париж, ангел мой. И все же несколько дней спустя нам с ней надо будет по-дружески поговорить, я ведь должен объяснить причины нашего разрыва, который непременно состоится. Ангел мой, она будет долго и сильно плакать, но ничего, работа в театре ее утешит». Закончил он это письмо множеством поцелуев, которыми осыпал «мордашку» и «грудки» Мелани, доказывая тем самым, что она все еще желанна для него после выкидыша и что он совершенно не намерен ей изменять.

Наконец он снова в Париже, где льет нескончаемый дождь и настроение с тех пор, как на трон взошел Луи-Филипп, с каждым днем делается все более пасмурным. Никому не ведомо, чего хочет этот фальшивый король, все сожалеют об истинной республике.

Белль, несмотря на беременность, отправилась на гастроли в Руан. Александр, воспользовавшись этим досугом любовника, временно оказавшегося в резерве, принялся составлять отчет о своей поездке в Вандею. Для того чтобы предотвратить опасность

мятежа в этой провинции, где у людей горячая кровь, он предлагал проложить дороги в лесной чаще, изгнать священников, заподозренных в политической неблагонадежности, заменив их «чистыми» служителями церкви, и перестать выплачивать пенсию аристократам, упорно продолжающим критиковать власть. Лафайет по просьбе автора передал эту записку королю, но тот даже не подтвердил получения. Уж не охладел ли он к тому, кому прежде оказывал покровительство? Может быть, у нынешнего Луи-Филиппа нет ничего общего с прежним герцогом Орлеанским? Воздавая должное мужеству «уполномоченного», народная комиссия единогласно проголосовала за награждение Дюма «Национальным крестом», который по-другому называли еще «Июльским крестом». Александр, давно мечтавший об ордене Почетного легиона, был уязвлен этой подачкой. Да еще и Мелани вместо того, чтобы стараться поднять ему настроение, постоянно в своих письмах возвращалась к смерти младенца, которого она с такой гордостью собиралась произвести на свет.

Александр, одновременно и тронутый ее печалью, и раздраженный настойчивостью, пишет ей 29 сентября 1830 года: «Зачем ты так терзаешь себя из-за сломанной герани? Это был цветок из другого времени, он должен был сломаться, но он возродится подобно нашей любви. Береги его стебель, ангел мой, и ты увидишь, как появятся новые листочки, которые в ближайшие годы ты подаришь мне вместе с поцелуем».

Затем, после возвращения Белль из Руана, он 4 октября объявляет Мелани, что у него с актрисой произошла душераздирающая и, несомненно, последняя встреча. «Она пролила […] много слез, больше из страха за свое будущее, чем из-за подлинной любви. Словом, возможно, она тебе напишет, потому что не может поверить, что ты все знаешь, она думает, будто тебе ничего не известно о наших отношениях и о письмах, которые я ей писал. Но ты знаешь все и потому не должна из-за этого терзаться. Мы условились впредь оставаться только друзьями. Тем не менее она покинула меня в слезах и в гневе».

Главной заботой Александра теперь было скрыть от Мелани беременность Белль. Бедняжка Мелани так горевала, потеряв ребенка, что помешалась бы от боли и ревности, узнав, что ее соперница вскоре родит своего младенца, который вполне может выжить. Ради всеобщего спокойствия необходимо было, чтобы она продолжала пребывать в уединении и неведении. Расстояние и время в конце концов должны ее успокоить. А пока надо набраться терпения! И суеверный Александр скрещивал пальцы.

Жизнь его еще осложнялась тем, что среди всех этих

эмоциональных переживаний он не переставал думать о театре. Все менялось не только в области политики: новое правительство временно отменило цензуру, и в «Комеди Франсез» вот-вот должны были начаться репетиции «Антони» с мадемуазель Марс и Фирменом в главных ролях. Тем временем Арель, когда-то предлагавший Александру написать пьесу про Наполеона для роскошной постановки в театре «Одеон», снова вернулся к этой мысли. И воспользовался изобретательным приемом, чтобы добиться своего. После роскошного ужина в обществе нескольких актеров мадемуазель Жорж, сговорившаяся с директором театра, увела Александра в свою спальню. Вернувшись в столовую, он увидел, что там остался один Арель. Когда Дюма, в свою очередь, намеревался откланяться, Арель его не отпустил, а вместо того отвел в незнакомую комнату, красиво обставленную и с удобной кроватью, и объявил, что Александр оттуда не выйдет до тех пор, пока «Наполеон» не будет закончен. Недели ему вполне должно хватить! Александр, которого позабавило то, что его таким образом заставляют воспевать императора, не стал упираться, но поставил условие, правда, единственное: у него должен быть помощник, Корделье-Делану, который соберет документы, набросает план и, если потребуется, подпишет готовую пьесу своим именем. Главное, чтобы вся эта комбинация принесла хороший доход. Александр объяснил Мелани всю авантюру: «Я страшно занят репетициями „Антони“, а потом, знаешь, история с „Наполеоном“, которого я не решался писать под своим именем, уладилась: Делану все берет на себя, он будет собирать сведения, а я получу деньги, и никто не узнает, что я автор пьесы. […] Работаю, как несчастная кляча».

Может быть, ему следовало, приличия ради, сообщить королю о том, что он намерен писать пьесу о Наполеоне? Не получая никаких известий из дворца с тех пор, как был послан отчет о поездке в Вандею, он спрашивал себя, не питает ли теперь Луи-Филипп к нему неприязни? Вполне возможно, что в высших сферах недовольны активным участием Дюма в Июльской революции; могло быть и то, что его величеству не нравилось юношеское восхищение его сына Фердинанда этим писателем с ненадежными мыслями. Александру хотелось все выяснить, и он добивался аудиенции у Луи-Филиппа. Наконец тот согласился его принять.

Прием был доброжелательным, однако Дюма почувствовал в поведении нового государя по отношению к своему верноподданному некоторую сдержанность, настороженность и даже уловил насмешку. Луи-Филипп прочел записку Дюма о Вандее и высказал сожаления о том, что ее автор обошел

молчанием необходимость создания в этой провинции преданной режиму Национальной гвардии. Кроме того, он не верит в возможность организованного движения протеста со стороны «недовольных». Александр стал возражать королю и даже с известной долей дерзости заявил, что, если там начнется восстание, его величество, должно быть, обрадуется такому обороту, поскольку это даст правительству предлог не брать на себя обязательств по отношению к бельгийцам, итальянцам и полякам, настойчиво требующим независимости. Раздосадованный тем, что профан осмеливается бросить ему вызов на той территории, которую он, по собственному мнению, знал лучше, чем кто бы то ни было, Луи-Филипп презрительно улыбнулся и проронил: «Господин Дюма, политика – скучное ремесло… Предоставьте заниматься ею королю и министрам. Вы – поэт, вот и пишите стихи!» В нескольких словах Александру указали его место. Он кое-как откланялся и удалился. Какой смысл оставаться на службе у короля, если тот нимало не считается с его мнением? Вернувшись домой, Дюма без колебаний принялся строчить прошение об отставке: «Ваше величество, поскольку мои политические взгляды полностью расходятся с теми взглядами, которых ваше величество вправе требовать от людей, приближенных к вам, прошу ваше величество принять мою отставку и освободить меня от должности библиотекаря».

В тот же день он записался в артиллерию Национальной гвардии. Не самый плохой способ дать королю понять, что он выбрал свой лагерь: лагерь народной воли! Впрочем, любимый сын Луи-Филиппа, обаятельный красавец Фердинанд, тоже служил в артиллерии Национальной гвардии. Значит, у Александра будет возможность встречаться с ним во время утренних занятий, которые проводятся три раза в неделю во дворе Лувра. Таким образом, он, не скрывая своих либеральных взглядов, сохранит дружеские отношения с обитателями дворца. Ах, если бы он умел проявлять такие же дипломатические способности, улаживая свои любовные дела! Но в середине октября в Париж внезапно примчалась Мелани. Ее не обманули неизменно сладкие речи возлюбленного. Доброжелатели обо всем ей сообщили. Ей известно, что он не только не порвал с Белль, но и поселил ее в двух шагах от собственной квартиры, на той же улице, с тем чтобы она постоянно была у него под рукой. Пылая гневом и снедаемая унижением, любовница называла Александра чудовищем, соблазнителем, она прямо объ-явила, что теперь ей больше незачем жить, и 22 ноября 1830 года составила завещание. В нем было предусмотрено все: возвращение

любовных писем, надпись, которую следовало выгравировать на ее надгробной плите, просьба к грядущим поколениям неизменно украшать ее могилу геранями, распределение всяких мелочей – в том числе ее тетрадки со стихами, ее любимого веера и коллекции сердоликов – между дорогими ей существами… Тем не менее, несмотря на трагические распоряжения, Мелани не покончила с собой. После нескольких припадков страстного влечения к самоубийству она решила смириться с жестокой участью отвергнутой женщины и отныне делить возлюбленного с созданиями, которые его недостойны. «Вдали от тебя я могу думать только о тебе, – пишет она ему, – и я чувствую, что жизнь день за днем от меня ускользает. Нет, я ни в чем тебя не упрекаю, ты меня любишь, ты любишь только меня, но твоя слабость меня убивает, и я боюсь умереть. […] Может ли она любить тебя так, как люблю тебя я? Стала ли она для тебя тем, чем стала я, частью тебя? […] О, мой ангел, мой Алекс, вся моя надежда – только на тебя. А ты не хочешь, чтобы я умерла. О, правда ведь, ты этого не хочешь? Ты меня любишь, да, да, ты меня любишь, ты любишь только меня, я безумная, безрассудная! Мне довольно уснуть на твоей груди, и я исцелюсь, да, исцелюсь!» Одним словом, она полагалась на него – он должен был поддерживать в ней жизнь. Страшная ответственность для человека, склонного мгновенно менять курс в любовных плаваниях. Припадки страсти, которые он так любил на сцене, в повседневной жизни только расстраивали и нагоняли скуку. Ему, ставшему жертвой двойного любовного шантажа, не хотелось ни отказываться от Белль, с чьим округлившимся животом следовало считаться, ни толкать Мелани на крайности. На всякий случай он поручил доктору Валлерану присматривать за Мелани во время ее душевного расстройства, дабы помешать ей сделать какую-нибудь глупость.

Что касается его самого, он старался театральными хлопотами отгородиться от альковных неприятностей. Спешно настроченный «Наполеон» представлял собой огромную махину, в которой было девяносто персонажей и бесчисленное множество картин. Арель намеревался вложить в постановку тридцать тысяч франков. Но директор театра хотел, чтобы текст был максимально сокращен. Александр соглашался это сделать, вместе с тем высказывая опасения насчет Фредерика Леметра, чья внешность не слишком соответствовала облику императора. Не заденет ли это чувства некоторых зрителей? Арель усмехнулся: император, по его мнению, производил впечатление не столько своим обликом, сколько властностью, пылкостью и неотразимой притягательностью, а уж всего такого у Фредерика хоть отбавляй! Александр сдался. В конце концов, эта пьеса для него всего лишь

выгодная коммерческая операция…

Тем временем в «Комеди Франсез», где шли репетиции «Антони», актеры спорили из-за мелочей, путались в тексте, требовали поправок, сокращений, авторских дополнений, предполагали даже полностью выкинуть «слишком затянутые» третий и четвертый акты. Уставший от их бесконечных придирок и торга Александр испытывал уже такое отвращение к театральной кухне, что всерьез подумывал, не забрать ли ему свою пьесу. «Я дошел до того, что начал считать, будто „Наполеон“ – произведение искусства, а „Антони“ – пошлое сочинение», – признается он в своих мемуарах. И ко всему еще на нем сказывались последствия событий, потрясавших растерянную, сбитую с толка Францию. Вокруг него оплакивали смерть Бенжамена Констана, страстно интересовались процессом бывших министров, отмечали падение популярности Лафайета, который покинул пост командующего Национальной гвардией, беспокоились из-за того, что вновь начались беспорядки на улицах. И, когда понадобилось заменить одного из капитанов четвертой батареи, выбрали отважного Александра Дюма.

Александр, будучи в полном восторге от того, что получил такое повышение, поспешил заменить свои галуны, эполеты и аксельбант из шерсти на золотые аксельбант, эполеты и галуны. 27 декабря он, украшенный новыми знаками отличия, проводил занятия, а 1 января 1831 года в том же виде явился в Пале-Рояль, чтобы поздравить его величество с Новым годом.

Войдя в большой зал, Дюма заметил, что он здесь единственный из офицеров своего корпуса в мундире. От него даже сторонились, словно боясь заразиться холерой, о которой уже ходили слухи. Король окинул гостя насмешливым взглядом и произнес: «А, Дюма, здравствуйте! Это вполне в вашем духе!» Замечание его величества было встречено угодливыми смешками. Удивленный Александр присоединился к своим развеселившимся однополчанам и узнал от них, что артиллерия Национальной гвардии накануне была расформирована королевским указом, напечатанным в «Вестнике» («Le Moniteur»), а стало быть, он не имел никакого права появляться на людях в мундире полка, прекратившего свое существование. Огорченный тем, что невольно оскорбил Луи-Филиппа, он проклял свою рассеянность, вернулся домой, стараясь пробраться незамеченным, с сожалением снял с себя свой прекрасный, но отныне бесполезный мундир, оделся «как все» и поспешил в Одеон на последнюю репетицию «Наполеона Бонапарта».

Выйдя на улицу после этого последнего прогона, он встретил нескольких товарищей-артиллеристов, уже прослышавших о его

истории с королем. Некоторые из них принялись восхищаться тем, как героически он бросил вызов Луи-Филиппу, явившись во дворец в форме несправедливо уничтоженного элитного полка. Александр не стал их разочаровывать и продолжил свой путь с гордо поднятой головой.

В конце концов он дал согласие поставить свое имя на афише Одеона. Сын бывшего наполеоновского генерала может не стыдиться пьесы, призванной поддержать легенду об Орле, пусть даже литературные достоинства этой пьесы сомнительны. Премьера состоялась 10 января 1831 года. Зал был набит битком, яблоку негде упасть. Арель умело руководил рекламой. Многие зрители откликнулись на его предложение и пришли в форме Национальной гвардии. В антрактах военный оркестр исполнял патриотические мелодии. Некоторые картины – такие, как пожар Кремля, переправа через Березину, разговор сверженного императора с его тюремщиком, ужасным Гудзоном Лавом, – произвели на зрителей ошеломляющее впечатление. Однако аплодировали не автору, а его герою, память о котором оставалась немеркнущей. «„Наполеон“ имел успех только благодаря обстоятельствам, – признает Дюма потом в своих мемуарах. – Литературная ценность этого произведения была ничтожна или близка к тому. Только роль шпиона была создана мной, все остальное настрижено из разных мест». Тем не менее, когда занавес упал, зрители были настолько потрясены этим напоминанием о Наполеоне, что многие собрались у служебного входа, чтобы освистать актера Делестра, злополучного исполнителя роли Гудзона Лава.

Александр, естественно, был очень доволен тем, что ему удалось угодить большинству своих «клиентов», но он знал, что люди с хорошим вкусом, например Виньи, не собираются смотреть его пьесу, всю состоящую из сценических эффектов и исторических общих мест. Он хотел бы, чтобы его радость ничем не омрачалась, но как было не признать, что в этом заказном произведении больше показного блеска, чем подлинного искусства. И потому в предисловии, предназначенном для издания пьесы отдельной книгой, он утолил охватившую его жажду оправдаться. Напомнив в нескольких словах о судьбе отца, генерала Дюма, и заверив читателя в том, что преданность королю нисколько не противоречит любви к свободе, он впервые упомянул о своих эстетических взглядах. «Забавлять и увлекать – вот единственные правила, которым я не то чтобы следовал, но которые я признаю», – заявил драматург. Это было сказано искренне, точно и смело. Он мог бы и дальше придерживаться этих убеждений, однако уже опасался принизить себя, соглашаясь

оставаться всего лишь балаганным кукольником. У Гюго или Виньи уровень притязаний совершенно иной! И не должен ли он, подобно им, стремиться к величию, не довольствуясь тем, чтобы служить развлечением? После мишурного блеска «Наполеона» Дюма очень рассчитывал на новизну, яркость и силу «Антони», чтобы доказать миру свою способность сравняться с романтическими мыслителями и поэтами, о которых все только и говорили, а может быть, и превзойти их!

Глава XI
Апофеоз

Как ни взывал Александр к разуму Мелани, как ни заверял ее в своей любви, она не сдавалась: ее Алекс должен принадлежать ей безраздельно! Она не только отказалась уехать из Парижа, но ворвалась в дом Белль Крельсамер – отчасти для того, чтобы ее оскорбить, отчасти для того, чтобы молить о разрыве с Дюма. Ни злобные выпады, ни преследования ни к чему не привели, и тогда она обратилась к доктору Валлерану, взывая о помощи и умоляя поддержать в драматических обстоятельствах, в которых она оказалась. «Добрый и милый доктор, – пишет Мелани, – душа моя настолько истерзана, что мне необходимо вам написать, потому что вы по крайней мере испытываете жалость к моим страданиям. Увидите ли вы его сегодня? О, повидайтесь с ним! Если его нет дома, значит, он в „Порт-Сен-Мартен“. Вы передадите ему вашу карточку, и вас впустят… О, повидайтесь с ним! Я так хочу видеть кого-нибудь, кто видел его! […] Увы! Я тщетно ждала его вчера и позавчера. Он пообещал мне прийти, и я положилась на его честь, поскольку не могу рассчитывать на его любовь. […] Боже правый! Отчего я не умерла? Это случится… Мысль о том, что он *меня любит*, изменяет мне и снова меня обманывает – это безумие, помешательство. Он меня любит? Боже правый! Человек, который может любить мадам Кр[ельсамер], никогда не любил меня. Вы не знаете мадам Кр[ельсамер]! Когда-нибудь вы ее узнаете, и он тоже. О, верить мадам Кр[ельсамер] больше, чем мне! Принести в жертву мою жизнь ради поцелуев без любви, поцелуев, которые она отдаст любовнику, который купит ее дороже прочих, когда потеряет надежду на то, что *он на ней женится*! Господи, отчего он не спрятался в тот проклятый день, когда я утратила всякое представление о чести и вошла в ее дом; отчего он не слышал ни ее слов, ни моих!..» Советы врача умерить свой пыл не только не успокоили Мелани, но окончательно помутили ее разум. Сменив тактику, она засыпает Александра письмами и в который раз обещает дать ему полную независимость, если он к ней вернется: «Ты можешь мне доверять. Я стану для тебя всем, чем ты захочешь, чтобы я стала. Ты будешь свободен, всегда свободен. Ждать всего от твоего сердца и ничего не добиваться упреками – вот какое решение я приняла. Не будет больше ни обид, ни ссор, ты будешь счастлив. Но – о, мой Алекс! – пусть Мелани Серр [Белль Крельсамер] не встает между нами; она преследует меня подобно призраку; она лишает меня всякого покоя, всякой

надежды, *она убивает меня*, а ты этого не замечаешь; и ты не можешь собраться с силами и порвать с ней, хотя от этого зависит моя жизнь».

Теперь она знает, что Белль беременна, и это известие побуждает ее требовать от Александра еще большего. По мнению Мелани, именно беременность дает ему отличный предлог для того, чтобы избавиться от интриганки, которая руководствуется лишь низменными денежными соображениями. «Напиши ей, мой Алекс, о, напиши ей! И покажи мне твое письмо… Пообещай ей деньги, внимание, интерес, уважение, дружбу – все, кроме твоей любви и твоих ласк! Это – мое и только мое!»[51]

Однако Александр не решался расстаться ни с той, ни с другой из женщин, соперничавших из-за места в его сердце. Что заставляло его колебаться – боязнь ранить чувствительную душу или нежелание выбирать лишь одно из двух наслаждений? Да просто этот лихой рубака не способен был нанести последний удар! Когда приходило время это сделать, он ставил себя на место жертвы и – неожиданно для себя самого – начинал ее жалеть. Кроме того, слишком уж много трудностей было в театре, чтобы еще осложнять себе жизнь второстепенными интригами.

Обычные капризы мадемуазель Марс на этот раз перешли все пределы – теперь она требовала, чтобы премьеру «Антони» отложили на три месяца – за это время в «Комеди Франсез» должны были устроить газовое освещение, а при ярком свете особенно хорошо должны были смотреться заказанные ею платья. Кроме того, она устала, она снова намерена взять отпуск по болезни – до конца года. «Антони» вполне может подождать еще несколько недель! Александр понял, что актерам попросту не нравится его пьеса и что от него стараются вежливо отделаться. Оскорбившись, он вступил в переговоры с Франсуа-Луи Кронье, директором театра «Порт-Сен-Мартен»: к этому времени в правительственном окружении стали поговаривать о том, чтобы внести изменения в устав «Комеди Франсез», распустить товарищество актеров и назначить директором признанного и талантливого литератора. Сообразив, какие личные выгоды они могли бы извлечь из этого положения, Гюго и Дюма предложили свои кандидатуры на эту должность и совместно разработали план действий. Правда, этим все и ограничилось. Театральные дела отошли на второй план, готовились серьезные события: вскоре должен был состояться суд над девятнадцатью республиканцами – теми, кто поднял мятеж во время процесса бывших министров. Среди них был Годфруа Кавеньяк. Большинство обвиняемых числились артиллеристами Национальной гвардии, расформированной по приказу Луи-

Филиппа, Александр был их однополчанином. Не арестуют ли и его тоже за то, что он по недосмотру… или бросая вызов – теперь он уже и сам толком этого не знал! – явился во дворец поздравить короля с Новым годом в мундире только что распущенного его величеством полка? Дюма пережил немало мучительных и тревожных часов, думая об этом, но власти, казалось, о нем забыли. Что спасло его от тюрьмы – снисходительность государя или дружеское отношение его сына Фердинанда? Как знать…

Снова чудом избежав опасности, Александр тем не менее продолжает принимать участие в столичных беспорядках. 14 февраля 1831 года в память о герцоге Берри в Сен-Жермен-л'Оссеруа отслужили мессу, за которой последовал сбор средств в пользу солдат Карла X, раненных во время Июльской революции. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы решительно настроенные манифестанты под предводительством Этьена Араго заполнили церковь и выступили против политической провокации. Александр, глубоко удрученный, присутствовал при этом осквернении святилища его друзьями. Не будучи усердным прихожанином, он все-таки с детства сохранил уважение к религии и даже признавался в том, что не может «ни войти в церковь, не окунув руку в святую воду, ни пройти мимо распятия, не осенив себя крестным знамением».

В тот день в Сен-Жермен-л'Оссеруа, по его словам, «неверие мстило святотатством, осквернением и богохульством за те пятнадцать лет, когда ему приходилось скрывать свое насмехающееся лицо под маской лицемерия». Смех и крики рядом со «святынями» задели Дюма, он вернулся домой глубоко потрясенным, не в состоянии решить, принадлежит ли еще к клану восставших или отошел от них. На следующий день Александр отправился к острову Сите и оказался среди людей, сбежавшихся поглазеть на разорение Парижского архиепископства. Стоя на Новом мосту, стиснутый со всех сторон толпой, он печально смотрел на то, как по сине-зеленым волнам Сены плывут, подобно обломкам кораблекрушения, мебель, книги, ризы, сутаны. Разграбив здание, народ с не меньшим усердием принялся его разрушать, разбирать по камешку. Эта страсть к разрушению испугала писателя. Он изумлялся тому, насколько искажаются благородные помыслы в разгоряченных головах. Можно ли одновременно быть мыслителем и человеком действия? Наспех созванная Национальная гвардия попыталась разогнать мятежников. Во время столкновения некий офицер нечаянно ранил одного из манифестантов. Толпа возмутилась – только она имеет право наносить удары, всякий же ответ со стороны правительства бесчестен. Неловкому офицеру, на его

счастье, удалось избежать самосуда. Раненого отнесли поначалу на паперть собора, затем – что, учитывая его состояние, было более логично – перенесли в центральную больницу. Волнения не утихали. Александру только и оставалось надеяться, что с течением времени они улягутся сами собой. «Это был буржуазный мятеж, – расскажет он потом, – самый беспощадный и в то же время самый ничтожный из всех мятежей. Я вернулся домой с сокрушенным сердцем, нет, не так – мне было тошно! Вечером я узнал, что они хотели разрушить собор Парижской Богоматери, что еще немного – и четырехсотлетний шедевр, начатый Карлом Великим и завершенный Филиппом-Августом, за несколько часов исчез бы подобно архиепископству».[52]

Встревоженный уличными бесчинствами, Дюма жаждал теперь сильного правительства, способного восстановить порядок, не ущемляя законных прав граждан. Все больше и больше говорили о том, чтобы заменить слабодушного Жака Лаффита решительным Казимиром Перье.

Между тем 5 марта 1831 года Белль произвела на свет девочку, ее назвали Мари-Александрина. Поскольку у Белль уже был шестилетний сын, родившийся от случайной связи, она попросила Александра исполнить свой долг и официально признать дочь. Он счел делом чести сделать это в первые же двое суток после рождения малышки, после чего родители, которым она была совершенно ни к чему, отдали ребенка на воспитание. А плодовитый отец, встав на путь узаконения, вдруг вспомнил о том, что у него есть еще и семилетний сын Александр, которого он не признал при рождении. Он встречался с мальчиком редко, но с неизменной радостью, и это дело следовало уладить безотлагательно, хотя бы только для того, чтобы помешать матери, Лор Лабе, в один прекрасный день оспорить у него право воспитывать ребенка. Озабоченный уравнением в правах обоих незаконных отпрысков, он написал нотариусу Жан-Батисту Моро, ясно и определенно высказав свои желания: «Я хотел бы его [маленького Александра] признать своим сыном так, чтобы его мать об этом не узнала. […] Необходимо действовать как можно быстрее. Я боюсь, как бы у меня не отняли ребенка, которого очень люблю».

17 марта был составлен акт о признании отцовства. Все прошло бы гладко, если бы Лор Лабе, узнав о том, что он сделал, – кто мог ей проболтаться? – 21 апреля не ответила тем же, потребовав, со своей стороны, составить такой же акт. Маленький Александр, который до тех пор официально не был ничьим сыном, внезапно обрел двух настоящих родителей. Это скрытое соперничество между опекунскими правами не

предвещало мальчику в будущем ничего хорошего. Мать уже выпустила когти, но у отца пока что были дела поважнее.

Исполнив свой нравственный долг по отношению к потомству, Дюма вновь с головой окунулся в театральный водоворот. Новое правительство только что отказалось от намерения назначить директора «Комеди Франсез». Следовательно, обоим претендентам – и Гюго, и Дюма – нечего было ждать от переустройства театра. Впрочем, Тейлор вновь вернулся к своим обязанностям королевского комиссара. Гюго сделал выводы из этого возвращения к прежним порядкам и отнес свою пьесу «Марион Делорм» Кронье, в «Порт-Сен-Мартен», уговаривая Дюма поступить так же с «Антони». Однако тот благоразумно предпочел попытаться для начала заинтересовать пьесой Мари Дорваль. Ему давно уже нравилась эта маленькая темноволосая женщина, в каждом движении и в каждом взгляде которой проявлялась истинная страсть, – Мари была такая живая, пусть и даже чуточку грубоватая. На сцене она не играла – трепетала каждым нервом, каждой жилкой «подобно скрипке под лаской смычка». Нет ни малейшего сомнения в том, что она сможет удивительно выступить в роли Адели.

И Александр отправился к ней, прихватив рукопись. Дорваль встретила его радостно и насмешливо, назвала своим «славным псом» и обласкала полным обещаний взглядом. Однако из уважения к Виньи, который был официальным любовником актрисы, Дюма запретил себе за ней ухаживать. К тому же она успела к этому времени выйти замуж на некоего Жана Туссена Мерля, которого прозвали Белой Вороной[53] за легитимистские взгляды, – человека скромного, понимающего и даже покладистого. Актрисе не терпелось услышать «Антони», чтобы решить, действительно ли ей подходит роль Адели: говорили, будто речь идет о трудной роли – роли светской женщины. Сможет ли она, с ее парижским акцентом, с таким справиться? Александр начал читать, она прислонилась к его плечу. Он чувствовал затылком теплое дыхание женщины. К концу первого акта она была так взволнована, что коснулась легким поцелуем лба Дюма, слушая второй акт, плакала, а он не мог понять, затронул ли он так сильно ее чувства как мужчина – или как автор пьесы. Мари подставила ему губы. Он пылко поцеловал ее и продолжил чтение. К исходу третьего акта она обвила его шею и держалась за него так, словно боялась упасть. «Теперь уже не только ее грудь вздымалась и опускалась, – напишет он впоследствии, – ее сердце билось у моего плеча. Я чувствовал сквозь одежду, как оно колотится». Четвертый акт окончательно привел Мари в восторг. Она сжала Александра в объятиях так, что

едва не задушила, и воскликнула: «Твои пьесы нетрудно играть! Вот только они надрывают сердце! Дай-ка мне поплакать немножко, хорошо?.. Ну, давай, псина!»

Однако пятый акт показался актрисе менее удачным. Александр согласился с ее доводами и пообещал «на днях» его переделать. Она внимательно посмотрела на него, соскользнула со стула и – теплая, гибкая – угнездилась между его ног. И, пока они так сидели, прошептала, растягивая слова:

– Ты должен переделать этот акт сегодня ночью!

– Хорошо, – согласился он. – Сейчас вернусь домой и займусь этим!

– Нет, – заупрямилась она, – домой ты не пойдешь!

И объявила, что ее муж, почтенный Мерль, сейчас в деревне, а стало быть, его спальня свободна.

– Займи его спальню, – предложила Мари. – Тебе подадут чай, а я время от времени стану тебя навещать, пока ты работаешь. К завтрашнему утру закончишь и придешь почитать мне все это у моей постельки. Ах, как это будет мило!

– А если Мерль вернется? – спросил он.

– Ну так что? – воскликнула она. – Мы его не впустим!

Александр пришел в восторг от того, что проведет ночь за работой рядом с такой привлекательной женщиной. Удалившись в спальню отлучившегося мужа, он набросился на пятый акт и принялся его исправлять. Уже к трем часам утра он переписал самые неудачные сцены. К девяти уселся на постель еще совсем сонной и томной Мари и принялся читать. Приподнявшись на подушках, она время от времени неистово аплодировала. Некоторые фразы казались ей написанными нарочно для нее. Глаза у нее горели, она уже слышала, как произносит со сцены лучшие реплики. «Ах, как я скажу это „Но я погибла, погибла!“. Погоди, и еще вот это: „Моя дочь, я хочу обнять мою дочь!“ И еще: „Убей меня!“ И все остальное!» Вне себя от счастья, она велела тотчас же отнести требовательное послание актеру Бокажу, который, без сомнения, потрясающе сыграет Антони. Письмо, посланное актеру, было настолько красноречивым, что он тотчас опрометью прибежал, успев к завтраку. Настоящий сумрачный красавец – вьющиеся черные волосы, ослепительно белые зубы, а главное – глаза, способные передать любое чувство без помощи голоса. После наспех проглоченного завтрака Бокаж, в свою очередь, смирно выслушал все пять актов подряд, а когда чтение закончилось, заявил: «Это не пьеса, не драма и не трагедия, это роман; это нечто, в чем есть и то, и другое, и третье, и, несомненно, это произведет сильное впечатление!.. Вот только вы и впрямь видите меня в роли Антони?» Мари Дорваль и Дюма

принялись уверять его, что эта роль станет лучшей за всю его карьеру.

На следующий день устроили читку на дому у Кронье. Это был умный человек с поредевшими светлыми волосами, серыми глазами, беззубым ртом и учтивым обхождением. Начиная с третьего акта хозяин безуспешно боролся с одолевавшей его дремотой, в четвертом откровенно клевал носом, потом уснул, а к пятому уже храпел вовсю. Несмотря на то что он не проявил интереса к страданиям Антони и Адели, Мари Дорваль принялась его тормошить, оглушила восторженными восклицаниями и в конце концов уговорила поставить пьесу в театре «Порт-Сен-Мартен».

Репетиции начались без промедления. Виньи нередко на них присутствовал, столько же из дружеских чувств, которые испытывал к Александру, сколько из любви к Мари Дорваль. Его расположение доходило до того, что он подсказывал автору кое-какие изменения, которые считал необходимым внести в текст. Так, он посоветовал Дюма не представлять своего героя отрицательным персонажем и явным атеистом: подобное предвзятое и неблагоприятное мнение могло, по его словам, не понравиться публике. Александр признал справедливость замечания и исправил диалог в соответствии с ним. Работа шла полным ходом, но тем не менее, как автор ни интересовался ею, он все же решил на три дня прервать репетиции ради того, чтобы присутствовать на заседаниях суда присяжных: шел процесс девятнадцати республиканцев, многие из которых были близки ему душевно и по образу мыслей.

Трепеща от гордости, Дюма слушал, как Годфруа Кавеньяк восклицает, обращаясь к бесстрастным судьям: «Вы обвиняете меня в том, что я – республиканец; я принимаю это обвинение одновременно как почетный титул и как отцовское наследие!» Александру казалось, будто эта благородная отповедь исходит из его собственных уст. Разве не был и он сыном славной эпохи, начавшейся во времена революции и продолжавшейся при империи? Публика в зале суда зааплодировала словно в театре. Не велит ли председатель вывести всех из зала? Нет, это мелкое происшествие никого не смутило. Больше того, судья вообще казался до странности снисходительным к обвиняемым. В конечном итоге девятнадцать республиканцев были оправданы, и Александр, вполне удовлетворенный вынесенным приговором, смог вернуться к своим заботам драматурга.

Репетиции шли хорошо, однако Мари Дорваль, восхитительно непосредственная и совершенно прелестная, огорчалась из-за того, что не может придумать, как наиболее

эффектно подать свою реплику: «Но я погибла!» Она принялась расспрашивать Александра о том, как произносила эти несколько слов мадемуазель Марс, когда выходила в той же роли на сцену «Комеди Франсез». «Она сначала сидела, а затем вставала», – лаконично ответил Александр. Мари Дорваль тотчас решила, что будет играть эту сцену стоя, а потом, будто сломленная роковой судьбой, опустится в кресло, произнося долгожданную фразу. И в самом деле, на следующей репетиции, когда дошли до этой реплики, она пошатнулась, упала в кресло и простонала: «Но я погибла!» с таким ужасом и женственным простодушием, что немногочисленные зрители закричали «браво!». «Вот он, театр, – подумал Александр, – сценической игры, взгляда и вздоха довольно для того, чтобы превратить заурядную реплику в подлинный крик души». И, осознав это, еще больше полюбил и актрису, и пьесу!

Премьера состоялась 3 мая 1831 года. Зал, как и следовало ожидать, был переполнен. Сколько истинных друзей было среди этой разношерстной толпы? Вся романтическая молодежь, пылкая и нечесаная, была здесь, смешавшись с журналистами, писателями, художниками и салонными бездельниками. Однако и замшелые сторонники классицизма тоже не поленились прийти и образовали кое-где враждебно настроенные островки. Дамы были весьма элегантны с их шиньонами «а-ля жираф», высокими черепаховыми гребнями и рукавами-буфами. Как тут было не подумать о том, что личные заботы, дневная усталость, расстройства пищеварения – все эти непредсказуемые мелочи могут сказаться на настроении незнакомцев, собравшихся в зале «Порт-Сен-Мартен», и определить собой успех или провал «Антони»?

Занавес поднялся, открыв взорам зрителей заурядную обстановку, которая неминуемо должна была разочаровать публику, избалованную пышными декорациями. Мари Дорваль в газовом платье, с чуть хрипловатым голосом, мало походила на светскую даму, которую ей предстояло играть. Но так правдивы были все ее интонации, такая простота была в малейшем ее движении, что и самые несговорчивые зрители вскоре были совершенно покорены актрисой. Когда она произнесла свою главную реплику: «Но я погибла!» – половина зала едва удержалась от слез. Чувствуя, что атмосфера накаляется, Александр велел сократить антракты. В четвертом действии Бокаж был великолепен в своей сумрачной ярости и любовной непреклонности. Занавес упал, скрыв от зрителей сцену насилия над Аделью, которую Антони силой увлек в соседнюю комнату, чтобы там окончательно соблазнить и овладеть ею. Эта смелая

находка произвела ошеломляющее впечатление, толпа в зале затаила дыхание. «Что они станут делать: свистеть или аплодировать?» – в тревоге спрашивал себя Александр. На мгновение Порше, предводитель клакеров, замешкался, не решаясь выпустить на волю шум победы. И внезапно зал взорвался. «Оглушительный рев, сменившийся неистовыми аплодисментами, обрушился подобно водопаду, – напишет Дюма в своих мемуарах. – Зрители аплодировали и кричали пять минут подряд».

Он смотрел на людей, восторженно приветствовавших его пьесу, и ему хотелось обнять их всех, чтобы как-то показать, насколько он им благодарен. Из вежливости он послал билеты Мелани, хотя давно с ней не встречался и в глубине души надеялся, что она не придет. Однако она пришла и сидела в зале – исхудавшая, бледная, держа у глаз платок. Злится ли Мелани на него за то, что пьеса, замысел которой она сама ему невольно подсказала, имеет успех? Приходит ли в ярость оттого, что он вдали от нее, без всякой ее помощи шествует от победы к победе? Прогнав из головы неприятные мысли, Александр поспешил поздравить актеров.

Мари Дорваль переодевалась в своей гримерной, успех сделал ее еще более привлекательной. Она сочно расцеловала Александра в губы, но это был поцелуй актрисы, которым она наградила автора пьесы. Александр знал, что из этого нельзя делать никаких заключений насчет того, как могут сложиться их отношения в будущем. Впрочем, в эту минуту он думал о другом. И признался, что продолжение спектакля немало его беспокоит. По его мнению, четвертый акт не должен был «пройти гладко, как по маслу». Мари рассмеялась ему в лицо, снова его расцеловала и вытолкала в коридор. Но он никак не успокаивался и, не желая присутствовать при возможном провале злополучного четвертого акта, выскочил на темную улицу и потащил своего друга Биксио на безумную прогулку по Парижу – они дошли до самой Бастилии.

Когда друзья вернулись, занавес только что опустился под гром аплодисментов. И Александру тотчас пришла в голову великолепная театральная стратегия. Он бросился к машинистам и крикнул: «Сто франков, если занавес поднимется до того, как стихнут аплодисменты!» Через две минуты занавес взлетел перед залом, все еще взволнованно шумящим. Машинисты получили свои сто франков, а Дюма завоевал сердца зрителей.

Пятый акт то и дело прерывался хлопками и криками «браво!». Когда дело дошло до развязки и Антони, заколов Адель, встретил мужа страшными словами: «Она сопротивлялась мне! И

я ее убил!» – весь зал, от партера до галерки, ахнул от ужаса и восторга. Для всех зрителей Антони в исполнении Бокажа был типичным роковым мужчиной, а Адель, в роли которой выступила Мари Дорваль, прежде всего – слабой женщиной. Он без сожалений положит голову под нож гильотины, и честь несчастной, которую он убил из любви, останется незапятнанной в глазах ее мужа и всего света.

Только что на глазах у зрителей родились два мифических героя: идеальная жена, которая предпочтет умереть, лишь бы не погубить свое доброе имя, и благородный возлюбленный, который жертвует собой ради того, чтобы их двойная тайна навеки упокоилась в могиле. Публика внезапно осознала, что перед ней уже не просто разыгрывается пьеса – ей открывают глаза на глубину ее собственных чувств. И принялась вызывать автора, чтобы поблагодарить его за то, что он сумел понять и покорить ее.

Дорваль и Бокаж кланялись, громко выкрикивая имя Александра Дюма. Шум нарастал. Это было настоящее безумие. Дюма с трудом прокладывал себе дорогу к актерам. Его узнавали, встречали овациями, за ним шли по пятам до самой гримерной Мари. Там восторженные поклонники едва не растерзали его – они отрывали пуговицы от его одежды: на память о премьере. Некоторые уже готовы были признать, что он в прозе поднялся выше, чем Виктор Гюго – в поэзии!

Когда Александр, в голове у которого словно сиял всеми огнями праздничный фейерверк, шел той ночью к себе домой, Мелани, оставшись после театрального шума и огней одна в тишине и пустоте своей комнаты, с горечью почувствовала, что послужила славе человека, который больше ее не любит, а может быть, никогда и не любил. Она поняла: у ее Алекса на самом деле есть на свете лишь одна страсть – сочинительство!

Часть II

Глава I
Незначительные успехи

7 мая 1831 года, четыре дня спустя после шумной премьеры «Антони», Александра пригласили на общее собрание тех, кто удостоился наград за свои подвиги во время Июльской революции. Создали комиссию (Дюма представлял четырнадцатый округ), выбрали председателя и принялись серьезно обсуждать требования, высказанные Луи-Филиппом. Тот пожелал, чтобы лента нового ордена была синей с красной каймой, чтобы официальная надпись гласила: «Дан королем Франции» и чтобы удостоенные этой чести дали клятву верности его величеству. Недовольный цветами ленты, Александр кое-как с ними примирился, но заявил, что надпись и клятва его не устраивают. Большинство собравшихся поддержали его отказ. С какой стати герои революции 1830 года должны соглашаться принимать похвалу короля, который в то время и не думал возглавлять восстание? Не идет ли речь о маневре, предпринятом Луи-Филиппом с целью присвоить славу тех, кто действительно сражался? Не закончится ли все это тем, что он вообразит, будто они уполномочили его наводить во Франции порядок под сенью трехцветного знамени? И Александр, не переставая обмениваться рукопожатиями и дружески обнимать Этьена Араго и Распая, начал осторожно наводить мосты со сторонниками порядка и спокойствия. То, что он громко и открыто расхваливал достоинства народной власти, нисколько не мешало ему страстно желать, чтобы побыстрее закончились беспорядки и волнения, мешающие работать мыслящему человеку.

9 мая «награжденные поневоле» снова собрались, на этот раз – в «Бургундском винограднике» в предместье Тампль, где был устроен банкет в честь артиллеристов, оправданных в апреле благожелательным судом. Когда открыли шампанское, гости, разгоряченные обильными возлияниями, потребовали, чтобы Александр произнес тост в поддержку их дела. Захваченный врасплох этим требованием, он поднялся с бокалом в руке и только и смог сказать: «За искусство! За то, чтобы перо и кисть так же успешно, как ружье и шпага, помогали тому обновлению общества, которому мы посвятили свою жизнь и за которое готовы умереть!» – ничего другого ему в голову не пришло. Это были высокопарные слова скорее поэта, чем политического трибуна, и слушатели испытали легкое разочарование, но из вежливости похлопали. За этим тостом последовали другие, все

более и более зажигательные. Внезапно какой-то молодой фанатик вскочил со стула. Услышав имя Луи-Филиппа, «короля-груши»,[54] он стал размахивать кинжалом и выкрикивать бессвязные угрозы. Испуганный этим призывом к насилию, Александр, сообразив, что ресторан расположен на первом этаже, перешагнул подоконник и убежал через сад. Пусть эти помешанные продолжают вопить и бесноваться без него! У него есть дела поважнее! Назавтра он узнал, что одержимый с банкета орденоносцев – не кто иной, как юный гений, математический фантазер Эварист Галуа, и что его посадили в тюрьму за подстрекательство к убийству.

Александр с горечью подумал, что человек с либеральными, как у него, убеждениями всегда рискует оказаться в опасной близости к фанатику. Успех пьесы «Антони», которая продолжала идти в театре «Порт-Сен-Мартен», обязывал его вновь взяться за перо. Тем временем в Париже продолжались отдельные выступления. Достаточно было мальчишкам на бульварах забросать кочерыжками отряд полицейских, чтобы этот случай превратился в «настоящий мятеж, начавшийся в пять часов вечера и завершившийся к полуночи». В принципе поддерживая народные волнения, Александр не мог не признать, что даже революция, когда она происходит изо дня в день, в конце концов истощает терпение. Единственным, но основательным утешением служило то, что Мелани после нескольких всплесков гордости и ревности смирилась с тем, что отныне будет играть при нем лишь благородную роль живого воспоминания.

«Любовь, которой больше нет, превратилась в поклонение прошлому, – пишет она ему 15 мая 1831 года. – Искренние похвалы в ваш адрес возвращают мне вас, мне начинает казаться, будто я снова завладеваю вами, вы снова принадлежите мне. Ах, все, что есть в вас доброго и возвышенного, всегда будет тайно связано с моей душой. Отныне я буду жить не для себя, и, если я буду знать, что вы счастливы, любимы, почитаемы, моя жизнь изменится, и это вы возродите меня к новой жизни».

После долгих месяцев, заполненных требованиями и оскорблениями, она стала на удивление сговорчивой. Александр вздохнул с облегчением – теперь наконец он может спокойно жить с Белль. К тому же он недавно добился того, что суд отнял маленького Александра у его матери, Лор Лабе. Комиссар полиции забрал мальчика из дома, и отныне он должен был воспитываться в пансионе Вотье на улице Горы Святой Женевьевы. Большие заработки в театре позволяли Дюма содержать своих любовниц и незаконных детей. Он немало этим гордился! Но ослаблять хватку было нельзя. Пока он ищет сюжет

для новой пьесы, другие авторы более или менее успешно занимают подмостки. Без всякого удовольствия, можно сказать – только из чувства профессионального долга он посмотрел в Одеоне «Маршала д'Анкра» Виньи, пьеса показалась ему вялой и пустой, зато он от души повеселился на представлении «Импровизированной семьи» Анри Монье в «Водевиле». Подобный успех безделушки должен был бы его подстегнуть, однако даже и дух соперничества теперь был над ним не властен. Наверное, Париж с его политико-литературной суетой оказывает парализующее действие. Единственное средство – сменить обстановку!

6 июля Дюма вместе с Белль сел в дилижанс и отправился в Руан. Четырнадцать часов тряски с короткими передышками на станциях. Во время поездки у Белль было вдосталь времени, чтобы обдумать последние события их совместной жизни. Убаюканная движением кареты, она в полудреме наслаждалась своей победой над Мелани, которая только что наконец сдалась, и даже над Лор Лабе, которую Александр сумел лишить родительских прав. Белль была склонна принять в дом сына своего любовника вместе с собственной дочерью, которая пока оставалась у кормилицы. Присутствие детей лучше всего налаживает отношения любящей четы! Но хорошо бы, чтобы он сам это предложил. Они поговорят об этом позже, на свежую голову. Александр не любит, когда его отвлекают домашними заботами. Это рабочая скотинка, в работе он – зверь. И в наслаждениях – тоже! Вот наконец и Руан. Наспех осмотрев город, они сели на корабль и отплыли в Гавр. Оттуда простая лодка с четырьмя гребцами доставит путешественников в затерянную в глуши деревушку – Трувиль.

Найти пристанище труда не составляло. Путешественников вполне устраивал сельский постоялый двор. Хозяйка, Мари Анн Роз Озре, чистенькая и пышнотелая, сразу выставила свои условия: сорок су в день за комнату. Они сняли две комнаты, потому что Александру требовался собственный угол, где он мог бы работать в те часы, когда ему удобно. Чтобы морской пейзаж не отвлекал его, он выбрал комнату, выходившую окнами в поле. Выбеленные стены, ореховый стол, красная деревянная кровать, маленькое зеркальце на стене, ситцевые занавески и букет флердоранжа под стеклянным колпаком. Эта простота нравилась Дюма, который стремился прежде всего к покою и уединению. Он установил для себя строгий распорядок дня. Вставал с первыми лучами солнца, работал до десяти, потом завтракал, с одиннадцати до двух охотился на окрестных болотах, с двух до четырех снова садился за работу, окунувшись в море, чтобы

размяться и освежить голову. Обед неизменно был праздничным. По уговору с трактирщицей готовила Белль. Александр понимал толк в еде. Белль это знала и старалась у плиты превзойти себя. Блюда были самые разнообразные: нормандский суп, котлетки из баранины, язык по-матроссски, омары под майонезом, салаты из креветок, жареные бекасы. От морского воздуха всегда разыгрывается аппетит. Наполнив живот вкусной едой и добрыми старыми винами, сытый и умиротворенный, Александр отправлялся прогуляться по пляжу, затем возвращался к терпеливо дожидавшимся его на рабочем столе бумагам. Написав заранее намеченное количество строк, он около полуночи ложился в постель и обнимал подругу, которая весь день ждала, пока он соблаговолит отложить рукопись и заключить ее в свои объятия.

Причина, заставлявшая его усердно исписывать страницу за страницей, была очевидна: он твердо решил за несколько недель закончить новую пьесу, «Карл VII и его великие вассалы», навеянную одновременно «Хроникой короля Карла VII» Алена Шартье и реминисценциями «Квентина Дорварда» и «Ричарда Львиное Сердце» Вальтера Скотта. Несмотря на успех написанного прозой «Антони», Дюма хотел, чтобы «Карл VII» был драмой в стихах. На его взгляд, между сценой, написанной повседневным языком, и сценой, красиво размеренной и рифмованной, разница была примерно такой же, как между вылепленным из глины черновым наброском и высеченной из мрамора статуей. Его завораживал пример Гюго с его чеканным стихом. Он убеждал себя в том, что если он в своих драмах откажется от применения александрийского стиха, то загубит самые возвышенные темы и утратит всякую надежду на возможность присоединиться к истинным поэтам, пребывающим в эмпиреях. И вот час за часом он неутомимо сражался с одолевавшими его трудностями, расправлялся с количеством стоп, цезурами и ассонансами. Его обычную дневную норму составляли сто строк. Продолжая работать такими темпами, он рассчитывал вскоре закончить своего «Карла VII».

Но 24 июля, в тот самый день, когда ему исполнилось двадцать девять лет, у мамаши Озре нежданно-негаданно появился новый постоялец – Жак-Феликс Беден, неистощимый сочинитель пьес в соавторстве с неким Проспером Губо. Четыре года тому назад пьеса Бедена и Губо «Тридцать лет, или Жизнь игрока», написанная ими совместно с Виктором Дюканжем, имела огромный успех. На этот раз драматурги принялись за непомерную историческую махину под названием «Ричард Дарлингтон» и надеялись, что Дюма, уже прославившийся как

ловкий сочинитель, поможет им выпутаться из перипетий этой шотландской драмы, надерганной из романов Вальтера Скотта. Александра соблазнила возможность неплохо на этом заработать, и он принял предложение Бедена, но выставил два условия: во-первых, его имя не будет стоять на афише, а во-вторых, он примется за работу только после того, как допишет последний стих своего «Карла VII». На том и порешили. Все остались довольны: Беден нашел человека, который лучше всех может подлатать пьесу, Дюма рассчитывал на немалый доход. Беден уехал, а Александр принялся себя пришпоривать, чтобы как можно скорее разделаться с приключениями вассалов Карла VII. Десятого августа он написал последнюю реплику своей пьесы, перечитал все от начала до конца и поморщился. «Это была скорее пародия, чем настоящая драма», – скажет он потом. Но, какое ни есть, «чудовище» появилось на свет, а стало быть, за него можно было получить деньги. Больше ничто не удерживало Александра в Трувиле, и они с Белль вернулись в Париж.

В руанском дилижансе вместе с Дюма оказался один из сотрудников «Journal des Débats». На рассвете путешественники вышли из кареты, чтобы пешком подняться по крутому склону. Александр шел рядом с профессиональным репортером, и тот рассказал ему, что «Марион Делорм» только что провалилась с треском в «Порт-Сен-Мартен», и поделом. Александр тотчас вступился за Гюго; он знал наизусть большие куски пьесы и с жаром их декламировал, что сильно удивило его собеседника, считавшего, что все писатели должны друг друга ненавидеть, поскольку все они – соперники. Кучер прервал их беседу криком: «Садитесь в карету, господа!» Каждый устроился на прежнем месте, и дилижанс покатил дальше. В тот же вечер, как добрался до столицы, Александр бросился в театр «Порт-Сен-Мартен» в надежде, что сможет увлечь своими аплодисментами зрителей, не сознающих, насколько великолепен текст Гюго. Но ему пришлось признать, что актеры, за исключением Мари Дорваль и Бокажа, оказались недостойны пьесы. С затаенной яростью он смотрел, как искажают мысль и искусство поэта, и вернулся домой подавленным, разбитым, словно это его самого подвергли такому подлому унижению. «Мне понадобилось, чтобы прошло несколько дней, и только тогда я собрался с силами и смог вернуться к собственным стихам после того, как услышал и перечитал те, что написал Гюго», – признается он в своих мемуарах. Какое-то время он даже подумывал, не переписать ли ему «Карла VII» прозой, как когда-то Арель советовал ему поступить с «Христиной». Но, уже почти решившись на эту крайность, он опомнился. Как можно разорить сад, который с таким трудом возделывал? Сможет ли он

так же любить вялую переработку, написанную повседневным языком, как те вдохновенные строки, которыми он так упивался целыми часами в Трувиле? Не в силах заставить себя принести такую жертву, он позвал к себе нескольких друзей и прочел им пьесу. Доброжелательное отношение к автору ничего не изменило – она им не понравилась. Александр, не дрогнув, стерпел этот удар. Не стоит упираться. Лучше убрать рукопись подальше, чем слушать, как пьесу освищет весь Париж. Он успел получить от Ареля тысячу франков и теперь вернул ему этот аванс, сообщив в письме, что не хочет, чтобы «Карл VII» шел на сцене. Но он не учел непробиваемого упрямства директора театра. Заподозрив, что Дюма забирает пьесу из Одеона, потому что в «Комеди Франсез» ему пообещали заплатить больше, он заявил, что готов надбавить цену до пяти тысяч франков. Стараясь уговорить строптивого автора, он дошел до того, что принялся размахивать у него перед носом банковскими билетами.

Как можно устоять перед подобной щедростью? Александр согласился прочитать рукопись в присутствии Ареля, мадемуазель Жорж, Жанена и Локруа. Актеры оказались более снисходительны, чем друзья, к этой сумрачной драме ревности, преступлений и возмездия. Больше того – мадемуазель Жорж так увлеклась пьесой, что Арель, глядя на нее, решил немедленно приступить к репетициям. Александр, приятно удивленный этим, начал думать, что он мог и ошибиться и что у его «Карла VII» есть шансы понравиться если не утонченным ценителям, то по крайней мере широкой публике.

Между тем он перебрался на новую квартиру и теперь жил вместе с Белль в доме 40 по улице Сен-Лазар, недавно выстроенном здании, где у него на третьем этаже была просторная и со вкусом обставленная квартира. Вскоре там же поселится и его мать. Ну и что с того, что Александр живет с любовницей! Истинные семьи стоят выше буржуазных законов. Каким безмятежным было бы совместное существование этой троицы, если бы Мелани не продолжала так упорно преследовать бывшего возлюбленного слезливыми посланиями! Опасаясь недовольства Белль, этой «оборванки» и «распутницы», которая украла у нее Алекса, она даже отправила длинное письмо в двойном конверте на имя мадам Дюма, поручив ей передать его сыну, но только тогда, когда «останется с ним наедине». Мадам Дюма исполнила просьбу, и Александр, тайком и обреченно, читал нескончаемые жалобы: «Я становлюсь все спокойнее по мере того, как пишу тебе, по мере того, как открываю тебе свою душу. Видишь ли, только тебе я могла все это сказать. И пусть это останется между нами! Доверие может пережить любовь, и, может

быть, потом оно становится даже более истинным. Если бы за четыре года, проведенных вместе, наши души и наши жизни не слились воедино, если бы я не знала глубин твоей души, если бы не знала всего того, что свет и женщины еще не успели в тебе загубить, я не писала бы так, потому что, видишь ли, если бы ты ответил мне: *„Да мне-то что за дело?“* – я рухнула бы наземь, и Бог знает, в какую упала бы пропасть!» Александр спрятал письмо в потайной ящичек. Белль ничего о нем не узнает. Но он не может совершенно изгнать из памяти эту безумную Мелани. Прошлое затягивает, не отпускает его. И теперь, когда ему хотелось бы устремиться в будущее, полное огней и оваций, дрожащие руки хватаются за полы его сюртука. Но разве он виноват в том, что его продолжают любить, когда сам он уже разлюбил?

Впрочем, трудности подстерегали его не только в личной жизни. Что касается работы – и здесь ему тоже приходилось разрываться на части. Везде требовалось его присутствие: пока труппа Ареля репетировала «Карла VII», он вместе с Губо и Беденом усердно трудился над «Ричардом Дарлингтоном». История этого английского карьериста, жившего в XVIII веке, была ничем не хуже всякой другой. Герой пьесы, охваченный стремлением добиться высокого положения в обществе, решает избавиться от своей жены Дженни и жениться на дочери маркиза – это откроет ему путь к пэрству. Но как разделаться с первой женой? Губо долго ломал над этим голову и в конце концов нерешительно предложил яд или кинжал, но Александр счел этот старый прием недостойным авторов пьесы. И вдруг на него снизошло озарение. «Он выбросит ее в окно!» – воскликнул Дюма. Губо на это возразил, что невозможно придумать такую мизансцену, чтобы актриса, перевесившись через перила, не открыла ноги, и даже несколько более того! Не будут ли зрители шокированы такой откровенной непристойностью? Александр прислушался к этому замечанию и пообещал подумать над тем, как лучше обойти это препятствие. Ночью он внезапно проснулся, словно кто-то тронул его за плечо, и, вскочив с постели, крикнул: «Эврика!» Решение было найдено: во время последнего разговора с Дженни Ричард грозится ее убить, и несчастная выбегает на балкон, чтобы позвать на помощь! Эта попытка окажется для нее роковой: Ричард выскочит следом и закроет за ними обе створки двери, ведущей на балкон. Из зала больше ничего не будет видно, но послышится страшный крик, и Ричард снова появится перед зрителями уже один. Он сбросил Дженни вниз. Дело сделано. «В восемь часов утра, – отмечает Дюма, – я написал последнюю строчку третьего акта, в девять был у Губо, в десять он признал, что окно действительно было единственным путем, каким

Дженни могла уйти».

После такой напряженной работы воображения надо было дать себе отдых, и Дюма согласился пересказать и переписать в виде диалогов отдельные сцены из «Истории герцогов Бургундских» Проспера Брюжьера де Баранта. Эти рассказы, помещенные в «Revue des Deux Mondes», вызовут у читателей большой интерес, и Дюма, считавший себя по преимуществу драматургом, будет немало этим удивлен. В самом деле, какой бы ни оказывалась судьба его пьес, он продолжал верить в то, что истинный его удел – сцена. Тем не менее ему было очень не по себе на премьере «Карла VII», состоявшейся 20 октября 1831 года. Он захотел, чтобы на представлении присутствовал его сын, которому к этому времени исполнилось семь лет. Не пора ли мальчику услышать возгласы одобрения, обращенные к его отцу? Мелани Вальдор тоже была в зале, сидела в красном платье, пугающе отощавшая, с безумным взглядом, напоминая собой гальванизированный труп. И как всегда, в партере и на балконах красовалась толпа усатых и бородатых романтиков в сюртуках с широкими отворотами, пестрых жилетах и зеленых клеенчатых плащах. При одном только взгляде на них Александр приободрился. Что бы ни случилось, молодежь его не бросит!

Увы! Он грешил избытком оптимизма. Даже друзей автора, искусно распределенных по залу, быстро разочаровала эта историко-сентиментальная мешанина. Изначальная благосклонность зрителей вскоре уступила место равнодушию, досаде и скуке. В четвертом акте Карл VII, которого играл Делафосс, появлялся на сцене в доспехах, которые Александру удалось одолжить в Артиллерийском музее. Когда актер произносил очередную тираду, забрало шлема внезапно опустилось, закрыв его лицо и прервав речь. Зрители развеселились. Несчастный задыхался под этим железным намордником и что-то нечленораздельно мычал до тех пор, пока один из придворных не подбежал к нему и не сумел кинжалом приподнять плохо закрепленную деталь. Делафосс, глотнув воздуха, кое-как закончил свой монолог, но зрители уже весело шумели, и редкие вежливые аплодисменты, раздавшиеся по окончании пьесы, не могли заглушить неодобрительного гула толпы. Александр и сам признал, что драма его – мертворожденная. «У пьесы было ровно столько мелких достоинств, чтобы никого не испугать», – напишет он. Больше всего его, пожалуй, огорчило не то, что «Карла VII» плохо приняли парижане, а то, что при этом унизительном провале присутствовали его сын и Мелани.

Если бы хотя бы французская политика могла его утешить в

его писательских невзгодах! Сколько он ни твердил себе, что существуют «специалисты», которые должны заниматься государственными делами, все же новости, которые он вычитывал из газет, выводили его из равновесия. Польское восстание было подавлено русскими, и тупой Себастиани, вместо того чтобы возмутиться этим, гордо провозгласил в палате депутатов: «В Варшаве царит порядок!» Распай, Голуа и Бланки, эти непримиримые идеалисты, томились за решетками тюрьмы Сент-Пелажи. Мятеж лионских ткачей, изголодавшихся, отчаявшихся и прекрасных, захлебнулся в крови. Власть повсюду проявляла двуличность и нетерпимость. И все же Александр, сраженный тем, как безжалостно приводили к повиновению безоружный народ, не чувствовал в себе сил принять вызов. Он преклонялся перед мужеством Этьена Араго, готового пожертвовать ради идеи не только своей карьерой, но и жизнью, однако не следовал его примеру. Его призывал другой долг.

Как бы сильно он ни возмущался, все же он не мог забыть о том, что в театре «Порт-Сен-Мартен», который только что, не выпуская из рук Одеон, возглавил Арель, начали репетировать «Ричарда Дарлингтона». Главную роль играл Фредерик Леметр! Никто не смог бы лучше его поднять пьесу к вершинам успеха. Среди посвященных уже начинали перешептываться, что у этой драмы есть политический подтекст и что в ней авторы бичуют продажные нравы государственных деятелей. 10 декабря 1831 года, во время премьеры, зал, в котором преобладала «Молодая Франция», был настолько возбужден, что малейший намек на темные сделки английских властей неизменно воспринимался как критика, нацеленная в адрес французского правительства. Арель, полагая, что успех обеспечен, бросился в ложу Дюма и, несмотря на то что последний настаивал на том, чтобы его имя не упоминалось, попросил разрешения назвать его среди авторов пьесы вместе с Губо и Беденом. Александр, приняв гордый вид, отказался, ссылаясь на то, что сюжет пьесы ему не принадлежит, однако Арель, убежденный в том, что имя Дюма будет способствовать успеху дела, не отступался. В следующем антракте он вернулся вместе с Губо и Беденом, которые, в свою очередь, принялись умолять соавтора признаться. Затем Арель, перейдя от слов к делу, вытащил из кармана три тысячефранковых банкнота и принялся шуршать ими над ухом непреклонного драматурга. Александр, укрепившись в своем первоначальном решении, не хотел, по его словам, подписывать своим именем произведение, которое не было задумано и создано им от начала до конца. На самом же деле – но этого он не сказал! – он боялся новой неудачи после провала «Карла VII». Однако он и на этот раз ошибся в

своих предположениях. Зал принял пьесу намного лучше, чем он ожидал. Когда закончился последний акт, раздались оглушительные аплодисменты. Должно быть, восторг зрителей был вызван не столько литературными достоинствами пьесы, сколько политическими намеками. Выходя из своей литерной ложи, Александр столкнулся с Альфредом де Мюссе. Смертельно бледный, хмельной, он шел нетвердой походкой и бормотал: «Я задыхаюсь!» Но чему следовало приписать его недомогание – избытку восторга или злоупотреблению алкоголем? Александр решил придерживаться первой версии. Однако это нескладное произведение, от которого он слишком поспешно отрекся, оставило у него горький привкус.

Подводя итог 1831 года, он пишет в своих мемуарах: «Я написал три пьесы: одну плохую – „Наполеон Бонапарт“, одну посредственную – „Карл VII“ и одну хорошую – „Ричард Дарлингтон“». И как раз ее-то, эту последнюю, он из упрямства, по глупости не подписал! А жаль! Тем временем Гюго опубликовал «Собор Парижской Богоматери». «Это не просто роман, – объ-явил Дюма, – это нечто большее, это книга!» Если прибавить к нему восхитительные стихи из сборника «Осенние листья», торжество будет полным. Этому Виктору удачно выбрали имя! Он – несравненный, непобедимый! Совсем другое мнение сложилось у Александра о молодом Бальзаке, который к этому времени тоже обратил на себя благосклонное внимание читателей своей «Шагреневой кожей». «Одно из самых неприятных его сочинений» – так оценит эту вещь автор «Ричарда Дарлингтона». Все в этом плодовитом и слишком заметном писателе его раздражало, он критиковал и его добродушное обхождение, и его мнимую элегантность, и напыщенность его стиля. И все же он признает: «Его талант, его способ сочинять, творить, создавать были настолько отличны от моих собственных, что я здесь плохой судья». Никогда он не будет бояться соперничества с этим великим, как и он сам, тружеником.

Правду сказать, его опыт сотрудничества с Беденом и Губо открыл ему новые перспективы. Не следует ли ему и дальше продолжать такую совместную работу? Конечно, совсем неплохо распределить задачи, имея готовый сюжет, сопоставить возможности тех и других и, объединив усилия, за несколько дней состряпать хорошенькую коммерческую пьеску, над которой в одиночестве автору пришлось бы трудиться не один месяц. Но в этом заключалась и некоторая опасность. «Беда с первой совместной работой состоит в том, что за ней следует вторая, – признается Дюма в своих мемуарах. – Человек, который пошел на такое сотрудничество, подобен человеку, у которого кончик

пальца попал в вальцы: следом за пальцем затянет кисть руки, потом – всю руку, а за ней и все тело! Остановиться невозможно; вошел человеком, а вышел мотком проволоки». Дюма был бы ближе к истине, если бы сравнил то, как затягивает совместная работа в атмосфере дружеского соревнования, с воздействием наркотика, который мало-помалу одурманивает вас, пока не подчинит себе окончательно. Вдохновленный относительным успехом «Ричарда Дарлингтона», он снова втянулся в игру и взялся сочинять нечто вроде оперетты с мелодраматическим оттенком под названием «Тереза». Сюжет подсказал ему Анисе Буржуа, честный изготовитель ролей по мерке, которому Бокаж оказывал покровительство. По просьбе Бокажа Дюма пригласил Анисе Буржуа, выслушал историю, одобрил замысел, добавил несколько изюминок и наскоро испек пьесу за три недели. Обжегшись на «Ричарде Дарлингнтоне», которого он отказался признать своим детищем, на этот раз он решил подписать «Терезу». Но не тут-то было! Перечитав рукопись, он пожалел о потраченном на нее времени. «Мое мнение об этой драме: одна из худших моих пьес», – с холодной ясностью оценил он. Тем не менее, поддавшись слабости или на уговоры, он согласился дать разрешение на постановку. Театр таит в себе столько сюрпризов, что никогда не надо отказываться от возможности попытать счастья! Бокажу удалось пристроить «Терезу» в «Варьете», но этот театр был на грани разорения. Тогда ее перебросили в зал Вентадур, недавно переданный «Опера-Комик». Премьера состоялась 6 февраля 1832 года. В спектакле участвовала двадцатилетняя актриса Ида Ферье, которую открыл Бокаж. Она играла роль простодушной молодой женщины. Александр нашел, что она обладает тонким, грациозным, очень простым талантом, выходящим за рамки всех театральных условностей. Другие считали, что она слишком толстая, что у нее «плохие зубы» и что она «говорит в нос». Ее густые белокурые волосы были «завиты мелкими кудрями а-ля Манчини». У нее были «манеры кухарки», и она слишком сильно красилась, что, по мнению графини Даш, превращало ее в «напудренного пьеро».[55] Если на сцене она изображала чистоту, то за кулисами вела себя предельно развратно и вызывающе. Александра же, с тех пор как он хранил верность Белль Крельсамер, неудержимо тянуло к чему-нибудь новенькому. Он слишком любил женщин, для того чтобы довольствоваться одной-единственной. Эта свеженькая, пухленькая и кокетливая актриса внезапно пробудила в нем мечты, и он, решившись, предложил ей не ограничиваться исполнением роли в его пьесе.

Спектакль прошел без запинки. Даже двусмысленная сцена в

четвертом акте между неверной женой и предприимчивым лакеем вызвала аплодисменты. Обрадованная успехом Ида бросилась Александру на шею и расцеловала его. Отныне она готова была играть при нем, вдали от глаз публики, совершенно другую роль. Тем не менее Александр заметил, что ближе к концу пьесы внимание зрителей начало слабеть. Анисе Буржуа с ним согласился и предложил сильно сократить ее. Дюма кротко предоставил соавтору действовать, и Анисе Буржуа принялся вычеркивать, убирать, кромсать, подчищать… В результате к следующему представлению драма стала схематичной, вялой и бесцветной. «После того как из „Терезы“ убрали подробности, – замечает Дюма, – пьеса утратила художественную ценность и, сделавшись более скучной, стала казаться длиннее». Как бы то ни было, Александр решил, что она обречена на забвение. Но он не напрасно над ней трудился, потому что благодаря этой пьесе в жизнь автора легкой походкой вошла веселая, живая Ида Ферье.

Глава II
Холера, беспорядки и любовь

Париж только-только начал забывать о недавних беспорядках, в садах Тюильри снова появились женщины в светлых платьях, директора театров радовались, глядя на то, как зрители выстраиваются в очередь у окошечек касс, – и внезапно спокойствие города было взорвано страшным криком: «Холера!» Человек упал словно подкошенный на улице Шоша. За ним последовали другие, болезнь настигала кого в постели, кого на службе или прямо посреди улицы. Ни один квартал она не обошла стороной. Люди запирались у себя дома, боялись дышать, с подозрением относились к воде и еде… Говорили, что зараза, появившаяся в Индии, через Персию добралась до Санкт-Петербурга, оттуда перекинулась в Лондон, и Франции ее не избежать. Озноб, судороги, понос, заражение крови, тошнотворная слабость, доводящая до агонии, – все симптомы были налицо. А наука была бессильна не только исцелить, но даже и толком определить болезнь. Врачи, метавшиеся от одного умирающего к другому, только и могли что разводить руками и качать головой. Смерть косила людей сотнями, и они в ужасе хватались за домашние средства и молили Господа о милосердии. «Они кричали „Холера! Холера!“ точно так же, как за семнадцать лет до того кричали „Казаки!“», – рассказывает Дюма в своих мемуарах. И продолжает: «Болезнь настигала человека у него дома; двое соседей, уложив его на носилки, несли в ближайшую больницу. Нередко случалось, что больной умирал по дороге, и его место на носилках занимал один из носильщиков, а то и оба». Болезнь поражала в первую очередь бедных, но не щадила и богатых. Сестры милосердия не могли справиться с этим потоком умирающих и, несмотря на микстуры и молитвы, тоже умирали. Тела складывали по десять, а то и по двадцать в мебельные фургоны, священники довольствовались тем, что служили панихиды за всех одновременно, а добровольные могильщики не успевали засыпать общую могилу от одной доставки до другой. Поскольку за всякое всенародное бедствие на ком-то должна лежать вина, в предместьях поговаривали, что правительство, стремясь избавиться от излишков населения, подсыпало яд в фонтаны с питьевой водой и в кувшины виноторговцев. То здесь, то там можно было увидеть, как обезумевшая толпа без суда убивает какого-нибудь несчастного, заподозренного в совершении этого преступного деяния. На 14 апреля – семь тысяч умерших,

тринадцать тысяч помещены в больницы. «О, кому довелось видеть Париж в эти дни, – напишет Дюма, – никогда не забудет это беспощадно синее небо, это насмешливое солнце, безлюдные проспекты, пустынные бульвары, улицы, по которым тянулись катафалки и бродили призраки». Александр надеялся на свое могучее сложение, которое должно было помочь ему устоять перед поразившей Францию болезнью. Среди всеобщего бедствия он больше всего, не решаясь сказать об этом вслух, сожалел о том, что театры, покинутые зрителями, стоят пустые. Несмотря на все старания Ареля, поместившего в газетах сообщение о том, что, по данным медико-санитарного исследования, зрительные залы – единственное место, защищенное от холеры, парижане предпочитали отсиживаться по домам, наглухо закрыв двери и окна.

Однако Александр не желал сидеть сложа руки и ждать, пока закончится эпидемия. Он считал, что сочинительство – лучшее средство от холеры. Другие жили, устремив взгляд в сторону больницы, он же предпочитал смотреть в сторону театра. Несколькими неделями раньше он познакомился у Фирмена с Каролиной Дюпон, актрисой, исполнявшей в «Комеди Франсез» роли субреток. Эта умная и привлекательная женщина, которая улыбалась «такими розовыми губами и такими белыми зубками», добилась от барона Тейлора согласия на бенефис. Ей хотелось бы, чтобы пьеса была коротенькая, одноактная, ловко сделанная и чтобы она давала актрисе возможность наилучшим образом показать свою непосредственность и дерзость. И к кому же еще ей было обратиться с просьбой написать такую пьесу, если не к Александру Дюма, который работает так хорошо и так быстро? Польщенный тем, что эта прелестная «Мартина» выбрала его, Дюма согласился взяться за пьесу, но не собирался тратить на эту одноактную безделушку больше одного-двух дней. Для того чтобы ускорить дело, он позвал на помощь одного из своих друзей, литератора и одновременно с этим начальника отдела в министерстве внутренних дел, Эжена Дюрье, и тот, порывшись в своих бумагах, предложил ему подходящий сюжет для комедии – «Муж вдовы». Долго рассуждать было не о чем, и сюжет был мгновенно принят. Друзья решили привлечь к работе над пьесой еще и Анисе Буржуа. Набросав план, Анисе и Эжен покажут его Александру, затем они втроем разделят пьесу на сцены и пронумеруют их, после чего Александр один напишет все диалоги. Соавторы строго придерживались этого распределения обязанностей, с «Мужем вдовы» было покончено в двадцать четыре часа, а тем временем под окнами Дюма, заставлявшего себя весело шутить, похоронные дроги бесконечно тянулись в

сторону монмартрского кладбища.

Получив пьесу 8 марта 1832 года, театр немедленно начал репетиции. В главной роли – мадемуазель Марс, а Каролина Дюпон, разумеется, в роли субретки. Александр с удовольствием снова окунулся в театральные интриги, вдохнул запах кулис. Но не слишком ли неуместной была затея в эти траурные дни представить откровенную комедию? Премьера состоялась 4 апреля. Собралось не больше пяти сотен зрителей, не побоявшихся пройти по городу с риском подцепить заразу. Из зала тянуло камфарой и хлором. Лица зрителей оставались мрачными и бесстрастными. Можно подумать, все эти незнакомцы были обижены на автора за то, что он посмел сочинять забавные диалоги вместо того, чтобы лежать в постели и пить целебные снадобья. Отдельным сценам аплодировали, зато реплику героя-любовника Менжо освистали. Актер, по роли вбежавший с дождя, отряхивался и говорил: «Ну и погодка! Весь пропитался водой, словно вино в коллеже!» Видимо, эта фраза показалась обидной какому-то затерявшемуся среди прочих зрителей хозяину пансиона, и он громогласно об этом заявил. А почему он должен был промолчать – никто у публики прав не отбирал! Но Александр счел себя оскорбленным и отказался выходить на вызовы после представления. Тон рецензий был пренебрежительным. Лезюр написал в «Историческом ежегоднике», что люди, воздержавшиеся от похода в «Комеди Франсез», «ровно ничего не потеряли», а по мнению репортера «Французской газеты», в пьесе, «хотя диалоги достаточно стремительны и естественны, очень мало здравого смысла в интриге и правды в характерах». Александр только плечами пожал – что ему эти булавочные уколы! У него есть дела поважнее, чем заботиться о будущем «Мужа вдовы».

Вот уже несколько дней как Арель вбил себе в голову, что непременно должен уговорить Дюма написать «Нельскую башню»; по его словам, повороты сюжета этой пьесы способны были исцелить Париж от холеры. Но Александр, которому еще раньше предлагали тот же сюжет Анри Фуркад и Роже де Бовуар, не хотел начинать новое театральное предприятие в нездоровой обстановке, когда зрительные залы стояли полупустыми. Пока что он предпочитал работать над ученым трудом «Галлия и Франция», обширный план которого отвечал его желанию утвердить себя в качестве серьезного писателя. Отрываясь от своих исторических изысканий, он отдыхал, бывая в тех немногих парижских салонах, которые еще не закрыли свои двери, или вместе с Белль принимал у себя редких и выдающихся гостей, в числе которых были Гюго, Буланже, Фуркад и Лист. Белль,

превосходная хозяйка, угощала их крепко заваренным чаем, уверяя, что этот напиток лучше всего предохраняет от опасности заражения.

Однажды вечером, когда Александр, проводив гостей и посветив им на лестнице, пока они спускались, возвращался к себе, у него внезапно подкосились ноги, задрожали колени, его бил озноб, он шатался, зубы у него стучали. Перепуганные Белль и горничная Катрин бросились его поддерживать. Не холера ли у него? Александр, теряя сознание, успел лечь в постель и попросить дать ему кусочек сахара, пропитанный эфиром. Служанка, от страха ничего не соображавшая, все перепутала и вместо кусочка сахара принесла хозяину стакан, на две трети наполненный чистым эфиром. Не раздумывая, Дюма залпом проглотил эфир, и его словно пронзил огненный меч. Он застонал, у него перехватило дыхание, потом он закрыл глаза и мгновенно уснул. В бессознательном состоянии он пребывал около двух часов. «Очнулся я, – расскажет он потом, – в паровой бане, которую мой врач устроил мне под одеялом при помощи трубки, а добрая соседка растирала меня через простыни грелкой, наполненной раскаленными углями».

Неделю после того он пролежал пластом, и каждый день ему приносили карточку Ареля, который требовал, чтобы его немедленно впустили к больному: предприимчивый директор театра «Порт-Сен-Мартен» крепко держался за свой проект постановки «Нельской башни» и дорого бы дал за то, чтобы увлечь им Дюма. Напрасно старался! Александр был еще не способен ни выслушать его, ни принять решение. Наконец силы начали к нему возвращаться, он открыл дверь спальни, Арель тотчас к нему ворвался и немедленно принялся уверять, что холера отступает и что вскоре все уцелевшие парижане только об одном и будут думать – как бы поскорее занять места в зрительном зале. Стало быть, сейчас самое время быстро написать и поставить «Нельскую башню», которая обещает стать величайшим событием сезона, все складывается так, что она непременно будет иметь огромный успех. Поскольку Александр, едва начавший выздоравливать, еще колебался, Арель рассказал ему, что некий молодой человек по имени Фредерик Гайярде набросал замысел драмы, но не развил его и не написал диалоги. Жюль Жанен попытался разработать этот сюжет, но быстро отступился, поскольку у него недоставало воображения. Там, где не справился Жанен, Дюма должен с легкостью преуспеть. Однако Александр, как ни старался Арель его уговорить, тянул с ответом. Арель, пустив в ход все средства, чтобы добиться своего, перешел к коммерческому аспекту дела. Положа руку на сердце, он

заверил, что является собственником «Нельской башни» в соответствии с контрактом, который заключил с Жаненом и Гайярде. Жанен вышел из дела, Александр его заменит и, стало быть, получит половину доходов, вторая же половина достанется Гайярде. Предложение было соблазнительным, но Александр нашел более справедливое решение. В порыве великодушия он попросил выплачивать Гайярде всю сумму (семьдесят два франка за представление), сам же он будет получать десять процентов от дневного сбора плюс билеты на сорок франков. Это было смелым шагом, поскольку в случае, если пьеса пойдет хорошо, он мог получить кругленькую сумму, но, если она провалится, автор останется у разбитого корыта. Арель, безмерно довольный тем, что ему удалось уговорить Дюма, согласился на все его условия и даже на то, что Дюма не станет подписывать «Нельскую башню». По его словам, Гайярде, который в настоящий момент уехал в провинцию хоронить отца, должен был прийти в восторг, узнав о том, что великий писатель, автор «Антони», согласился работать над его текстом.

В ожидании возвращения Гайярде, который все еще оставался с семьей в Тоннере, Александр прочитал рукопись, переделанную Жаненом. Экспозиция показалась ему затянутой и нескладной, однако он оценил завязку драмы, заключавшуюся в непримиримой борьбе между королевой Маргаритой Бургундской, женой Людовика X, лукавой, порочной и жестокой, и капитаном Буриданом, упорно карабкавшимся вверх, прибегая то к обольщению, то к шантажу. По мнению Александра – уж он-то знал в этом толк! – такие захватывающие события заставили бы встрепенуться и мертвого, и даже в том случае, если тот пал жертвой холеры. Несомненно, предприятие это должно было принести немалые деньги! Тем не менее, несмотря на то что Арель не унимался, Дюма продолжал незыблемо стоять на своем: он не подпишется под этой пьесой! Пусть другие торгуют собой ради мимолетных успехов. Он даст свое имя лишь произведению, достойному остаться в веках.

Эта высокомерная позиция нисколько не мешала ему усердно работать над пьесой. Каждый день, расположившись поудобнее в постели, подсунув под спину несколько подушек и пристроив на коленях письменный прибор, он продолжал сочинять «Нельскую башню». По одной картине в день. Если его лихорадило или просто он чувствовал себя слишком усталым для того, чтобы браться за перо, Дюма довольствовался тем, что диктовал реплики. За стенами дома свирепствовала холера. Стоило приблизиться к окну, как в нос ударял запах разложения. Тем не менее актеры театра «Порт-Сен-Мартен» не сидели без дела.

Драму репетировали, переходя от сцены к сцене по мере того, как от автора приносили очередную порцию исписанных страниц. Не прошло и двух недель – и Александр поставил последнюю точку. Фредерик Леметр, которого прочили на главную мужскую роль, из страха перед эпидемией отсиживался в деревне, и Буридана вместо него предстояло играть Бокажу, а роль Маргариты досталась мадемуазель Жорж. Выполнив свои профессиональные обязательства, Дюма написал Гайярде любезное послание, уведомляя его о том, что полностью переделал пьесу, «сгладил в ней все шероховатости», и теперь благодаря его стараниям текст наконец-то сделался вполне приемлемым. «Мне нет необходимости, сударь, говорить вам о том, – так закончил он свое письмо, – что вы останетесь *единственным* автором этой пьесы, что *мое имя ни в коем случае не будет произнесено*, и это единственное условие, на котором я настаиваю; если оно не будет выполнено, я изыму из этого сочинения все, что так счастлив был в него привнести. Если вы смотрите на то, что я для вас сделал, как на услугу, позвольте мне *одарить* вас, а не *продать* вам свой труд».

Конечно, ему следовало бы раньше известить этого самого Гайярде о том, какого рода поправки он собирается внести в его «Нельскую башню», но время шло, Гайярде был далеко от Парижа, и, как бы то ни было, никому не известный начинающий автор мог лишь признательность испытывать к прославленному писателю, который протянул ему руку помощи. Однако, как выяснилось, Гайярде был слишком высокого мнения о собственном таланте, для того чтобы проглотить такую пилюлю, не поморщившись. Он тотчас примчался в Париж, прямо в дорожной одежде влетел в кабинет Ареля и потребовал, чтобы «Нельскую башню» играли в том виде, в каком он ее написал, отказавшись от варианта Дюма, который ему даже не потрудились показать. И пригрозил в случае, если его требования не будут исполнены, добиться запрещения спектакля. «У вас это не получится, – невозмутимо ответил Арель. – Я поменяю название пьесы и стану ее играть. Можете обвинять меня в подделке, краже, плагиате, в чем угодно. И получите тысячу двести франков в виде возмещения ущерба. А если не станете нам мешать играть спектакль, то получите двенадцать тысяч франков!»

Поскольку Гайярде продолжал бушевать, Арель послал за Дюма, который мгновенно прибежал и попытался оправдаться, заверяя в том, что намерения у него были самые добрые. Но все объяснения разбивались о стену тупости и самодовольства. Спор быстро принял такой неприятный оборот, что Дюма, по

обыкновению своему, уже не видел другого исхода, кроме дуэли. Однако Арель, более изворотливый, чем он, выступил примирителем и в конце концов уговорил противников подписать соглашение, по которому тот и другой совместно признавали себя авторами «Нельской башни». Каждый оставлял за собой право помещать пьесу под своим именем в полное собрание сочинений, но на афише будет стоять только имя Гайярде. В крайнем случае следом за его фамилией будет поставлен ряд звездочек, указывающих на то, что у него был соавтор, пожелавший остаться неизвестным. Ни тот, ни другой не были вполне удовлетворены этим двусмысленным соглашением, но оба смирились, чтобы избежать шумной ссоры.

Холера в городе вроде бы пошла на убыль. Однако, отступая, она оставляла за собой горы умерших, среди которых были и милейший Гийом Летьер, и Жорж Кювье, и Казимир Перье… Те, кому удалось спастись от эпидемии, испытывали смешанное чувство горя и жажды жизни. Политические страсти тоже начали понемногу пробуждаться.

Герцогиня Беррийская, потерпевшая неудачу в своей попытке поднять восстание на юге, теперь собирала сторонников в Вандее. Но лишь немногочисленные фанатики из числа легитимистов верили в возможность победы «Амазонки». 29 мая 1832 года, в тот день, на который была назначена премьера «Нельской башни», Александр обедал у Одилона Барро. Этот либеральнейший политик гордился и хвастался тем, как хорошо у него подвешен язык. И на этот раз он за столом так бесконечно разглагольствовал, так разливался соловьем, что обед начал опасно затягиваться, и Александр уже побаивался, как бы ему не опоздать к началу спектакля. Несмотря на то что официально он не считался автором пьесы, Дюма все же очень рассчитывал на ее успех. Деньги, которые он мог за нее получить, казались ему по меньшей мере столь же желанными, сколь и слава. Наконец госпожа Барро подала сигнал к окончанию застолья. Гости поднялись и все вместе отправились в театр «Порт-Сен-Мартен». К тому времени, как они устроились в своих креслах, спектакль уже начался, и зал гудел, словно котел на огне. Когда закончился первый акт и занавес опустился, раздались дружные крики «браво», оглушительно грохотали аплодисменты.

Сами того не сознавая, зрители, восторженно аплодировавшие этой драме, приветствовали в ней вызов, брошенный всем темным силам, которые делают людей несчастными: соблазну и позору абсолютной власти, без разбору косившей народ холере, кровавой бессмысленности мятежей, невзгодам, преследующим малых, и безнаказанности великих

мира сего… Недовольные находили, чем поживиться в этом адском вареве. Публика все больше увлекалась по мере того, как развивалось действие. Зрители кричали, не могли спокойно усидеть на местах, стучали ногами. Дюма и самому настолько понравилась последняя картина, что позже он написал в своих мемуарах: «Что-то в ней напоминало античный рок Софокла, смешанный со сценическим ужасом Шекспира». После того как спектакль закончился, Бокаж объявил имя автора: господин Фредерик Гайярде. Никому не известный драматург. Это казалось странным и вызывало подозрения. Немногие посвященные уже начали перешептываться, передавая из уст в уста имя вполне возможного соавтора, пожелавшего остаться в тени: Александр Дюма. Воспользовавшись этими слухами, Арель приказал напечатать новую афишу: «Нельская башня, пьеса господина *** и господина Гайярде». Такой способ дать зрителям понять, что названный по имени автор – не единственный создатель пьесы и что анонимный соавтор, укрывшийся под тремя звездочками, не просто существует, а даже заслуживает того, чтобы его упомянули первым, вызвал негодование Гайярде. Последний взялся за дело решительно и гербовой бумагой вызвал Ареля в суд. Хитрый директор очень обрадовался такому обороту дела. «Отличный процесс! Отличный! – воскликнул он. – Мне бы парочку таких каждый год в течение шести лет – и я сколочу состояние!» Но Александр, у которого было совершенно другое отношение к рекламе, чувствовал себя так, словно совесть у него была нечиста. Как бы сильно он ни любил «шум», тот шум, что поднялся вокруг его пьесы, ему не нравился.

На следующий день Гайярде, чья мстительность продолжала расти, принялся писать в газеты, жалуясь на то, что ему был причинен моральный ущерб. «Господин редактор! Еще вчера меня называли единственным автором „Нельской башни“, а сегодня на афише перед моим именем появились еще одно слово „господин“ и три звездочки. Ошибка ли это или злобная выходка – в любом случае я не хочу ни быть ее жертвой, ни чувствовать себя одураченным. Как бы то ни было, прошу вас, соблаговолите объявить, что я как в договоре, так и в театре и, надеюсь, на завтрашней афише остаюсь и останусь впредь единственным автором „Нельской башни“». Арель немедленно откликнулся на это заявление другим сообщением в газетах: «Вот мой ответ на странное письмо господина Гайярде, претендующего на то, чтобы его считали единственным автором „Нельской башни“. Вся пьеса как в том, что касается стиля, так и по крайней мере на девятнадцать двадцатых в том, что касается ее содержания, принадлежит перу его прославленного соавтора, который по

личным соображениям не пожелал, после громадного успеха, чтобы его имя было названо. Вот что я утверждаю и что подтвердит, если потребуется, сравнение представленной рукописи с рукописью господина Гайярде». Гайярде, человек склочный и неуживчивый, окончательно вышел из себя и, пылая гневом, снова выступил 2 июня на страницах той же газеты: «Будьте любезны в качестве единственного ответа господину Арелю поместить здесь приложенное мной письмо, которое написал мне *прославленный соавтор*, о котором упоминает господин Арель; из этого письма, полученного мной в Тоннере, я и узнал о том, что у меня есть соавтор». Это было то самое доброжелательное письмо, которое Александр отправил молодому Гайярде, заверяя последнего в том, что он неизменно будет считаться единственным автором «Нельской башни». Ухватившись за возможность распространить театральную сплетню, «Корсар» напечатал это послание, сопроводив его крайне неприятными для Дюма комментариями. Александр, которому надоели эти склоки, обрушился на главного редактора газеты Вьенно и даже намеревался вызвать его на дуэль. Затем, решив, что подлый газетчик не стоит того, чтобы посылать ему вызов, ограничился тем, что устроил суровый разбор дела. По его просьбе «Корсар» напечатал следующее: «Я не читал рукописи господина Гайярде; эта рукопись, которую господин Арель ненадолго выпустил из рук, почти тотчас же к нему и вернулась, поскольку я, согласившись написать пьесу под известным названием и на известный сюжет, опасался, как бы работа, проделанная до меня, на меня не повлияла и не лишила меня вдохновения, которое было мне необходимо для того, чтобы закончить это произведение. Теперь, поскольку господин Гайярде находит, что публика еще недостаточно посвящена в подробности этой злополучной истории, пусть он призовет в качестве судей трех литераторов по собственному выбору, пусть он предстанет перед ними со своей рукописью, а я – со своей; и тогда они рассудят, кто вел себя порядочно, а кто проявил неблагодарность».

Гайярде, конечно, был человеком раздражительным, но у него были толковые юридические советники, он поостерегся ввязываться в профессиональное разбирательство, которое вполне могло обернуться против него, и предпочел судебный процесс. С одной стороны, он оказался прав, потому что процесс он выиграл, с другой стороны – ошибся, потому что, несмотря на все приложенные им усилия, никто и никогда не поверит в то, что он действительно был автором «Нельской башни»! Арель, в полном восторге от того шума, который поднялся вокруг пьесы, убрал

вменявшиеся ему в вину звездочки и принялся рассказывать повсюду, что настоящий автор драмы – не тот человек, который требует признать себя таковым, а тот, кто скрывается из чувства собственного достоинства и мудрости.

Эта низменная перебранка, вынудившая Александра играть по отношению к злобному начинающему драматургу роль состоявшегося и уверенного в себе писателя, окончательно привела его в уныние. Ему, привыкшему думать только о будущем, пришлось оглянуться на прошлое: за полтора года он написал семь пьес, все они поставлены на сцене, пять из них он отдал в театры под собственным именем и еще две – не называя себя. Не многовато ли для одной-единственной головы? Не упрекнут ли его в том, что слишком много писанины выходит из-под его пера? Задумываясь о самом себе, он уже толком не знал, ни как себя определить, ни чего он в действительности хочет. Иногда ему казалось, будто самое важное для него – это получить побольше денег за те пьесы, в успех которых он не верил, иногда он считал главным завоевать признание публики теми пьесами, которыми по праву мог гордиться, пусть даже они не собирали полных залов. В конце концов, кто же он такой на самом деле – «ремесленник» или «гений», «петрушечник» или «творец», «забавник» или «мыслитель»? В иные дни он склонялся к коммерческому сочинительству, в другие – стремился к головокружительной славе. Должно быть, зрители и журналисты задаются вопросом, насколько можно доверять человеку, который то и дело упоминает о своей писательской чести, но вместе с тем не отказывается от работы ради пропитания? Временами ему хотелось бежать из Парижа, города, где его, возможно, любили, а возможно, и ненавидели, где над ним то ли насмехались, то ли превозносили его до небес, – теперь он и сам не понимал, как к нему здесь относятся.

Однако после кончины генерала Ламарка, героя славных июльских дней, семья покойного выбрала именно его, Дюма, в качестве распорядителя похорон, и то, что ему была оказана такая честь, утешило его во многих горестях и разочарованиях! Прилюдно отдав долг памяти усопшего, Александр рассчитывал тем самым убедить скептиков в собственной приверженности либеральным взглядам.

На рассвете 5 июня он облачился в свой мундир артиллериста Национальной гвардии и, склонив голову, вместе с другими, тянувшимися медленной вереницей, приблизился к телу, чтобы возложить лавровую ветвь. Ослабленный болезнью, он побаивался медлительности церемонии и долгого пути, который ему предстояло проделать, идя следом за катафалком.

Ко всему еще некоторые считали, будто следует опасаться беспорядков и народных волнений. Уверяли, будто правительство стянуло войска ко всем стратегическим точкам, чтобы иметь возможность вмешаться, едва произойдет малейший инцидент. Под затянутым тяжелыми тучами небом было душно и жарко. Гроза началась в ту самую минуту, когда погребальная колесница, которую везли тридцать молодых людей, тронулась с места и покатила между двумя плотными рядами зевак, столпившихся по обе стороны мостовой. Лафайет, мужественно шагая под проливным дождем, шел во главе процессии. Александр, в насквозь промокшем мундире, с саблей в руке, следовал за ним по пятам, стараясь держаться твердо и достойно, несмотря на то, что испытывал легкое головокружение. Когда процессия двигалась по улице Шуазель и поравнялась с Клубом аристократов, стоявший на балконе герцог де Фитц-Джеймс – сторонник легитимистов – отказался обнажить голову перед останками друга смутьянов. «Шляпу долой!» – кричали ему из рядов. Затем начали забрасывать его камнями. Несколько стекол разлетелось вдребезги. Он поспешил скрыться, а толпа вслед ему скандировала: «Почет генералу Ламарку!» Рядом с Бастилией к похоронной процессии присоединились около шестидесяти студентов Политехнической школы, которые пренебрегли запретом покидать ее стены. Как только они показались, оркестр, шедший во главе кортежа, грянул «Марсельезу». Позже Дюма в своих мемуарах напишет, что «и представить себе невозможно, каким восторгом толпа встретила эту электризующую мелодию, которая вот уже год как была под запретом». «К оружию, граждане!» – дружно подхватили пятьдесят тысяч голосов. У въезда на мост Аустерлица высилась трибуна, с которой несколько выдающихся личностей должны были произнести речи. После чего катафалк с телом генерала продолжит свой путь к Ландам, где покойный и будет погребен. Время близилось к трем часам пополудни. Александр, который со вчерашнего дня ничего не ел, решил, пока ораторы будут произносить речи перед собравшимися, пойти перекусить. Двое его приятелей-артиллеристов, тоже проголодавшихся, отправились вместе с ним. Они направились к заведению под названием «Большие каштаны» на набережной Рапе.

Александр едва стоял на ногах и, если бы оба спутника его не поддерживали, вряд ли добрался бы до дверей ресторана. Он был близок к обмороку и, едва войдя, тотчас попросил пить. Ему подали стакан ледяной воды. Утолив жажду, он немного пришел в себя и одобрил выбор сотрапезников, заказавших исполинскую порцию матлота, который был здесь фирменным блюдом. Когда

они уже наслаждались густым рыбным месивом, благоухавшим чесноком, вином и специями, откуда-то издали донеслись выстрелы. Отодвинув тарелки, все трое выскочили из-за стола, бросились к выходу и пустились бежать по направлению к мосту. У заставы Берси какие-то люди в рабочих блузах просветили их насчет происходящего: «Стреляли в толпу! Артиллерия ответила!.. Папаша Луи-Филипп оказался в отчаянном положении!.. Провозглашена республика!..» Александр, изумленный тем, что за несколько минут, пока он безмятежно уписывал матлот, могла произойти революция, стал расспрашивать других свидетелей и вскоре понял, что первые его осведомители приняли желаемое за действительность. На этот раз, как и раньше, речь шла всего-навсего о мятеже. Что он испытал, поняв это, – разочарование или облегчение? Он и сам толком не мог разобраться в собственных чувствах. Словно во сне он пересек площадь Бастилии, занятую регулярными войсками, прошел по опустевшим бульварам и, не доходя до предместья Сен-Мартен, натолкнулся на отряд пехоты. Среди солдат он заметил прежнего однополчанина, орлеаниста Эрнеста Гриля де Безелена. Как затесался этот чудак в ряды защитников порядка? Александр помахал ему рукой в знак приветствия и устремился к нему, но Эрнест на его приветствие ответил странно: вскинув ружье, прицелился в давнего знакомого. Решив, что это не слишком удачная шутка, Александр сделал еще шаг вперед, и в то же мгновение Гриль де Безелен в него выстрелил, пуля просвистела мимо его уха, и он пустился улепетывать со всех ног, не дожидаясь продолжения. Бежал, пока не свернул в проход, ведущий к двери театра «Порт-Сен-Мартен». У входа красовалась афиша, извещавшая о том, что вечером состоится пятое представление «Нельской башни». Дверь была закрыта и наглухо заперта.

Дюма вышиб ее ногой и ворвался внутрь. Встревоженный Арель выскочил на шум и увидел перед собой своего же разъяренного автора, который потребовал немедленно выдать ему ружье или по крайней мере те пистолеты, которые он некогда одолжил театру для постановки «Ричарда Дарлингтона». Тщетно Арель старался его утихомирить – Александр ничего не желал слушать и твердил, что хочет отомстить за себя подлому Грилю де Безелену, который чуть было не застрелил его. Исчерпав все аргументы, директор театра встал, раскинув руки, и загородил собой дверь, которая вела на склад реквизита. «О, друг мой! – простонал он. – Да ведь так из-за вас театр спалят!» Одной мысли о возможности такого бедствия было достаточно, чтобы Александр остыл и пришел в себя. Отказавшись от своих

воинственных намерений, он удовольствовался тем, что поднялся наверх и, устроившись у окна на втором этаже, решил оттуда следить за дальнейшим развитием событий. Но Арель и тут не оставил его в покое и, едва Дюма успел обосноваться на своем наблюдательном посту, взмолился, упрашивая его спуститься. Несчастный директор был на грани нервного припадка: только что в театр ворвались повстанцы, не меньше двух десятков человек. Неизвестно откуда узнав о том, чем располагает театр, они требовали выдать им оружие, которое использовали во время представлений «Наполеона в Шенбрунне». Прибежавший Александр начал с того, что стал уговаривать их успокоиться, напомнил о том, что во время Ста дней Арель был префектом, а в 1815 году попал в немилость и был выслан Бурбонами: все это, несомненно, свидетельствовало о его сочувствии противникам нынешнего режима. Затем по собственному почину велел раздать им те двадцать ружей, что лежали на складе, взяв с мятежников обещание, что они все вернут в целости и сохранности. «Честное слово!» – вскричали борцы за свободу. Один из них мелом написал на всех трех дверях театра: «Оружие сдано» – и скрепил своей подписью это свидетельство, удостоверяющее, что революционный и гражданский долг был исполнен. После этого, обменявшись с хозяевами территории крепкими рукопожатиями и поклявшись «сражаться не на жизнь, а на смерть, до победного конца», незваные гости удалились, и Александр поспешил запереть за ними все двери. Арель, у которого дрожал подбородок и глаза застилали слезы, все повторял: «С этой минуты, дорогой друг, театр в полном вашем распоряжении, вы можете делать в нем все, что вам будет угодно: вы его спасли!» Мадемуазель Жорж, которая на время переговоров укрылась в своих покоях, тоже приободрилась и обрела надежду, но все же боялась, как бы Александр, выйдя на улицу в своем артиллерийском мундире, не привлек внимания сил поддержания порядка, которые рыскали вокруг, высматривая подозрительных.

«Вы и на два шага отойти не успеете, как вас убьют!» – предсказывала она. Следуя ее совету, Арель послал на квартиру Дюма одного из служащих театра, чтобы тот принес ему гражданскую одежду, в которой можно будет, не подвергаясь опасности, передвигаться по Парижу. Посланный вернулся с целым ворохом не вызывающей подозрений одежды. Вполне можно сменить костюм, оставаясь при своих убеждениях!

Александр, переодевшись мирным обывателем, направился к особняку господина Лаффита – иными словами, центру республиканской оппозиции. В гостиной уже собрались несколько либеральных депутатов. Ждали старика Лафайета. Наконец он

появился, постаревший, поблекший и вместе с тем великолепный.

– Ну что, генерал, – кричали со всех сторон этому призраку века Просвещения. – Что вы поделываете?

– Господа, – отвечал Лафайет, – ко мне пришли славные молодые люди, они воззвали к моему патриотизму, и я сказал им: «Дети мои, чем более изрешечено знамя, тем более им можно гордиться. Найдите мне место, где я смогу поставить стул, и я не сойду с него, пока меня не убьют!»

Этот ответ, достойный того, чтобы стать репликой и украсить собой пятый акт какой-нибудь пьесы, воспламенил Александра. Но очень скоро героические заявления, раздававшиеся вокруг него, уступили место осторожным и бесплодным разговорам. Большинство этих храбрецов явно упивались звучанием слова «свобода», не имея ни малейшего намерения и пальцем пошевелить ради того, чтобы защитить ее. Да и сам он не чувствовал в себе готовности рисковать жизнью ради того, чтобы установилась власть того или иного временного правительства. Этот день, заполненный беспорядками и разглагольствованиями, истощил его силы. Плохо понимая, что происходит вокруг, с трудом переставляя ватные ноги, Дюма кое-как добрел до Больших бульваров, где остановил кабриолет и велел отвезти себя домой, на улицу Сен-Лазар. Поднимаясь по лестнице, он рухнул без чувств на площадке между первым и вторым этажом. Там его и нашли Белль и горничная; женщины перенесли его в квартиру, раздели и уложили в постель.

В ночь с 5 на 6 июня беспорядки под натиском регулярных войск, теснивших мятежников, сосредоточились вокруг площади Бастилии и на улицах Сен-Мерри, Обри-ле-Буше, Планш-Мибре и Арси.[56] Едва проснувшись, Александр узнал об этом от соседей. Он тотчас вскочил, намереваясь бежать на улицу и все разузнать поподробнее, но силы тут же оставили его. Пришлось ему ограничиться тем, чтобы нанять карету и отправиться в редакцию газеты «National». Там он узнал, что последние баррикады вот-вот будут разобраны, а все их защитники уже арестованы или перебиты. Что же – значит, конец всем республиканским чаяниям? Он хотел узнать точно и потому кое-как дотащился до Лаффита. Все те, для кого мятеж обернулся разочарованием, собрались там и сидели с печальными лицами, хмуро дожидаясь решения группы либеральных депутатов, совещавшихся за закрытыми дверями гостиной. Наконец Франсуа Араго покинул собрание политиков, вышел к встревоженным друзьям и с горечью признался им, что заседание кончилось позором и что решено было послать к королю трех представителей, которые должны молить его проявить милосердие и даровать прощение

последним мятежникам, уличенным в попытке выступить против существующего порядка.

На Александра это известие обрушилось словно удар дубинки, он вышел из особняка удрученный и подавленный. Некоторое время бесцельно скитался по улицам, затем устало опустился на стул на террасе кафе. Он думал о тех, кто безнадежно проиграл сражение, – покинув баррикады, они затаились в укрытиях, где их преследовали солдаты, – о тех, кого бросали за решетку и расстреливали без суда и следствия. В его голове неотступно крутились слова: «Все, что угодно, только бы не гражданская война!» Тем не менее он готов был в нее вступить!

Внезапно до него донеслись крики: «Да здравствует король!» Кто мог издать этот оскорбительный возглас сейчас, когда половина города облачилась в траур? Подняв голову, он с изумлением увидел, что полк Национальной гвардии, выстроившийся по обе стороны бульвара, приветствует Луи-Филиппа. Его величество движется верхом между рядами доблестных защитников трона, которые по мере его приближения начинают вопить еще громче и усерднее. Государь, благосклонно улыбающийся, едущий в окружении военного министра, министра торговли и министра внутренних дел, время от времени склоняется с седла, чтобы пожать руку одному из этих людей, только что проливавших кровь своих братьев. Александр, охваченный негодованием и отвращением, поспешил вернуться домой, чтобы больше не видеть зрелища восстановления власти и порядка: столько жертв ради такого жалкого торжества!

Он едва успел выбраться из этой политической трясины, как на него накинулся неотвязный Арель. У этого чертова директора на уме одни только сделки и выгода. «Послушайте, друг мой, – втолковывал он Александру, который напрасно старался собраться с мыслями, – нельзя терять ни минуты… Порядок восстановлен, все успокоилось, и, как всегда бывает после сильных встрясок, все устремятся в театр. Надо же как-то развеяться, забыть о холере и мятеже!» Собственно говоря, пришел-то Арель к нему затем, чтобы осведомиться, насколько продвинулась пьеса «Сын эмигранта», которую пообещал ему Александр. У истоков этой работы стояла мадемуазель Жорж: несколько дней назад она взялась уговаривать «своего любимого автора» – и Арель присо-единился к ее просьбе – написать для нее мелодраму, в которой она для разнообразия сыграла бы не великосветскую даму (хватит с нее этих аристократок!), а простую женщину из народа. Разве можно хоть в чем-нибудь отказать королеве французской сцены? Замысел пьесы принадлежал Анисе Буржуа. Согласившись взяться за эту работу,

Александр сам написал три первых акта, в остальном положившись на соавтора. Впрочем, он не собирался подписывать эту поделку, хотя под нажимом Ареля пообещал пройтись по пьесе рукой мастера перед тем, как начнутся репетиции. Речь шла всего-навсего о нескольких страничках – такому талантливому писателю, как он, сделать это будет «проще простого», уверенно предрек директор театра. Легко сказать!

Едва за Арелем затворилась дверь, Александр пожалел о своем обещании. После болезни голова у него была совершенно пуста и ни к чему не пригодна, его вряд ли хватит и на три связные реплики. И потом его точило беспокойство из-за того, что он не мог предположить, чего ждать от властей в связи с его участием в событиях 5 и 6 июня 1832 года. Надо было тихо сидеть в своем углу, а он вместо того подставил себя под удар, разгуливая в артиллерийском мундире, раздавая оружие повстанцам в театре «Порт-Сен-Мартен» и участвуя во всяких совещаниях представителей оппозиции. Несмотря на эту нависшую над ним угрозу, он вместе с Анисе Буржуа закончил 7 и 8 июня работу над «Сыном эмигранта». Гора с плеч! Теперь можно наконец подумать о чем-то другом.

Однако 9 июня Дюма прочел о себе в одной легитимистской газете, что он был взят с оружием в руках во время схватки у монастыря Сен-Мерри, что ночью его судили, а в три часа утра расстреляли. Журналист мимоходом пожалел о «преждевременной кончине молодого автора, подававшего большие надежды». Этот посмертный комплимент не слишком обрадовал Александра. Вглядываясь в свое отражение, он спросил себя, в самом ли деле он все еще на этом свете и не призрак ли – бледный, с впалыми щеками и лихорадочно горящим взором – смотрит на него сейчас из зеркала. Убедившись в реальности собственного существования, он написал журналисту, преждевременно его похоронившему, и поблагодарил за доброе отношение. Шарль Нодье, до которого тоже дошло ужасное известие, прислал ему письмо, в котором с веселым удивлением сообщал: «Только сейчас узнал из газет о том, что вас расстреляли 6 июня в три часа утра. Не откажите в любезности, ответьте, не помешает ли это вам завтра пообедать в Арсенале с Доза, Тейлором, Бискио, – словом, нашими обычными друзьями. Ваш преданный друг Шарль Нодье, который будет счастлив воспользоваться случаем и расспросить вас о том, что делается на том свете».

Александр на это ответил, что не вполне уверен в том, жив ли он еще, но, «во плоти или тенью», непременно явится завтра к Нодье в назначенный час. Этот обмен шутками лишь отчасти

забавлял его. С одной стороны, он опасался, что приступ холеры – подлинной или мнимой – лишил его созидательной силы, с другой – королевский адъютант, господин де Лавестин, сообщил ему о том, что всерьез обсуждалась возможность его ареста. Близкие к трону друзья советовали ему уехать за границу, два-три месяца попутешествовать и возвратиться в Париж не раньше, чем его безумные выходки забудутся. Совет превосходный, только хорошо бы, чтобы эта поездка за пределы Франции принесла какой-нибудь доход! Александру давно уже хотелось побывать в Швейцарии, мирной и демократической стране. Почему бы не привезти оттуда два полновесных тома впечатлений? Неизменно практичный, он поговорил об этом с книготорговцем Госленом, но тот, упрямый словно мул, и слышать ни о чем не хотел. «Швейцария, – заявил он, – страна затрепанная, о ней больше нечего сказать. Там уже все побывали». Однако Александр не отступил от своего намерения. Он сторговался с Арелем, выручив за рукопись «Сына эмигранта» три тысячи франков, получил вексель еще на две тысячи, одновременно с этим выправил паспорт для себя самого и паспорт для Белль, после чего начал спешно готовиться к отъезду.

Прежде всего он намеревался уладить свои сердечные и семейные дела. Пока его главная любовница, в полном восторге от ожидавшего ее приключения, суетилась среди чемоданов, он навестил другую, свою милую Иду, которую продолжал время от времени баловать своим вниманием, сжал ее в объятиях и осыпал поцелуями, пообещав, что разлука будет краткой и он вернется еще более влюбленным, чем когда-либо прежде. Томившийся за стенами пансиона сын, маленький Александр (ему к этому времени исполнилось восемь лет), тоже получил причитающуюся ему порцию ласк и нежных слов. Дюма успел даже ненадолго забежать к дочери, Мари-Александрине (полутора лет), которую они с Белль отдали на воспитание няне, и наконец нежно склонился над полупарализованной матерью, заверяя в том, что отданы все необходимые распоряжения и приняты все необходимые меры для того, чтобы в его отсутствие она ни в чем не нуждалась. Проявив себя, таким образом, как нежный возлюбленный, добрый отец и заботливый сын, Александр, должно быть, почувствовал, что теперь он в ладу с самим собой. Тем не менее он довольно безрадостно отправлялся в это своего рода изгнание, которое навязали ему в наказание за то, что он не всегда придерживался того же мнения, что и правительство. Его отцу, генералу Дюма, некогда тоже пришлось испытать на себе последствия оскорбительного недоверия властей. Но в те времена речь шла о Наполеоне, Александру же приходится иметь дело

всего-навсего с Луи-Филиппом. В этом вся разница!

Вечером 21 июля 1832 года он сел в дилижанс вместе с Белль, которая тотчас прижалась к нему, радуясь этому одновременно сентиментальному и политическому путешествию. Александр был доволен тем, что хотя бы она по крайней мере воспринимает выпавшую на его долю немилость как подарок небес.

Глава III
Сочинительство, поединки и суд

Едва успев ступить на благословенную швейцарскую землю, Александр почувствовал себя окрепшим и словно бы даже помолодевшим. Им овладело столь всепоглощающее любопытство, что обычные писательские заботы отступили, словно принадлежали кому-то другому, а у него самого осталось одно-единственное желание: до предела распахнуть глаза и уши и впитывать все, что можно узнать в этом новом мире. «Путешествовать, – напишет он, – означает жить в истинном смысле слова, означает забыть о прошлом и будущем ради настоящего; это означает дышать полной грудью, наслаждаться всем, завладеть мирозданием, словно вещью, принадлежащей тебе».[57] Охваченный ненасытной жаждой познания, он неутомимо разглядывал пейзажи и выдающиеся исторические памятники, не переставал выспрашивать местных жителей о том, как они живут и что помнят. Он поднимался в горы, участвовал в охоте на серну и ловле форели с фонарем, завязал дружеские отношения с британским подданным, который вскоре будет убит у него на глазах во время дуэли с коммивояжером-бонапартистом.

Дюма удостоился высшей чести – он встречался с Шатобрианом, добровольным изгнанником, который сказал, что готов вернуться во Францию в том случае, если, к несчастью, окажется, что герцогиня де Берри арестована и нуждается в его защите. Преклонение Александра перед автором «Гения христианства» было так велико, что ему показалось, будто он различает у этого отъявленного сторонника легитимистов проявление здравого демократического смысла. Кроме того, ему выпало счастье быть представленным Ортанс де Богарне, дочери императрицы Жозефины и матери Луи Наполеона Бонапарта. Она пригласила его на обед, и Александр был совершенно очарован этой великосветской дамой, столь тесно связанной с наполеоновской славой. Когда все встали из-за стола, он, набравшись смелости, попросил ее сесть к роялю и исполнить романс собственного сочинения. «Вы покидаете меня, стремясь к славе», – начала она, и ему показалось, будто он слышит голос сестры, которая пела тот же романс, когда Александру было пять лет. Растроганная тем, насколько он перед ней преклоняется, Ортанс де Богарне пригласила его снова прийти к ней на следующее утро; в тот день, прогуливаясь с ней по парку, он

заговорил о политике и попытался объяснить собеседнице, что является «республиканцем-социалистом», а следовательно, человеком, приемлемым в обществе, в отличие от «республиканцев-революционеров», повинных в глубочайших заблуждениях и жесточайшем насилии. По его разумению, счастье простых людей вполне согласовывалось с сильной и справедливой властью. Для главы государства самое важное – уметь примирить правосудие и милосердие, заботу о поддержании порядка и доброжелательность. Ортанс де Богарне позабавили эти разумные высказывания, она вспомнила о политических чаяниях своего сына и спросила Александра, что бы он посоветовал Луи Наполеону Бонапарту, если бы тому захотелось добиться власти. «Я посоветовал бы ему просить отмены его изгнания, купить землю во Франции, сделать так, чтобы его выбрали депутатом, попытаться благодаря своему таланту получить большинство в палате и воспользоваться этим для того, чтобы низложить Луи-Филиппа и быть избранным королем вместо него». В благодарность за этот добрый совет она показала Дюма реликвии, которые хранила со времен Империи. Стоя рядом с ней, он уже толком не понимал, где находится – в светской гостиной или в музее, увековечившем славу Наполеона.

Несколько дней спустя у него снова появился повод для восторга, на этот раз совершенно иной. Дюма гулял в горах над Шамони, среди ослепительно сверкающих ледяных глыб. Проводник Жак Бальма рассказывал ему о восхождении на Монблан, которое совершил вместе с доктором Паккаром в 1786-м, годом раньше Соссюра. Александр, совершенно очарованный, любовался белизной вечных снегов и одновременно восхищался мужеством человека, первым ступившего на них. Когда Александр вновь спустился в долину, он чувствовал себя так, словно омылся чистотой и вместе с тем набрался сил.

Белль не сопровождала его на самых опасных прогулках, но радовалась, видя, как он окреп и повеселел, каким снова сделался решительным и смелым. После трех месяцев скитаний по Швейцарским, Французским и Итальянским Альпам Александру внезапно захотелось снова окунуться в парижское варево, где вперемешку кипели литература и политика. За время его отсутствия холера окончательно пошла на убыль; было назначено новое правительство Су, в котором Тьер стал министром внутренних дел, а Гизо – министром народного просвещения; Франция использовала армию для того, чтобы заставить Нидерланды признать независимость Бельгии… Но самой важной новостью для Александра был провал пьесы «Сын эмигранта», которую начали играть, пока он был в Швейцарии. Освистанный

уже в день премьеры, спектакль продержался всего девять вечеров, и, несмотря на то что имя Дюма не стояло на афише, именно его журналисты обвиняли в полном отсутствии воображения. «Подобные пьесы не стоят даже того, чтобы их обсуждали, – читаем мы в „Constitutionnel“, – от них надо отделываться как можно скорее, как отбрасывают ногой мерзкий предмет. До чего мы дошли, если имя талантливого человека оказалось привязанным к этой пьесе словно к позорному столбу? Правда, на этот раз писатель обрел наказание в самом своем проступке: похоже, весь его талант здесь и угас».

Стало быть, в то самое время, как он думал, будто возродился в чистом горном воздухе, в Париже его сочли окончательно погребенным? «Добычу растерзали основательно, – пишет он в своих мемуарах, – у меня на костях не осталось ни клочка мяса». Тщетно старался он вновь завязать отношения с директорами театров – театральные люди суеверны. Они едва узнавали его, встречая за кулисами. Многие из них поверили в то, что он приносит неудачу…

И ко всему еще он должен был выслушивать сетования Иды! Ему удалось пристроить ее в Пале-Рояль, но теперь она была на грани увольнения, и он не знал, к кому обратиться, чтобы добыть ей хотя бы самую крошечную роль в спектаклях прославленного театра. Да и Лор Лабе, со своей стороны, несмотря на то, что бывший любовник исправно выплачивал ей небольшое пособие, беспрестанно жаловалась на отсутствие денег и просила Дюма поговорить с Каве, похлопотать за нее в Управлении книготорговли, чтобы ей выдали свидетельство и позволили продавать книги. Благодаря такой предусмотрительности, объясняла она, их маленькому сыну, когда он вырастет, будет обеспечено постоянное и прибыльное занятие. Александр охотно взялся исполнить ее просьбу. Но ему надо было думать и о том, как пополнять собственный карман – для того, чтобы удовлетворять потребности женщин и детей, так или иначе от него зависевших: во-первых, его матери, во-вторых – Лор Лабе и этого маленького разбойника Александра, которому шел девятый год и который уже проявлял и здравый смысл, и темперамент, в-третьих, Белль, которая все прочнее при нем утверждалась и становилась все более требовательной, в-четвертых, Иды, мечтавшей о маловероятной для нее карьере на подмостках, и их дочери, маленькой Мари-Александрины, с няней, которой надо было аккуратно платить… До последнего времени Арель помогал ему выпутаться из затруднений, но сейчас директор театра «Порт-Сен-Мартен» потерпел большие убытки из-за «Сына эмигранта» и ограничился тем, что переживал их общую неудачу.

Александр сумел извлечь урок из своих невзгод. «Итак, я на время отказался от театра», – напишет он. Тем не менее перо он откладывать не собирался, просто-напросто взялся возделывать другое поле. Одновременно с «Путевыми впечатлениями» он написал три новеллы, которые будут помещены в «Revue de Deux Mondes» и понравятся читателям. А главное – он вернулся к своему великому замыслу, труду «Галлия и Франция». Собирая материалы, связанные с развитием страны, – начиная с нашествия германцев и заканчивая столкновениями с Англией в XV веке, – он беззастенчиво списывал целые куски из сочинений профессиональных историков. Его невежество не только не удручало его – напротив, у него лишь разыгрывался ненасытный аппетит, неутолимая жажда знаний. Ему казалось совершенно необходимым объяснить соотечественникам, каким образом разрозненные племена с годами смогли объединиться в народ, как у них появились язык, культура, родина. Он с увлечением прочел «Письма об истории Франции» Огюстена Тьерри, «Исторические этюды» Шатобриана, делал выписки, размышлял, мечтал… На самом деле ему хотелось рассказать французам историю Франции, развлекая их. Разве не так изучил ее он сам – заглядывая то в одно, то в другое сочинение из тех, что считаются скучными?

И еще – он только что пришел к очень важному открытию: оказывается, так приятно быть в каком-то смысле единственным исполнителем своего сочинения вместо того, чтобы раздавать его в виде диалогов толпе актеров. Подменяя его собой, эти актеры, разыгрывающие пьесу, которую он сочинил от начала до конца, крадут у него главную роль, такую значительную роль рассказчика. Он вспомнил, какое радостное возбуждение испытывал, когда вечерами в Арсенале Шарль Нодье просил его рассказать что-нибудь собравшимся гостям. В такие минуты он оставался один перед своими зрителями, как сейчас остался один перед листом бумаги. И тогда, и теперь он предпочитал и предпочитает быть свободным от всяких пут и помех повествователем. Долой театр – и да здравствует книга!

Он настолько резко и полно переменил взгляды, что даже удивлялся тому, как это другие талантливые писатели могут по-прежнему стремиться сочинять для сцены. В том числе и Виктор Гюго. 22 ноября 1832 года состоялась премьера его пьесы «Король забавляется». Александра в зале не было: он хотел обозначить дистанцию между собой и ее автором. Кроме того, их любовницы, соответственно Ида Ферье, подруга Дюма, и Жюльетта Друэ, возлюбленная Гюго, были соперницами по сцене и друг друга люто ненавидели. «В мои отношения с Гюго прокрался некоторый

холодок, – признается Дюма, – общие друзья нас почти что поссорили». Между прочим, для Гюго тогда настали не лучшие времена. Спектакль «Король забавляется» был прохладно принят зрителями и на следующий день после премьеры запрещен по решению Тьера. Снова цензура, в ее негнущемся корсете, управляла всеми перьями Франции. Еще один довод в пользу того, чтобы больше не связываться с комедиями или мелодрамами, решил Александр.

Впрочем, настоящий театр был теперь не только там, где сияли огни рампы, он был и в городе, и во всей стране, возбужденной удивительной историей герцогини де Берри. 6 ноября, после невероятной и дерзкой вылазки, она была арестована в Нанте генералом Полем Дермонкуром и заключена в крепость Блэ. Роялистские газеты хором возмущались. Маркиз де Дре-Блезе в палате пэров воззвал к правительству, указывая на недопустимость столь жестокого обхождения с матерью графа де Шамбора. Правительство направило двух врачей, с тем чтобы сделать заключение о состоянии здоровья прославленной узницы. Непосредственно затем «Корсар» намекнул на то, что усталость, на которую жаловалась герцогиня, являет собой естественное проявление беременности. Негодующие легитимисты послали совместный вызов редакции этой подлой газетенки, посмевшей посягнуть на репутацию знатной дамы. Республиканские издания («Tribune», «National») вступились за коллег, несправедливо заподозренных во лжи. «Корсар», которого поддержали все левые, продолжал утверждать, что в скором времени в крепости Блэ ожидается счастливое событие. Арман Каррель из газеты «National» тут же получил дюжину вызовов на дуэль от сторонников герцогини. Этот вызов стал спичкой, брошенной в бочку с порохом. Многочисленные либералы откликнулись на вызов, желая сразиться с легитимистами. Александр, несмотря на то что считал всю эту историю попросту смехотворной, заверил Карреля в том, что всей душой на его стороне. И даже отправился к нему, чтобы удостовериться в его фехтовальных умениях и показать ему два-три особых выпада, которыми владел сам. Слишком поздно! Поединок уже состоялся, и противник нанес Каррелю тяжелую рану в пах. Его лечил знаменитый Дюпюитрен. Весь Париж перебывал в прихожей у «мученика», чтобы оставить карточку в знак уважения: Дюма, Беранже, Лафайет, Тьер и даже Шатобриан, который хоть и не разделял взглядов Карреля, однако склонился перед его храбростью. Желая отомстить за несчастного журналиста, его секунданты вызвали на поединок секундантов противника. Это была настоящая битва между равно ожесточенными кланами. Александр, на которого наседали

друзья, не мог отказать им в просьбе: если бы он на деле не оказал требуемой поддержки, его справедливо уличили бы в трусости. Да, но кого же ему выбрать среди сторонников герцогини в качестве противника, с кем скрестить шпаги? Он остановил свой выбор на Бошене: преимущество этого чудесного друга, тосковавшего по временам Карла X, заключалось в том, что он в то время находился в деревне и не мог приехать.

«Дорогой Бошен, – написал ему Дюма, – если ваша партия так же глупа, как и моя, и вынуждает вас драться, прошу вас отдать мне преимущество, и я буду счастлив дать вам доказательство неизменного уважения, раз уж не могу дать доказательство дружбы». Бошен прекрасно понял, в каком затруднительном положении оказался Александр, догадался и о том, как ему не хочется этой дуэли, и предложил, поскольку не мог немедленно вернуться в Париж, отложить на некоторое время исполнение этого долга чести. В общем, оба противника, каждый со своей стороны, испытывали облегчение от того, что им не придется защищать дело, в которое ни тот, ни другой уже не верили.

Между тем Александр побывал 2 февраля 1833 года на премьере «Лукреции Борджиа», новой пьесы Гюго, с которым он худо-бедно помирился. Пьеса показалась ему отвратительной, и он удивился тому, как восторженно студенты, мазилы-художники и бумагомараки-романтики проглотили эту несъедобную стряпню. После окончания спектакля они выкрикивали у дверей имя автора, потом выпрягли лошадей из фиакра и с радостными криками поволокли его по мостовой. Неужели они могли забыть о том, что, если бы некий Дюма не написал «Нельскую башню» с ее невероятными событиями и ошеломляющими репликами, Гюго, несомненно, и в голову не пришло бы громоздить эту небылицу в прозе, черную, как чернила, и фальшивую, как поддельная монета? За кулисами и в редакциях газет поговаривали о том, что супруга прославленного Виктора, нежная Адель, изменяет ему с Сент-Бевом и Виктор платит ей тем же, наставляя ей рога с совсем молоденькой и очень привлекательной Жюльеттой Друэ. Впрочем, последняя очень неплохо сыграла в «Лукреции Борджиа». И, уж конечно, не Александру было упрекать Гюго в супружеской неверности. Слишком давно вся его жизнь состоит из сплошных измен! С юных лет он научился смотреть на мир как на место для охоты, где преследуют самую чудесную на свете добычу – женщин. Чем была бы жизнь без этой непрекращающейся облавы, без этих обманов, сцен ревности, слез и обещаний вечной любви, данных на подушках? Конечно, порой раздававшиеся вокруг него оскорбления через посредство газет, переговоры секундантов, угрозы поединков заглушали

доносившийся из альковов шепот. Правительство, желая умерить пыл дуэлянтов, велело в качестве меры предосторожности арестовать нескольких человек. А потом страсти внезапно улеглись: «Вестник» («Le Moniteur») поместил заявление герцогини де Берри, извещавшей о том, что она тайно обвенчалась в Италии с итальянским князем и действительно ждет ребенка.

После того как кумир был развенчан, поклонники Амазонки униженно склонились под градом насмешек противника. Но Александр, воспользовавшись откровениями генерала Поля Дермонкура, того самого, который по королевскому приказу арестовал герцогиню, написал рассказ «Вандея и Мадам», навеянный безумным и отчаянным предприятием узницы. В нем он представил свою героиню решительной и гордой аристократкой, преследующей несбыточную мечту, но в то же время подчеркнул и рыцарский дух человека, положившего конец ее действиям. Таким образом, все остались довольны: и приверженцы благородной искательницы приключений, и сторонники защитников порядка.

Александру хотелось бы, чтобы тот же примирительный настрой руководил королем в малейших проявлениях его власти. Однако Луи-Филипп был на редкость злопамятен. 18 февраля он давал в Тюильри большой костюмированный бал и не счел нужным пригласить Дюма. Что это – упущение или сознательное намерение обидеть? Александр склонен был думать, что его величество из принципа не желает распахивать двери своего дворца перед республиканцем. С одобрения друзей он решил принять вызов и устроить собственный костюмированный бал, который роскошью и весельем совершенно затмил бы скучный официальный праздник. Он успел отложить достаточно денег для того, чтобы позволить себе такое безумство. Впрочем, считать деньги он никогда не умел, и беспечность никогда ему не вредила. Белль поддержала его с восторгом затянувшегося ребячества. Она уже обдумывала прическу и наряд… Александр намеревался разослать больше трех сотен приглашений, его квартира была маловата для того, чтобы вместить такую толпу, и домовладелец согласился предоставить ему на этот вечер просторное незанятое помещение на той же лестничной площадке. Украшать бальные залы доверили лучшим художникам, согласившимся работать бесплатно. Сисери, постоянный декоратор Оперы, велел затянуть голые стены холстом и принес все необходимое – толстые и тонкие кисти, тряпки, краски…

Художники, работая рука об руку, с увлечением расписывали

стены. Даже Делакруа присоединился к ним. В чем был, не переодевшись и не засучив рукавов, он виртуозно набросал великолепное панно «Король Родриго после битвы». Во все концы Парижа были разосланы пригласительные билеты: «Господин Александр Дюма просит господина… оказать ему честь провести у него вечер в субботу, 30 марта. Маскарадный костюм обязателен. Съезд гостей к десяти часам, улица Сен-Лазар, дом 40». Ради того чтобы угостить приглашенных хорошим ужином, Дюма сам отправился охотиться в лесах Ферте-Видам и вернулся с девятью косулями и тремя зайцами. Нескольких косуль отдали ресторатору Шеве в обмен на семгу, «исполинское заливное» и приготовление «целиком на вертеле» оставшейся дичи. Слуги Шеве уже расставляли столы, накрывали, раскладывали приборы. Комнаты, предназначенные для праздника, жарко натопили, чтобы скорее высохли краски на только что законченных панно. Триста бутылок бордо, триста бутылок бургундского и пятьсот бутылок шампанского только и ждали случая утолить жажду гостей. Самые ранние из них вот-вот должны были постучать у дверей, и Александр с Белль поспешили одеться, чтобы встречать приглашенных. Александр облачился в костюм брата Тициана, скопированный с гравюр XVI века: водянисто-зеленый камзол, затканный золотом, стянутый поверх сорочки на груди и рукавах, у плеча и у локтя, золотыми же шнурками. В таком наряде, могучий, жизнерадостный, сияющий, он один воплощал собой весь век Франциска I и Карла V. Должно быть, ему куда больше подошло бы жить в те времена утонченности и варварской жестокости, чем в это убогое царствование Луи-Филиппа. Следом за ним показалась и Белль в черном бархатном платье с накрахмаленным воротником. Ее блестящие темные волосы прикрывала черная шляпа, украшенная черными перьями. Она изображала Елену Фурман, вторую жену Рубенса. Строгость ее одеяния контрастировала с ослепительной роскошью наряда, в котором красовался Александр. Он невольно залюбовался ею – до чего хороша, с этой ее молочно-белой кожей и искрящимися весельем синими глазами. Намного лучше Иды, которую, разумеется, не пригласили на бал, чтобы не вышло ссоры! Но они с Белль слишком долго прожили вместе. Привычка тел мешает возродиться желанию. Только прикосновение к новой коже, встреча с новой душой, только новые, неизведанные ласки не дают мужчине отяжелеть и заскучать. Александр внезапно осознал, что праздник, от которого Белль ждала столько радости, вполне может оказаться для них прощальным балом.

Два нанятых на этот вечер оркестра разместились в квартирах, расположенных одна напротив другой; выходящие на

площадку двери и там, и там были гостеприимно распахнуты. Гости хлынули потоком. Все парижские знаменитости, сколько было, охотно откликнулись на приглашение этого негодника Дюма. В толпе перемешались писатели и художники, журналисты, издатели, политики и актеры с актрисами… Александр ждал три сотни человек, но под масками, домино и причудливыми костюмами скрывалось по крайней мере вдвое больше. Шум разговоров перебивали взрывы смеха. Все комнаты заполнила толпа гостей, на одну ночь преобразившихся в маркизов, монахов, астрологов, фей, пажей, арабских правителей, корсаров, придворных дам славного короля Генриха IV… В три часа все так же, толпой и шумно, расселись за огромные столы ужинать. Запах жареных фазанов мешался с запахами пота, табака и грима. После десерта, за которым рекой лилось шампанское, неистовой сарабандой открылся бал. Даже самые серьезные люди закружились в танце. Государственный деятель скакал в обнимку с полупьяной ведьмочкой. Поэт утыкался носом в грудь дородной монашки в чепце, подрагивавшем в ритме вальса. Глядя на все это, Белль готова была поверить, что ее Александр – настоящий волшебник, ведь столько знаменитостей пляшут под его музыку: Альфред де Мюссе, Одилон Барро, Россини, Делакруа, мадемуазель Марс, мадемуазель Жорж, Фредерик Леметр, Эжен Сю, Петрюс Борель, Жерар де Нерваль… Не смог прийти Виньи, сидевший у изголовья больной матери, и не явился Гюго, но последний никак не объяснил своего отсутствия и не извинился. Белль очень жалела о том, что он не пришел. Он такой чувствительный, такой обидчивый, должно быть, популярность Александра не дает ему покоя!

В девять утра вся компания, с двумя оркестрами во главе, выплеснулась на улицы и бешеным галопом пронеслась по Парижу. Голова этой пляшущей змеи уже достигла бульвара, в то время как хвост все еще извивался перед домом. Соседи, заслышав звуки скрипок, топот множества ног и женский смех, высовывались из окон, не понимая, что происходит. Когда последние гости наконец растворились в холодном утреннем свете, Александр и Белль поднялись к себе, в разоренную квартиру, где над столами все еще витали ароматы вчерашнего пиршества, а пол был усыпан обрывками серпантина, и погрузились в безмолвное одиночество любовников, которые уже не могут поговорить друг с другом по душам.

Царствование Белль закончилось, началось царствование Иды. По случаю ее радостного восшествия на престол Александр сделал ей подарок – преподнес новой избраннице драму «Анжела», сюжет которой показался ему самому и необычным, и

смелым: бессовестный карьерист Альвимар решил добиться почестей с помощью женщин. Разве существует более приятная ступенька, позволяющая подняться по социальной лестнице, чем наступить на тело любовницы? Однако, соблазнив Анжелу, богатую наследницу, Альвимар внезапно замечает, что ее мать не менее привлекательна и куда скорее, чем дочь, поможет ему пробиться наверх. Правда, Анжеле он тем временем успел сделать ребенка, но какое это имеет значение! Даже и не думая признавать свое отцовство, он намеревается жениться на матери несчастной девушки. Знатный и благородный человек, доктор Мюллер, до беспамятства влюбленный в Анжелу, появляется как раз вовремя, чтобы спасти положение. Мюллер, несмотря на то что болен чахоткой в последней стадии, вызывает Альвимара на дуэль, убивает его и женится на Анжеле, перед тем приняв ее ребенка. Великолепная роль для Иды, лучше не придумаешь! С ее довольно-таки плотным телосложением она превосходно сыграет прелестную Анжелу, отяжелевшую из-за беременности на большом сроке. Стало быть, все складывалось как нельзя лучше. Оставалось лишь найти театрального директора, у которого хватило бы смелости допустить на свою сцену эту реалистическую пьесу. По обыкновению своему, как нельзя более кстати появился Арель с интересным предложением. Он сказал, что готов поставить «Анжелу» в театре «Порт-Сен-Мартен», даже и с такой малоизвестной актрисой, как Ида Ферье, в главной роли. Кроме того, он пообещал возобновить «Терезу» на обычных условиях. Александр согласился, взяв с него обещание, что «Анжелу» выпустят следом за «Марией Тюдор» Виктора Гюго, драмой, премьера которой была назначена на осень. Собственно говоря, эту «Анжелу», с помощью которой он намеревался отвоевать место первого драматурга и одновременно помочь Иде сделать карьеру, Дюма написал в соавторстве с Анисе Буржуа, но хотел подписать ее один, против чего Анисе совершенно не возражал. В совместной работе авторское тщеславие чаще всего отступает перед материальной выгодой. Ида, радуясь своей удаче, уже воображала себя на вершине славы и в нетерпении считала дни, оставшиеся до начала репетиций.

Что касается Александра, то он, в ожидании нового свидания со зрителями, развлечения ради слегка увивался за пылкой Жорж Санд. Несмотря на то что писательница была не на шутку влюблена в Мари Дорваль, она только что порвала с Жюлем Сандо, в свободное время развлекалась с критиком Гюставом Планшем и говорила, будто очень не прочь «попробовать» Дюма. Однако Александр был осторожен. Сент-Бев подстроил любовную западню, предназначенную для того, чтобы его подстегнуть, но он

боялся оступиться, сбиться с пути, подойдя слишком близко к этой неутомимой обольстительнице. Он присматривался к ней, угождал ей, поддразнивал ее и опасался. 19 июня, во время обеда, устроенного в честь сотрудников «Revue des Deux Mondes», он оказался за столом вместе с ней, Гюставом Планшем и Бюлозом. В разговоре кто-то упомянул имя Мари Дорваль. Александр позволил себе неудачную, хотя и вполне невинную шутку по адресу этой прелестной актрисы, любимой одновременно и автором «Стелло», и автором «Индианы». Жорж Санд мгновенно вспылила. Этот намек на ее отношения с Мари Дорваль, заявила она, оскорбителен и унижает ее достоинство. Назавтра, повинуясь чисто мужскому рефлексу, она вызвала Александра на дуэль, но тот только посмеялся над этим нелепым вызовом: кто же дерется на дуэли с представительницами прекрасного пола! Взамен он предложил выйти на поединок с тем, кто считался ее верным рыцарем: Гюставом Планшем. Последний принял вызов, но, поскольку страдал в это время воспалением глаз, попросил дать ему небольшую отсрочку. Александр любезно ему ответил: «Как вы и просили, я к вашим услугам в любой день и час и в любом месте, какие вы назначите; что касается выбора оружия, этим займутся наши секунданты». Сам он секундантов уже нашел. Тем не менее, продолжал Александр, он готов взять свой вызов назад при одном условии: если Планш напишет ему, что не является любовником Жорж Санд и, следовательно, не должен отвечать «ни за ее прежние высказывания, ни за то, что она скажет впредь». Поняв, что в своем заступничестве зашел слишком далеко, Гюстав Планш согласился черным по белому подтвердить, что между ним и писательницей нет ничего, кроме большой дружбы, и что он нисколько не в ответе за те слова, какие она произносит прилюдно. Дело, таким образом, было улажено полюбовно, Жорж Санд полностью переметнулась к Мюссе, которого выбрала следующей своей жертвой, а Александр отправился отдохнуть у друзей в Визиле, в департаменте Изер.

Там он продолжал работать над «Путевыми впечатлениями» и закончил править рукопись «Анжелы». Только что вышедший из печати труд «Галлия и Франция» в «La Revue de Paris» превознесли до небес, а Гранье де Кассаньяк в «L'Europe littéraire» свирепо обругал, что называется, камня на камне не оставив. Мало того – разделавшись таким образом с Дюма, Гранье де Кассаньяк на этом не успокоился. Гюго пристроил его в «Journal des Débats», и он в благодарность принес своему покровителю еще одну статью, еще более оскорбительную для Дюма. На все лады расхваливая Гюго, «величайшего французского поэта», автор повторял, еще усиливая их, самые грубые обвинения по адресу

его конкурента. По мнению Гранье де Кассаньяка, Дюма был низким плагиатором, кормившимся талантами Вальтера Скотта, Шиллера, Лопе де Вега и еще двух десятков писателей. Все, что он мог предложить публике, было краденым, поддельным, надувательским. Настоящий литературный пират, разбойник, грабитель. Читая этот памфлет, Гюго втихомолку радовался тому, как прилюдно высекли писателя, который был его соперником. Тем не менее он отсоветовал печатать эти грозные строки. На взгляд Гюго, неуместно было злить Дюма и его многочисленных друзей в то самое время, когда в «Порт-Сен-Мартен» вот-вот должна была состояться премьера его собственной пьесы «Мария Тюдор» и в вечер премьеры им понадобится как можно больше верных друзей, как можно больше восторженных голосов, как можно больше аплодирующих рук. Стало быть, терпение и еще раз терпение! Статья Гранье де Кассаньяка может подождать. Франсуа Бертен, хозяин «Journal des Débats», сам решит, надо ли ее печатать и если да, то в какой номер поставить.

В начале октября Александр вернулся в Париж и прежде всего занялся улаживанием материальных проблем. Он без шума разошелся с Белль, оставив за ней квартиру на улице Сен-Лазар до тех пор, пока актриса не уедет на гастроли, сам же, возвратившись к прежним холостяцким привычкам, временно поселился в меблированных комнатах. Ида жила на улице Ланкри, неподалеку от бульвара Сен-Мартен, и принимала у себя странных посетителей. Александр знал, что на ее верность рассчитывать нельзя, но иногда, забывая о собственных шалостях, все же взрывался. Узнав о том, что некая сводня высокого полета, мадам Арну, рекомендует Иду своим клиентам, способным по достоинству оценить пышные формы молодой женщины, он написал виновнице своего «позора»: «В первый же раз, как госпожа Арну направит новые предложения на улицу Ланкри, дом 12, кое-кто возьмет на себя труд отблагодарить ее ударами хлыста». Сводня в долгу не осталась: «Вам известно, что в мои полномочия входит предлагать свои услуги красивым дамам, точно так же как в ваши – предлагать свои произведения читателям. Дама с улицы Ланкри, 12 не так давно сделалась добродетельной, чтобы не вспоминать ее прошлого; те, кто бывает в театрах Монпарнаса и Бельвиля, знают, как она ведет себя в частной жизни: она не спрашивает у вас разрешения наставить вам рога, когда ей того захочется; впрочем, не мешало бы ей делать это почаще, чтобы иметь возможность расплатиться с долгами, которых у нее набралось на тридцать тысяч франков. Ревнивец глуп, рогоносец умен, если умеет промолчать».[58]

Разумеется, Ида расплакалась, обиделась, возмутилась и

принялась оправдываться, а сводня исчезла с горизонта. Александр простил любовницу. Все это и непристойно, и вместе с тем забавно, решил он. Разве не одинаково они виноваты друг перед другом? Из-за такой малости не расстаются! И потом они оба были связаны с театром, этой великой школой притворства и призрачного счастья. Сцена дает утешение в жизненных горестях.

Соседом Иды по улице Ланкри был старый друг Порше, король клакеров. Она рассчитывала на поддержку Порше и его команды в вечер премьеры. Увы, до этого было еще далеко! По соглашению, подписанному с Арелем, эту проклятую «Марию Тюдор» должны были поставить раньше, чем великолепную драму Александра. Иде хотелось бы, чтобы пьеса Гюго долго не продержалась и поскорее уступила место пьесе Дюма. Должно быть, и Арель втайне об этом мечтал, потому что 1 ноября 1833 года он велел вывесить афишу следующего содержания: «В ближайшее время – „Мария Тюдор“. Скоро – „Анжела“». Разве не было это равносильно публичному признанию в том, что дирекция театра предвидит скорый провал спектакля, названного первым, и все свои надежды возлагает на тот, который последует за ним? Ярость Гюго была сравнима разве что с гневом богов Олимпа. Он без колебаний свалил вину за это оскорбительное извещение на Дюма. А раз так – нет никаких причин откладывать обнародование злобной ругани Гранье де Кассаньяка! Статья была помещена в газете. Александр читал ее с удивлением и печалью. Общие друзья рассказали ему, что Гюго лично держал корректуру и усиливал выпады против него. Поняв, что в очередной раз ошибся, удостоив доверия и восхищения человека, который при всем своем таланте был всего-навсего одним из коллег, Дюма написал ему: «Дорогой Виктор, меня давно предупреждали о том, что в „Journal des Débats“ должна выйти статья, направленная против меня, и прибавляли, что если эта статья написана не вами, то, во всяком случае, под вашим покровительством; я не желал верить ни единому слову. Сегодня мне принесли статью, я смог ее прочесть и должен признать, что не представляю, чтобы при той дружбе, которая связывает вас с господином Бертеном [владельцем газеты], вам не показали статью, где речь идет обо мне. Итак, я убежден в том, что вы были с ней знакомы. Что я могу сказать вам, друг мой, кроме того, что никогда не допустил бы, особенно накануне премьеры одной из моих пьес, чтобы в газете, где бы я пользовался таким же влиянием, как вы, – в „Débats“, вышла статья, направленная против человека, которого я назвал бы не моим соперником, но моим другом. И все же – неизменно ваш».

Гюго, вместо того чтобы почувствовать себя растроганным

мягкостью этих упреков, ответил холодно и двусмысленно. Разумеется, он полтора месяца назад познакомился со статьей Гранье де Кассаньяка, но Александр, вместо того чтобы на него обижаться, должен поблагодарить за то, что своим вмешательством он помог ему «избежать худшего». И, не дав больше никаких объяснений, заключил: «Я скажу вам все, когда вы ко мне придете; десять минут разговора разъяснят все лучше, чем десять писем. Не верьте по отношению ко мне тому, чему я не поверил бы о вас. – Виктор Гюго. P.S. Я оставил вам два кресла на первое представление „Марии Тюдор“. Может быть, вы хотите больше?» Гюго мог бы ограничиться этим обменом личными письмами, но, желая как можно лучше оправдать свой поступок, он поместил в газетах и послание Дюма, и собственный ответ. Александр был недоволен тем, что их разногласия стали пищей для досужих разговоров. Вскоре весь Париж знал об этой злополучной истории, в которой автор «Марии Тюдор» играл незавидную роль. Гюго совершил тактическую ошибку. Публика непостоянна. Те же самые люди, что недавно превозносили до небес «Лукрецию Борджиа», теперь распускали слухи о том, что «Мария Тюдор» – заурядное сочинение. Заговор против пьесы рос день ото дня, и невозможно было отыскать его истоки. Конечно, эта драма в прозе, бичующая пороки великих мира сего и противопоставляющая им великодушие и душевное благородство простого рабочего, была несколько высокопарной и демагогической. Но зрителям должно было понравиться такое упрощенное представление. Однако в день премьеры пьесу освистали. Когда после окончания спектакля по традиции объявили имя автора, его встретили безжалостным смехом. Жюльетта Друэ, исполнявшая роль Джейн, заболела от огорчения. Театру потребовалась замена. Кто же выйдет на сцену вместо занемогшей актрисы? У Ареля под рукой не оказалось никого, кроме Иды Ферье. Гюго, с которым наспех посоветовались, скрепя сердце согласился за неимением выбора. Александр позволил своей любовнице репетировать роль Джейн. Ради кого он это сделал? Ради нее, которая так гордилась своим возвышением? Или ради Гюго, чью пьесу можно было благодаря этому кое-как продолжать играть? В день премьеры, слыша, какими насмешками встречают отдельные реплики и даже имя автора, Дюма сочувствовал ему, он слишком хорошо помнил, какие страдания испытывает непризнанный автор. Но в то же время не мог заглушить смутной и мстительной радости. Он знал, что отныне он и Гюго не смогут ни смотреть друг на друга по-братски, ни обменяться открытым рукопожатием. Но долго ненавидеть кого-нибудь он не умел и потому испытывал лишь

философское разочарование.

Тем временем заговорили о возможности поставить «Антони» в «Комеди Франсез». С тех пор как в 1831 году в театре «Порт-Сен-Мартен» состоялась премьера этой пьесы, роль Адели «духовно принадлежала» Мари Дорваль. Но кому принадлежала сама Мари Дорваль? Альфреду де Виньи? Жорж Санд? Или Мерлю, сговорчивому мужу? Она была «благосклонна» к Дюма, когда оба безудержно радовались оглушительному успеху спектакля, и он сохранил приятные воспоминания об этих легких отношениях, как, впрочем, и сама Мари. Так почему бы не повторить столь приятный опыт? Мари Дорваль только что вернулась с гастролей в Гавре, где как раз и играла «Антони». И тут ей предлагают снова выступить в этой роли на главной сцене Франции. Разве можно упустить такой случай? Александр был не менее счастлив, чем она. И тот, и другая подписали с театром весьма выгодные контракты. Дюма сгоряча пообещал актрисе написать еще комедию и трагедию. Одного взгляда на Мари Дорваль было достаточно, чтобы его раззадорить и подстегнуть. Она же, со своей стороны, хоть и раскаивалась в том, что обманывает Виньи, которого так любит и который «просто ангел», млела от удовольствия, стоило Александру мимоходом коснуться ее руки. Между актрисой и литератором, чей текст она знает наизусть, думала Мари, неизбежно зарождается тайное согласие слов, а то и чувств, и этот умственный союз, хотя они сами того не сознают, ведет их к союзу телесному. Ей нравились могучее сложение и африканская пылкость Александра, его сумасбродство, беспечность и легкость. Она уступила ему, потому что они явно были созданы друг для друга. Александр нескрываемо ликовал. Наслаждение превыше всего! И тем хуже для Иды. Впрочем, разве не вознаградил он ее с лихвой, подарив ей главную роль в «Анжеле»? И вообще, в таком свободном сожительстве, как у них, можно говорить лишь о ложных страстях и ложных изменах. Тем не менее не столько из милосердия, сколько из страха перед домашними сценами он утаил от нее эту новую связь. Впрочем, Мари Дорваль то и дело вынуждена была отлучаться, уезжать на гастроли в провинцию. Дюма, который не мог уехать из Парижа, писал ей, что горит желанием снова ее увидеть. Но, предавшись наслаждению, вслед за этим она предалась раскаянию, то и дело повторяла в своих письмах, что страдает из-за того, что обманула доверие Виньи, такого чудесного человека. «Если бы я не была любима так, как я любима, этот обман не был бы таким оскорбительным в моих глазах. […] Иметь такую тайну, какая появилась между нами, чудовищно! Я посмела отдаться вам, я не смею вам написать,

потому что не смею думать. […] Меня спасает то, что ваша дружба куда больше вашей любви. Поверьте, вы относитесь ко мне именно по-дружески; те ограничения, которым нам пришлось подчиняться, придали дружбе некоторый оттенок любви, и вы сделались моим любовником, потому что нам приходилось скрываться ради того, чтобы видеться друг с другом». А когда Александр захотел при-ехать в Руан, где она была на гастролях, Мари охватили еще большие сомнения и страх: «Так, значит, вы хотите приехать? Если мы так начнем год, нам это принесет несчастье. Любовь, которую я к вам испытываю, не может свободно расположиться в моем сердце, потому что страх занимает там все место. Скажи, можешь ли ты его прогнать? Я в это не верю! Приезжай же, раз ты этого хочешь, приезжай, и пусть это станет нашим прощанием, потому что, видишь ли, я больше не могу оставаться твоей любовницей. […] Сожги это письмо, если ты меня любишь, сожги его, избавь меня от беспокойства из-за того, что ты можешь его потерять или что его найдут у тебя».

Это длинное и жалобное послание датировано 28 декабря. И в тот же самый день в театре «Порт-Сен-Мартен» прошла премьера «Анжелы», ловко сделанной жестокой и слезливой мелодрамы. Смелость положений и резкость текста потрясли публику, заставили ее блаженно содрогнуться. Журналисты наперебой расхваливали талантливых актеров – Бокажа, Локруа, мадемуазель Верней. Даже Ида Ферье, несмотря на ее «дородность и гнусавый голос», была хороша в роли принесенной в жертву молодой женщины. Тем не менее один из критиков осмелился написать, что у нее плохая дикция, что она не может выговорить слово «мама» и реплика звучит у нее так: «Баба, я так десчастда!» Что же касается Александра, «La Gazette des Lettres» дошла до того, что наградила его титулом «главы современной романтической школы». Гюго, таким образом свергнутый с престола «ремесленником», едва не лопнул от злости. Намереваясь вырыть яму Дюма, когда ссорился с ним из-за «Марии Тюдор», он сам в нее угодил, зато Александр, вознесенный на вершину, ликовал. Впервые в редакциях газет его воспринимали всерьез. Ипполит Роман, исследуя его личность в «Revue de Deux Mondes», объявил его «наименее логичным созданием из всех […], лгущим в ипостаси поэта, алчным в ипостаси артиста […], слишком либеральным в дружбе, слишком деспотичным в любви, по-женски тщеславным, по-мужски твердым, божественно эгоистичным, до неприличия откровенным, неразборчиво любезным, забывчивым до беспечности, бродягой телом и душой […], Дон Жуаном ночью, Алкивиадом днем, истинным Протеем, ускользающим от всех и от себя самого,

столько же привлекающим своими недостатками, сколько достоинствами».

Александр остался вполне доволен этим портретом. Обласканный в Париже зрителями и прессой, он горел нетерпением отправиться в Руан, чтобы получить там причитающуюся ему долю восторгов от Мари Дорваль. Узнав о его намерениях, она одновременно и обрадовалась, и перепугалась. Что будет, если об этом узнает Виньи? Она могла сколько угодно изменять «своему» поэту, но не хотела его огорчать. «Как получилось, что все здесь обещают мне твое скорое появление? – пишет она Александру. – Ты с ума сошел! […] Разве так можно, ты что же – хочешь, чтобы я немедленно уехала? […] Не мог бы ты приехать на день или два попозже? Это очень просто – остановись в той же гостинице, только не приходи в мою комнату. […] Пришли мне записочку, в которой будет сказано, где ты поселился».

Повинуясь лишь своему инстинкту, Александр почтовой каретой выехал в Руан, снял номер в гостинице, послал условленную записочку – и вскоре сжимал в объятиях Мари Дорваль, которая от терзавшего ее раскаяния стала еще прекраснее. И они снова, в который уже раз, охваченные преступным неистовством, обманули бедняжку Альфреда, продолжавшего тем временем слать неверной возлюбленной печальные и страстные письма.

После трех дней любовной горячки Александр вернулся в Париж, чтобы разделить с Идой радость успеха «Анжелы». Но еще до своей поездки в Руан он приметил в театре «Gaoté»[59] молоденькую актрису по имени Эжени Соваж. Поскольку она совсем не выглядела строгой и неприступной, Дюма не устоял перед искушением и решил познакомиться с ней поближе. Театры представляют собой неисчерпаемый садок, полный хорошеньких, легкомысленных, искушенных и не таких уж глупеньких молоденьких девиц. Так зачем же искать себе женщин в других местах, если можно выбрать любую из этих прелестных служительниц драматического искусства?

Однако закулисные сплетни распространяются с быстротой молнии. Вернувшись в январе 1834 года в Париж, Мари Дорваль узнала, что Александр вновь сошелся с Идой, поселил ее в своей новой квартире в доме 30 по Синей улице и что он стал любовником Эжени Соваж, посредственной актрисульки, играющей в мелодрамах роли «наивных глупышек». С другой стороны, Альфред де Виньи донимал Мари уличающими вопросами и обвинениями. Связанная контрактом, она должна была уехать в Бордо и играть там несколько спектаклей. Это

обязательство ее вполне устраивало, поскольку она окончательно запуталась в чувствах, которые испытывала к двум мужчинам своей жизни. Александр предложил сопровождать ее в этой поездке. Мари была настолько растеряна, что согласилась. 24 января 1834 года, в шесть часов вечера, почтовая карета увезла ее в Бордо. Александр, чтобы не возбуждать новых сплетен, не явился к отъезду кареты в Мессажери, а сел в нее на следующей станции. Три дня они нежно ворковали под носом у всех тех, кто завидовал Дюма, у которого была такая любовница, после чего Александр в одиночестве уехал обратно.

В Париже, в новой нарядной квартире на Синей улице, ждала обиженная Ида. Несколько поцелуев, немного лживых заверений – и ее плохого настроения как не бывало. Она принялась играть роль безупречной хозяйки дома. Они наняли нового лакея, Луи, сменившего прежнего, Жозефа, который начал воровать слишком нагло, и еще одного секретаря, Фонтена, в помощь Рускони, который жаловался на то, что завален работой и не справляется с ней. Несмотря на то что все на первый взгляд было устроено как нельзя лучше, Дюма, казалось, выдохся и ничего не мог сочинить. Несколько новелл, посредственная пьеса «Венецианка», написанная в необъявленном соавторстве с Анисе Буржуа, и еще одна – «Екатерина Говард», представлявшая собой неуклюжую переделку в прозе незабываемой «Длинноволосой Эдит», созданной им в 1829 году. Критики оказались суровы, да и публика от них не отставала. Надо было как можно скорее прекратить это необъяснимое охлаждение.

Тем временем в столицу, в свою очередь, вернулась и Мари Дорваль. Но пламя и с той, и с другой стороны угасло. Любовники решили расстаться – отныне их будет связывать лишь нежная дружба. Ида, которая обо всем догадалась, тем не менее продолжала донимать Александра подозрениями и требованиями. Он жил в грозовой атмосфере, где приступы веселья сменялись нервными припадками, а поцелуи неизменно были с привкусом слез. Изо всех сил стараясь успокоить Иду и убедить ее в искренности своих чувств, он втайне самоотверженно помогал Мари Дорваль справиться с интригами, которые плели вокруг нее в Французском театре под влиянием грозной мадемуазель Марс. С большим трудом он добился, чтобы возобновление «Антони» с Мари Дорваль в главной роли назначили на 28 апреля. День, казалось, был выбран удачно. Однако 13 апреля в Париже начались беспорядки, отголоски восстания в Лионе, и Национальная гвардия выступила не в меру энергично, разгоняя манифестантов. Не помешают ли эти выступления новому взлету «Антони»? Несомненно, думал Александр, нет худшего врага у

литературы, чем политика. Достаточно писателю попытаться заявить о себе значительным произведением, как тут же ему начинают в этом препятствовать внешние события. Похоже на то, будто народ и правительство поочередно изощряются, вставляя палки в колеса всем тем, кто упорствует, стараясь добиться успеха во Франции!

В понедельник утром Александра разбудил его сын, явившийся прямиком из своего пансиона. Он выглядел потрясенным и сжимал в руке свежий номер «Constitutionnel». Директор пансиона Проспер Губо, с которым Дюма когда-то сотрудничал, прислал мальчика «вестником несчастья». Дело, по словам Губо, было более чем серьезное. Бросив беглый взгляд на первую страницу газеты, Александр мгновенно понял, какая опасность над ним нависла. Депутат и академик Антуан Же в злобной и язвительной статье возмущался тем, что субсидия Французскому театру увеличена до двухсот тысяч франков в то самое время, когда там собираются ставить «Антони» – «самое вызывающе непристойное произведение из всех, какие появились в эту эпоху непристойности». Автор этого пасквиля завершал его обращением к Тьеру, требуя запретить пьесу, единственная цель которой – «развращать молодежь». Под влиянием этого «отца добродетели», который в то же время был референтом по вопросам театрального бюджета, в палате депутатов начались действия, направленные на то, чтобы проголосовать против выдачи «Комеди Франсез» предусмотренной для этого театра субсидии. И какие же последствия мог иметь подобный отказ? Разумеется, первым делом «Антони» сняли бы с афиши. Тьер не мог оставаться безучастным к недовольству парламента. Он не пошел на открытое столкновение, не стал высказываться прямо, но распорядился временно запретить играть пьесу. Александр вне себя от ярости бросился в министерство. Он бушевал, угрожал Тьеру процессом в торговом суде, обещал, что добьется обвинительного приговора для него через посредство нынешнего управляющего Домом Мольера, Жуслена де ла Салль. Затем, поскольку Тьер свое решение отменить отказался, Дюма вышел из кабинета, хлопнув дверью. Мари Дорваль, не меньше его расстроенная, послала Антуану Же венок, каким награждают самую добродетельную девицу, в коробке, перевязанной белой шелковой ленточкой, и приложила к нему насмешливую записку: «Сударь, вот венок, который бросили к моим ногам в „Антони“, позвольте мне возложить его на вашу голову. Я должна была принести вам эту дань уважения. Никто лучше меня не знает, насколько вы это заслужили». Процесс против Жуслена де ла Салль тянулся довольно долго, дело слушали несколько раз,

последнее заседание состоялось 14 июля 1834 года: Жуслена обязали выполнить условия первоначального контракта или выплатить истцу в качестве возмещения ущерба сумму в десять тысяч франков. Он подал апелляцию и предложил кончить дело миром: Жуслен немедленно выплатит Дюма шесть тысяч франков, а тот откажется от всяких дальнейших притязаний. Александру деньги были нужны безотлагательно, и он подписал соглашение. Тем хуже для публики, которой придется в этом сезоне обойтись без «Антони»… а может быть, и проститься с ним навсегда!

Тем временем Александр оказался втянутым в другой процесс, только на этот раз он оказался ответчиком. Издатель Барба, купивший права на публикацию «Христины», подал на него в суд за то, что Дюма уступил полное собрание своих сочинений, в том числе и эту пьесу, Шарпантье для нового издания. Дюма и Шарпантье обжаловали суровое решение суда первой инстанции и добились более мягкого приговора. Но сатирическая газета «Медведь» заинтересовалась юридическими неприятностями преуспевающего писателя. В статье, озаглавленной «Александр Дюма и книгопечатник Барба», его изобразили поддельным аристократом. «Граф, виконт или по меньшей мере барон! – пишет журналист. – Пусть будет виконт! Как дворянин, господин Александр Дюма – худший субъект, какого только можно вообразить, беспечный и беззаботный, живущий удовольствиями и праздниками, не знающий счета деньгам, вину и женщинам, Дон Жуан, Ловелас, Фоблас [пошлый] регент». Подобное оскорбление, разумеется, не могло остаться безнаказанным. Александр вызвал на дуэль главного редактора «Медведя» Мориса Алуа. Сначала он подумывал о том, чтобы его секундантами были незаменимый Биксио и бывший адъютант его отца генерал Дермонкур, но потом, решив, что неплохо бы иметь рядом с собой громкое литературное имя, спрятал подальше гордость и написал Гюго: «Виктор, каковы бы ни были наши нынешние отношения, я надеюсь, что вы все же не откажете мне в услуге, о которой я хочу вас просить. Какой-то наглец позволил себе оскорбить меня в мерзком листке, четвероногой скотине, именуемой „Медведь“. Сегодня утром этот тип отказался встретиться со мной под предлогом, что не знает имен моих секундантов. Одновременно с письмом вам я отправляю письмо Виньи, чтобы иметь возможность сказать своему противнику, что, если он еще раз попытается отделаться подобной отговоркой, я сочту это дурной шуткой. Я жду вас завтра, в семь часов, у себя. Одно слово посыльному, чтобы я знал, могу ли я рассчитывать на вас. И потом – разве это не даст нам повод снова пожать друг другу

руки: я, по правде говоря, этого очень хочу».[60] После этого Гюго сменил гнев на милость и назавтра в семь утра был у Дюма. Обняв его и обменявшись рукопожатиями с остальными секундантами, Биксио и Дермонкуром, он посоветовал помириться с противником. Свидетели Мориса Алуа, со своей стороны, тоже считали это наилучшим выходом. Однако Александру непременно хотелось сразиться с врагом. Дуэль состоялась на рассвете, в качестве оружия были выбраны шпаги. Противник оцарапал Александру плечо – таким образом, честь была спасена, злоба немного утихла, тем дело и кончилось.

Между тем у Дюма созрел новый план: совершить научное путешествие вокруг Средиземного моря. 4 августа 1834 года, во время званого приема у герцогини д'Абрантес, он изложил свои соображения насчет этой поездки нескольким гостям, среди которых был некий генерал Тьебо, получивший при Империи баронский титул. Этот человек, известный своей нелюбовью к цветным, тем не менее поддался обаянию красноречия и свободы обхождения Дюма. Вспоминая о встрече с Александром, он позже напишет в своих мемуарах: «Я видел, что у этого молодого человека кожа метиса, густые курчавые негритянские волосы, африканские губы, ногти, как у людей его расы, плоские ступни; однако он был высок и строен, лицо достаточно благородное; серьезный, кроткий, задумчивый взгляд придавал ему мягкое выражение; […] По тому, как легко он изъяснялся, по энергичности его высказываний, наконец, по его горячности я чувствовал, что мой собеседник – не пустой человек. […] Он сообщил мне, что готовится к путешествию, которое займет пятнадцать месяцев и позволит ему написать военную, религиозную, философскую, моральную и поэтическую историю всех народов, сменявших друг друга на берегах Средиземного моря».[61] Поделившись этими грандиозными планами с генералом Тьебо, Александр прибавил: «К тому же мне необходимо уехать из Парижа; здесь женщины не дают мне возможности работать!»

Пока Александр предавался мечтам о своем скором отбытии в солнечные края, на него свалилась новая проблема. Гайярде только что поместил в «Семейном музее» («Musée des familles») большую статью, посвященную подлинной истории Нельской башни, вдохновившей его, по его словам, на создание первой пьесы. При этом он подчеркивал, обращаясь к читателям: «Нет надобности напоминать о том, что господин Гайярде является автором „Нельской башни“, современной драмы, которая с таким успехом и таким блеском шла в театре „Порт-Сен-Мартен“». Воспользовавшись своим правом на ответ, Александр насмешливо

откликнулся в той же газете, восстанавливая истинную историю создания пьесы. В частности, он рассказал о жалком вкладе Гайярде, о предложениях Жанена, о собственной работе над «Нельской башней». В его изложении Гайярде выглядел смешным и вздорным склочником. Разумеется, он не мог смириться с тем, что его так резко одернули и поставили на место, а потому не смолчал и сделал новый выпад. Теперь он обвинил своего так называемого «соавтора», великолепного Дюма, в том, что на самом деле тот украл у него славу и деньги. Непорядочность молодого собрата по перу вывела Александра из равновесия, и 14 октября 1834 года он написал Гайярде: «Ваше первое письмо было наглостью. Второе – насмешкой. В среду утром мои секунданты будут у вас».

Поединок был назначен на 17 октября 1834 года. Александр хотел драться на шпагах, но Гайярде, который был «обиженной стороной», настоял на пистолетах. Накануне дуэли Александр составил завещание, подготовил распоряжения, касающиеся его сына и дочери, «на случай, если произойдет несчастье», и написал два десятка писем, которые, если он будет убит, следовало посылать его матери из разных городов: таким образом ее заставили бы поверить в то, что он еще жив, и избавили бы от большого горя.

Место для «объяснения» было выбрано в Сен-Манде, в чаще леса. Александр и его секунданты прибыли туда в фиакре. Вскоре появился и Гайярде: черный сюртук, черные брюки, черный жилет – в его мрачном наряде не было ни одного белого пятнышка, в которое можно было бы целиться. Александр был до того спокоен, что Биксио даже удивился этому вслух. Дюма, ни слова не сказав в ответ, протянул ему руку, чтобы друг мог сосчитать пульс и убедиться, что он нисколько не учащен. И правда – сердце билось все так же ровно; значит, этот чувствительный писатель умеет, когда потребуется, оставаться хладнокровным! Секунданты принялись обсуждать условия поединка. Александр предложил, чтобы противники сходились свободно и стреляли, когда им захочется. Но это было бы попросту убийством! Секунданты благоразумно предложили им встать в пятидесяти шагах друг от друга. Каждый имел право пройти вперед пятнадцать шагов, до одной из двух воткнутых в землю тростей, обозначавших предел, который нельзя было переступать. Зарядили пистолеты. Дюма и Гайярде встали на указанные им места. Один из секундантов, Сулье, трижды хлопнул в ладоши. По этому сигналу Гайярде сорвался с места и помчался вперед очертя голову, тогда как Александр шел медленно, спокойным и твердым шагом. Внезапно Гайярде вскинул руку и выстрелил. Согласно правилам

Александр должен был ответить с того самого места, где оказался под огнем. Гайярде повернулся к нему в профиль, прикрыв лицо поднятым пистолетом, и Дюма остановился, раздумывая и колеблясь. Этот безоружный человек странным образом отнял у него решимость. Что с ним делать – убить, покарав тем самым за дерзость, или пощадить из милосердия и презрения? Не целясь, он разрядил пистолет в сторону Гайярде. Пуля пролетела мимо. Гайярде смертельно побледнел. Взбешенный собственной неловкостью, Александр потребовал, чтобы пистолеты перезарядили. Гайярде спорить не стал, но секунданты отказались это сделать. Они считали, что поединок закончен. Тогда Александр, не желавший оставаться проигравшим, предложил возобновить дуэль на шпагах. На этот раз отказался Гайярде – кровопролития не будет. Жаль, но что поделаешь! Они расстались холодно и достойно. Александр уселся в коляску рядом с Биксио и велел кучеру отвезти его к дому номер 30 по Синей улице. Он и сам не мог разобраться, рад ли такому исходу дела или огорчен тем, что дуэль закончилась ничем.

В тот же вечер он вместе с двумя другими писателями и друзьями, Фонтаном и Дюпети, уехал в Руан. Всех троих собратья из Общества драматургов выбрали своими представителями на торжествах по случаю открытия памятника Пьеру Корнелю. Александр размышлял над странностью своего положения: еще утром он рисковал собственной жизнью, защищая свою честь, а теперь катит в провинциальный город, чтобы почтить память писателя, умершего больше двух столетий назад. Всего несколько часов минуло с тех пор, как он спрашивал себя, останется ли целым и невредимым или погибнет в этом нелепом поединке, а сейчас думает о том, понравится ли слушателям речь, которую он приготовил накануне в честь автора «Сида». И вздохнул: «Человеческая жизнь – попросту насмешка!» Однако это наблюдение не мешало ему радостно благодарить свою счастливую звезду, везде и всюду его хранившую. Начав свое выступление перед публикой, собравшейся на открытие памятника, он был уверен и в себе, и в своих словах. И был прав. Следом за ним на трибуну вышел Пьер Лебрен, член Французской академии. Прочитав в «Journal des Débats» обе речи, некто Стендаль коротко заметит: «Александр Дюма не так глуп, как Пьер Лебрен».[62]

Вернувшись в Париж, Александр больше ничем не желал заниматься, кроме подготовки к своему предстоящему путешествию вокруг Средиземного моря. Он рассчитывал на существенную поддержку государства, однако правительство проявило возмутительную скупость. Несмотря на

многочисленные просьбы Дюма, Гизо согласился финансировать предприятие лишь в размере пяти тысяч франков, распределенных на три выплаты. Ничтожно мало! К счастью, если Франция и оказалась чрезмерно осторожной, Дюма и его друзьям смелости было не занимать. Препятствия их не пугали, а, напротив, подстегивали. «По дороге разберемся и как-нибудь выкрутимся!» – решил Александр. И, пересмотрев свои первоначальные намерения и сократив размах, смирился с тем, что придется в поездке отказаться от врача, геолога, скульптора и архитектора, чье участие поначалу считал необходимым. Всю ученую команду заменят два-три приятных и достаточно образованных спутника. Чем меньше их будет, тем лучше они станут работать! Так, стало быть, в путь – и будь что будет! Назначив себя предводителем самого смелого и самого полезного похода современности, Дюма заказал места для себя и своих помощников-исследователей в почтовой карете, которая должна была покинуть Париж 7 ноября 1834 года.

Глава IV
Научная экспедиция

После нескольких неудач и бесплодных попыток Александр удовольствовался тем, что взял с собой в поездку одного из своих друзей, художника-пейзажиста Годфруа Жадена, и его пса Милорда, уродливую помесь терьера с бульдогом, мерзкое создание, неспособное спокойно видеть кошку: ему непременно надо было на нее наброситься и попытаться растерзать. Как и предполагалось заранее, на ближайшей станции Дюма должен был подобрать молодого и довольно странного республиканца по имени Жюль Леконт, который в течение месяца тайно жил в его квартире на Синей улице, якобы скрываясь от преследований полиции, и которому он по доброте душевной раздобыл фальшивый паспорт. Несмотря на сомнительное прошлое этого приживала, Александр снисходил до того, чтобы развлекаться в его обществе, терпеть его бесконечное вранье и даже платить его долги. Вот и на этот раз – добравшись до Фонтенбло, где была назначена встреча, он узнал, что славный малый, представившись Альфредом де Мюссе, угостил роскошным обедом местную молодежь. Разумеется, хлебосольный приезжий и не подумал заплатить по счету. А счет был немалый – четыреста франков! Александр для порядка добродушно побранил Жюля Леконта, расплатился с хозяином ресторана и взял с виновного клятву, что это больше не повторится. Пристыженный Леконт, выслушав сделанное ему внушение, забился в уголок кареты и вел себя тихо не только в дороге, но и во время остановок. Но можно ли всерьез положиться на такое легкомысленное существо, надолго ли его хватит?

Прибыв в Лион, Александр с волнением увидел, что апрельское восстание оставило следы и на изрешеченных пулями стенах, и в сердцах жителей города, которые помнили и страдали. Униженный и оголодавший рабочий класс не мог простить процветающей буржуазии ее наглой роскоши. В этом ледяном аду жила, всеми забытая, Марселина Деборд-Вальмор – женщина, которую Дюма считал одним из величайших поэтов своего времени. Она приняла его и после долгих уговоров согласилась показать несколько стихотворений, которые он нашел великолепными. Чудесное совпадение – в единственном настоящем театре города играли «Антони»! Александр не устоял перед удовольствием снова увидеть собственную пьесу и поаплодировать актерам. Роль Адели исполняла молодая актриса

Гиацинта Менье, и «право же, превосходно!». Она играла так же хорошо, а может быть, даже и лучше, чем Мари Дорваль. Расспрашивая о ней всех подряд, Александр узнал, что она замужем, мать семейства, и именно она, на свое актерское жалованье, содержит семью. Все это было тем более трогательно, что при такой возвышенной душе у нее было и прелестное личико! Он прошел к ней в уборную, наговорил комплиментов и сунул записку, в которой просил ее на следующий день прийти к нему в гостиницу, в его номер. Классический прием. Она не сможет отказать в таком крохотном вознаграждении *своему* автору. Однако Дюма в ней ошибся. Гиацинта, оскорбленная его бесцеремонными манерами, вернула ему письмо. Однако он не отступился, принялся заверять ее в том, что намерения у него были самые невинные, умолял жестокую актрису зайти к нему хотя бы на несколько минут, чтобы он мог оправдаться устно. «Я никуда не уйду из своей комнаты номер 3, – пишет он ей. – Я буду ждать вас там. Сам не знаю, что я вам пишу, но мне надо вас увидеть, сегодня вечером или завтра утром».

Она пришла. Дверь третьего номера закрылась за ней. Александр полагал, что сумел завоевать доверие молодой актрисы и все дальнейшее будет не более чем сопротивлением из кокетства. Однако Гиацинта по-прежнему держалась настороженно. Затем, поскольку Александр делался все более настойчивым, она на мгновение опустила голову к нему на грудь, вздохнула, улыбнулась и проворно отстранилась. Все, чего ему удалось добиться, – мимолетный поцелуй на прощание. Это добродетельное бегство вывело его из равновесия, он совсем потерял голову. Поскольку эта кокетка ему отказывает, он непременно должен ее заполучить. Но в то же время он восхищался тем, что она смогла перед ним устоять. «Милая Гиацинта, – пишет он ей, – никогда бы не поверил, что можно сделать мужчину таким счастливым, отказывая ему во всем! […] О, дорогая моя, знаете ли вы, что с вами сбылась моя давняя мечта – о любви, которая была бы отделена от всех прочих моих любовных приключений, особенной любви, в которой была бы разлука и больше души, чем чувств, – любовь из тех, к которым стремишься издалека, когда на тебя обрушивается большое горе или большое счастье. Вы для меня уподобились тем ангелам, которых можно увидеть лишь изредка, но которые делают нас счастливыми, стоит им только показаться. […] Боже мой, почему же я должен уезжать? Но через шесть недель, когда я вернусь, вы придете снова, и больше никто не сможет помешать мне прижать вас к своему сердцу и поцеловать ваши милые губы. […] О, какой я преисполнен благодарности!»

Он и в самом деле уехал, поскольку этапы его путешествия были строго расписаны. Невозможно изменить программу «научной экспедиции» из-за любовного приключения. Тем не менее на всем протяжении своего пути, пролегавшего через Шатонеф, Авиньон, Ним, Эг-Морт, Бокер, Тараскон, Арль и Марсель, он не переставал думать об этой молодой женщине, у которой хватило твердости и решимости его оттолкнуть. Охотничий инстинкт не позволял ему отступиться. Чем больше защищается намеченная жертва, тем приятнее ее покорить. Дюма созерцал улицы, памятники, прохожих, небо над городами, через которые проезжал, а видел перед собой одну только Гиацинту в театральном костюме Адели, она выступала сквозь все мелькавшие перед ним пейзажи. С бесстыдной настойчивостью он засыпал ее письмами, в которых говорил о своих терзаниях и своих надеждах. Она, смущенная и взволнованная, отвечала, что преклоняется перед ним и испытывает к нему привязанность, но это чувство должно оставаться платоническим. Полностью с ней соглашаясь, он все же не складывал оружия. Ему представлялось, что все это было только маневром с целью его завлечь и набить цену согласию, которым все и завершится. Гиацинта в нескольких строчках развеяла его заблуждения: она – жена и мать и никогда об этом не забудет! «Вся любовь, которую может вместить мое сердце, весь восторг, который может испытывать моя душа, – все это должно быть сосредоточено в одном-единственном чувстве: материнской любви. Мне этого чувства достаточно, оно делает меня счастливой, и больше в моей жизни ничего быть не должно». Тем не менее она не отрицала того, что потрясена недолгими минутами близости, которые им выпали, теми мгновениями, которые они провели вместе: «Вы думали, будто я с вами заигрываю, но нет, в моем сердце был восторг, потому что в вас я восхищалась всем тем, что заставляет думать о божественном». Читая эти слова, он размышлял о том, что среди множества женщин, которые присутствовали в его жизни, по большей части – доступных, Гиацинта представляла собой существо исключительное, она одна была достойна того, чтобы внушить ему совершенную, идеальную, небесную страсть, какую всякий поэт мечтает испытать хотя бы один-единственный раз, и, в конечном счете, ему очень повезло, что она ему отказала. Преисполнившись веры в редчайшие достоинства своей корреспондентки, он даже стал рассказывать ей в письмах об Иде. Его нынешняя любовница, писал Дюма Гиацинте, разочаровала его, потому что она суха, как вязанка хвороста. «Вскоре я понял, что ее любовь, которая была так велика, как только позволял склад ее характера, все же была далека от того, чтобы

соответствовать моей». Если он отправился в такое долгое путешествие, причина в том, что он, при его неистовой восторженности, связался с женщиной, которой всякая необузданность была чужда. «Грудь моей любовницы слишком тесна для того, чтобы в ней могло поместиться сердце!» – заключил он. Ах, если бы только можно было взять Гиацинту с собой в поездку! Ее присутствие озарило бы самые прозаические минуты.

Но вместо любовного апофеоза, о котором он мечтал, его уделом стали мелкие неприятности, с которыми он ежедневно сталкивался в путешествии и которые ему приходилось улаживать. Злополучный Жюль Леконт, его неисправимый прихлебатель, снова наделал долгов в городе. Бесцеремонность этого обаятельного шалопая в конце концов разозлила Александра до того, что он, потеряв терпение, отослал Леконта, правда, перед тем выплатив его долги. Как бы то ни было, денег у команды оставалось всего ничего. Гизо не прислал вторую половину обещанной субсидии. Волей-неволей приходилось возвращаться в Париж. Александр мужественно выдержал все этапы бесславного отступления. Через Лион он промчался стремительно, решив не встречаться с Гиацинтой, и ограничился тем, что послал ей отчаянную записку: «Прощайте! Вы – милое, доброе и безупречное дитя, я люблю вас всей душой, и мне необходимо вам об этом сказать».

Он вернулся в Париж в середине января 1835 года и, совершенно не собираясь отказываться от своих планов, тотчас принялся снова искать средства, необходимые для того, чтобы возобновить и продолжить так неудачно прерванную поездку. Ида одобряла его настойчивость в добывании денег. Дюма же, встретившись с ней после недолгой разлуки, почувствовал досаду и едва ли не злость. Все в ней – ее лицо, голос, запах, привычки, вспышки гнева, порывы нежности – его раздражало. Он не мог простить ей того, что она – не «ангел», как Гиацинта. Не отказывая себе в удовольствии с ней переспать, когда у него появлялось такое желание, Александр вместе с тем не переставал думать о прекрасной и целомудренной даме из Лиона. Он писал этому идеальному созданию все более печальные и все более пламенные письма. Она отвечала ему не менее пылко. Теперь и на ней начало сказываться возбуждающее действие разлуки. Она призналась Александру в том, что отныне к ее преклонению перед ним примешивается необузданное желание. «Если бы вы знали, с каким восторгом я касаюсь губами каждой строчки, начертанной вашей рукой! Затем ваше письмо покоится у моего сердца *вместе с вашей цепочкой и прядью ваших волос*, и лишь

ночью мне иногда случается с ним расстаться – мне кажется, будто оно обжигает мне грудь. Оно пробуждает во мне дурные мысли – я невольно шепчу ваше имя подобно молитве – мои губы тоскуют по вашему лбу – я сжимаю вас в объятиях – а потом, наутро, я начинаю плакать и прошу Господа меня простить, потому что, должно быть, это плохо – так любить, и, может быть, еще того хуже, что я осмеливаюсь вам об этом говорить! […] Когда же я смогу сказать вам: я люблю тебя! – и осыпать вас ласками, поцелуями, но больше ничего не будет, не правда ли?»[63] Читая эти излияния растревоженной души, он думал о том, что в конце концов, так и не овладев этой женщиной, он, возможно, именно над ней одержал величайшую из своих побед. И, как ни странно, на Иду обращались порывы страсти, которую пробудила в нем другая женщина. Ида на это не жаловалась. Неверность Александра, как и ее собственные измены, входила в условия заключенного между ними молчаливого соглашения.

Впрочем, Дюма, по обыкновению своему, куда больше времени и сил тратил на то, чтобы выстраивать будущее, чем на тоску о минувшем. Использовав все доступные ему средства воздействия, от интриг до прямого нажима, он в конце концов сумел основать вместе с издателем Друо де Шарлье акционерное общество с целью финансирования своего средиземноморского путешествия. Однако Шарлье, внезапно испугавшись размаха предприятия, отказался от участия в деле и передал полномочия Амеде Пишо, главному редактору «Британского обозрения». При его поддержке и ценой больших усилий Александр сумел распространить сотню акций по тысяче франков. Прежде всего он обложил данью друзей. Жерар де Нерваль, только что получивший наследство, выложил тысячу франков за полноценную акцию. Виктор Гюго, более прижимистый, ограничился тем, что подписался на двести пятьдесят франков. Следом за ними и другие принялись развязывать кошельки – кто по расчету, кто из дружеских чувств к писателю. Ради того, чтобы пополнить кассу, Александр наспех кое-как состряпал несколько рассказов, закончил «Изабеллу Баварскую», вместе с Корделье-Делану взялся работать над драмой «Кромвель и Карл I» для театра «Порт-Сен-Мартен» и начал собирать материал для «грандиозной» мистерии в пяти актах «Дон Жуан де Маранья, или Падение ангела» по мотивам новеллы Мериме «Души чистилища». Не переставая строчить страницу за страницей, он одновременно с этим не менее усердно занимался и подготовкой к экспедиции, изучал маршруты, сверялся с картами, запасался рекомендательными письмами. Он был настолько поглощен манившим его призраком дальних странствий, им настолько

полно овладела «охота к перемене мест», что он напрочь утратил интерес к тем проблемам, которые занимали всю страну. Так, несмотря на то что он был связан близкой дружбой с некоторыми из шестидесяти республиканцев, как раз в это политически напряженное время представших перед судом за участие в заговоре против правящего режима, Дюма старался держаться в стороне от процесса. Да и вообще, думал он, сейчас, когда ему необходимо сделать все ради достижения своей цели, заручиться всевозможной поддержкой и обеспечить успех предприятию, совсем ни к чему было бы бросать вызов власти, хотя бы раз показавшись в зале суда. День отъезда приближался. Жаден с его нескладным псом Милордом и на этот раз тоже должен был отправиться вместе с Дюма, – впрочем, художник обязался сделать рисунки, за которые ему платили две с половиной тысячи франков, – а вот Жюля Леконта, явно нежелательного спутника, на этот раз из команды исключили. Должно быть, он отомстил за свою отставку, во всех подробностях расписав Иде возвышенный и сдержанный роман Александра и Гиацинты. Опасаясь, как бы у ее возлюбленного, когда он станет проезжать через Лион, не вспыхнуло затаившееся в душе пламя, Ида потребовала, чтобы он взял ее с собой, и намеревалась во все время поездки ни на шаг от него не отходить. Ради того, чтобы избежать ссоры и прочих осложнений, он смирился с тем, что ему придется тащить с собой эту обузу, терпеть эти почти супружеские цепи. Ничего, решил он, если потребуется, он как-нибудь исхитрится и найдет способ от нее улизнуть!

Они выехали из Парижа во вторник, 12 марта 1835 года, в четыре часа, а вечером в среду, 13 марта, были уже в Лионе. Ида повсюду следовала за Александром по пятам, не давая ему ни малейшей возможности увидеться с Гиацинтой. На рассвете следующего дня кучка путешественников снова заняла места в дилижансе. Они направлялись в Марсель через Авиньон и Экс. В Марселе их встретил Мери, который показал приезжим замок Иф и его мрачные темницы. В Тулоне любопытство Дюма особенно привлекла каторжная тюрьма. Во время экскурсии он увидел среди каторжников давнего знакомого – человека, который когда-то был слугой мадемуазель Марс, – отбывавшего наказание за кражу драгоценностей. По приказу директора тюрьмы другие арестанты взялись покатать парижского гостя на лодке. Глядя, как дружно они налегают на весла, Александр восхищался их покорностью. «Если бы только не эта ливрея, – не без иронии напишет он, – я бы никаких других слуг никогда и не захотел». Вообще-то город оказался настолько приятным, а погода такой теплой, что Дюма решил несколько недель здесь отдохнуть.

Путешественники сняли дом над рейдом. Ида блаженствовала, наслаждаясь бездельем, Жаден лениво рисовал, Милорд дремал на солнышке, просыпаясь и принимаясь ворчать всякий раз, как вблизи появлялась кошка, Дюма работал над драмой «Дон Жуан в Маранье». Однако вдохновение его покинуло, он топтался на месте, кое-как навалял последний акт и неохотно отправил рукопись в Париж. «12 июня [1835] закончил свою драму, – отмечает он в дневнике. – 14-го, недовольный, отослал ее в Париж. Жаден меня утешает. Тем не менее в ее большой успех я не верю».

Плохо поработав и хорошо отдохнув, Александр счел, что вполне готов отправиться навстречу новым приключениям. Исследовав Францию, он и его спутники пересекли границу – из Ниццы перебрались в Монако, затем в Геную, а оттуда отплыли в Ливорно. А дальше – их ждала Флоренция, их ждал Рим. Пейзажи непрерывно сменялись, не успевая наскучить, и ни малейшей усталости Александр тоже не испытывал. Намереваясь продолжить свой путь на юг, он отправился к неаполитанскому послу в Риме, господину де Людорфу, и попросил выдать ему визу, чтобы он мог посетить Неаполь и Сицилию. Но господин де Людорф вежливо отказал ему в возможности побывать в королевстве под тем предлогом, что господину Дюма, республиканцу по своим убеждениям, там нечего делать. Александр, не растерявшись, немедленно отправился во Французскую школу в Риме, которой руководил господин Энгр, позаимствовал паспорт у одного из воспитанников, художника Жозефа Бенуа Гишара, и, поскольку этот документ не содержал никакого описания внешности, выправил на себя бумаги под чужим именем.

Дело было сделано, все прошло как нельзя лучше, и вскоре маленький отряд снова разместился в карете, направляясь к запретному городу. Следующей ночью Александр и его спутники были уже в Неаполе. Первым делом они посетили прославленный музыкальный театр Сан Карло, где давали «Норму» Беллини. Рядом со знаменитой Малибран на сцене выступала молодая актриса с прекрасным голосом и не менее прекрасным лицом – Каролина Унгер. Александр уже имел случай любоваться ею и восхищаться ее пением, когда она выступала в Итальянском театре в Париже, но сейчас она показалась ему еще более привлекательной. Вне себя от восторга он после окончания спектакля бросился к ней. Еще немного – и он напрочь забыл бы далекую и чистую Гиацинту. Однако Каролина оказалась не менее недоступной, чем та. Рядом с ней был жених, очень милый человек, композитор Анри де Руо-Моншаль, они вот-вот должны

были обвенчаться. Совершенно ни к чему было вносить разлад в жизнь этой чудесной пары. К тому же Ида была начеку и при малейшей опасности выпускала коготки. Каролина и Руо на днях готовились отплыть на Сицилию, где певице предстояло выступить в нескольких спектаклях. Но Александр, продолжая свою исследовательскую экспедицию, как раз на Сицилию и собирался. Почему бы не отправиться всем вместе? Предложение тотчас было принято, и Дюма поспешил нанять *speronare* – большую лодку, которой правили десять матросов. Отплытие было намечено на 23 августа. Но Ида в последнюю минуту отказалась плыть: испугалась морской болезни. Александр, очень довольный появившейся возможностью ускользнуть из-под ее надзора, заверил Иду в том, что ей и в самом деле будет куда приятнее ждать его в уютной гостинице, чем отправляться в плавание по морю, известному своими штормами. Она тоже без особых сожалений с ним рассталась. Стоя на берегу, Ида махнула платком вслед удалявшейся лодке, и, когда ее фигура скрылась в тумане, Александр вздохнул с облегчением.

Море было спокойным, однако моряки тревожились. Задирая головы и поглядывая на небо, они предсказывали столкновение мистраля и сирокко. Вскоре небо заволокло тучами, налетел шквал, полил дождь, лодка закачалась на волнах, опасно накреняясь. Александр, Жаден, Руо и Каролина укрылись под импровизированным навесом, натянутым для пассажиров. Однако через несколько минут Руо выскочил на палубу – его сильно укачало. Тем временем огромная волна подняла лодку, от толчка Каролина съехала со своего матраса и соскользнула на лежавший вплотную к нему матрас Александра. Она дрожала от страха, и Дюма ее обнял. Прижавшись к этой крепкой мужской груди, она с ужасом и восторгом отдалась блаженному ощущению: наконец-то она почувствовала себя под надежной защитой. Воспользовавшись этим, он наспех, но доходчиво дал ей понять, какое сильное желание она у него возбуждает. Шторм не прекращался всю ночь. Руо не показывался. Рано утром наступило затишье, и Руо, смертельно бледный, спустился в каюту и повалился на матрас, чтобы немного отдохнуть. Измученный и разбитый, он быстро задремал, а Каролина с Александром вышли на палубу. Ниспосланная провидением гроза помогла им осознать их любовь. Тесно прижавшись друг к другу, они обменивались клятвами и делились планами. Каролине, неспособной обманывать человека, к которому она относилась с уважением, оказалось достаточно нескольких часов для того, чтобы решиться во всем признаться Руо, разорвать помолвку, отослать несчастного, отвергнутого жениха обратно в Неаполь, а самой

отправиться петь в Палермо и ждать в этом благословенном городе Александра, который присоединится к ней, закончив свою поездку по Сицилии.

Лодка причалила в порту Мессины, там влюбленные и расстались. Предоставив суденышку продолжать свой путь до Палермо, Дюма с Жаденом оседлали мулов и отправились исследовать остров. Они взобрались на Этну, осмотрели развалины Сиракуз и Агригента. Воспоминания о Каролине повсюду преследовали Александра, ее образ неотступно стоял у него перед глазами. Он представлял ее на фоне этих древних камней. Ему казалось, будто он вдыхает аромат ее духов, пробившийся сквозь запах выжженной солнцем травы. Подгоняемый нетерпением, он мчался без остановок и добрался до Палермо совершенно измученный. Первым делом поспешил в гостиницу «Четырех Народов», где остановилась она, но никого там не застал. Каролина была в театре, на репетиции. Александр устремился туда – и вот наконец она перед ним! Едва завидев его издали, Каролина закричала: «Я свободна! свободна!» – и кинулась ему на шею. Руо вернулся в Неаполь. Он все понял и смирился. Больше никто и ничто не сможет разлучить Каролину и Александра. Целых три дня они не могли друг от друга оторваться, словно изголодались за время разлуки и теперь старались насытиться, упиваясь близостью тел, смешивая дыхание и угадывая самые тайные мысли. Само собой подразумевалось, что они вступят в церковный брак. В часовне Сент-Розали, стоявшей над Палермо, они поклялись обвенчаться.

Но Александру пора было уезжать: даты «научной экспедиции» были строго определены заранее, взятые им на себя перед этой поездкой обязательства – священны. А Каролина не могла поехать с ним, поскольку была связана контрактом и должна была спеть еще несколько спектаклей в городской опере. И влюбленные расстались, обливаясь слезами и обмениваясь поцелуями и клятвами. Лодка уже ждала у причала. Александр сел в нее с таким видом, словно его вели на эшафот. Но стоило судну выйти из порта, как ветер стих, паруса бессильно повисли. Кругом расстилалось зеркально гладкое море – казалось, сами стихии препятствуют отъезду безутешного любовника, вся природа объединилась с Каролиной в стремлении его удержать! Наступила ночь, тихая и звездная. Александр уснул под полотняным навесом, а всего в нескольких кабельтовых от него, на сцене палермского оперного театра, Каролина в это время пела божественно прекрасную арию Нормы.

Проснувшись на рассвете, он подошел к борту и не поверил собственным глазам: от берега на веслах приближалась лодка, и в

ней сидела Каролина! Воспользовавшись тем, что *speronare* из-за мертвого штиля не может сдвинуться с места, она поспешила к Александру, чтобы напоследок еще раз обнять его перед разлукой. Поднявшись на борт, она раздала матросам бутылки с вином и ломти холодного мяса, пела для них, пока за ее спиной занимался сияющий день. Но Александру не терпелось, он потащил Каролину вниз, в каюту, и опустил полог. Пока команда пировала, они предавались любви. Правда, им недолго удалось побыть вместе, вскоре снова пришлось расстаться: поднялся ветер, теперь судно могло выйти в открытое море. Каролина снова села в лодку и с мольбой простерла руки к *speronare*, уносившему ее Александра. Стоя на палубе, сложив ладони рупором, он заорал во все горло: «Я люблю тебя, ты прекрасна! Ты прекрасна, и я люблю тебя!» При этом ему самому казалось, будто он стоит на сцене и все в его существовании неестественно, все ненастоящее: и этот морской пейзаж, и его собственный отчаянный крик, а может быть, даже и его чувства. Он уже понимал, не решаясь себе самому в этом признаться, что никогда не женится на Каролине, несмотря на свое обещание, и что любовные письма, которые она станет ему писать, ничего здесь не изменят. Ида, и пальцем ради этого не пошевелив, удержит его при себе одной только – тупой и упрямой – силой привычки. Она-то по крайней мере, думал Александр, не станет требовать, чтобы он на ней женился. Для такого непостоянного человека, каким был он, одно это уже служило залогом безопасности и спокойствия.

Судно направлялось к Липари. Во время плавания Жаден рисовал, Дюма делал записи в дневнике. Из-за непогоды хозяину судна пришлось бросить якорь в Сан Джованни, на Калабрийском побережье Мессинского пролива. Команда и пассажиры сошли на берег и на несколько дней поселились в импровизированных палатках. Александр воспользовался недолгой остановкой для того, чтобы набросать основу драмы, предназначенной для театра «Порт-Сен-Мартен», – «Поль Джонс». Удовольствие, которое он испытал, вновь погрузившись в работу, он сам счел признаком душевного выздоровления, видел в этом оправдание всей своей жизни, подтверждение правильности выбранного пути: никакая женщина никогда не заставит его отложить перо. Он родился столько же для того, чтобы писать, сколько и для того, чтобы предаваться любви.

Шторм не утихал, и Дюма, не желая отправляться в опасное плавание, решил вместе с Жаденом продолжить путь по суше, верхом на мулах и в сопровождении опытных проводников. Путь оказался долгим и трудным, пришлось пробираться каменистыми

тропами, проезжать через глухие заросли – просто чудо, что на них ни разу не напали разбойники, что их не ограбили! Они снова поднялись на борт в Косенце, городе, на три четверти разрушенном недавним землетрясением, снова ненадолго вышли в море, – и вот наконец у них под ногами твердая почва, они окончательно высадились на сушу! За время путешествия Дюма и его спутники подружились с моряками и, перед тем как расстаться, славно посидели и немало выпили. И вот *coppicolo* уже везет участников экспедиции в Помпеи и Геркуланум. До Неаполя они доберутся только к началу ноября.

Ида встретила Александра сияющая, уверенная в себе, неизменная. Ему с трудом удалось ненадолго ускользнуть от нее, чтобы тайком получить письма, которые Каролина под условными именами посылала ему до востребования, и прочесть их. Эти письма, в которых все явственнее звучала жалобная нота, наполнили его душу и счастьем, и тревогой. «Разлука непереносима […] Я от всего сердца молилась, просила, обливаясь слезами: „Господи, сделай так, чтобы он любил меня, чтобы он ко мне вернулся и чтобы я была достойна его любви“», – пишет Каролина. И снова и снова жалуется: «Мне так плохо по ночам, постоянно снятся печальные сны. Когда я получу письмо от тебя из Неаполя, когда это письмо даст мне новое и самое верное доказательство твоей любви, тогда, может быть, меня меньше станут преследовать мои видения, не так сильно будет терзать страх». Она прислала ему свой портрет со словами: «Я испытываю все, что есть в любви самого высокого и святого, и, если ты меня забудешь, я не смогу дальше жить». Эти страстные признания, поначалу трогавшие Александра, внезапно стали казаться ему проявлениями экзальтации, граничащей с тиранией. Влюбленная женщина – это прекрасно, но, когда она утрачивает чувство меры и переходит все границы, надо от нее скорее бежать, дабы не попасть в рабство. Александр предпочел бы расстаться без шума, дать отношениям постепенно угаснуть. Ида, догадавшаяся о том, что тут что-то неладно, от нее что-то скрывают, донимала его вопросами. Он не смел признаться ей в том, что так долго и безумно ей изменял, не решался и отвечать на письма Каролины, чтобы невольно не разжечь ее пыл. В глубине души он хотел бы сохранить нетронутым воспоминание о счастливых днях на Сицилии и боялся, как бы Каролина не испортила все, снова и снова возвращаясь к планам на будущее, которым, увы, не суждено было осуществиться. Разве не лучший способ запечатлеть навеки неизменным образ женщины – удалиться от Каролины и хранить молчание? «Что я могу сказать о Палермо? – напишет он в „Любовном приключении“. – Палермо

– это земной рай, и да пребудет с ним благословение поэтов!»

Словно для того, чтобы оживить в памяти образ далекой Каролины, он разыскал в Неаполе человека, чье место рядом с ней занимал еще так недавно, композитора Руо. Бывший жених Каролины написал оперу «Лара», премьера которой должна была состояться на днях в театре Сан-Карло. Королевская семья обещала на ней присутствовать. Руо было очень не по себе. О своей любовной неудаче он напрочь позабыл, и единственное, что сейчас его занимало, – предстоявшее испытание. Александр относился к нему с сочувствием, подкрепленным смутным раскаянием. Впрочем, думал он, Руо не может не испытывать к нему признательности за то, что он, Дюма, похитил у него Каролину. Самые лучшие дружеские отношения, на его взгляд, рождались именно из благодарности подобного рода. Руо оценил и его поддержку, и его знание театра, которым Александр щедро делился.

Наконец настал вечер премьеры. Публика, по обычаю, ждала, чтобы король подал знак – только после этого она могла выразить свое восхищение, только после этого можно было начинать аплодировать. Однако король в это время был чем-то озабочен, думал о другом и даже не смотрел на сцену. Зрителям, скованным требованиями сурового этикета, приходилось сидеть молча и без движения, несмотря на переполнявший их восторг. Руо, совершенно уверенный в том, что его опера провалилась, убежал, чтобы скрыть от всех свой позор. Однако к концу третьего акта государь внезапно вспомнил о том, что находится в театре, и соизволил несколько раз хлопнуть в свои августейшие ладоши. Зал, только этого и ждавший, неистово завопил «браво!». С трудом отыскали автора. Он вышел на сцену, от радости себя не помня, и слушал, как сотни глоток выкрикивают его имя. Александр искренне радовался успеху Руо. Ему казалось, что по отношению к этому человеку ему больше не в чем себя упрекнуть.

Да, но как же все-таки быть с Каролиной? Может ли он и здесь сказать, что совесть его чиста? Внезапно он утратил прежнюю безмятежную уверенность в том, что хорошо с ней обошелся. И подумал, что, как бы ни сложилась их дальнейшая судьба, он должен с ней объясниться. Нарушив молчание, он написал ей длинное и рассудительное письмо. Заверив для начала в том, что напрасно она расстраивается из-за его отношений с Идой, затем с удивлением спросил, как она может в разлуке с ним позволять многочисленным поклонникам за ней увиваться, и дошел даже до того, что предложил ей «прервать с ними отношения». Такое поведение объяснялось очень просто: Дюма считал, что для мужчины наилучший способ убедить

женщину в том, что он искренне ее любит, – это проявить ревность. Однако Каролина сделала из этого слишком искусно составленного письма только один, сам собой напрашивающийся вывод: Александр по-прежнему живет с Идой, тогда как она сама ведет себя безупречно по отношению к нему. «Неужели ты думаешь, что у меня так много *отношений, которые надо прерывать*? – ответила она. – Господи, да разумеется, у меня нет ничего похожего на то, что происходит у тебя, и в дружбе я очень разборчива; кроме тебя, мне в целом свете никто не нужен. […] Ты пугаешь меня, когда говоришь, что, может быть, еще долгое время не сможешь с ней порвать. […] Если ты меня любишь, разве не должен ты с ней проститься и приехать к своей жене? Если ты этого не делаешь, значит, ты меня не любишь, и тогда лучше умереть». Это печальное послание датировано 19 ноября. Каролина написала его перед тем, как покинуть Палермо, – ее пригласили петь в Венеции, в театре «Ла Фениче». Уже на следующий день, 20 ноября, она вновь взялась за перо, на этот раз – для того, чтобы нарисовать Александру картину безоблачного счастья, которое они узнают годом позже, когда поженятся и поселятся в красивом доме во Флоренции. «Как видишь, я осмелела до того, что решаюсь строить планы. Но если бы ты знал, как я боюсь, что мое нынешнее и будущее счастье – всего лишь сон, как я весь день себя убеждаю и в конце концов говорю себе: „Ты с ума сошла, *это правда, он тебя любит*, это твой муж!“ – и тогда восклицаю: „Господи, это слишком большое счастье!“»

Пока она таким образом упивалась своими несбыточными мечтами, Александра по доносу арестовала неаполитанская полиция. Власти обвиняли его в том, что он въехал в королевство, воспользовавшись подложными документами. Он был пойман с поличным, и отпираться было бессмысленно. Однако Жаден обратился к временно исполняющему обязанности дипломатического представителя Франции графу де Беарну, и «господина Дюма» отпустили, взяв с него слово, что он в двадцать четыре часа покинет город. Он не заставил себя уговаривать и поспешил убраться, как всегда – в сопровождении Иды и Жадена. Вскоре тряский дилижанс уносил троицу, клевавшую носом после стольких волнений.

Теперь они направлялись в Рим. Но что же их туда влекло? Оказывается, у Александра были грандиозные планы: он хотел встретиться с папой. Светоч христианства встречается с литературным светилом! Разве эта картина не достойна того, чтобы весь мир, затаив дыхание, ею любовался? Назавтра же по приезде Дюма начал хлопотать об этом. Огюст де Таллене,

первый секретарь при папском престоле, добился для него аудиенции. Григорий XVI принял писателя. Его святейшество был облачен в длинные снежно-белые одежды, на голове – белая камилавка. Александр, хотя и готовился к этой важной встрече, при виде святейшего папы испытал такое чувство, будто очутился в преддверии небесного мира. Упав на колени перед папой, он потянулся поцеловать его шитую золотом красную туфлю, но тот протянул ему руку и с улыбкой попросил встать. Затем, усадив гостя напротив себя, принялся деликатно и дипломатично расспрашивать его о том, с какой целью он предпринял эту поездку. Разговор получился несколько бессвязный, собеседники то и дело перескакивали с одного на другое, поговорили и о Шатобриане, и о Луи-Филиппе, и об удивительной самоотверженности католических миссионеров в самых отдаленных странах, и о благодетельном воздействии религии на ход мировой истории. Внезапно его святейшество, резко сменив тему, спросил у Александра, о чем будет его следующая пьеса, и тот без колебаний ответил, что следующей его пьесой будет «Калигула». Григорий XVI, казалось, был удивлен и даже несколько недоволен тем интересом, какой французский писатель проявил к этому чудовищу, проклятому историками и духовными лицами. Тем не менее он подарил Дюма несколько простых четок, сделанных из оливковых косточек, и сказал, что эти оливки были сорваны в Гефсиманском саду.

Александр был очень взволнован этим душеспасительным разговором. Он во всех подробностях пересказал его Иде и горел желанием разделить с ней ясное и благородное наставление, которое получил сам. А вот другую новость, хотя в его глазах она была не менее важной, чем папская аудиенция, он от нее скрыл: Каролина известила его о том, что по дороге в Венецию заедет в Рим. Надо было как можно скорее все устроить, чтобы тайно с ней свидеться, но он знал толк в подобных уловках. Свидание состоялось в назначенный день, в назначенный час в гостиничном номере, и ни у кого не возникло ни малейших подозрений. Вновь испытав в объятиях Каролины то же упоительное блаженство, какое познал в Палермо, Александр не решался развеять ее иллюзии насчет будущего их союза. Он был слишком счастлив благодаря лжи, чтобы не хотеть продлить это как можно дольше. По обыкновению своему он отказывался задумываться о будущем, чтобы как можно полнее насладиться настоящим. Между двумя поцелуями он пообещал Каролине, что через несколько дней приедет к ней в Венецию, и она уехала спокойная и довольная. А он тотчас задумался, не слишком ли легкомысленно было ей это пообещать. Он все еще обдумывал наилучший способ выбраться

из этой запутанной ситуации, когда два карабинера схватили его за шиворот. Ему было приказано немедленно покинуть город и больше никогда там не появляться, не то его ждут пять лет каторжных работ. Его присутствие в Италии явно кому-то мешало! Может быть, дело в том, что за ним по пятам следовала его репутация французского республиканца? Или его святейшество на свой лад проявил недовольство тем, что он намерен писать «Калигулу»? Александр негодовал, возмущался, твердил, что ни в чем не виновен, упирал на то, что он – драматург, известный не только во Франции, но и за ее пределами. Напрасно старался: все равно пришлось складывать чемоданы!

Трое путешественников добрались до Перуджи, оттуда отправились во Флоренцию. Каролина, все еще дожидавшаяся Александра в городе дожей, простодушно писала ему: «Видишь ли, я совершенно уверена в том, что в Венеции ты будешь куда больше любить меня: царящая здесь тишина, которую нарушает лишь пение гондольеров, – это как раз по тебе». Она томилась в одиночестве, и в те часы, когда у нее не было репетиций в опере, ей только и оставалось, что мечтать, бродя в зимнем тумане по берегам замерзших каналов, а ее Александра, напрочь позабывшего о том, что поклялся как можно скорее к ней приехать, обвенчаться и до конца своих дней наслаждаться безмятежной и безупречной супружеской любовью, чем дальше, тем больше тянуло в Париж. Работа, слава, деньги, яркие огни, сплетни, мимолетные связи, дружба, вражда, похвалы и нападки – только там все это обретало истинный смысл, только там можно было жить в полную силу. Пребывание в Италии было для него всего лишь приятной интермедией. Если он хочет продолжать быть писателем, ему надо побыстрее вернуться во Францию. Охваченный нетерпением, он тормошил «участников научной экспедиции», уговаривая их поторопиться с возвращением на родину.

Обратный путь они проделали быстро и без всяких приключений и оказались в Париже как раз вовремя, чтобы поспеть к новогодним праздникам. Как бы то ни было, решил Александр, а Каролине надо хотя бы послать записку, сообщить о своем возвращении в столицу, это он должен сделать непременно. Сам толком не понимая, зачем, то ли из жалости, то ли из вежливости, он снова заверил ее в том, что постоянно о ней думает. Неужели она приняла всерьез эту пустую любезность? Во всяком случае, Каролина ответила ему, что ждет его со жгучим нетерпением и вьет гнездышко, в котором расцветет их счастье: «О, ты увидишь, тебе не придется жаловаться; я постараюсь моей

любовью и заботой, какими окружит тебя любящая женушка, добиться того, чтобы ты благословил тот день, когда дал мне слово». Опасаясь, как бы ее заблуждения не дошли до полного безрассудства, он начал потихоньку лишать ее иллюзий, готовить к разочарованию, сказав, что, вероятно, еще долго не сможет приехать в Венецию. Она немедленно принялась возмущаться и всю вину за эту резкую перемену намерений свалила на мерзкую Иду.

«Ты говоришь мне, – пишет она, – что не сможешь приехать в Венецию, потому что, хотя твои пьесы до апреля и не будут поставлены на сцене, но с мадемуазель Идой все затянется до марта. Затем она останется в Париже без ангажемента, и ты станешь ее содержать. Во всем этом меня интересуют не деньги, я боюсь, как бы тебе *самому не пришлось расплачиваться*. Еще три слова: Париж – развлечения – Ида; как могут рядом с этим удержаться воспоминания о святой и о женщине, которая, на беду свою, стремится к законному союзу?»

Между делом Александр ненадолго наведался в Руан, должно быть, ради того, чтобы увидеться с неприступной Гиацинтой. Каролине он об этом сообщил лишь задним числом. Это было тяжким преступлением против любви. Каролина сочла себя оскорбленной, отвергнутой, забытой: «Почти месяц прошел с тех пор, как вы в последний раз брали в руки перо, чтобы после своего возвращения из Руана черкнуть мне пару строчек. […] У меня больше не остается сомнений в том, что я была весьма предусмотрительна, когда предоставила вам свободу располагать моим будущим, поскольку теперь вы не увидите моего горя и сможете сказать: „Я был искренним!“ Однако я предпочла бы два слова от вас тому молчанию, которое прекрасно мне все объясняет, но вместе с тем длит мои муки от одной почты до другой. Я твердо решила не тревожить вас, писать вам лишь в ответ на ваши письма, но сегодня утром я не в состоянии сдержать слово, мое бедное сердце переполнено, впрочем, я и не хочу скрывать от вас, что *я вас понимаю*, что я смогла сказать себе: „Он меня разлюбил!“ И вы не сможете убедить меня в обратном, поскольку не существует никакой причины, которая оправдывала бы это затянувшееся молчание. […] Пользуйтесь же снова свободой. […] Я навсегда останусь для вас лучшей подругой. Я не забуду о том, что вы открыли мне двери рая – я видела его, я не могу в нем жить, я хочу только одного – чтобы вы были счастливы, так что пусть будет по-вашему».[64]

Стало быть, она наконец смирилась с тем, что разрыв совершился, и Александр с облегчением перевернул страницу. Истинного охотника можно распознать по тому, что он полон

сочувствия и даже любви к только что убитой им дичи; человек с добрым сердцем, избавившись от женщины слишком требовательной, занимавшей в его жизни слишком много места, испытывает такую же нежность к той, которую ему пришлось принести в жертву ради того, чтобы не поступиться собственной независимостью. Оглядываясь на свое прошлое, Александр видел ряд милых лиц, перебирал в памяти имена: Лор, Мелани, Белль, Мари, Гиацинта, Каролина. Еще какие-то мимолетные незнакомки… И, наконец, Ида. Все они задевали его чувственность, ни одна не затронула души. Может быть, он был слишком увлечен играми сочинительства и потому не мог безраздельно предаться играм любви? Может быть, притворство, неизбежное в театре, теперь правит и его жизнью? Он получает удовольствие только тогда, когда пускает пыль в глаза, провоцирует, его стихия – перемены, мистификации, уловки и обманы. Ида поняла это лучше всех прочих. Вот потому-то, при всех своих недостатках, она с каждым днем все прочнее его завоевывала. Уже не первый год она использовала его, как и он использовал ее, обходясь без высоких чувств и громких слов. С ней он знал, что одинок, но никогда его одиночество не бывает полным, что он может, когда ему захочется, отдалиться от нее, забыть о ней, оставить ее, устав от бесконечных ссор, но что она окажется рядом, когда ему понадобится, чтобы кто-то его выслушал, когда захочется склонить голову на чью-то грудь. Так с какой же стати ему менять коней на переправе?

Глава V
Невнятные битвы

Жизнь луи-филипповского Парижа, в котором Александр не был полгода и куда только что вернулся, показалась ему замедленной, упорядоченной и скучной. Республиканцы, уставшие попусту надрывать глотки, безмолвствовали, пристыженные легитимисты после жалкого завершения героической эпопеи герцогини де Берри тоже поутихли, буржуазия пустилась в бессовестные финансовые спекуляции, рабочие, как и прежде, голодали, прозябая в нищете и грязи, а пресса, которой заткнули рот, уже не решалась поднимать голос против правительства и довольствовалась тем, что изничтожала кое-каких известных писателей, в том числе и перебежчика Дюма, по мнению газет, совершенно исписавшегося, а возможно, и переставшего не только писать, но и существовать. Последний немедленно решил хлестким опровержением пресечь их обвинения в бессилии; он привез в своей дорожной котомке достаточно припасов для того, чтобы заткнуть рты всем тем, кто посмеет в нем усомниться: две пьесы, роман, множество зарисовок с натуры. Но больше всего, намереваясь поправить свои дела, он рассчитывал на театр. Арель уже получил «Дон Жуана де Маранья», посланного ему Александром из Тулона. Больше того – Иду уже пригласили на главную женскую роль. С другой стороны, Фредерик Лемэтр передал Дюма рукопись драмы «Кин»: ее авторы, Теолон и Курси, не справились с богатейшим материалом. Александру достаточно было пробежать глазами несколько страниц, чтобы почувствовать душевное и духовное родство с прославленным английским актером, давшим свое имя пьесе: несдержанный, склонный к крайностям, пылкий и непредсказуемый человек, притягивающий и ранящий женщин своим обаянием. Ни малейшего сомнения в том, что Фредерик Лемэтр рожден для того, чтобы воплотить на сцене это неистовое создание, а Дюма – для того, чтобы наделить его даром речи. Загоревшись этим проектом, Александр изменил первоначальный замысел, усилил комедийное начало и позволил себе удовольствие кое-где вложить в уста актера свирепое обличение невежества и продажности критиков.

Пока Дюма доводил до совершенства свой собственный вариант пьесы «Кин, или Гений и беспутство», другая его пьеса, «Дон Жуан де Маранья», была поставлена на сцене театра «Порт-Сен-Мартен». Диалоги оттеняла приятная музыка Луи Александра

Пиччини, модного в то время композитора. Спектакль, несмотря на украсившие его мелодии, с треском провалился. На самом деле зрители были разочарованы не столько содержанием пьесы, сколько самим представлением. Смех и свистки раздавались в зале всякий раз, как на сцене появлялась Ида, дородная и важная матрона, которая должна была воплощать собой «ангела» невинности. Мелкие газеты злобно нападали на автора и его «протеже». Видя такое единодушное непризнание, Александр начал тревожиться, не помог ли он рыть собственную могилу, думая, что возводит для себя пьедестал. «Меня считали не просто отжившим, – напишет он позже, – а умершим». Ареля тоже сильно задел этот сокрушительный провал. Несмотря на то что он уже принял другую пьесу Дюма, «Поль Джонс», он из осторожности решил пока ее не ставить. Впрочем, и сам Александр признавал, что это не лучшее его произведение.

К счастью, если театр и отвернулся от Дюма, журналистика встретила его с распростертыми объятиями. Эмиль де Жирарден только что основал новую газету под названием «La Presse», с большим тиражом и весьма умеренной ценой. Он предложил Александру давать в нее рецензии на самые интересные спектакли Французского театра и «Порт-Сен-Мартен», а кроме того, в каждом утреннем воскресном выпуске автор сможет помещать большую статью, в которой расскажет о главных событиях в истории Франции начиная с царствования Филиппа Валуа. Условия: один франк за строчку рецензии, строчка воскресной статьи – франк двадцать пять сантимов, и статьи эти должны были быть одновременно «поучительными и развлекательными». Александр радостно потирал руки: конечно, это коммерческое соглашение обеспечивало верный кусок хлеба, что само по себе хорошо, но в то же время, что было куда важнее, дарило ему неисчерпаемый источник вдохновения: историческая статья! Настоящая золотая жила для того, кто умеет ловко использовать ее разнообразие. Он усердно принялся строчить одну статью за другой, и в его текстах фантазия и знание то и дело обменивались масками. Должно быть, он перестарался, потому что вскоре успех газеты стал раздражать конкурирующие издания, которые объединились в дружном обличении литературного убожества и недостатка информации, свойственных этой газетенке, которая и не скрывает, что превыше всего ставит выгоду. «Le Bon Sens» и каррелевский «Natiional» ополчились против Эмиля де Жирардена, главного редактора «La Presse», считая его спекулянтом, торгашом, прохвостом, жуликом, проходимцем, тайно поддерживающим пресловутые Сентябрьские законы, препятствующие честному распространению известий

среди читателей. После обмена оскорблениями 22 июля в Венсеннском лесу состоялся поединок – Жирарден стрелялся с Каррелем. Во время дуэли Жирарден был легко ранен в ногу, Каррель же после выстрела противника рухнул наземь – пуля вошла ему в пах, и рана оказалась смертельной. Пока этот борец за эгалитарные идеалы агонизировал, все его друзья громогласно высказывали свою ненависть к «убийце». Умирающий, верный своим агностическим убеждениям, отказался позвать священника, потребовал гражданского погребения и испустил последний вздох, шепча слова «Франция» и «республика».

Молчаливая толпа проводила на кладбище останки героя. К похоронной процессии присоединились Араго, Беранже и даже Шатобриан. Среди прочих за гробом покорно брел и Александр, опустив голову и не зная, как себя вести. Его раздирали противоречия. С одной стороны, ему, как поборнику либеральных идей, следовало оплакивать покойного, с которым он был достаточно близок, с другой – в качестве сотрудника газеты он не мог чернить ее главного редактора, своего «работодателя», щедрого и толкового Эмиля де Жирардена. Требования чести предписывали ему отказаться от сотрудничества, корысть нашептывала, что на этот раз можно и пренебречь собственными принципами. Вот не думал, что ему придется решать вопрос совести такого рода. В редакции ждали его решения. Конкурирующие издания уже объявили, что он намерен расторгнуть договор с Жирарденом. Он еще несколько часов поколебался, затем, с тяжелым сердцем, вернулся к работе, которая его кормила. И 28 июля 1836 года газета Эмиля де Жирардена с гордостью смогла объявить: «Господин Александр Дюма в ближайшее время пришлет нам новые исторические статьи, которые он обязался поставлять нам четыре раза в месяц».

Описывая по-своему выдающихся персонажей прошлого, Александр в той же газете выносил приговор спектаклям, шедшим в этом сезоне. Несравненное удовольствие – хаять собратьев, когда они того заслуживают, после того как тебя самого охаяли совершенно незаслуженно! Воспользовавшись случаем, он высказывал свою точку зрения на современный театр, на будущее народной драмы, на превратности трагедии. Этот беспристрастный анализ чужих талантов почти что помимо его воли удерживал его, не давал отдалиться от происходящего на сцене и закулисных перешептываний. Впрочем, он никогда и не думал отказываться от своего призвания драматурга. Фредерик Лемэтр репетировал «Кина» в «Варьете». Премьера состоялась 31 августа 1836 года. Успех пришел мгновенно. Зрители и пресса – все были в восторге. Но кому они аплодировали? Фредерику

Леметру или Александру Дюма? Не все ли равно! Главное – что триумф «Кина» заставит забыть о провале «Дон Жуана». На каких же чудесных качелях нас раскачивает жизнь! Еще вчера ты летел к земле, а сегодня взмываешь под облака. Никогда не надо признавать себя побежденным – только так и можно взять реванш, лучше способа не придумать. Александр уверял, что это правило перешло к нему от отца. И о чем ему тревожиться назавтра после премьеры «Кина», его-то врасплох не застанешь, он знает множество путей, ведущих к цели. Драматург, историк, романист, критик – все-то он умеет, все знает, и все у него получается!

Дома Ида надежно взяла в свои руки бразды правления. Она прекрасно вела хозяйство, гостеприимно встречала друзей, явно отдавая предпочтение «светским людям», но по-прежнему упрекала Александра в том, что он гоняется за каждой юбкой, и надоедала ему просьбами пристроить ее в «Комеди Франсез». Тем не менее с недавних пор у нее в его глазах появилась новая заслуга. Заботясь о том, чтобы сделать их связь как можно более прочной, она взяла в дом дочку Александра и Белль, маленькую Мари-Александрину, которой к тому времени пошел седьмой год. Девочка была совершенно непривлекательна внешне, несмотря на свои чудесные черные волосы и голубые глаза, похожие на отцовские. После того как ее долгие месяцы перекидывали от одной няньки к другой, она была беспредельно счастлива оказаться в тепле, в настоящей семье, где хозяйничала пышнотелая дама, которая осыпала ее ласками и закармливала всякими лакомствами. Занимаясь девочкой, балуя ее, Ида одновременно удовлетворяла и долгое время подавляемую потребность в материнстве, и желание распоряжаться жизнью близких. Но если от Мари-Александрины она могла добиться чего угодно, то любые ее попытки руководить воспитанием сына Лор Лабе, двенадцатилетнего Александра-младшего, наталкивались на глухое сопротивление. Так же страстно, как восхищался отцом, его ростом, силой, умом и жизнерадостностью, мальчик ненавидел назойливую подругу, которую тот себе выбрал. Ида страдала одновременно и оттого, что паршивый мальчишка нескрываемо ее презирает, и оттого, что видела, как он млеет от восторга перед «великим Дюма», который не упускал случая покрасоваться перед сыном, чтобы окончательно его покорить.

Впрочем, на самом деле, если она и ревновала немного Александра к его сыну, куда сильнее ее тревожил интерес, который он проявлял к своим чрезмерно навязчивым поклонницам. В конце 1836 года, узнав, что его бывшая любовница Виржини Бурбье вернулась из Санкт-Петербурга и

привезла ему роскошный халат и упаковку турецкого табака неизвестного во Франции сорта, Ида отобрала подарки, из халата выкроила себе жакет, а восточный, тонко благоухающий табак заменила самым обычным, дешевым, от которого начинал кашлять и плеваться всякий, кто пробовал вдохнуть его дым. Эти меры притеснения сопровождались таким потоком проклятий, что Александр начал подумывать, не лучше ли ему собрать свои пожитки и куда-нибудь переселиться.

На его счастье, 18 сентября ему внезапно представился случай переменить обстановку: его на две недели посадили в тюрьму Фоссе-Сен-Бернар. Поводом к аресту стали многочисленные пропуски строевых занятий Национальной гвардии. В тюрьме он развлекался сочинительством – написал «Злоключения национального гвардейца» и несколько злобных памфлетов, направленных против профессиональных критиков, которые его чем-нибудь обидели, – и принимал гостей, в том числе Иду, наконец-то проявившую к нему милосердие и навестившую его в заточении, и Виржини Бурбье, к которой снова воспылал нежными чувствами. Поскольку та со вздохом сообщила ему, что вскоре должна снова уехать в Санкт-Петербург, он всерьез вознамерился ее сопровождать, если не в Россию, то хотя бы до Гамбурга, где они могли бы приятно провести время. Однако Жерар де Нерваль отвлек его от этого фантастического проекта, предложив совместно написать либретто оперы «Пикилло», музыку для которой должен был сочинить композитор Ипполит Монпу. В главной роли должна была выступать Женни Колон, в которую Жерар де Нерваль был влюблен до беспамятства и без всякой взаимности. Александр пришел в полный восторг от того, что может сочинять за тюремными стенами поэтическое произведение, и согласился заняться «Пикилло», позабыв о Виржини. В течение двух недель они с Жераром, запершись вдвоем, изощрялись, трудясь над историей, которая ни тому, ни другому по-настоящему не нравилась. Как бы то ни было, благодаря ей они провели немало чудесных часов, полных дружбы и веселья. Опера, поставленная годом позже, имела, по словам Дюма, «умеренный успех».

Едва выйдя из тюрьмы, Александр снова угодил в лапы Иды. Она была упорной, а он изо всех сил старался быть терпеливым. Бесконечными угрозами и мольбами она добилась того, что он выставил непременным условием, при котором соглашался отдать новую пьесу во Французский театр, официальное вступление его любовницы в труппу. Филоклес Ренье, временно руководивший театром, уступил его требованиям, и с Идой был заключен контракт на полгода, что сделало ее на несколько дней

чуть более снисходительной к слишком увлекавшемуся любовнику. Впрочем, Виржини Бурбье снова уехала в Санкт-Петербург, никакие новые соперницы пока на горизонте не показывались, а Александр был полностью поглощен своими распрями с прессой. Отвратительный Жюль Леконт, спекулянт, лгун и мошенник, которому он «врезал» по окончании своей поездки на юг, только что опубликовал в Бельгии под псевдонимом граф Ван Анжельгом «Записку о французских писателях», в которой изрядно потрепал Дюма. Эту обличительную речь немедленно перепечатал во Франции Балатье, главный редактор «Cabinet de lecture». Некоторые писатели, в том числе и Альфонс Карр, также подвергшиеся нападкам и шельмованию в этой статье, намеревались вызвать Балатье на поединок. Дюма, хотя и был весьма щепетилен в вопросах чести, предпочел на низкую месть неудачника ответить презрением. Возможно, он узнал, что в начале того же, 1837 года русский поэт Александр Пушкин был убит на дуэли молодым французом, Жоржем Геккереном д'Антесом, служившим в русской императорской гвардии.[65] Говорили, что убитый, почти неизвестный во Франции, но прославленный у себя на родине, был африканского происхождения. В его жилах текла та же кровь, что и у Дюма, он носил то же имя. Простое совпадение или предзнаменование? Слишком глупо будет, думал Александр, если его постигнет та же участь, что и этого Пушкина, по вине совершеннейшего ничтожества!

Понемногу волнения, вызванные подлой выходкой Жюля Леконта, улеглись, дело закончилось без кровопролития, и Александр вернулся к своим планам: написать «Калигулу», который способен был бы соперничать с «Гамлетом» или «Макбетом». Теперь он задумал соединить смешное с ужасным и отвести главную роль в пьесе знаменитому коню, которого император решил сделать консулом, чтобы показать всем, насколько велика его власть. В цирке Франкони в то время как раз был ученый конь, которого звали Адольф. Как хорошо было бы вывести его на подмостки, чтобы воочию показать безумие его хозяина, как это привлекло бы внимание к пьесе! Но Дюма не повезло, его постигло разочарование: десять дней спустя Адольф сломал ногу во время выступления, и его пришлось пристрелить! Однако Александр не слишком был огорчен гибелью коня. К этому времени он осознал, что появление коня на сцене Французского театра могло превратить всю пьесу в буффонаду или цирковое представление. А ведь «Калигула», по его замыслу, – серьезное произведение, драма романтическая и классическая одновременно, раскаты звучного александрийского

стиха, «Шекспир, переписанный Расином», – одним словом, откровение, которое вознесет имя автора на такую высоту, с какой уже ни один критик не сможет его сбросить. Ида суетилась у него за спиной. Ей тем более не терпелось, чтобы он поскорее засел за сочинение «Калигулы», что ей была обещана главная женская роль. Но, хотя Александр без конца рассказывал друзьям о своей пьесе, ни одной строчки он пока что не написал. Правда, работает он всегда очень быстро! Дюма обещал, что за несколько недель все будет готово. И уже начал готовить журналистов к возведению на пьедестал той, кому предстояло стать восходящей звездой спектакля. «Дорогой сосед, – пишет он Альфонсу Карру 27 февраля 1837 года, – в пятницу Иду приняли в „Комеди-Франсез“; она должна дебютировать там в начале сентября; окажите любезность – если у вас сохранились какие-нибудь связи в „Корсаре“, пошлите им заметку».

Подготовив таким образом почву, он мог приступить к самому главному: начать писать пьесу, стих за стихом, реплику за репликой. Анисе Буржуа дал ему достаточно вялую основу. Мешанина из безумия, жестокости и распутства. Калигуле и Мессалине, воплощающим собой языческое зло, противостоит чистая христианская девственница Стелла, жертва желаний императора, которая примет мученическую смерть по его приказу. Здесь были все ингредиенты, необходимые для того, чтобы доставить удовольствие любителям сильных ощущений. Потому-то Александр теперь отказывался от многочисленных предложений работать в соавторстве, которыми его осаждали. Арман Дюрантен просил его помочь смастерить какую-то пустячную вещицу, но Дюма высокомерно отклонил его предложение, ответив, что отныне всегда будет писать один: «Я полностью отказался от работы подобного рода, низводящей искусство до ремесла».

Как бы усердно он ни трудился, расписывая излишества, которым предавался Калигула, это нисколько не мешало ему посещать самые блестящие салоны Парижа, чтобы красоваться и болтать без удержу. Впрочем, весь город в то время был охвачен ликованием. Юный Фердинанд, герцог Орлеанский, к которому Дюма издавна относился с почтительной симпатией, только что женился на прелестной Елене Мекленбург-Шверинской. Было объявлено, что по случаю этого радостного события их величества устраивают в Версале парадный обед, за которым последует бал, и что туда будут приглашены наиболее выдающиеся личности Франции. Дюма гордился тем, что попал в число избранных. Тем более что в знак своего восхищения и расположения Фердинанд решил представить его к ордену Почетного легиона. Он должен

был стать кавалером ордена, Гюго же удостоится звания офицера. Чем объяснить подобное распределение наград, почему к двум писателям отнеслись по-разному? Может быть, Гюго пишет лучше, чем Дюма? Ничего нельзя было сказать с уверенностью, да и вообще судить о чем-либо было рано. Александру претил торг, он был бы рад любой награде. Однако Луи-Филипп, который полновластно здесь распоряжался, припомнил, как его бывший сверхштатный служащий некогда имел дерзость подать ему прошение об отставке. Его величество был чрезвычайно злопамятен, а потому сердито вычеркнул имя наглеца из списка представленных к ордену Почетного легиона. Александр, оскорбившись, известил Фердинанда о том, что в таком случае его не будет на версальском празднике. Гюго встал на его сторону и из цеховой солидарности также отослал назад пригласительный билет. Фердинанд, который обоих писателей уважал и обоими восхищался, отправился к отцу в надежде его смягчить. Луи-Филипп нехотя сменил гнев на милость, и вскоре Александр смог поделиться с Гюго радостной новостью: «Мой дорогой Виктор, сегодня утром ваше и мое награждения были подписаны. Мне поручено *неофициально* вам это передать. […] Обнимаю вас».

И тогда же, исполняя просьбу герцога и герцогини Орлеанских, он отправился к Делакруа, чтобы купить у него картину: их высочествам хотелось сделать такой подарок Гюго в благодарность за то, что он прислал им свой последний поэтический сборник «Лучи и Тени». Александр хотел от их имени приобрести у художника «Марино Фальери», великолепное изображение восьмидесятилетнего дожа, выступившего против патрицианского правления в Венеции. Но Делакруа, который готов был уступить эту картину Дюма, ни за что не хотел отдать ее еще в чьи-нибудь руки, пусть даже и герцогские. Ничего страшного, стоит ли об этом говорить – вместо «Марино Фальери» Гюго получит от молодой четы другую картину в знак преклонения перед его талантом и уважения к его монархистским взглядам.

В ожидании начала королевского приема Александр разгуливал по бульварам, выставив напоказ украшавший его манишку огромный сверкающий крест Почетного легиона, окруженный знаками нескольких второстепенных орденов. Эта выставка разнокалиберных наград приводила его в восторг, он любовался собой, он чувствовал себя так, словно превратился в некое подобие ходячего герба. Не от своих ли африканских пращуров он унаследовал эту неумеренную страсть к побрякушкам и мишуре? Вполне возможно, но он нисколько этого не стыдился. Тот, кто пренебрегает мелкими радостями жизни, не

сумеет оценить и крупных.

Наконец настал час праздника. На народном гулянье, устроенном на Марсовом поле, собралась такая толпа, что многих задавили насмерть. Зато версальский прием был просто верхом элегантности и торжественной важности. Дюма и Гюго явились на него, украшенные всеми орденами, в офицерских мундирах Национальной гвардии. В этом избранном обществе не было ни одного человека, который был бы недостоин упоминания в светской хронике. Александр был искренне растроган любезностью короля, простым обхождением Фердинанда и более чем товарищеским расположением Гюго. Он вместе с ним сожалел о том, что многие приглашенные, несмотря на свои громкие имена, оказались неспособны оценить гениальность в чистом виде. После представления «Мизантропа», которым завершился вечер, с мадемуазель Марс в роли Селимены он слышал, как высшие сановники, переговариваясь между собой, удивлялись: «Так вот что такое этот „Мизантроп“! Я-то думал, это забавно!» И для этих-то людей мы пишем! – с горечью осознал Александр.

Когда начало рассветать и праздник закончился, Дюма стоило немалого труда отыскать в столпотворении экипажей ту карету, в которой он прибыл в Версаль. Устроившись на сиденье рядом с Гюго, он вернулся к давним планам: хорошо бы им совместно руководить каким-нибудь крупным театром. Гюго, убаюканный стуком колес, уставший от грома оркестра и разговоров, клевал носом, сонно покачивал головой. Но не возражал.

Тем не менее, вернувшись в Париж, Александр на время отказался от мысли о двуглавом управлении какой-нибудь большой парижской сценой и все свои усилия направил на «Калигулу», стремясь как можно быстрее закончить пьесу. Впрочем, время от времени он позволял себе прервать этот каторжный труд и несколько часов поразвлечься. Так, он согласился принять участие в пикнике, устроенном герцогом Орлеанским поблизости от Компьеня. Веселая компания расположилась пировать на траве. Доктор Паскье под заинтересованными взглядами сотрапезников разрезал фазана, и герцог, тоже взглянув на него, пробормотал: «Подумать только, что эта скотина когда-нибудь разделает и меня точно так же, как разделывает этого фазана!» По его лицу прошла тень. Было ли это предчувствием близкой смерти? Гости неловко засмеялись. Но суеверному Дюма от этой короткой сценки сделалось не по себе.

Впрочем, очень скоро ужасы «Калигулы» заставили его забыть и о фазане, разрезанном опытной рукой на куски, и о смутных

опасениях, пробудившихся у него при виде герцогской четы. К концу сентября 1837 года пьеса была закончена, Дюма прочел ее Комитету, и она была принята единогласно. Тем не менее пайщиков пугали расходы, поскольку для этого спектакля требовались пять декораций, сто шестьдесят костюмов и толпа статистов. Речь шла о том, чтобы выстроить на подмостках римскую улицу, террасу дворца Цезаря, императорский триклиний… Дюма признавал, что такая постановка обойдется театру недешево, но уверял, что публика валом повалит в театр и к окошечкам касс выстроятся такие очереди, что тревоги счетоводов улягутся в первые же несколько дней. Среди прочих выдумок он предложил, чтобы колесницу Калигулы везли четыре белых коня. При одной мысли об этом члены художественного совета едва не попадали со стульев. Никогда на сцену «Комеди Франсез» не выходили живые звери! Александр возразил, что не видит в этом повода отказываться от столь необходимого нововведения. Но как он ни горячился, как ни надсаживался, как ни драл глотку, Комитет оставался непоколебим. Наконец после долгих переговоров пришли к компромиссу: колесницу Калигулы повлекут женщины. Смирившись с этим решением, Александр утешал себя тем, что, может быть, упряжка, состоящая из хорошеньких актрис, куда больше порадует взгляд господ из партера, чем упряжка дружно топочущих копытами скакунов.

Цензура дала разрешение, потребовав внести в текст небольшие поправки, и 15 ноября 1837 года начались репетиции. Все время, пока шла работа над спектаклем, актеры дрожали от страха перед прихотями автора, не понимая, окончательно ли он потерял рассудок или, напротив, одарен больше прочих даром коммерческого предвидения. Филоклес Ренье вспоминал: «В течение трех месяцев Дюма изводил нас своими требованиями, своими причудами, своей непоследовательностью до такой степени, что мы начинали думать, уж не заразился ли автор „Калигулы“, работая над пьесой, болезнью своего героя?»[66] Благодаря сплетням и болтливости бульварных листков весь Париж знал об этих пышных приготовлениях. О «Калигуле» говорили как о затее гениальной и вместе с тем безумной. Места бронировали за два месяца, и охрану заранее усилили в предвидении давки в день премьеры. В этот день, 26 декабря, перед началом представления уличные торговцы продавали у входа в театр памятные свинцовые медальки. Еще одна нелепая выдумка Александра. Некоторые видели в этом возмутительное проявление тщеславия, других это только забавляло. Герцог и герцогиня Орлеанские величественно и грациозно вошли в свою ложу, когда зал был уже полон. На первый взгляд все было

спокойно, но это спокойствие напоминало затишье перед началом летней грозы. Предводитель клакеров не скрывал беспокойства. В самом деле, с некоторых пор за его спиной плелись интриги. Разумеется, его наняли для того, чтобы в определенных местах пьесы раздавались аплодисменты, но многие пайщики театра, недовольные распределением ролей, подкупали клакеров, чтобы те освистывали актеров, которые им не нравились, и даже автора, который слишком высоко занесся в своих замыслах. Мадемуазель Жорж, возможно, была причастна к заговору. Поговаривали даже, будто Гюго останется доволен, если пьеса провалится.

Очень скоро Дюма, напряженно присматривавшийся и прислушивавшийся ко всему, что происходило вокруг, заметил вялое недовольство и насмешливое равнодушие зрителей. Эти люди явно пришли в театр не для того, чтобы восхищаться спектаклем, а с намерением ко всему придираться. Чутье его не подвело. Каждый жест низкого тирана Калигулы сопровождался притворными вздохами публики, а когда толстуха Ида, изображавшая юную и воздушную мученицу, запуталась в подоле собственного платья и едва не растянулась на полу сцены, послышались смешки. С этой минуты самые трогательные реплики вызывали град насмешек. Александр, рассчитывавший на триумф, был совершенно сражен происходящим. Даже его друзья не знали, что ему сказать о пьесе. Комментарии в прессе были едкими и язвительными. Жанен, не простивший Дюма того, как он его изобразил в «Злоключениях национального гвардейца», отомстил за себя, написав особенно злобную статью о «Калигуле» и авторе пьесы. Удивленный таким предательством друга, Дюма хотел было послать к нему секундантов. Но Жанен, выплеснув злобу, уклонился от поединка. Впрочем, Александру и самому не так уж хотелось драться на дуэли. Он был растерян, опечален – не более того. Теперь его огорчало не столько то, что пьеса провалилась, сколько отсутствие доходов, на которые он рассчитывал. Ида, со своей стороны, бесилась, читая в газетах подлые шуточки по своему адресу. Дельфина де Жирарден, соратница Дюма по газете «La Presse», которой руководил ее муж, посмела написать, укрывшись под псевдонимом Де Лоне: «И как только можно с подобным телосложением выступать в амплуа инженю? […] Тучность мадемуазель Иды, мечтательной и чувствительной девственницы, неизменно одетой в белое, робкой девы, легкой поступью бегущей от бесчестного похитителя, ангела и сильфиды, которой только крыльев недостает, вызывает смех и возмущение. Для того чтобы вас каждый вечер могли похищать, надо по крайней мере, чтобы вас можно было приподнять».

16 февраля, после двадцати представлений при полупустых залах, Французский театр снял с афиши эту пьесу, слишком смелую и вместе с тем слишком дорогостоящую. После этой неудачи Александр в утешение себе мог рассчитывать только на возобновление «Анжелы» в Одеоне. Но и на этот раз свора критиков растерзала в клочья и актеров, и автора. В день премьеры на сцене произошел прискорбный случай: на мадемуазель Верней упал задник. Виной всему была Ида, которая потребовала передвинуть какую-то мебель, чтобы она могла приблизиться к рампе и предстать перед зрителями в более выгодном освещении. За кулисами ее в этом упрекали. Она была в отчаянии, Александр не переставал сердиться. Крушение «Анжелы» почти сразу после провала «Калигулы», с разницей всего в несколько недель, – нет, это было больше, чем он мог перенести! Он подозревал тайный сговор всех тружеников пера, пожелавших наказать его за то, что он слишком много пишет и имеет слишком большой успех, в то время как они, вечно недооцененные, бедствуют и не могут выбиться из нужды.

Но разочарование Александра всегда оказывалось недолговечным. Едва коснувшись земли обеими лопатками, он тотчас вскакивал на ноги. Рефлекс борца, которым он был обязан столько же своим крепким мускулам, сколько воинственному духу. Для того чтобы успешнее противостоять судьбе, он решил бежать из тех мест, которые видели его поражение. Необходимо было сменить квартиру. Покинув скромное жилище на Синей улице, он перебрался в роскошное здание на улице Риволи, почти напротив Тюильри. Здесь у него была просторная и светлая квартира на четвертом этаже, с балконом и видом на сады. Ида обставила ее с изысканным вкусом. Успех в роли декоратора собственного жилья на время заглушил разочарование актрисы. Что касается Александра, то у него, поскольку новое жилье обошлось очень дорого, главной заботой стало заработать побольше денег, пристраивая издателям свои романы с продолжением, которые он печатал в газете: «Французская хроника», «Графиня Солсбери», «Фехтовальный зал» и «Паскаль Бруно», великолепный рассказ, в котором, за три года до появления «Коломбы» Мериме, была изложена история беспощадной вендетты. Вскоре после этого «Siécle» («Век») получил право первой публикации другого, более раннего романа Дюма, «Капитан Поль», который он создал на основе драмы, написанной в Калабрии и отвергнутой Арелем. Если хорошо распоряжаться рукописями, ничего даром не пропадает! Наконец, он решил использовать те сведения, которые собрал, пока работал над «Калигулой», и вернулся к римскому античному

периоду. Роман «Актея», который печатался с октября по декабрь 1837 года в «La Revue et Gazette musicale de Paris», стал его первым историческим романом. Разумеется, описание Рима времен Нерона было выдуманным от начала до конца, а отношения императора с молодой вольноотпущенницей Актеей вызывали у читателя невольную улыбку, но инцест, гермафродитизм, насилие, убийство, бегство в катакомбы, игры гладиаторов, которыми был приправлен сюжет, держали все того же читателя в неослабевающем напряжении. Чего же еще требовать от прирожденного рассказчика? Увидев результат своих трудов, Дюма решил, что, должно быть, ему лучше ограничиться повествованием, чем отчаянно пробиваться на подмостки парижских театров, не желающих его принимать. Впрочем, ему казалось, что театральный опыт способствует его карьере романиста. Сочиняя броские реплики, придумывая непредсказуемые повороты, завладевая вниманием зрителей при помощи непрестанных открытий, он развил удивительное умение держать читателя в тревожном ожидании, не давать ему перевести дух. Отныне ему служили два присущих ему и дополнявших друг друга свойства: знание движущих сил драмы и интерес к событиям и героям былых времен. С одной стороны, он обладал непревзойденным умением управлять «нитками», с другой – никто лучше его не мог вдохнуть жизнь в персонажей прошлого. Он сознавал, что, без видимого труда соединив ловкость в плетении интриги с нахватанными отовсюду знаниями, создал новый жанр: исторического иллюзиона. В конце концов признательность читателей ничем не хуже благодарности зрителей. Отныне Александр с гордостью подписывался фамилией Дюма. Не то чтобы он был доволен всем написанным им до тех пор, но он верил в то, что собирался написать впредь. Пока у автора работы хватает, что бы он сам ни говорил, жалеть его не приходится!

Глава VI
От трагедии к комедии

Из окон своей новой квартиры на улице Риволи Александр мог разглядеть стоявший в саду Тюильри павильон Марсана, в котором жил его большой друг, герцог Орлеанский. Они высматривали друг друга издалека, объяснялись знаками и по малейшему поводу обменивались записками. Возраст и опыт сближали их. Тридцатишестилетний Александр, хотя и называл себя по-прежнему республиканцем, проявлял теперь явную склонность к конституционной монархии, а Фердинанд, доказавший в алжирской кампании, что он не только храбрец, но и искусный воин, становился все более восприимчив к либеральным мнениям, зато все менее и менее склонен был одобрять слепое отцовское стремление к неограниченной власти.

Стоило только наследнику престола кликнуть друга, Александр тотчас спешил к нему, и начинались долгие разговоры, во время которых оба, старательно избегая высказываний на политические темы и упоминаний о своих политических убеждениях, говорили о будущем Франции, дальнейшее существование которой – тут писатель и наследный принц неизменно оказывались единодушны – зависело от полного и мирного социального возрождения.

Тем не менее, сделавшись соседом герцога Орлеанского, Александр не забывал и матушку. Он перевез ее поближе к себе и поселил на первом этаже дома 48 по улице Фобур-дю-Руль, в квартире, которую уступила ему семья Девиолен. Рассудок Мари-Луизы, наполовину парализованной, угасал, и у нее не оставалось других развлечений, кроме посещений внука, приходившего ее навестить по воскресеньям, когда его отпускали из пансиона, и сына, который забегал всегда только на минутку: влетал вихрем, чтобы тут же умчаться, неизменно стремительный и неудержимый. Чувства в нем били через край, и казалось, будто его вносит в дом волна уличного шума и движения. Он был очень мил, тороплив и переполнен светскими сплетнями. Александр и сам сознавал, что не в меру экспансивен, но не мог заставить себя сдерживать темперамент, пусть даже при виде прикованной к креслу старухи с остекленевшим взглядом сразу начинал стыдиться избытка собственных жизненных сил. К тому же Дюма чувствовал себя косвенным образом виноватым в том, что матушка, еще недавно такая сильная и храбрая, теперь так заметно сдала, и это чувство вины было мучительным. Не в силах

спасти Мари-Луизу от угасания, он злился на себя за беспомощность и частенько начинал сомневаться в существовании высшей справедливости. Иду раздражала чрезмерная, на ее взгляд, чувствительность Александра, она полагала, что уважающий себя мужчина обязан иметь нервы и покрепче. Он уже не ребенок и не должен позволять себе так распускаться, говорила она. Александр же яростно спорил: неужели ей непонятно, что нет такого возраста, в котором можно не оплакивать смерть матери. И, не найдя понимания у любовницы, изливал душу другу. Едва сдерживая слезы, он писал Фердинанду: «Сидя у постели умирающей матери, молю Господа хранить жизнь вашего отца и вашей матушки».

31 июля 1838 года, когда Дюма обедал у герцога Орлеанского, один из слуг сообщил ему, что у Мари-Луизы вновь случился удар. Он бросился к матери. Она лежала без движения, не могла выговорить ни слова и только с испугом смотрела на награды, которыми была усеяна грудь сына. Неужели она забыла о том, что он награжден орденом Почетного легиона? Сбросив фрак, Александр уселся рядом с матерью. Врач, за которым немедленно послали, не оставил ни малейшей надежды и ушел, «не сказав ни одного сочувственного слова». Старшая сестра Александра, Эме, тоже поспешила прийти к больной, но для Дюма она была посторонней, почти незнакомкой. Глядя на сестру, он спрашивал себя, точно ли они вышли из одной утробы. Зато Фердинанд – совсем другое дело: Александру тут же показалось, что его нравственная обязанность состоит в необходимости немедленно известить друга о постигшем его горе, о неотвратимо надвигающейся разлуке. Написав письмо, он велел отнести его в павильон Марсана. Не прошло и получаса, как слуга герцога Орлеанского явился с сообщением о том, что его королевское высочество ждет Александра в стоящей перед домом карете. Растроганный этим проявлением внимания, Дюма сбежал по лестнице, вылетел на улицу, распахнул дверцу коляски, рухнул к ногам принца, уткнувшись головой в его колени, и разрыдался.

Когда он вернулся в квартиру, Мари-Луиза лежала без сознания, безмолвная и безучастная ко всему. Александра охватило раскаяние, и он погрузился в горькие сожаления о том, что совсем ее забросил, что так редко навещал под конец жизни. Тщеславные писательские заботы, стремление покрасоваться заставили его забыть о главном – о том действии, которое разворачивается не на сцене, за кулисами или в салонах, а в этой комнате… ведь у той, что дала ему жизнь, единственной ниточкой, еще связывавшей ее с миром, оставались эти редкие

появления сына! Он снова, как в детстве, как бывало в Вилле-Котре, прилег рядом с матерью, в том же алькове. Но сознавала ли она, что ее Александр будто снова сделался десятилетним мальчиком, что он, как прежде, лежит у нее под боком?

На следующее утро, первого августа, Мари-Луизы не стало. Дюма долго стоял, ошеломленный, перед ее телом, не в силах поверить в случившееся. Ему казалось, что агония, свидетелем которой он был, отдалила его от Бога, вместо того чтобы к нему приблизить. Теперь он мог лишь мечтать как о высшей милости о том, чтобы ему даровано было видеть мать во сне. С наступлением вечера он зажег свечи. От приглашения священника или монахини отказался – хотел остаться один с телом матери. Несколько часов просидел, не сводя глаз с воскового лица, и наконец уснул, побежденный усталостью. Но, несмотря на все его мольбы, Мари-Луиза не явилась ему во сне. Это несостоявшееся свидание загадочным образом еще усилило скептицизм Александра. «Если бы было в нас что-то способное пережить нас самих, – напишет он позже, – […] моя мать явилась бы мне. Смерть – и в самом деле вечное упокоение».[67] По просьбе Дюма художник Амори Дюваль написал портрет усопшей. Все формальности взяла на себя сестра Александра.

Мари-Луизу похоронили четвертого августа в Вилле-Котре, рядом с мужем, генералом Дюма, скончавшимся за тридцать два года до того. Александр прибыл в город накануне вместе с похоронными дрогами. На кладбище вокруг могилы собрался весь город. Глядя на знакомые лица, так горестно постаревшие, он думал о том, как много прошло времени. Теперь все они выглядят карикатурами на тех людей, которых он знал в молодости, все они – лишь получившие отсрочку мертвецы! Он один еще живет! Но сколько лет ему отпущено? Так не хотелось об этом думать… Скорее, скорее прочь, подальше от этого траура, от тягостных воспоминаний, от навязчивых мыслей о прошлом! Нет, вовсе не недостаток любви к матери заставлял Александра избегать мучительного блаженства воспоминаний – им овладело непреодолимое и естественное желание дышать, двигаться, развлекаться, любить, писать, пока человеческая машина еще работает. Четыре дня спустя после похорон Мари-Луизы он собрался вместе с Идой отправиться в давно задуманное путешествие по Германии, во время которого должен был встретиться с Жераром де Нервалем. Он сознавал, что незнание языка помешает ему расспрашивать местное население, но, на его счастье, Ида, получившая образование в монастырском пансионе в Страсбурге, бегло говорила и писала по-немецки, а потому наверняка сможет служить ему переводчиком. Герцог

Орлеанский, со своей стороны, снабдил Александра множеством теплых рекомендательных писем, в том числе и письмом к бельгийскому королю, с которым был в родстве.

Первую остановку путешественники сделали в Брюсселе. Александр с Идой прибыли туда 10 августа, остановились в гостинице «Королева Швеции». Город показался им провинциальным, мирным и чудесным. Александру было достаточно один раз пройтись по улицам, чтобы убедиться: в этой стране царит неведомая Франции свобода мнений. Леопольд I принял его на удивление просто и любезно, и Александр тут же решил, что всем государям, дабы покорить сердца своих народов, надо походить на него. Тот, кто желает приносить пользу своим правлением, мог это сделать, по его мнению, лишь в том случае, если склонится к своим подданным, с тем чтобы лучше расслышать их просьбы и их жалобы. Вскоре после того, во время неизбежного для каждого навестившего эти края француза паломничества на поле сражения при Ватерлоо, сын генерала Дюма постарался разобраться в своих отношениях с императором, который одновременно проявил такую черную неблагодарность по отношению к его отцу и такое величие по отношению к отечеству. Александр положил на чаши весов тяжесть потерь и блеск побед, ужас сражений и великолепие празднеств, траур семей и парад знамен – и в результате втайне пожалел о том, что Наполеон вытеснил Бонапарта.

В Антверпене, куда они отправились из Брюсселя, его внимание привлекли картины Рубенса. Лавина женских тел с тучными прелестями лишний раз подтвердила его постоянное стремление воспеть сложение Иды, чьи роскошные телеса его руки не уставали оглаживать и ощупывать. Чувства, которые пробуждала в нем нагота возлюбленной, более всего напоминали аппетит, просыпающийся у любителя поесть, когда он приступает к хорошему обеду. Александр никогда не умел сопротивляться, если на него нападал голод, в любви ли, в застолье – все одно. В Льеже Дюма рассердили служащие отеля «Альбион», которые приняли его за фламандца и отказались накормить под тем предлогом, что на кухне якобы ничего не осталось. Но он наверстал упущенное на следующий день с архивистом Поленом, щедро его угостившим. Майенская ветчина оказалась необыкновенно вкусной, и он объелся ею так, что едва мог дышать, а обилие мозельских и рейнских вин окончательно затуманило мозг…

Границу он пересек отяжелевший телом и умом. Прусские бдительность и порядок преисполнили Александра боязливым восхищением: здесь запрещено было не только выходить из

кареты, но даже и менять место внутри ее во все время поездки! Ямщики неукоснительно соблюдали расписание на всех станциях. Неужели у этих людей вместо сердца часовой механизм? Но ведь у них есть великие поэты, они любят природу и умеют о ней говорить!

С первой же своей встречи с Германией в Аахене Александр, помимо этого, разглядел проявления воинствующего национализма, направленного против Франции. Со всех сторон раздавались требования присоединить Эльзас и Лотарингию к германской родине-матери. Немцам, отмечал Дюма, свойственно с глубоким почтением относиться к Рейну, и им хотелось бы господствовать на обоих берегах реки, ибо она: «…для них нечто вроде покровительствующего им божества, […] в чьих водах обитает множество наяд, ундин, добрых и злых духов, которых поэтическое воображение местных жителей днем рисует им сквозь пелену голубых вод, а ночью – порой сидящими, порой блуждающими вдоль берегов. Рейн для немцев – символ мироздания, Рейн – это сила, Рейн – это независимость, Рейн – это свобода, Рейну ведомы страсти, как человеку или, вернее, как Богу».

Поднимаясь вместе с Идой по реке на пароходе, Александр любовался холмами, склоны которых были укрыты виноградниками, а вершины – увенчаны развалинами средневековых замков, населенных призраками бургграфов. Все ему нравилось в этой стране… Все, кроме кухни – кухня показалась ему отвратительной! Он просто-таки давился говядиной с черносливом, зайчатиной с вареньем, мясом кабана с вишней и омлетом с гвоздикой…

К 27 августа они добрались до Франкфурта, здесь Дюма принялся с нетерпением ждать приезда Жерара де Нерваля, сообщавшего, что из-за отсутствия денег застрял в Страсбурге. Александр, который к этому времени и сам был на мели, но, как всегда готовый помочь другу, оказавшемуся в затруднительном положении, немедленно выслал поэту сто сорок франков, чтобы тот смог продолжить свою поездку.

Едва они успели обосноваться в гостинице «Римский император», как «Франкфуртская газета», издававшаяся полностью на французском языке, сообщила о появлении в городе французской знаменитости, прибавив, что «в честь прославленного драматурга будет представлена комедия господина Дюма под названием „Кин“. Александр, польщенный этим знаком внимания местной прессы, все-таки грустил о том, что „Кина“ станут играть в немецком переводе».

Главный редактор «Франкфуртской газеты» Шарль Дюран

был изобретательным публицистом, которому пришлось бежать из Франции по политическим мотивам. Он пригласил к себе писателя вместе с его любовницей, принял их восторженно и вместе с тем сердечно, а Александр… Александр не остался равнодушным к тому, что у хозяина дома оказалась прехорошенькая двадцатитрехлетняя жена Октавия «с грудью, как у сфинкса». На эту великолепную пару грудей не переставал коситься и молодой тезка приезжей знаменитости – Александр Вейль, постоянный сотрудник газеты, но мадам Дюран не обращала на него ни малейшего внимания. Зато она казалась совершенно покоренной именитым французским писателем, восседавшим за ее столом. Александр, привыкший к победам такого рода, сделался вдвойне любезен, он блистал остроумием, сверкал глазами и в конце концов заодно с женой совершенно покорил и мужа. Оба сопровождали его, когда он осматривал город, ходили вместе с ним к дому Гете, в собор, на Еврейскую улицу. Более того – они устроили для него экскурсии в горы Таунус и в герцогство Нассау. Александр повсюду и всем восторгался, делал записи, благодарил, одновременно успевая многозначительно поглядывать на Октавию. Ида привыкла к донжуанским проявлениям своего неисправимого возлюбленного и на время поездки предоставила ему полную свободу. Что бы там ни было, полагала она, такие дорожные заигрывания ни к чему серьезному привести не могут. Однако Александр придерживался иного мнения. Ссылаясь на то, что в гостиничном номере работать невозможно, он занял у мужа Октавии три тысячи франков, с тем чтобы снять в городе небольшую квартирку, и запирался в ней на несколько часов каждый день – по его словам, с тем чтобы писать. Но Муза, посещавшая его в этом трудолюбивом уединении, была не такой уж бесплотной: вполне земная женщина под вуалью, Октавия, пробиралась к нему украдкой, и они тайком любили друг друга. Муж не догадывался о неверности жены, Ида тоже ни о чем не подозревала или, может быть, предпочитала делать вид, что остается в неведении, – хотя бы ради того, чтобы путешествие могло продолжаться все так же безмятежно.

Некстати прибывший во Франкфурт Жерар де Нерваль разрушил очарование идиллического адюльтера. У него к тому времени созрел замысел нового произведения, над которым он намеревался работать совместно с Дюма: «Иллюминаты». Так, объяснил он, называлось тайное общество студентов, в свое время хотевших избавить Германию от иностранных влияний и объединить ее в большую империю-завоевательницу. Самым пламенным из этих заговорщиков был Карл Занд, казненный в

1820 году в Мангейме после убийства писателя Коцебу, царского шпиона. Напоминание о совсем недавних исторических событиях, происходивших на фоне разгулявшегося фанатизма и пролития крови, волновало Александра. Он решил отправиться в Мангейм, на место действия, чтобы собрать там необходимые для работы над пьесой материалы. Жерар де Нерваль должен был помогать ему в исследованиях, а Ида – служить им переводчицей. Октавия Дюран, заявившая, что ей тоже любопытно поучаствовать в наполовину полицейском, наполовину литературном расследовании, решила отправиться вместе с ними. Присоединился и ее незадачливый воздыхатель, несчастный Вейль, который неизменно следовал за Октавией по пятам в надежде на нечаянную милость.

В Мангейме путешественники посетили дом Коцебу, молча постояли в комнате, где он был заколот кинжалом и где Карл Занд попытался покончить с собой, чтобы избежать правосудия, после чего отправились почтительной группкой на *Sandhimmelfahrtwiese* – тот ставший священным луг, где молодой патриот был обезглавлен и откуда его душа унеслась в преисподнюю, уготованную мученикам.

Там Александр и его друзья встретились с директором тюрьмы, который хорошо знал Занда, присутствовал при его казни и говорил о нем как о студенте-идеалисте с нежным сердцем и решительным умом. Директор тюрьмы показал Дюма кое-какие оставшиеся в его распоряжении официальные документы и позволил снять копии с писем, написанных осужденным незадолго до того, как он взошел на эшафот. Затем пятеро исследователей, довольные урожаем сведений, которые им удалось собрать, вернулись в гостиницу и отпраздновали свои открытия роскошным ужином. Вот только обстановка во время ужина была непростой. Ида краешком глаза присматривала за любовником, который то и дело поглядывал на Октавию, а Вейль молча страдал, подмечая, какими заговорщическими взглядами обменивается с Александром его кумир. Один только Жерар де Нерваль пребывал в полнейшем душевном равновесии и думал лишь о том, чтобы повкуснее поесть и побольше выпить. Его возлюбленная, Женни Колон, только что вышла замуж, он был свободен и почти вдов.

Едва встав из-за стола, сотрапезники расстались. Ида и Александр занимали соседний с Нервалем номер. Около полуночи Дюма встал с постели и в одной рубашке направился к двери, ведущей в коридор. «Ты куда?» – окликнула его мгновенно проснувшаяся Ида. Дюма, успевший распахнуть дверь, рухнул на пол и простонал, что у него страшно болит живот. Прибежавший

на шум Жерар помог Иде поднять больного и довести его, скулящего и едва держащегося на ногах, до расположенного на том же этаже отхожего места. Едва они разошлись по своим комнатам, Александр, не испытывавший ни малейшего недомогания, тихонько выскользнул из уборной и неслышными шагами направился к двери Октавии, которую та оставила незапертой в ожидании этого любовного посещения. Но несчастный Вейль все слышал, обо всем догадался, все перетерпел, а затем рассказал обо всем в своих мемуарах.[68] Вернувшись в постель, Александр заверил Иду в том, что получил облегчение, но не сказал, ни где, ни каким образом.

На следующее после этой полной обманов ночи утро все они, в том же составе, отправились к палачу Видеманну. Но оказалось, что Карла Занда казнил не он, а его отец, ему самому в то время было всего четырнадцать лет, и у него об этом сохранились довольно смутные воспоминания. Тем не менее Видеманн показал меч, которым была отсечена голова осужденного: ржавые пятна, видневшиеся на лезвии, оставила, по его словам, кровь жертвы, и его отец отказался смыть эти пятна из преданности благородному делу Германии. Александр не поверил ни единому слову из всей этой истории и удивился тому, что встретил враля еще более ловкого, чем он сам. В завершение паломничества он вместе с друзьями отправился на кладбище, где рядом лежали национальный герой и шпион, продавшийся русским. На могиле Карла Занда росла дикая слива. Александр философски отломил веточку деревца, сорвал побег плюща, обвивавшего памятник Коцебу, и, зажав то и другое вместе в руке, унес с собой.

Закончив свои изыскания, путешественники в меланхолическом настроении вернулись во Франкфурт. Александру больше нечего было делать в Германии, тогда как в Париже его ждала сотня планов. Конечно, ему грустно было расставаться с нежной и чувственной Октавией, ее столь покладистым мужем и славным Вейлем, который так скромно прикрывал преступную любовь жены начальника с приезжим писателем. Прощаясь и поочередно заключая всех троих в объятия, Александр клялся, что вскоре позовет их в Париж. Как ни странно, в виде исключения он сдержал слово, и годом позже они приехали во Францию. Более того, именно благодаря его стараниям Шарль Дюран получит должность главного редактора «Капитолия», французской газеты, которую, как поговаривали, субсидировала Россия, Вейль последует во Францию за своим начальником… а Октавия еще не раз найдет способ отблагодарить Дюма за внимание, которое он продолжает оказывать ее семье. Что же касается Иды, то она про себя думала,

что это небольшое германское приключение не слишком затронуло ее связь с Александром и в конце концов она поступила правильно, закрыв глаза на очередной адюльтер.

Вернувшись в Париж 2 октября 1838 года, Дюма немедленно занялся обработкой собранных им в Германии материалов. Прокрутив так и этак в голове историю Занда и Коцебу, он решил использовать ее очень свободно для того, чтобы написать пьесу о выдуманном им «иллюминате» по имени Лео Бурхарт (его именем и называлась пьеса). Интрига предполагалась такая: Лео Бурхарт, заняв должность премьер-министра в неком германском княжестве, внезапно сознает, что совершил ошибку, когда метил так высоко, поскольку ничто так не развращает человеческую душу, как неумеренное употребление власти. Как обычно, Жерар и Александр поделили между собой работу: четыре акта должен был написать Дюма, два – Нерваль. Пьеса была написана, однако, укороченная до пяти актов, переделанная и подписанная одним Дюма, она будет поставлена на сцене театра «Порт-Сен-Мартен» лишь много позже. Что же касается отдельного издания, то здесь пьесу сопровождал написанный тем же автором очерк, посвященный тайным обществам Германии. Таким образом, ничего из собранных во Франкфурте и Мангейме материалов не пропало даром. Естественно: когда Дюма брался работать над каким-нибудь сюжетом, он использовал материал по максимуму, подбирая все до последней крошки.

Впрочем, в то время главной заботой писателя были не германские иллюминаты. В его отсутствие друг Порше, искусный клакер, неизменно готовый одолжить денег, уступил своему зятю, Теодору Незелю, директору «Пантеона» – жалкого прогорающего театрика, драму «Поль Джонс», рукопись которой в свое время получил от Александра под крупный аванс. Всю эту полусемейную-полукоммерческую сделку славный малый провел, не поставив о ней в известность автора пьесы. И вот теперь, исключительно по его вине, сочинение Дюма будут играть на третьеразрядной сцене, и эта убогая постановка может умалить достоинства писателя в глазах публики! Можно ли подобное допустить! И так уже в среде собратьев по перу и журналистов его начали вслух жалеть: бедняжка, мол, дошел до того, что вынужден искать для своих пьес хоть какое-то пристанище. Стремясь по возможности избежать худшего, Александр потребовал, чтобы по крайней мере его имя не упоминалось. Тем не менее оно не только красовалось на афише, набранное огромными буквами, но дирекция выставила рукопись на всеобщее обозрение в фойе «Пантеона». Александр в гневе набросился на Порше, тот защищался как мог, уверяя, что лучше

иметь большой успех в захудалом театре, чем с треском провалиться на сцене «Комеди Франсез». Этот неотразимый аргумент утихомирил ярость Дюма. Впрочем, опасения его не оправдались, «Поль Джонс» и в самом деле шел с успехом, и сборы были хорошие: шестьдесят представлений принесли двадцать тысяч франков прибыли. Увы! Радость была преждевременной: этого оказалось явно недостаточно, и нынче Александр опять сильно нуждался в деньгах.

Ради того, чтобы набрать денег на оплату своих квартир, пособия нынешним или прежним любовницам, жалованье слугам, подарки, цветы актрисам, исполнявшим роли в его пьесах, и на кое-какие собственные расходы, он обратился к давнему покровителю Иды, Жаку Доманжу, богатому предпринимателю, делом которого была ассенизация, а главным в жизни увлечением – литература и театр. Роскошный ассенизатор согласился дать в долг оказавшемуся в отчаянном положении писателю большую сумму денег при условии, что тот гарантирует возмещение ссуды из своих гонораров. Связанный этим кабальным договором, Александр отныне должен был исписывать ежедневно еще больше страниц и делать это еще быстрее прежнего. Началась бешеная гонка. На рабочем столе росла гора рукописей, планов, всевозможных заметок. Дюма лихорадочно, словно искатель кладов, перескакивал с одного сюжета на другой: новеллы, путевые заметки, новая драма «Алхимик», за которую он взялся в соавторстве с Жераром де Нервалем… – перо его не знало устали.

Тут уместно вспомнить, что за два года до того Александр добился от герцога Орлеанского создания «второго Французского театра» – театра «Ренессанс», в котором должен был идти исключительно романтический репертуар и который возглавил журналист Антенор Жоли. Решено было, что на афише будут чередоваться пьесы Гюго и Дюма – это, несомненно, должно было привлечь публику, с такими авторами зал не будет пустовать. Сезон 1838 года открылся в «Ренессансе» 8 ноября пьесой «Рюи Блаз», и теперь следовало незамедлительно обеспечить на смену драме Виктора неизданную пьесу Александра. Времени было мало. Ида, снова воспылавшая страстью к подмосткам, приставала к любовнику с просьбами написать для нее подходящую роль. Тут к Александру как раз и явился присланный Жераром де Нервалем безвестный соавтор по имени Огюст Маке, двадцати пяти лет от роду, с сочиненной им драмой «Карнавальный вечер». За неимением лучшего Дюма за нее взялся, быстро переписал, сменил название – «Карнавальный вечер» превратился в «Батильду». И вот уже сияющая Ида дебютирует 14 января 1839 года на сцене «Ренессанса» в

заглавной роли! Правда, большого успеха не случилось, но и провалом это назвать было нельзя. Как бы то ни было, Александр, обычно проявлявший себя куда более тщеславным, на этот раз вполне удовольствовался тем, что выпало на его долю.

Но почему? Дело в том, что к этому времени у него в голове зародился новый, еще более честолюбивый, чем прежние, замысел: теперь он мечтал взять реванш в «Комеди Франсез», мечтал об успехе, который заставил бы забыть обидную неудачу «Калигулы». Порывшись в своих бумагах, Дюма отыскал пьесу в двух актах, которую ему принесли четыре года назад в надежде, что он сможет что-нибудь из нее сделать. В то время он не нашел в ней ни художественных достоинств, ни признаков коммерческого успеха. Перечитав ее сейчас, изменил мнение. Написано неуклюже, решил он, но есть великолепный материал для неожиданных поворотов сюжета. Главное – хорошо приготовить соус, под которым все это можно подать.

В его изложении сюжет выглядел так: «Молодая девушка не ночует дома, потому что идет на свидание со своим отцом-узником, а назавтра, поскольку она не может признаться в том, где провела ночь, репутация ее погублена…» Беда была в том, что, на его взгляд, сюжет выглядел скорее комическим, чем драматическим, а Французский театр больше всего заинтересован в драме, в которой, по общему мнению, Дюма особенно силен. Ну что ж, мало ли кто в чем заинтересован! Придется заставить вконец заштамповавшихся актеров делать то, что надо ему! И, отказавшись от неистовства и слез, которые принесли ему славу, Александр взялся сочинять легкий и забавный водевиль в пяти актах, «Мадемуазель де Бель-Иль». Прошло несколько дней, и пьеса была готова. 15 января 1839 года автор прочел ее актерам Французского театра, и она была единогласно принята. Для того чтобы придать этому событию большую значительность, Дюма рассказывал повсюду, будто пересказывал Комитету «Мадемуазель де Бель-Иль», когда еще ни одной строчки не было написано. Подобным хвастовством он никого не мог обмануть, однако оно способствовало поддержанию легенды о безмерно талантливом и отчаянно дерзком Дюма.

И сразу же встала трудная и щекотливая проблема распределения ролей. Все молоденькие актрисы, которые могли претендовать на амплуа героини, пришли в волнение. Кому, кому из этих барышень посчастливится заполучить роль, давшую название пьесе, – роль мадемуазель де Бель-Иль?.. Надеялись все, но все и обманулись в ожиданиях, позабыв о том, что во Французском театре опыт и стаж нередко ценились куда выше молодости и свежести. Мадемуазель Марс, несмотря на свои

шестьдесят лет, заявила, что вполне способна перевоплотиться в добродетельную и невинную двадцатилетнюю девушку. Даже если ее внешность и не соответствует персонажу, внутренне она полностью с ним сольется. Никто не осмелился ей противоречить, в том числе и Александр, довольный тем, что в его пьесе будет играть такая великая актриса, пусть даже роль совершенно ей не подходит.

Благодаря тому, что дирекция театра выплатила ему две с половиной тысячи франков, Дюма смог частично вернуть долг Жаку Доманжу, капиталисту-ассенизатору, но тот, сославшись на финансовые взаимоотношения с автором, выговорил себе право присутствовать на репетициях и высказывать мнение о тексте пьесы и постановке. И как-то раз, раздраженный постоянным вмешательством в ход репетиций этого неуча, возомнившего себя знатоком, Александр сказал ему: «Господин Доманж, я к вашему товару не прикасаюсь, вот и вы не прикасайтесь к моему!» Заглядывала посмотреть, как актеры работают над пьесой ее бывшего возлюбленного, и Мари Дорваль – вроде бы из чистого любопытства. После одной репетиции она, сердитая и смеющаяся одновременно, воскликнула в присутствии Александра: «Эти подлые авторы никогда не напишут для меня такой роли!»

Наконец настал день решающего испытания: 2 апреля 1839 года. К вечеру вся труппа просто сбилась с ног. Зал был полон нарядными, гомонящими зрителями. Всем не терпелось узнать, как Дюма, признанный сочинитель драм, справился с требованиями комедии. Некоторые даже и не скрывали, что им хотелось бы поглядеть, как он расквасит себе нос: в литературе нельзя безнаказанно сменить жанр! Однако, едва начался спектакль, атмосфера разрядилась. Стремительно развивавшееся действие происходило во времена Людовика XV, и красивые костюмы, всякого свойства недоразумения, неожиданные развязки, остроумные реплики сумели победить даже тех заранее настороженных зрителей, которые твердо решили во что бы то ни стало не получать никакого удовольствия от представления. Пьеса оказалась непристойной – но в меру, ровно настолько, насколько надо! – забавной и непритязательной. Управляющий лаконично записал в своем ежедневном отчете: «Большой успех». Критики не опровергли этого утверждения. Дюма, полагая, будто опустился до Бульваров, на самом деле только поправил свои дела, говорили в редакциях мелких газет: он слишком высоко метил с «Калигулой» и оказался на своем месте, взявшись за «Мадемуазель де Бель-Иль». «Шаривари» на все лады расхваливала Дюма за то, что он решился в течение трех часов развлекать сограждан. Капризный и сварливый Сент-Бев

поздравил его с тем, что он покинул свои эмпиреи.

Обласканный со всех сторон Александр посвятил пьесу мадемуазель Марс, чтобы «комедия вернулась к своим истокам». Но его голова уже пылала новыми честолюбивыми помыслами: не следует ли, думал он, воспользовавшись этим ливнем похвал, обратить взгляды к серьезным господам с набережной Конти? Несомненно, теперь он достиг таких вершин славы, что отныне ему самое место среди «бессмертных». И все, что от него требуется, это заблаговременно подготовить путь. «Поговорите же обо мне в „Revue [des Deux Mondes]“, это насчет Академии», – пишет он Бюло, основателю газеты. Его мечта – опередить здесь Виктора Гюго, ведь восхищение отнюдь не исключает соперничества. Больше того – часто восхищение его только подстегивает!

Глава VII
Брак, Италия, смерть

Ида вот уже семь лет как делила жизнь с Александром. Несмотря на то что их союз знал и взлеты, и падения, Дюма не помышлял о том, чтобы прекратить эту связь. До тех пор пока подруга согласна терпеть любовный голод Александра, заставляющий его время от времени устремляться к другим женщинам, он согласен терпеть ее присутствие в его доме. А ведь она не очень-то приятна в обхождении… Графиня Даш, хорошо знавшая Иду, описывает ее так: «Глубоко испорченная, лишенная каких бы то ни было принципов, она никогда не умела сопротивляться ни одной из своих прихотей. Она во все вкладывала страсть. Самой неукротимой из ее страстей была страсть к нарядам. […] Несмотря на то что Ида была большой лакомкой, она могла обходиться без еды ради того, чтобы обзавестись кружевным чепчиком. […] На всем свете она любила только себя и никогда не знала подлинной привязанности к кому бы то ни было. […] Ее любовь бывала яростной, несдержанной, ревнивой. […] Гневливая до бешенства, Ида только и жила, что сценами; она испытывала постоянную потребность в волнениях. […] Властная, она всех себе подчиняла, все должны были перед ней склониться. […] Поскольку ничто не могло ее остановить, кроме ее же новой прихоти, нрав у нее был бесподобно непостоянный».[69] Действительно, именно гордость и желание покрасоваться только и привязывали Иду к Дюма; и именно потребность иметь надежную, пусть и ворчливую союзницу в погоне за почестями и удовольствиями привязывала Дюма к Иде. На самом деле и он, и она до того обожали мишурный блеск, так любили пускать пыль в глаза, что были поистине созданы для того, чтобы, несмотря на бесконечные ссоры и скандалы, все-таки ладить между собой.

В этом году у Иды были все основания для того, чтобы остаться довольной карьерой любовника. Дюма, о котором говорили, будто он совершенно выдохся, никогда еще не был столь предприимчивым, как в 1839-м. Несколько парижских театров одновременно играли пьесы этого на редкость удачливого автора: «Мадемуазель де Бель-Иль» шла в «Комеди Франсез», «Алхимик» – в «Ренессансе», «Лео Бурхарт» – в «Порт-Сен-Мартен». При этом помимо сцены существовали же еще и книги, и газеты… Проза Александра разливалась во все стороны: он напечатал «Приключения Джона Девиса», очень вольный

пересказ с английского, издал очередного «Наполеона» – в ответ на ожидания бонапартистов, серию «Знаменитых преступлений» в сотрудничестве с Арну, Фьорентино, Нарсисом Фурнье и Мальфием… Восемь томов литературы не самого высокого пошиба, но зато хорошо продающейся.

Бальзак, который и сам много писал, не скрывал презрения, с которым относился к «этому писаке». Особенно сильно раздражали мэтра театральные успехи неугомонного собрата. Как-то вечером, встретившись с ним в салоне, который посещали оба писателя, он, не удержавшись, смерил взглядом Дюма и проворчал себе под нос: «Когда я ни на что уже не буду годиться, возьмусь за драму». Дюма не полез за словом в карман. «Так начинайте прямо сейчас!» – с ходу ответил он, и завоевавшую сразу необычайную популярность реплику тут же стали передавать из уст в уста. Однако Александр не жаждал ссоры, он опасался, что даже самый мелкий скандал лишит его шансов попасть во Французскую академию. Он настолько заботился о том, чтобы не создать у этих господ с набережной Конти впечатления о себе как о смутьяне, что после поражения восстания Барбеса и Бланки весной 1839 года старался держаться в сторонке от протестующих против вынесенного мятежникам сурового приговора интеллектуалов, во главе которых стояли Виктор Гюго и Жорж Санд, не поддерживал их выступлений. Решившись придерживаться в области политики благоразумного нейтралитета, он намерен был привлекать внимание лишь своими произведениями.

Нельзя одновременно быть всеми уважаемым творцом и известным скандалистом, решил он. Хотя бы тогда нельзя, когда намереваешься войти в Академию… Впрочем, даже Ида, которая неизменно донимала его по пустякам, тут в главном оказалась с ним согласна. Теперь и ей захотелось респектабельности!

Внезапно парижские салоны потрясла совершенно невероятная новость: Дюма образумился, он готов жениться на своей давней любовнице. Что же побудило его именно теперь решиться на этот шаг? По мнению многих, в том числе и злоязычного Эжена де Миркура, решение было принято благодаря герцогу Орлеанскому. Как-то раз, во время большого приема в Тюильри, он сказал Александру, простодушно представившему ему Иду: «Разумеется, дорогой мой, вы могли представить мне только вашу жену!» Подобное замечание, исходившее от его королевского высочества, было истолковано Дюма как дружеский приказ узаконить отношения. Другие близкие друзья четы утверждали, будто Жак Доманж, давний покровитель Иды, ставший основным кредитором Александра, пригрозил

последнему арестом за долги, если тот немедленно не женится. Наконец, по словам Поля Лакруа, Александр согласился надеть кольцо на палец подруги ради того, чтобы хорошо выглядеть в глазах академиков, которые – это всем известно! – с недоверием относятся к альковным пиратам. Как бы то ни было, получается, что требования узаконить свое семейное положение шли со всех сторон, и Дюма пришлось уступать по всей линии фронта. Другу, который спросил у него об истинных мотивах его решения, он ответил ворчливо и вместе с тем насмешливо: «Дорогой мой, это лучший способ от этой бабы отделаться!»

Само собой, подобное событие влекло за собой немалые расходы, но вездесущий ассенизатор Жак Доманж вызвался помочь. Александр занял у него тридцать шесть тысяч франков, с тем чтобы оплатить расходы, связанные со свадьбой, еще полторы тысячи франков предназначались на покупку обручального кольца, украшенного бриллиантом. Брачный контракт был заключен 1 февраля 1840 года в присутствии нотариуса, мэтра Деманеша. Вклад новобрачного в семью составляли «права на все его драматические и литературные произведения», в целом оценивавшиеся в двести тысяч франков, приданое новобрачной заключалось в драгоценностях и столовом серебре на сумму двадцать тысяч франков и сотне тысяч франков «наличных денег», хотя у нее не было ни гроша за душой помимо того, что давал ей Дюма на ведение домашнего хозяйства.

Если весь Париж только потешался над этой удивительной свадьбой, Александр-младший, которому к тому времени исполнилось шестнадцать лет, возмущался «мезальянсом» отца. Мелани Вальдор разделяла его негодование. Она по-прежнему воспринимала мальчика отчасти как сына и уговаривала его обратиться к настоящей матери, Лор Лабе, равно как и к свидетелям будущей свадьбы, с тем чтобы помешать разыграться той «чудовищной комедии», которая тем временем готовилась. Лор Лабе отказалась в этом участвовать – чувство собственного достоинства не позволяло ей вмешиваться в столь личное дело, и тогда Мелани Вальдор посоветовала Дюма-младшему написать гневное письмо родителю, проявившему себя «безответственным». Тот как раз в это время на несколько дней отправился отдохнуть в Птит-Виллетт, к Жаку Доманжу. Стало быть, именно туда Мелани и передала послание взбунтовавшегося сына. Каким образом? Послала его с ординарцем собственного мужа, капитана Вальдора. С ним, правда, к этому времени она уже давно жила раздельно, но ведь это нисколько не мешает людям, принадлежащим к хорошему обществу, оказывать друг другу мелкие услуги.

Александр с изумлением и болью прочитал упреки, обращенные к нему сыном, но ответил ему с достоинством: «Если между нами резко прекратились отношения отца и сына, в этом нет моей вины, а есть вина только твоя: ты приходил в наш дом, тебя все здесь ласково принимали, но тебе внезапно вздумалось, следуя чьему-то совету, перестать здороваться с особой, которую я считаю своей женой, поскольку живу с ней. Начиная с этого дня, поскольку я не намерен принимать от тебя даже непрямые советы, то положение вещей, на которое ты жалуешься и которое, к моему величайшему сожалению, продолжалось в течение шести лет, видимо, станет только развиваться, хотя может в любой день и измениться, – как только ты этого захочешь. Напиши письмо мадам Иде, попроси ее стать для тебя тем, кем она стала для твоей сестры, и отныне и навеки ты будешь у нас желанным гостем. Да и лучшее для тебя из всего, что может случиться, – чтобы эта связь продолжалась, поскольку, так как у меня за эти шесть лет не родилось детей, я *уверен* в том, что у меня их и не будет, и ты останешься моим единственным сыном и моим старшим сыном. Если ты сделаешь то, о чем я тебя прошу, не требуя, поскольку не хочу ничем быть обязанным принуждению, – ты не только будешь желанным гостем каждые две недели, но и сделаешь меня настолько счастливым, насколько сделать это в твоей власти. Больше мне нечего тебе сказать. Подумай только о том, что, если бы я женился на другой женщине, не на мадам Иде, у меня могло бы быть с ней трое или четверо детей, тогда как с ней у меня *никогда* их не будет».

Когда Дюма уже подошел к завершению этого длинного и рассудительного послания, ему в голову пришла важная мысль. Новорожденного Александра он, повинуясь тщеславному побуждению, назвал собственным именем. И вот теперь мальчику вздумалось писать стихи – еще такие детские! – и подписываться именем Александра Дюма. А если он и в зрелом возрасте будет продолжать этим заниматься, не могут ли в сознании читателей смешаться, перепутаться эти два Дюма: прежний и новый, старый и молодой? Это было бы прискорбно, несправедливо и возмутительно. Заботясь о том, чтобы безотлагательно уладить и это щекотливое дело, Александр Первый прибавляет к письму, адресованному Александру Второму, следующую приписку: «Тебе бы следовало, вместо того чтобы подписываться, как я, Алексом Дюма, что могло бы когда-нибудь создать для нас обоих серьезные неудобства, поскольку пишем мы похоже, подписываться *Дюма Дави*. Сам понимаешь, мое имя слишком известно для того, чтобы оставлять место для сомнений, и я не могу прибавить к своей фамилии „отец“: для этого я слишком

молод».

Александр Второй нисколько не посчитался с разумным советом Александра Первого. Что же касается его запоздалых упреков, они нисколько не помешали заключить союз, который он осуждал, – правда, сам толком не понимая, почему.

Александр Дюма и Ида Ферье вступили в гражданский брак 5 февраля 1840 года в мэрии первого округа Парижа. Александр выбрал для себя великолепных свидетелей: Шатобриана и Вильмена, министра народного просвещения. Более скромная Ида удовольствовалась государственным советником и виконтом из числа своих знакомых. Но на венчании, которое должно было состояться в церкви Сен-Рош, и Шатобриан, и Вильмен присутствовать отказались, потому пришлось в последнюю минуту заменить их художником Луи Буланже и архитектором Шарлем Робленом. Священник, которого не известили об этой замене, простодушно приветствовал в своей речи «прославленного автора „Гения христианства“» и великого государственного деятеля, который «держит в руках судьбы языка и народного просвещения». Несмотря на эту оплошность, обмен кольцами все же совершился ко всеобщему удовольствию. Супруги и свидетели поставили свои подписи в приходской книге. Жак Доманж отказался напротив своего имени поставить в качестве определения рода своей деятельности «ассенизатор» и предпочел указать «домовладелец». С таким же успехом он мог назвать себя «писателем», поскольку практически все произведения Дюма принадлежали ему.

Брак не образумил Александра. Конечно, Ида добилась для себя завидного статуса супруги, но муж начал семейную жизнь с того, что принялся напропалую изменять ей с семнадцатилетней актрисой Леокадией Эме Доз, затем влюбился в другую молодую актрису, Анриетту Лоранс. Поскольку эта последняя сильно нуждалась и потому малейший подарок вызывал у нее прелестные порывы благодарности, он содержал ее, разумеется, оставляя в неведении жену. Но Ида что-то подозревала и постоянно жаловалась на то, что ей недостает денег, а муж тем временем растрачивает свои доходы на прихоти рассеянной жизни. Ну и кому же она могла выложить все свои обиды, как не другу и покровителю, услужливому ассенизатору Жаку Доманжу? Поплакавшись в жилетку, Ида выдала ему список своих расходов. «У меня, – пишет она, – есть на руках доказательства всего того, о чем я вам здесь рассказываю. Прибавьте к этому сестру [Александрину-Эме], которой открывают счета в тех магазинах, в которых мы делаем покупки, *кузенов, племянников, любовниц* и

скажите мне, можно ли, если у вас и без того немало долгов, если положение обязывает вас вести достаточно роскошную жизнь, а главное – если вы понятия не имеете о том, что такое порядок, – можно ли, скажите мне, не упасть в бездонную пропасть. […] Я могла бы целые тома написать вам, перечисляя все причины разорения, к которым – перед Богом клянусь – совершенно непричастна. И подумайте о том, что, когда для покрытия этих трат существует лишь плата за непрестанно меняющуюся работу, поступающая крайне нерегулярно, а главное – когда дела ведутся в полнейшем беспорядке, направо и налево разбрасываются простые и переводные векселя, которые от меня скрывают, чтобы не объяснять причин, на это толкающих, – как, по-вашему, я могу сделать что-нибудь со столь плачевным положением вещей?»

Послушать ее – получается, что в этом неудачном браке жертвой была она, палачом – он. Александр и сам признавал, что их положение становится все более непрочным, однако работать больше, чем работал, уже не мог. За несколько недель он высидел новые «Дорожные впечатления» (этот товар всегда хорошо продается!), мелкую проходную драму под названием «Джарвис, честный человек» и начал в соавторстве с Шарлем Лафоном вполне «непривычный» роман «Учитель фехтования».

Сюжет этого последнего произведения был подсказан ему его преподавателем фехтования Гризье, который привез из своей поездки в Россию отголоски случившегося в декабре 1825 года восстания интеллектуалов и либерально настроенных военных, так называемых «декабристов», против царя Николая I. Среди мятежников был граф Анненков, влюбленный в молодую француженку по имени Полин. Его приговорили к каторжным работам и сослали в Сибирь; Полин последовала за ним и стала его женой, не испугавшись жалкой участи, ожидавшей их в этом негостеприимном краю, среди осужденных. В своей книге Дюма, разумеется, изменил имена персонажей и весело исказил исторический контекст. Но суть истории, в которой речь шла о верности замечательной женщины, предпочитающей разделить страдания и лишения человека, которого она любит, лишь бы не оказаться навеки с ним разлученной, соответствовала истине. В литературном плане успех был невелик, да и как мог ждать большого успеха слабый любовный роман, где фоном служили грозные события, сотрясавшие императорскую Россию в первой четверти XIX века. Французских читателей нисколько не занимала супружеская идиллия среди степей, в России же книгу сочли неуместной и даже опасной и запретили продавать.

Дюма, разочарованный тем, как прохладно публика встречает его последние литературные или театральные творения, решил,

что в парижском воздухе «запахло жареным». И потому необходимо для начала сократить расходы, рассчитать слуг, секретарей, избегать дорогостоящих развлечений, перестать дарить цветы женщинам и угощать обедами друзей. Однако на такое он оказался не способен: разве можно так круто изменить свой образ жизни, хоть в чем-то себя ограничить и каждое утро подсчитывать деньги вместо того, чтобы весело ими бросаться! Нет! Единственный выход – поскорее уехать, отправиться, к примеру, во Флоренцию. Выбор Дюма сделал не случайно: Тоскана была единственным итальянским государством, где ему не запретили проживание. Город же, который он прекрасно знал, очень красив, и жизнь в нем дешевая… Но все равно нужны «подъемные».

Желая обеспечить им с Идой будущее, Александр отправил своего друга Проспера Мериме к Ремюза, министру внутренних дел, с предложением, чтобы тот заказал Дюма комедию, предназначенную для Французского театра, и пообещал, что на этот раз чтение перед художественным советом будет «простой формальностью» и пьесу начнут репетировать уже через неделю после того, как она будет принята. Ремюза принял условия, письменно подтвердил обещание и, мало того, еще и велел выплатить автору аванс в шесть тысяч франков. Александр воспрянул духом: ликовать, конечно, пока еще рано, но можно по крайней мере свободно вздохнуть. Теперь вроде бы не оставалось препятствий для отъезда во Флоренцию. Но Ида не переставала что-то подсчитывать, выскребать последние крохи и тревожиться. Заботясь о том, чтобы совершенно ее успокоить и избавить от мыслей о нищете в будущем, Александр подписал «генеральную доверенность» на имя Жака Доманжа, «обладателя его авторских прав», поручив ему наилучшим образом защищать интересы писателя во время его отсутствия.

Ида немедленно успокоилась. Чета сложила чемоданы, и вскоре дилижанс вез ее по весенней Франции. Пятого июня они отплыли из Марселя, седьмого уже были во Флоренции. Едва прибыв на место, Александр тотчас освоился с итальянской роскошью: в этом благословенном городе можно было за бесценок снять палаццо! Они поселились на вилле Пальмиери, которую, как говорили, Боккаччо описал в «Декамероне». Комната, служившая Александру кабинетом, была та самая, в которой за пять столетий до него работал прославленный автор «Ста новелл». В доме был зал для театральных представлений, в огромном саду – фонтаны, статуи и купы лимонных деревьев. И стоило это всего-навсего триста франков в месяц! Ну, и как же можно было отказать себе в удовольствии здесь поселиться?!

В этой роскошной и как нельзя лучше подходившей ему обстановке Александр работал словно каторжный. Комедии, драмы, исторические сцены, дорожные впечатления – он без видимого утомления переходил от одного сооружения к другому. Разве что глаза у него время от времени начинали болеть. Ида считала, что раз он пишет так много, раз из-под его пера выходит так много страниц, то и зарабатывать он должен больше. Увы… Вскоре, сполна насладившись великолепием виллы Пальмиери, чета Дюма вынуждена была искать себе другое, более скромное пристанище: пришлось перебраться в менее просторное и менее удобное жилье на улице Рондинелли. Однако Александр, сменив рабочий кабинет Боккаччо на каморку под крышей, ни о чем не жалел. Он и тут мог писать по десять часов в день, у него не было недостатка ни в бумаге, ни в чернилах, ни в перьях, и он чувствовал себя совершенно счастливым. Больше того – он даже полюбил эту заурядную обстановку, полюбил свою клетушку с выкрашенными клеевой краской стенами и огромной кроватью под москитной сеткой. «Я написал там первые три тома „Шевалье д'Арманталя“, полностью „Корриколо“ и полностью „Сперонаре“, – рассказывает Дюма в статье, предназначенной для бельгийской газеты. – Это была прелестная каморка, белая […], с белыми занавесками на окне, в восемь часов утра открывавшемся во двор, полный весеннего солнца и пробегающего ветра; открывшись, оно впускало в комнату ветки огромного куста жасмина […], а две из тех самых ласточек, что дали название улице, щебеча, вили гнездо в углу все того же окна».[70]

Новости, доходившие из Франции, казались ему куда менее реальными, чем щебет флорентийских пташек. Тем не менее он с интересом отметил, что принц Луи Наполеон, некогда подстрекавший к мятежу страсбургский гарнизон, совершил вторую попытку устроить переворот в Булони, окончившийся для него пожизненным заточением, что милый его сердцу Фердинанд по-прежнему в Алжире, где великолепно действует под началом генерала Бюжо, и что в январе 1841 года Виктор Гюго был наконец избран во Французскую академию. Последнее сильно его задело, и Александр тотчас же написал Шарлю Нодье: «Как вы думаете, есть у меня сейчас шансы попасть в Академию? Гюго вот прошел. Все его друзья были в большей или меньшей степени моими друзьями. […] Если, по-вашему, надежды мои не беспочвенны, взойдите на академическую трибуну и расскажите, от моего имени, вашим почтенным собратьям, как сильно мне хочется оказаться среди них; выгодно подчеркните мое отсутствие во всех тех случаях, когда свое присутствие я считал неуместным, наконец, скажите обо мне все то хорошее, что вы обо

мне думаете, и даже то, что не думаете. Если, по-вашему, шансов нет, рта не открывайте». Нодье из осторожности предпочел второе решение: он благоразумно промолчал. Тем не менее Александр продолжал надеяться на то, что настанет и его черед, что когда-нибудь и он, надев шитый золотом зеленый фрак, торжественно вступит под своды Академии; здесь, как и в «Комеди Франсез», верил он, рано или поздно талант победит все интриги!

Но случались и приятные моменты: так, во Флоренции Александр с радостью убедился в том, что его отношения с сыном на расстоянии улучшились. Отец и сын обменивались теперь искренними, полными нежности письмами. «Не беспокойся, – пишет Александр Первый Александру Второму 30 ноября 1840 года, – не полгода и не два года я буду заботиться о тебе, а всегда, до тех пор, пока ты совсем не встанешь на ноги».

Он занимался воспитанием этого одичавшего мальчишки с тем большим старанием, что чувствовал свою вину перед ним за то, что так долго им пренебрегал. Прислушиваясь к поэтическому лепету своего юного соперника, он советовал сыну научиться сочинять латинские стихи – тогда лучше будут получаться у него и те, которые он пишет по-французски, освоить древнегреческий, чтобы иметь возможность читать Гомера, Софокла и Еврипида в оригинале, читать Библию в переводе Саси, погрузиться с головой в сочинения Шекспира, Данте, Корнеля, слово за словом смаковать Мольера: «Никто никогда не сможет писать лучше». Но неофиту при этом не следовало забывать и о современных авторах. Если говорить о Гюго, Александр Первый предлагал Александру Второму на выбор лучшие монологи из «Эрнани», «Король забавляется» и «Марион Делорм». И прибавлял: «Наконец, что касается меня, ты вполне можешь выучить рассказ Стеллы из „Калигулы“ и охоту Якуба на Льва, а также всю сцену из третьего акта между графом, Карлом VII и Аньес Сорель».

Дюма без ложной скромности помещал себя самого среди великих. Он ничуть не сомневался в том, что сын восхищается им. Время недоразумений прошло, наступили времена семейного согласия. Ему казалось даже, будто в этой новой атмосфере взаимопонимания он работает более энергично и вдохновенно. Едва закончив «Шевалье д’Арманталя» – роман, первый набросок которого уступил ему Огюст Маке, Дюма предложил тому же «поставщику» взяться вместе с ним за легкую пьесу «Брак во времена Людовика XV». Сюжет ее он кратко изложил будущему соавтору так: «Молодая девушка – совсем молоденькая и очень простодушная […] – вышла замуж за молодого человека, почти такого же молодого, как и она сама, но одержимого современной мыслью о том, что жизнь человека без страсти ничего не стоит.

Своего рода подражателя Антони…» Александр мечтал о том, чтобы в этой комедии играла одна из последних его любовниц, Леокадия Эме Доз, рядом с его новой близкой подругой, мадемуазель Марс, которая собиралась покинуть сцену. В конце концов Огюст Маке, который и без того был слишком занят, от совместной работы отказался, и Дюма один написал эту живую и невинную развлекательную пьеску. Желая убедить Жака Доманжа в том, что его новое произведение можно выгодно продать, Александр объясняет ему: «Эта пьеса […] не хуже „Мадемуазель де Бель-Иль“, но в другом роде, и она будет иметь большой успех, особенно если будет играть мадемуазель Марс». Едва на рукописи успели просохнуть чернила, Дюма поспешил прочитать «Брак во времена Людовика XV» кружку знакомых аристократов, в числе которых были герцогиня де Шуазель, граф де Лаборд, князь Голицын, герцог де Люк и кое-какие особы, несколько менее знатные. Ида, пышно разодетая, присутствовала при чтении в качестве супруги автора. И у нее был случай насладиться совершенным триумфом! Она немедленно написала Жаку Доманжу: «Вы даже и представить себе не можете, какое впечатление произвела пьеса. Никогда не видела подобного восторга. […] Я нахожу, что это лучшая комедия нашего времени. Александр превзошел себя, и я думаю, что это лучше, чем „Мадемуазель де Бель-Иль“, так считаю я и так считают все, кто слушал пьесу. Так что прошу вас, дорогой друг, не прислушиваться к шуму, который поднимают Французский театр, этот дурак Бюлоз или газеты, не забивайте себе этим голову. Вы не знаете, что это за сброд, и не знаете причин, заставляющих их так говорить и действовать!»

На следующий же день после чтения новой пьесы герцог Лукки наградил автора, пожаловав ему Большой крест своего крошечного герцогства. Александр, который мог к этому времени уже похвастаться крестом Почетного легиона, орденом Изабеллы Католической, и тем, что преподнес ему Леопольд I Бельгийский, и шведским орденом Густава Вазы, и орденом Святого Иоанна Иерусалимского, был на седьмом небе от счастья. Он поручил Доманжу купить ему в Париже «локоть[71] зеленой ленты Вазы и локоть орденской ленты Изабеллы Католической». С этой целью «благодетелю» были отправлены образчики, цвета которых следовало соблюдать в точности. У Иды тоже голова кружилась от восторга при виде мужа, у которого грудь сверкала и переливалась, словно витрина магазина накануне Рождества.

Александр сто раз заслуживал таких почестей, считала она, вот только этими безделушками, как бы почетны они ни были сами по себе, семья не прокормится. Обидно, что при этом муж,

каким бы он ни был чемпионом по скорости письма, не мог, оставаясь в разумных пределах, наращивать темп. «Он не смог бы работать больше, не подвергая опасности свое здоровье и свою репутацию, – объясняет она неизменному наперснику семейства, Жаку Доманжу. – Он трудился так усердно, что здоровье его довольно серьезно подорвано; кроме того, у него началась болезнь глаз, которая очень меня тревожит. Он посоветовался с двумя или тремя врачами, и все они в один голос предписали ему прежде всего полный отдых, по крайней мере на какое-то время». Однако предписывать Александру отдых было все равно что запрещать табак курильщику. Он был физически не способен выпустить из рук перо. «Брак во времена Людовика XV» был отправлен в Париж в двух экземплярах: один предназначался Асселину, секретарю герцога Орлеанского, другой – Жаку Доманжу: с поручением пристроить пьесу во Французский театр, что было – это и сам автор признавал – нелегкой задачей, поскольку доверенному лицу Дюма неминуемо должны были помешать в этом посредством «тысячи грязных подлостей» из-за того, что «госпожи любовницы министров и прочих не будут в этой пьесе играть».

«Брак во времена Людовика XV» был прочитан перед художественным советом 27 декабря 1840 года. Комедию приняли, оговорив лишь небольшие поправки, и Александр, хоть и был оскорблен подобными требованиями, тем не менее согласился пересмотреть текст, с тем чтобы слегка его «отшлифовать». Но тут возникли проблемы куда более серьезные: мадемуазель Марс, недовольная своей ролью, отказалась играть «графиню». Автор, испугавшись, как бы не впасть в немилость, принялся униженно молить актрису, стараясь смягчить ее сердце: «Пьеса была написана только для вас, для вас одной, – пишет он ей 7 января 1841 года. – […] Роль по-прежнему принадлежит вам». Однако и эта отчаянная мольба не смогла поколебать решимости мадемуазель Марс. Считая себя слишком старой для того амплуа, на которое ее предназначали, она сожгла все мосты и написала прошение об отставке. Положение сделалось еще более сложным, поскольку Бюлоз, к этому времени железной рукой управлявший Французским театром, так и не прислал двух с половиной тысяч франков, обещанных Дюма в качестве аванса. В конце января Александр, потеряв терпение, обратился к Жаку Доманжу с просьбой ускорить решение проблемы: «Вам, должно быть, так же, как и мне, неприятно поведение Бюлоза; если он отказывается выдать вам наличными две с половиной тысячи франков, напустите на эту скотину судебного исполнителя!» Тому же Жаку Доманжу, окончательно сделавшемуся поверенным четы,

поручено было передать конфиденциальное письмо Александра Виктору Гюго: «Что вы думаете о возможности представить мою кандидатуру [во Французскую академию] в настоящее время? Разве не прекрасно было бы войти туда вместе? Повидайтесь с Понжервилем и Нодье, поговорите с ними об этом. Я знаю, что вы будете настолько же довольны тем, что я последую за вами, насколько я доволен тем, что вы меня опередили». Важно было еще сделать так, чтобы ловкий ассенизатор уболтал Асселина, заставил его разведать намерения Казимира Делавиня и, не подавая виду, расшевелить дремлющее расположение Шарля Нодье. Но, несмотря на все старания друзей, Дюма сознавал, что и для постановки его пьесы в «Комеди-Франсез», и для успеха его академической кампании лучше бы ему было самому быть на месте. «Поторопите репетиции, дорогой мой Доманж, – пишет он своему неизменному уполномоченному, – я подхвачу их на том месте, до которого они дойдут, и заставлю артистов оживиться».

В марте 1841 года чета Дюма вернулась во Францию. К этому времени Александр отказался не только от великолепной квартиры на улице Риволи, но даже и от той маленькой квартирки на улице Фобур-дю-Руль, где умерла его мать. Не имея теперь никакого постоянного жилья, они с Идой временно поселились в гостинице. За три месяца до них во Францию вернулся Фердинанд, и Александр радовался встрече с ним словно школьник. Принц показался ему еще более прекрасным, еще более мужественным и еще более ослепительным, чем представлялся в воспоминаниях. Дело в том, что Александра, хоть он и был большим любителем женщин, не оставляла равнодушным и мужская красота. Внешность его друзей усиливала не только его восхищение, но даже то уважение, которое он к ним испытывал. В его глазах Фердинанд был образцом телесного и умственного совершенства, озаренного чувственностью и восприимчивостью. Принц платил писателю взаимностью. Желая показать другу, насколько он к нему привязан, герцог Орлеанский заказал ему историю французской армии, и Дюма ухватился за эту возможность доставить удовольствие его королевскому высочеству и вместе с тем кое-что заработать, не слишком утомляясь.

К тому времени и в «Комеди Франсез» разногласия между Бюлозом и Доманжем тоже уладились без особого труда. Распределение ролей оказалось удачным, несмотря на отсутствие мадемуазель Марс. Отношения с «Веком» («Le Siécle»), где должен был печататься из номера в номер «Шевалье д'Арманталь», складывались благополучно, а издатель Макс Бетюн готов был отправить в типографию продолжение «Дорожных впечатлений»

(«Капитан Арена»). Еще один повод для радости доставил Александру его сын, которому вскоре должно было исполниться восемнадцать лет: мальчик страстно увлекался поэзией, как и сам он в молодости, писал стихи и мечтал, в свой черед, стать литератором. Найти в своем ребенке отголосок – пусть и приглушенный! – собственных талантов, собственных устремлений, разве может любой отец желать в этом мире чего-то лучшего?

Но не все в жизни шло гладко. Александр, возлагавший столько надежд на постановку «Брака во времена Людовика XV», по мере того как шли репетиции, начал думать, что ошибался в своих расчетах. Разочаровался ли он в самой пьесе или его не устраивала игра актеров? Возможно, дело было и в том, и в другом. Пересуды, не утихавшие за кулисами Французского театра, ничего хорошего не предвещали. Предвидя провал, драматург предпочел при нем не присутствовать и снова уехал вместе с Идой в Италию. Премьера состоялась без него 1 июня 1841 года. Умеренный успех, насмешливое презрение критиков… Как жаль, что мадемуазель Марс отказалась от своей роли! Ее талант и ее слава, несомненно, спасли бы положение.

За летние месяцы, проведенные во Флоренции, Александр переписал «Жанника-бретонца», бездарную драму Эжена Буржуа, которую не стал подписывать своим именем, чтобы не утратить из-за такого «малолитературного» произведения шансов стать членом Французской академии. Зато он усердно трудился над благородным и честолюбивым замыслом пьесы «Лоренцино», навеянной, как и «Лорензаччо» Альфреда де Мюссе, «Флорентийскими хрониками» Бенедетто Варки. На этот раз, ни на кого не рассчитывая, он решил переговоры с Французским театром провести сам. Оставив Иду во Флоренции, он вернулся в Париж, прихватив рукопись, и, преисполнившись решимости победить, 15 октября 1841 года с подъемом прочитал свою пьесу художественному совету. И она была принята – о поправках не возникло даже речи! В завершение ему еще и выплатили две с половиной тысячи франков аванса! Что же касается «Жанника-бретонца», автором которого Дюма отказывался себя признавать, рассчитывая тем не менее на получение своей доли от сборов, этому творению придется ждать до 27 ноября 1847 года: только тогда пьеса будет показана на сцене «Порт-Сен-Мартен». Тоже кусок хлеба на будущее, не будем привередничать! Тем более что «Лоренцино», несомненно, принесет неплохой доход.

Желая утешить мрачную Иду, которая чувствовала себя одинокой, Дюма пишет ей в конце декабря: «Пьеса [„Лоренцино“] двигается, с ней все в порядке […] Все это закончится к концу

месяца, и, слава Богу, мне больше не придется с тобой расставаться, поскольку в наступающем году я не намерен ничего писать для театра».

Александр сбежал из Парижа в начале января 1842 года, когда актеры еще продолжали репетировать его драму на сцене «Комеди Франсез», и о провале пьесы, на которую он возлагал столько надежд, узнал во Флоренции. На публику эта прекрасная история, произошедшая во времена тиранического правления Александра Медичи и исполненная, как казалось автору, хитростей и ярости, попросту нагоняла скуку. А критика в очередной раз расправилась с Дюма, осыпав его насмешками. «Лоренцино» был снят с афиши после семи представлений. Жгучее оскорбление! Для того чтобы возместить денежные и моральные потери, Александр вознамерился написать адаптации «Макбета» и «Гамлета». Имея в запасе Шекспира, ему опасаться нечего. Тем не менее оказалось, что и это далеко не так! «Макбет», предложенный Французскому театру, был безоговорочно отвергнут: версия Дюма не имела счастья понравиться актерам, – что ж, вот еще один повод для глубокого разочарования в умственных способностях членов художественного совета… Однако разочарование разочарованием, но деньги-то нужны!

И снова неудача… Очередная поездка Дюма в Париж ровным счетом ничего не дала. Никому не нужны были ни его «Макбет», ни его «Гамлет». Неужели механизм драматурга Дюма, столь безотказно работавший, вдруг испортился? Александр не решался в это поверить. Тем более что, обманутый в своих литературных надеждах, был счастлив в любви. Едва приехав в Париж, он встретился с Виржини Бурбье, которая окончательно вернулась из Санкт-Петербурга в январе того же года. Чувство с обеих сторон не только возродилось, но и разгорелось ярким пламенем. Никогда не помешает подарить себе несколько дней радости, полагал неутомимый любовник, не забывая при этом и о жене. Едва покинув объятия Виржини, Александр неизменно писал Иде, желая укрепить ее хороший душевный настрой. Впрочем, вскоре он узнал, что жалеть ее не стоит труда: во Флоренции Ида влюбилась в двадцатичетырехлетнего мальчика, князя Виллафранка, герцога Спонара, маркиза Санта Лючия, который, должно быть, обрел в ней вторую мать. Что ж, тем лучше для нее! Поглощенная заигрываниями со своим ухажером, она даст Александру возможность спокойно работать.

Ну и пользоваться радостями жизни, конечно. Стремясь как можно дольше продлить тайные наслаждения, Виржини будет сопровождать Дюма, когда он отправится в обратный путь, и

доедет с ним до Лиона, и только здесь любовники неохотно расстанутся.

Во Флоренции Александр вновь окажется во власти однообразия и скуки супружеской жизни, и вновь единственным его удовольствием станет работа. Только работа позволяла ему избежать хоть на время присутствия Иды, которая, принимая ухаживания своего поклонника, с удвоенной силой ревновала мужа, по привычке донимая упреками и вздохами.

В это время в Италию прибыла труппа французских актеров под руководством Долиньи; они намеревались ставить произведения Дюма: «Ричарда Дарлингтона», или «Антони», или «Нельскую башню», или «Анжелу». Зная, что для местной цензуры Дюма – безнравственный и даже проклятый автор, Александр предложил владельцу типографии Бателли поменять обложки на томах, содержавших упомянутые пьесы, с тем чтобы книги были представлены покупателям под другими заглавиями и приписаны Эжену Скрибу, писателю, которого стыдливое итальянское правительство считало лучшим другом семей. Благодаря этой уловке обманутая цензура позволила сыграть все четыре пьесы, которые прошли с большим успехом. Дюма уверял, будто в высших сферах поговаривали даже о том, чтобы наградить Скриба Крестом командора ордена Святого Иосифа.

Едва вернувшись во Флоренцию, Александр завел себе во французской колонии нового друга: молодого принца Наполеона Жозефа, сына бывшего короля Жерома – двадцатилетнего юношу с «глубоким и верным умом». Александр испытывал по отношению к нему чувства еще более отеческие, чем по отношению к собственному сыну. С каждым разговором, с каждым взглядом друг на друга они все более сближались. В конце концов было решено совершить вместе «наполеоновское паломничество», сделав его целью остров Эльбу. Добравшись до Ливорно, друзья поднялись там по трапу на хрупкое суденышко, носившее пророческое имя «Герцог Рейхштадтский». Небольшая буря достаточно сильно потрепала кораблик, чтобы придать приключению волнующий оттенок опасности, но славный обед, которым угостил их губернатор, помог восстановить силы. На следующий день они отправились охотиться на остров по соседству с Пианозой. С Пианозы можно было разглядеть скалу в форме сахарной головы, возвышавшуюся над водой на две или три сотни метров и населенную, как им сказали, дикими козами. Скала носила имя острова Монте-Кристо. Странное звучание этого слова поразило слух Александра. Он погрузился в задумчивость, а затем, когда Наполеон Жозеф вслух удивился его долгому молчанию, сообщил, что в память об этом путешествии

один из своих следующих романов назовет «Монте-Кристо».

Вернувшись во Флоренцию 13 июля 1842 года, Александр, узнавший во время своей поездки о том, что сети двух бедных рыбаков с острова Эльба были порваны судами французского флота, маневрировавшего в тех краях, решил отправить королеве Марии-Амелии, матери Фердинанда, ходатайство о том, чтобы благодаря ее милосердной помощи им по крайней мере возместили понесенный ущерб. Должно быть, Наполеон Жозеф, обладавший добрым сердцем, поддержал намерение друга.

Восемнадцатого июля юный принц пригласил Александра на обед к своему отцу, экс-королю Жерому, и Дюма оценил оказанную ему честь словно еще одну награду. В назначенный час Наполеон Жозеф встретил старшего друга на ступенях дворцовой лестницы. Лицо принца было печальным, он только что получил из Франции страшную весть: Фердинанд Орлеанский умер 13 июля, иными словами – в тот самый день, когда Александр писал к Марии-Амелии, прося ее о благосклонном вмешательстве в участь двух рыбаков. Несчастье случилось так: герцог возвращался из Пломбьера, где его жена лечилась водами; когда он проехал Нейи, у ворот Майо, лошади, впряженные в его коляску, внезапно понесли, коляску сильно тряхнуло, и герцог вылетел из нее. Несколько часов спустя Фердинанд, у которого был сломан позвоночник, скончался, не приходя в сознание. Сломленному горем Александру показалось в ту минуту, когда он об этом узнал, будто и его собственная жизнь подошла к концу. «Смерть – сочетание букв неизменно чудовищное, но насколько же еще более чудовищным становится оно в некоторых случаях! – напишет он. – Умереть в тридцать один год, умереть таким молодым, таким красивым, таким благородным, таким великим, с таким будущим! Умереть, когда зовешься герцогом Орлеанским, будучи наследным принцем, которому предстоит стать королем Франции!»

Александр ушел в дальний угол сада. Хозяева дома, сами бесконечно удрученные, сочувственно отнеслись к его скорби. Когда экс-король Жером попытался его утешить, Александр простонал: «Монсеньор, позвольте мне оплакать Бурбона в объятиях Бонапарта!», затем попросил разрешения удалиться. «Мне необходимо было побыть наедине с собой. Мои воспоминания – это было все, что осталось мне от принца, который так меня любил…»

Заупокойную мессу по Фердинанду должны были отслужить третьего августа в соборе Парижской Богоматери, похороны назначили на следующий за этим день в Дре. Александр мгновенно принял решение. Если он будет гнать во весь опор,

может поспеть вовремя! Оставив Иду во Флоренции, он отправился в Геную, а там сел на пароход, идущий в Марсель, откуда намеревался без остановок двигаться к Парижу. В дороге Александр встретил друга, Адольфа Эннери, который, видя, что Дюма погружен в мрачные мысли, предложил ему, воспользовавшись этой поездкой, вдвоем на скорую руку сочинить пьесу, лучше всего – комедию. Александр нехотя согласился на это развлечение. «Между Генуей и Шамбери, – расскажет он после, – пьеса была написана». Он и сам удивлялся тому, что смог сделать: да что же такое должно произойти, чтобы он отказался от литературного труда? Не является ли страсть к сочинительству скрытой болезнью, пороком, ведущим к закабалению, к рабству?

Неважно, что эта невысоких достоинств пьеса, получившая название «Галифакс», была создана под грохот колес и стук лошадиных копыт. Ее поставят годом позже в Варьете, никакого успеха она иметь не будет, но она по крайней мере дала Александру возможность на несколько часов отвлечься от своего беспросветного горя.

Утром 3 августа он уже был в Париже. Секретарь герцога Орлеанского, Асселин, рассказал Дюма, что тело покойного было отдано под скальпель доктора Паскье, которому поручили сделать вскрытие, – тому самому доктору Паскье, который несколькими годами раньше разделывал фазана во время пикника в Компьене, что повлекло за собой печальное предсказание собственной кончины, сделанное его королевским высочеством.

Александр вспомнил эту сцену, и сердце его мучительно сжалось. Ему удалось унести с собой реликвию, которую он будет благоговейно хранить: запятнанное кровью полотенце, которым обернули после несчастного случая голову герцога. Позже он напишет в «Вилле Пальмиери»: «В голосе герцога Орлеанского было гипнотическое, завораживающее очарование. Я больше никогда не встречал, даже у самых обольстительных женщин, ничего подобного этому взгляду, этому голосу. […] Когда у меня было горе, я шел к нему; когда у меня случалась радость, я шел к нему; он делил со мной пополам и радость, и горе».

Церемония в соборе Парижской Богоматери была нестерпимо долгой и давяще торжественной. Дюма, затерянный в толпе, даже не смог по окончании мессы приблизиться к катафалку. Сев в карету с тремя школьными друзьями принца: Фердинандом Леруа, Гильемом и Боше, – он поехал в Дре. Прибыв туда к вечеру и поняв, что сильно утомлен «девятью ночами без сна», едва найдя себе ночлег, он рухнул на постель и крепко уснул. На

рассвете его разбудила дробь барабанов Национальной гвардии, возвещавшая о начале погребения. Вскочив, Дюма оделся и выбежал на улицу. Похороны уже начались. Впереди тела, заключенного в гроб, несли урну – в ней покоилось сердце герцога Орлеанского. Огромная безмолвная толпа медленно брела за гробом. Александр боялся, что его не впустят в маленькую семейную часовню, но ему все же удалось туда пробраться и издали увидеть короля Луи-Филиппа, кусавшего платок, чтобы заглушить рыдания. Отзвучала молитва об усопших, гроб начали опускать в склеп. И в этот миг Дюма замер, ошеломленный странным совпадением. Ровно четыре года тому назад, день в день, тоже четвертого августа, он хоронил мать в Вилле-Котре. Но он не посмел сказать об этом его величеству, когда подошел к нему с соболезнованиями. Убитый горем Луи-Филипп даже не смог найти в этот момент ни единого слова благодарности для друга своего сына, который проехал в почтовой карете пятьсот лье, чтобы склониться перед останками того, чью кончину оплакивала вся Франция.

Когда все закончилось, у Александра не оставалось ни малейшего желания продолжать свое пребывание в Париже. Как бы он ни был опечален, ему надо было возвращаться в Италию, снова выслушивать от жены последние сплетни, снова склоняться над чистыми белыми страницами…

Когда Дюма пересекал границу, ему казалось, что за спиной у него осталась груда развалин. Но кого же, в самом деле, он потерял во время этого трагического происшествия: лучшего своего друга или себя самого?

Глава VIII
Удачный роман, неудачный брак

Наилучшим способом справиться с неотступным горем и на этот раз оказалась работа – без отдыха, даже без передышек. Вернувшись во Флоренцию, Александр принялся заглушать тоску сочинительством. Установившийся в Париже метод соавторства продолжался теперь по переписке. За помощью он обратился к старому другу Адольфу де Левену и неутомимому Брюнсвику: вместе с ними написал «Свадьбу с барабаном», пьесу, которая, по его собственному мнению, гроша ломаного не стоила.

Затем, опять-таки в соавторстве с Левеном и Брюнсвиком, начал новую комедию – «Барышни из Сен-Сира». Сюжет ее был крайне незатейливым: юную воспитанницу пансиона Сен-Сир похищает некий дворянин, однако король требует, чтобы соблазнитель женился на своей пассии. Этого оказывается вполне достаточно, чтобы он проникся к ней отвращением. В последнем акте все улаживается, любовь торжествует.

Одновременно с этим забавным пустячком Дюма совместно с Огюстом Маке взялся за исторический роман «Сильвандир», действие которого происходит в конце царствования Людовика XIV. Затем, сменив тон и весело ограбив чрезвычайно серьезное исследование врача-гигиениста Парана-Дюшатле, посвященное парижской проституции, написал очерк «Проститутки, лоретки, куртизанки» – блестящее описание мало к тому времени исследованной породы торговок любовью. В еще одном романе, «Жорж», он коснулся щекотливой расовой проблемы. Канву этой истории, фоном для которой был выбран остров Маврикий, а героями – мулаты, подарил ему за десять лет до того Мальфий, написавший первую сотню страниц и после этого признавший свою неспособность двинуться дальше. «Именно вам, мулату, следует заново писать этого нового „Антони“, – сказал он Александру. – У меня ничего не получится». Мальфий готов был продать рукопись в том виде, в каком она была к этому времени, за пятьсот франков. Александр не поскупился, больше того, он заплатил вдвое больше запрошенного. И решил, что у него, должно быть, легкая рука. Полностью переписанный им «Жорж» вышел из печати в апреле 1843 года. И опять разочарование: ни читателей, ни критиков не заинтересовало противостояние белых, мулатов и негров под знойным небом островов в Индийском океане.

Решительно экзотика такого рода не прельщала читателей,

ожидавших чего-то другого от фокусника, который успел к этому времени вытащить столько чудес из своего волшебного баула. Но что же он может предложить им сейчас, чем привлечь? Дюма тщетно ломал голову – он ничего не мог придумать. Ида, полностью поглощенная своим романом с юным князем Виллафранка, тоже ничем не могла помочь мужу в поиске новых сюжетов.

Впрочем, ему все равно следовало заняться наиболее неотложными делами, и Александр снова отправился в Париж, на этот раз для того, чтобы самому прочесть художественному совету Французского театра «Барышень из Сен-Сира». Наконец-то хоть одна хорошая новость! 20 апреля пьеса была принята единогласно и роли распределены, несмотря на легкий зубовный скрежет мадемуазель Доз, которая не могла простить Александру того, что он отдал главную роль ее сопернице, «гадюке» Анаис. Устав от закулисных склок, Дюма уехал в Италию, предоставив Левену заботу о том, чтобы в его отсутствие следить за ходом репетиций.

Едва он добрался до Флоренции, как к нему явился ненавистный призрак – мелкий пакостник Жюль Леконт, бывший его секретарь, который в свое время напал на него в газете, мстя за унижение: Дюма тогда оскорбил его, отослав прочь словно обнаглевшего лакея. Напрочь обо всем позабыв, этот тип все так же нагло потребовал, чтобы Дюма снова взял его к себе на работу. Донельзя удивленный подобной самоуверенностью, писатель выставил его за дверь и принялся рассказывать всем желающим о причинах своего отказа. История наделала порядочно шума. Дюма, вызванный 11 мая 1843 года во французское посольство, мог лишь подтвердить обвинения против этого проходимца, и Жюлю Леконту предложили немедленно покинуть Флоренцию. Однако вечером того же дня, во время прогулки в одном из самых светских уголков города, Александр увидел идущего ему навстречу Жюля Леконта, смертельно бледного от ярости и размахивающего тростью. Рядом с ним шел русский князь Дундуков-Корсаков, который должен был, по словам Жюля Леконта, стать его секундантом во время дуэли. Впрочем, Леконт, не дожидаясь, пока дело чести разрешится при помощи оружия, замахнулся своей палкой, намереваясь ударить Александра. Однако тот отразил удар левой рукой и, в свою очередь, обрушил трость на голову противника. Из рассеченной щеки брызнула кровь. Жюль Леконт, наполовину оглушенный, пошатнулся и едва не упал. Дюма совершенно спокойно положил руку на плечо Дундукову-Корсакову и обратился к нему со словами: «Князь, вы сопровождаете этого господина, стало быть, вы – его секундант. Я

не стану драться с этим господином, он мошенник, но буду драться с вами». Князь принял вызов, однако, осведомившись в посольстве о прошлом Жюля Леконта, принес Дюма свои извинения, и интригану, разоблаченному и выставленному на посмешище, только и оставалось, что скрыться.

Александру пришлось еще некоторое время пробыть во Флоренции, чтобы переработать рукопись Поля Мериса, в которой рассказывалось о приключениях Бенвенуто Челлини при дворе Франциска Первого. В результате получился отличный, вполне коммерческий роман под названием «Асканио». Однако, перечитывая текст, слегка им исправленный, Дюма по-прежнему чувствовал, что из-под его пера вышел отнюдь не тот шедевр, которого ждет от него потомство. Может быть, лучше все брать из собственной головы, а не приспосабливать чужие сочинения? Вот только, работая на грядке, уже вскопанной предшественниками, можно сберечь так много времени! И разве от этого откажешься, когда ты писатель, у которого каждая минута на счету?

Дюма снова подумал о том, что нечего ждать триумфа в Париже, продолжая жить в Италии. Ида-то, конечно, с удовольствием задержалась бы во Флоренции еще на несколько месяцев – да и как ей не хотеть остаться в этом городе, где она нашла любовника себе по вкусу! Но Александр сгорал от нетерпения. Супруги пришли к компромиссу. Он уедет один – дав жене возможность сполна насладиться последними ночами с Виллафранка. Впрочем, Ида пообещала, что очень скоро приедет к мужу во Францию, хотя на самом деле он втайне мечтал, чтобы Ида навсегда осталась в Италии, просто пока еще не мог решиться на открытый разрыв: ему казалось, что общественное положение писателя предписывает ему соблюдать осторожность. Ну что сказали бы, например, господа из Французской академии, узнав о том, что он собирается разводиться? Конечно же, он вполне способен еще какое-то время потерпеть сварливую и неверную жену, если эта жертва увеличит его шансы вступить под своды Академии, присоединившись к Виньи, Ламартину, Гюго… Кстати, раз уж речь зашла о Гюго, – милый Виктор только что, 7 марта 1843 года, пережил сокрушительный провал своих «Бургграфов». Не следует ли считать это событие предвестником неминуемого заката романтизма в театре? Похоже, тот же самый романтизм куда лучше приживается в романах. Стало быть, именно здесь и надо стремиться использовать его рецепты. А значит – курс на Париж и на исторический роман!

Первая большая остановка на обратном пути – Марсель. Едва прибыв в этот город, Александр отправился в муниципальную библиотеку, чтобы увидеться с Жозефом Мери, царствовавшим

среди километров заполненных книгами полок. Пока друг, выполняя свои обязанности главного хранителя, куда-то отлучился, Дюма, перебирая ряды томов, случайно наткнулся на «Мемуары господина д'Артаньяна, капитан-лейтенанта Первой роты королевских мушкетеров». Эти недостоверные воспоминания вроде бы обязаны были своим появлением на свет воображению Гасьена де Куртиля де Сандра. Александр пролистал книгу, и с первых же страниц его посетило озарение. Несомненно, тот, кто умеет читать между строк, найдет здесь богатый материал для романа! Можно ли ему взять с собой этот том? Мери не имел ничего против, и Александр дрожащей рукой лихорадочно заполнил библиотечную карточку. И сразу ушел, прижимая к себе добычу. Кстати, книгу он так навсегда и забудет вернуть…

В тот же вечер они с Мери ужинали в Прадо – их пригласил граф Валевски. Во главе стола сидела любовница графа, великая актриса Рашель, *пайщица* Французского театра. Сидя напротив этой женщины, любуясь ее такой строгой и такой загадочной красотой, Александр поддался обычному своему безотчетному желанию обольщать. Актриса смотрела на него чуть насмешливо, а он разошелся вовсю, он сыпал остротами, он без умолку делился трогательными или забавными воспоминаниями… Мери, краем глаза за ним наблюдавший, забавлялся свидетельствами того, как действуют чары. После ужина все четверо отправились прогуляться по пляжу, и Александр предложил руку Рашель, продолжая говорить с жаром, явно удивлявшим и смущавшим ее. Внезапно она заметила на песке крохотный обломок мрамора, подобрала его, протянула Александру, прошептав: «В память о нашем приятном вечере». Этого оказалось вполне достаточно, чтобы вскружить ему голову. Покидая Марсель, он только о том и думал, как окончательно покорить эту восхитительную женщину.

Из Парижа, куда Дюма приехал обезумевшим от любви, он слал Рашель полные страсти письма. Но она не отвечала. Он не унимался: «Я люблю вас, Рашель, я очень люблю вас, и это настолько правдиво, что сейчас, когда я вам пишу, я вслух повторяю эти слова самому себе, чтобы слышать, как я произношу их». Как объяснить подобную безучастность женщины, которая, казалось, недавно была полностью в его власти? Сердится ли она из-за того, что он пишет ей? Узнала ли она за это время что-то неприятное о нем? Надеясь победить сдержанность актрисы, Александр вложил между страниц последнего своего письма засушенные цветы, считая, что ни одна женщина не может устоять перед подобным знаком внимания. Но… получил резкий ответ Рашель: «Я надеялась, что моего молчания будет

достаточно для того, чтобы доказать вам: вы плохо обо мне судили; этого не случилось; стало быть, я вынуждена просить вас о прекращении переписки, которая не может не быть для меня оскорбительной, которая и впрямь оскорбительна для меня. Вы пишете мне, сударь, что не посмели бы повторить мне вблизи того, что вы мне пишете; мне остается лишь сожалеть о том, что издали я не внушаю вам того же уважения, что и вблизи». Александр не привык к тому, чтобы женщина, которую он почтил своим выбором, так его одергивала. «Поскольку вы непременно этого хотите, – пишет он в ответ, – остановимся на этом, на будущее часть пути уже пройдена». И подписывается: «Ваш поклонник, но прежде всего – ваш друг».

Однако на этот раз он имел дело с сильным противником. Рашель вернула ему письмо с такой припиской: «Возвращаю вам две строчки, которые вы не побоялись мне послать; когда женщина решает ни к кому не обращаться за помощью, у нее нет другого способа ответить на оскорбление; и, если я ошиблась в ваших намерениях, если эти две строки слетели с вашего пера среди ваших многочисленных занятий лишь по недосмотру, вы, безусловно, будете счастливы получить их обратно».

Пилюля была более чем горькой, но Александр проглотил ее, не поморщившись. Да и вообще он уже позабыл о своей внезапно вспыхнувшей страсти к Рашель, потому что теперь его интересовали только душевные и внешние достоинства юной Анаис – той самой «гадюки Анаис», которой он отдал главную роль в пьесе «Барышни из Сен-Сира». Именно с ней он задул 24 июля 1843 года сорок одну свечку на своем именинном пироге.

На следующий день во Французском театре состоялась премьера «Барышень». Зал был полон, несмотря на то, что над Парижем повисла тяжелая, удушливая жара. Банальная и искрометная пьеса позабавила зрителей, и только критики ворчали, считая автора чрезмерно плодовитым, осыпая упреками за «удручающую пустоту этого дивертисмента». Жюль Жанен, наиболее авторитетный из критиков, назвал пьесу «пошлой и недоделанной комедией» и предсказал, что, «если это убожество будет по-прежнему возникать на сцене, придется закрыть Французский театр». Александр, несмотря на то что кожа у него была выдублена долгим опытом, не выдержал и написал в «La Presse» 30 июля: «Как! Господин Жанен, вы уничтожаете мою комедию так же, как уничтожили мою трагедию! Вы, во время действия болтавший в коридоре с коллегами! И вы еще удивляетесь тому, что ничего не поняли!» Жюль Жанен, в свою очередь, обиделся: критиковать критика – для писателя это преступление, равное оскорблению его величества! Впрочем,

разве Дюма – истинный автор пьесы, которую осмеливается защищать? Все знают, что у нее «тридцать шесть отцов», и все они неизвестны. Александр вышел из себя: для того чтобы ответить на подобное обвинение, одного пера недостаточно, тут потребуются шпага или пистолет! Он послал к обидчику секундантов. Но Жюль Жанен, бестрепетный перед чистым листом, отчаянно струсил, когда его вызвали на поединок. С той же поспешностью, с какой только что громил, он взял свои слова обратно, извинился перед Александром, заверил его в своем неизменном уважении и в дружеских чувствах и пообещал впредь быть более умеренным в суждениях. К тому же, несмотря на то что лето было в разгаре, «Барышни из Сен-Сира» делали сборы: в том году было дано тридцать шесть представлений!

Ободренный успехом Александр перебрался на новую квартиру в доме 45 по улице Монблан,[72] нанял в качестве секретаря обаятельного бездельника, собственного племянника Альфреда Летелье,[73] и, разложив по местам книги и рукописи, приготовился вновь завязать тесные отношения с Парижем, его салонами, его газетами и его женщинами. Все осложнило внезапное появление Иды. Она неожиданно решила покинуть Италию, чтобы занять свое законное место рядом с мужем, великим французским писателем.

Однако дома ее ждал не один Александр, а два: отец и сын. И сын, который за это время успел помириться с отцом, все меньше и меньше склонен был терпеть мачеху. Один вид этой дебелой, шумной, суетной и ничтожной женщины выводил юношу из себя. Ему хотелось бежать из тех мест, которые она отравляла своим присутствием, хотелось путешествовать за границей. Александр Первый был счастлив вновь обрести Александра Второго и уговаривал того набраться терпения. Он уже сейчас готов, заверял отец, пожертвовать ради него Идой, но психологические маневры подобного рода требуют времени и дипломатичности. И так объяснил это в письме к сыну: «Отвечаю тебе письменно, как ты просил, и длинно. Ты знаешь, что госпожа Дюма является госпожой Дюма лишь по имени, тогда как ты – действительно мой сын, и не только мой сын, но, в общем, единственное мое счастье и единственное развлечение, какое у меня есть. […] Твое положение в Париже глупо и унизительно, говоришь ты. В чем же, скажи мне? Нас так часто видят вместе, что больше уже никто не разделяет наши имена. Если тебя ждет какое-нибудь будущее, то это будущее – в Париже». А возвращаясь к разговору о неизбежном разрыве между ним и Идой, разъясняет: «Расставание между мной и госпожой Дюма может быть лишь моральным расставанием: супружеские раздоры неприятным для меня

образом затронут общественное мнение и, стало быть, для меня неприемлемы». Далее он примется соблазнять своего юного корреспондента картинами будущего, озаренного дружбой между двумя литераторами, отцом и сыном, наставником и учеником, всезнающим самоучкой и начинающим, жаждущим пуститься за ним следом. Ида догадывалась о заговоре, который плели у нее за спиной, и предчувствовала худшее. Но гроза все не начиналась.

В такой напряженной обстановке, в такой грозовой атмосфере Дюма готовился к «началу сезона». За «Асканио», который печатался в «Веке», последовали «Замок Эпштейнов», «Амори», «Габриель Ламбер» – одни только романы: первый – исторический, второй – фантастический, третий – сентиментальный, четвертый – умеренно реалистический. Переходя от одного прозаического жанра к другому, Дюма отыскивал наилучшую для себя площадку, где мог бы обосноваться. Каждое утро, сразу после завтрака, он раскладывал на рабочем столе большие листы бледно-голубой бумаги, выбирал гусиное перо, окунал его в чернила, нумеровал страницы и принимался писать с такой невероятной скоростью, словно кто-то, стоя у него за спиной, диктовал ему текст. Эти фразы, так легко ложившиеся одна к другой, были его собственными, и все же он нередко обязан был вдохновившим их замыслом какому-нибудь второстепенному помощнику. Он неизменно предпочитал работать с командой. Пусть кто-нибудь принесет ему извне главный сюжет, топографические и исторические детали, краткую хронологию, а уж он позаботится о том, чтобы соединить все это в целое, играющее неподражаемыми красками. Кто посмел бы упрекнуть великих художников итальянского Возрождения в том, что они доверяли ученикам работу над отдельными частями своих картин? Если Тициан, если Рафаэль и Микеланджело могли привлекать к работе подмастерьев, чтобы те помогали им создавать великолепные творения, то с какой стати он, Дюма, должен отказываться от помощи нескольких трудолюбивых литераторов, которые помогают ему справиться с сюжетом или роются в документах, поскольку у него самого нет времени этим заниматься? Сравнивая собственные отношения с Огюстом Маке с теми, которые связывали Рафаэля с его учеником, он напишет: «Как только произведение закончено, кисти мастера остается лишь пройтись поверх кисти ученика, чтобы дополнить мысль». Одним словом, если таланта достаточно для того, чтобы направлять усилия исполнителей, предшествующие творческому труду, гений проявляется тогда, когда прикладывает руку «отделочник». Именно он и только он один придает отпечаток неповторимости пьесе или роману, перед тем как вверить

произведение суду публики. Что же касается приемов, при помощи которых Дюма добивается успеха, приемы эти просты: «начать с интересного, вместо того чтобы начать со скучного; начать с действия, вместо того чтобы начать с подготовки; говорить о персонажах после того, как они появятся, вместо того чтобы выводить их после того, как о них рассказано»,[74] что равносильно тому, чтобы без предварительной психологической подготовки бросить читателя в воду, а затем, уже в ходе рассказа, посвятить его в особенности характера и подробности прошлого главных героев. Другой обязанностью автора, согласно теории Дюма, было соблюдать всего лишь минимум точности в описании мест и нравов века, выбранного для развития сюжета. «Надо, чтобы язык, костюмы, сами повадки моих персонажей гармонировали с представлениями, которые сложились у нас об эпохе, которую я пытаюсь описать, – заявляет он. – […] Я делаюсь летописцем, историком; я рассказываю моим современникам о событиях ушедших дней, о впечатлениях, которые эти события произвели на персонажей, существовавших в действительности или созданных моим воображением».[75] И, наконец: «У нас двойная цель: учить и развлекать. Но в первую очередь – учить, потому что развлечение для нас остается лишь маской, которой прикрывается обучение […] Мы считаем, что рассказали в своих произведениях Франции о том, что происходило на протяжении пяти с половиной веков, больше, чем любой из историков».[76]

Моральная дисциплина, на которую Дюма претендовал, не мешала ему со страстью становиться на сторону одних своих персонажей или активно выступать против других. Одними он восхищался, других ненавидел. И эта пристрастность не только не вредила рассказу, она, наоборот, придавала ему темп и энергию. Читатель, захваченный пылом автора, поочередно трепетал от сочувствия или содрогался от жажды мести. Собственно говоря, от историка, на звание которого он претендовал, Дюма отличала именно свобода, с которой он обходился с историей. Он слишком любил историю, для того чтобы позволить ей оставаться застывшей, потому и переделывал ее на свой лад, сохраняя основные линии, размеченные профессиональными учеными. Лгать, опираясь на истину, – не есть ли это вершина искусства романиста?

По мере того как множились его романы с продолжением, Дюма все больше убеждал себя в том, что именно этот способ выражения наиболее соответствует его таланту. И провал его последней пьесы 30 декабря 1843 года в «Одеоне» лишь окончательно показал Александру, что ему следует использовать скорее свое дарование повествователя, чем автора диалогов.

Единственное, что теперь оставалось узнать, – может ли публикация в газете, а затем издание отдельным томом принести ему столько же, сколько ряд представлений на приличной сцене. По расчетам Дюма выходило, что печататься нередко оказывается более выгодно, чем быть представленным на сцене. Именно на этой стадии его размышлений ему снова пришел на ум замысел романа, нынче основанного на «Мемуарах господина д'Артаньяна».

Александр поговорил об этом с Огюстом Маке, и с этой минуты словно по волшебству заработал механизм, производящий грезы. Вокруг д'Артаньяна, бесстрашного гасконца, преданно служащего королеве Анне Австрийской, появились и начали жить своей жизнью другие персонажи: Атос, Портос, Арамис… Ударный отряд, объединенный общим идеалом веселого рыцарства. Дюма, с его неизменным культом дружбы, проиллюстрировал в новом произведении, сумев изобрести сотни приключений, миф о мужском братстве. Ему казалось, что он всего-навсего сочиняет очередной роман, такой же, как множество других, но на самом деле герои вырвались из-под его власти, зажили сами по себе, словно бы помимо его воли, и сделались настолько подлинными, со своими лицами, собственными характерами, речами, что внезапно оказалось: эти герои незаменимы, и обитатели светских салонов и меблированных комнатушек с равным нетерпением дожидаются продолжения рассказа о новых подвигах мушкетеров!

Надо было работать очень быстро, заказчики постоянно теребили. Газета «Век», начавшая печатать роман 14 марта 1844 года, требовала изо дня в день давать продолжение. Дюма гнал без передышки, чтобы удовлетворить читателей, заставляя и Маке трудиться без отдыха. О его спешке свидетельствуют записки, которыми он ежедневно засыпал соавтора: «Теперь ваш ход, и поторопитесь, я уже два часа простаиваю. Мне необходимо получить все к одиннадцати часам вечера». Или: «Вот забавно, сегодня утром я написал вам, чтобы вы ввели в эту сцену палача, потом бросил письмо в огонь, решив, что сам введу его в действие. Однако первое же слово, какое я прочел, доказало мне, что мы сошлись. Теперь ваш ход, и поспешите, я уже два часа простаиваю». Или еще: «Мне кажется, тут можно написать прекрасную сцену […]. Нам не помешает поболтать за обедом. Не хотите ли пообедать со мной?» Или наконец: «В следующей главе мы должны узнать от Арамиса, который пообещал д'Артаньяну об этом осведомиться, в каком монастыре находится госпожа Бонасье и каким образом покровительствует ей королева». За несколько недель именно благодаря «Трем мушкетерам» число

проданных экземпляров «Века» стремительно выросло, подписчики хлынули толпой. Четверо храбрецов, славных защитников чести женщины, завоевывали друзей по всей Франции.

Дюма ликовал и, даже еще не разделавшись с «Тремя мушкетерами», принялся сочинять «Графа Монте-Кристо», который был куплен не глядя «Le Journal des Débats». История молодого простодушного моряка, который был осужден из-за низких происков и после четырнадцати лет, проведенных в тюрьме, бежал оттуда, завладел таинственным сокровищем и свершил безжалостную, но праведную месть, взволновала читателей ничуть не меньше, чем подвиги д'Артаньяна и троих его друзей.

В следующем году появятся «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», а также два «современных» романа: «Корсиканские братья» и «Габриель Ламбер». Успех каждого очередного романа был залогом успеха следующего. И если кое-кто из строгих, но справедливых критиков еще морщился, толпа читателей превозносила Дюма до небес.

Но что же так пленяло любителей романов с продолжением в этом мощном потоке литературы? Прежде всего увлечение и пыл самого автора, который превосходно чувствовал себя в псевдоисторических декорациях. Чувствовалось, что он так же забавляется, сочиняя свои романы, как те, кто читает их. Он сообщал собственный трепет радости, возмущения или страха всякому, кто готов был поверить ему на слово. Звал читателя приобщиться к счастью стать таким же простодушным, как он. И когда они с раскрытым ртом упивались нелепостями, которые им преподносил плодовитый автор, когда переставали отличать правду от лжи, когда утрачивали всякую способность к критическому суждению, они невольно делались его сообщниками, брали сторону творения, так их околдовавшего. Подоплека тут была более глубокой: на самом деле поклонники Дюма не уставали благодарить его за то, что своими фантастическими историями он вернул им восторги детства…

Тем не менее надо отметить, что удивительная способность предаваться грезам наяву, играм сочинительства, историческим фантазиям не мешала наличию у Дюма любви к размеренному труду, деловой хватки и стремления к достойному поведению в обществе. И если вспомнить о том, какой огромный объем работы выполнял Александр каждый день, нельзя не удивиться тому, как он еще находил время заниматься своими семейными неурядицами.

После долгих споров Дюма в конце концов удалось уговорить

Иду поселиться отдельно, не покидая Парижа. Для себя в поисках покоя, необходимого для его неустанного труда – ведь он и впрямь трудился не покладая рук, – Дюма снял в Сен-Жермен-ан-Ле большую виллу, выстроенную в стиле Генриха IV. Пленившись мирной сельской тишиной, решился даже купить участок примерно в три гектара в Пор-Марли, намереваясь выстроить там замок, достойный его самого и его творений.

Однако строительство такого замка было пока проектом весьма отдаленным, на ближайшее время намечались совсем другие дела, ими и следовало заняться, и другие расходы, на которые нельзя было не пойти. Прежде всего, на его взгляд, требовалось уладить формальности, связанные с раздельной жизнью с Идой. Развод, в свое время узаконенный Наполеоном, был отменен еще в 1816 году, и единственным способом расторгнуть брак сейчас было именно раздельное проживание супругов. Впрочем, теперь против этого нисколько не возражала и сама Ида. Долгая связь, а затем и брак с Александром убедили ее в том, что он – невозможный в обхождении человек для такой женщины, как она, – алчной до удовольствий, страстно жаждущей знаков внимания. Ей хотелось быть королевой в их чете, а восхищение, которое вызывал у публики муж, вынуждало ее оставаться в тени. Рядом с этим великолепным самцом, таким самоуверенным, так любящим покрасоваться и таким неверным, она начала сожалеть об оставленном в Италии столь скромном и благородном своем возлюбленном, да и князь Виллафранка только о том и мечтал, чтобы снова с ней сойтись. Конечно, он был женат, и его жена, урожденная Ло Фраза Абате, только что родила ему сына, но мать с ребенком жила в Палермо, а сам он – то в Риме, то во Флоренции, и семейное положение мужа и отца нисколько не мешало ему надеяться на скорое возобновление отношений с госпожой Дюма. Ида, зная это, взвесила все «за» и «против» и решила, что не имеет права заставлять возлюбленного и дальше томиться. К тому же Александр снова без зазрения совести изменял ей, как обычно, найдя себе подходящую подругу в театральном мире.

Теперь он развлекался в обществе актрисы из Пале-Рояль по имени Селеста Скриванек. В августе он отправился вместе с ней в Трувиль. На обратном пути они встретились в дилижансе с Жюлем Жаненом, который так описал последнее завоевание писателя: «Чудовищная девица, наполовину пруссачка, наполовину голландка, и говорит на совершенно тарабарском языке».

Александр в Трувиле принимал ванны и много работал под влюбленным взглядом Селесты. Жюлю Жанену он сообщил, что

привез после своего пребывания на берегу моря «романов на восемь или десять тысяч франков». Вскоре после этой эротико-литературной вылазки, войдя во вкус, он отправился в новое путешествие – все с той же Селестой, на этот раз переодетой в мужское платье, должно быть, ради того, чтобы сделать приключение еще более пикантным. Теперь парочку сопровождал Дюма-сын, и Александр Первый, словно старый петух, бахвалился, выставляя напоказ свою удачу перед Александром Вторым. Он и сам толком не понимал, чем должен в первую очередь гордиться, чем хвастаться перед этим свидетелем его счастья, лучшим свидетелем, какого только можно было пожелать: своим ли писательским успехом или своими достижениями любовника. В этом возрасте немалого стоит и тот успех, и другой, думал он.

Троица прокатилась по Бельгии и посетила берега Рейна. Ида, которая осталась в Париже и которой муж изменял уже у всех на глазах, в открытую, все более и более склонялась к тому, чтобы пойти на разрыв – разумеется, хорошо оплаченный. А Дюма-сын, вернувшись из путешествия, весело написал Жозефу Мери: «Великая новость, милый и добрый друг. Семья Дюма распадается. Супруги готовы расстаться, подобно Аврааму и Агари,[77] но не по причине бесплодия – и я думаю, что вскоре вы увидите, как некая толстуха проследует через Марсель, направляясь в Италию, чтобы остаться там навсегда! Вот и хорошо!»

Наконец 15 октября 1844 года Александр Дюма передал своему поверенному, мэтру Ганда, документ, в котором оговорены были условия мирного расставания: «Господин Дюма, в соответствии с соглашением, уже подписанным между ним и его женой, будет выплачивать начиная с [вместо даты был оставлен пробел] госпоже Дюма 1000 франков ежемесячно. Помимо этого, он будет оплачивать экипаж. Если госпожа Дюма уедет в Италию, оставив спальню, туалетную комнату и т. д., иными словами – обстановку, принадлежащую лично ей, господин Дюма выплатит ей в возмещение оставленного имущества 3000 франков в момент отъезда. Кроме того, он будет доплачивать ей по 500 франков в течение первых двенадцати месяцев и таким образом заплатит за мебель 9000 франков. Оговорено, что госпожа Дюма, в обмен на эту сумму, составляющую 12 000 франков в год, к которой господин Дюма добровольно прибавляет 3000 франков на экипаж, берет на себя воспитание и содержание мадемуазель Мари Дюма».

Значительность денежных выплат, предназначенных жене, свидетельствует и о том, насколько ожесточенными были споры

между супругами, и о том, как сильно Александру не терпелось избавиться от Иды. Он созрел для того, чтобы, сбросив балласт, избавившись от ига, легко и свободно лететь к новым горизонтам. Впрочем, с тех пор как Дюма перешел на романы, дела шли хорошо, деньги прибывали. Вот только газеты, постоянно требовавшие романов с продолжением, не оставляли его в покое, торопили и подгоняли, он ни на минуту не мог замедлить темп. Маке едва успевал перевести дух между двумя главами. Дюма засыпал его записками: «Ничего не бойтесь, не бывает никаких длиннот. Напишите во всех подробностях сцену […] и скорее, скорее, дорогой друг, пришлите мне все это, в нынешнем месяце надо совершить невозможное».[78]

Ида покинула Париж в апреле 1845 года и увезла с собой маленькую Мари-Александрину. Девочка была в полном восторге от того, что в свои четырнадцать лет ехала в страну солнца и мандолин. Александр-младший, сильно рассчитывавший на изгнание мачехи, торжествовал победу, он еще больше сблизился с отцом. А Дюма, распрямившись, дышал полной грудью, словно только что сбросил на обочину тяжкий, давивший ему на плечи груз. И внезапно даже почувствовал себя настолько бодрым, что задался вопросом, уж не помолодел ли он с возрастом…

Часть III

Глава I
Апогей

После недолгого периода привыкания отец и сын Дюма обрели ритм существования, который устраивал обоих. Любовь к литературе, роскоши и женщинам достаточно тесно объединяла их для того, чтобы оба были довольны и счастливы. Александр Второй восхищался Александром Первым как писателем и как человеком, а Александр Первый поощрял Александра Второго в том, чтобы он во всем подражал отцу. Селеста Скриванек, временно избранная хозяйкой дома, служила им экономкой и кастеляншей, занималась их одеждой – там галстук подошьет, здесь пояс у брюк расставит. При случае доводилось ей и написать несколько строк под диктовку хозяина дома – после того как ублажит его своими ласками.

Присутствие этой переписчицы на подхвате было далеко не лишним на этой фабрике по производству романов, которая теперь располагалась на просторной вилле, стоявшей на улице Медичи, на опушке парка Сен-Жермен-ан-Ле. В 1845 году за «Королевой Марго» последовал чудесный, гарцующий и ностальгический роман «Двадцать лет спустя», в котором постаревшие герои «Трех мушкетеров» ставят свою храбрость и свою изворотливость на службу Мазарини; затем был написан «Шевалье де Мезон-Руж» со множеством внезапных поворотов сюжета и, наконец, «Графиня де Монсоро» (продолжение «Королевы Марго»), где рассказывалось о происках герцога Анжуйского, намеревавшегося отнять корону у Генриха III, которого защищала толпа его миньонов и его дерзкий и уморительный шут Шико. Во время работы над этими тремя последними романами ему, как обычно, помогал скромный и безвестный Огюст Маке, который собирал материалы и придумывал эпизоды, тогда как Александр помешивал соус, добавлял пряности и специи и придавал блюду незабываемый вкус. Решительно из всех своих соавторов Дюма именно Маке считал наиболее полезным, деятельным и верным, пусть тот и держался чопорно. Он даже отказался в свое время нанять нового «негра», Жана-Батиста Жако, именовавшего себя Эженом де Мирекуром и предлагавшего ему свою помощь с подозрительной настойчивостью. Чутье редко его обманывало. И в самом деле – Мирекур, оскорбленный тем, что его отвергли, обратился в Общество литераторов, обличая поведение писателя, «чьи методы работы не оставляют другим авторам никакой возможности

заработать себе на жизнь». Его протесты ни к чему не привели, и тогда он написал Эмилю де Жирардену, главному редактору «La Presse», требуя, чтобы тот изгнал из своей газеты мнимого великого человека, проникнутого «литературной меркантильностью», и взял на его место молодых и талантливых авторов, мечтающих развиваться. Но Жирарден ответил, что, поскольку он считается с желаниями своих читателей, которым очень нравится читать Дюма, у него нет ни малейшего основания отказывать им в этом удовольствии. Кроме всего прочего, в то время прибегать к помощи исследователей документов и поставщиков сюжетов было делом вполне обычным: кто из прославленных писателей, от Бальзака до Жорж Санд и от Сент-Бева до Гюго, мог бы поклясться в том, что ничем не обязан безвестному предшественнику?

Тем не менее Мирекур не желал признавать себя побежденным. Просмотрев книги записей Общества драматургов, он переписал имена всех тех соавторов, которые получали деньги, не будучи названными в афише, и напечатал небольшой текст с убийственным заголовком: «Фабрика романов: торговый дом Дюма и компания». В этом памфлете он утверждал, что Дюма – коммерсант, руководящий крупным предприятием, которое занято мистификацией, и заставляет изголодавшихся сочинителей писать тексты, которые затем подписывает своим именем, единолично прикарманивая доходы и узурпируя славу. Для каждого романа, для каждой пьесы он называл истинного создателя, скрытого за огромной подделкой мастера. Адольф де Левен, Анисе Буржуа, Гайярде, Жерар де Нерваль, Теофиль Готье, Мальфий, Поль Мерис, а главное – Огюст Маке выступили таким образом из тени. К этим конкретным обвинениям Мирекур прибавил насмешки и оскорбления, доходя до того, чтобы заявить: «Поскребите творчество господина Дюма, и вы найдете там дикаря. […] Он обедает, вытаскивая из золы обжигающие клубни картошки, которые ест, не счищая шкурку».

Нападение было столь свирепым, что даже враги Дюма растерялись. Бальзак, который презирал и ненавидел этого шумливого собрата по перу, написал: «Мне дали памфлет про „Торговый дом Дюма и компания“. Это до омерзения глупо, но это – печальная правда».

Уязвленный в своей писательской гордости, Александр 17 февраля 1845 года обратился в правление Общества литераторов и попросил коллег высказать свое суждение. «Есть ли какое-либо злоупотребление в союзе двух человек, объединившихся ради работы, объединившихся на основе особых условий, которые устраивали и по-прежнему устраивают обоих компаньонов? –

пишет он. – А теперь зададим другой вопрос: повредил ли кому-нибудь или чему-нибудь этот союз?» И, желая доказать свою добрую волю, приводит список произведений, порожденных его сотрудничеством с Огюстом Маке: как минимум – сорок два названия! И ему нечего стыдиться. Он даже гордился этим взаимопониманием и согласием, царившими между ним и его товарищем по каторжному труду. Они ладили между собой и неплохо жили, они намерены продолжать то же и впредь. Неужели кто-нибудь упрекнет их в этой плодотворной взаимной симпатии? Подведя итоги для одного и другого, Дюма торжествующе заключил: «Вот пример того, что могут произвести два человека, которые, когда поодиночке, когда в сотрудничестве, привыкли работать от двенадцати до четырнадцати часов в день». Правление Общества литераторов, таким образом осведомленное, высказало порицание Мирекуру за то, что он оклеветал Дюма, «затронув его происхождение, его личность, его характер и его частную жизнь». Не удовлетворившись этой профессиональной реабилитацией, Дюма обратился в суд. Клеветническая брошюра была арестована, виновный был 15 марта 1845 года приговорен к двухнедельному тюремному заключению, извещение об этом появилось в газетах.

Но еще больше, чем эта официальная победа над злословием, Александра обрадовало письмо, которое он получил от Маке сразу после этой истории: «Дорогой друг, наше сотрудничество всегда обходилось без цифр и без контрактов. Доброй дружбы, честного слова нам было вполне достаточно, нас настолько это устраивало, что нам, написавшим полмиллиона строк о чужих делах, ни разу и в голову не пришло написать хоть словечко о своих. Но в один прекрасный день вы нарушили это молчание: вы сделали это для того, чтобы очистить нас от подлой и нелепой клеветы; вы сделали это для того, чтобы оказать мне величайшую честь, на какую я только мог надеяться; вы сделали это для того, чтобы объявить о том, что я написал вместе с вами множество произведений; ваше перо, дорогой друг, сказало слишком много: вы вольны меня прославить, но не платить второй раз. Разве вы не вознаградили меня за те книги, которые мы написали вместе? Если у меня нет контракта с вами, то и у вас нет контракта со мной; однако представьте себе, что я умру, дорогой друг, и не может ли тогда какой-нибудь непреклонный наследник, размахивая вашим заявлением, потребовать от вас того, что вы уже дали мне? Чернилам, видите ли, хочется чернил, вы заставляете меня марать бумагу. Я заявляю, что начиная с этого дня отказываюсь от всех прав собственности на следующие написанные совместно с вами произведения». И, перечислив

следом за этим романы и пьесы, обязанные своим появлением его сотрудничеству с Дюма, Огюст Маке заключает: «Сохраните это письмо, если сможете, дорогой друг, чтобы показать его непреклонному наследнику, и скажите ему, что всю мою жизнь я был очень счастлив и очень польщен тем, что был сотрудником и другом самого блестящего из французских писателей. Пусть он поступает подобно мне!»

И наконец реванш, который взял Дюма над своими хулителями, довершила смелая статья Дельфины де Жирарден в «La Presse», в которой она обличала презрение критики и Французской академии по отношению к двум великим писателям, чья вина состояла в том, что у них было слишком много читателей: «Господа Бальзак и Александр Дюма пишут от пятнадцати до восемнадцати томов в год, им не могут этого простить». – «Но эти романы превосходны». – «Это не оправдание, их слишком много». – «Но они имеют бешеный успех». – «Это лишь усугубляет вину; пусть они напишут по одному-единственному, совсем маленькому и посредственному, который никто и читать не станет, вот тогда посмотрим. Слишком большой багаж мешает войти в Академию, правило то же самое, что и в саду Тюильри: не впускать тех, у кого слишком объемистые пакеты».

Дюма был доволен тем, что его объединили с Бальзаком в этом слове в защиту литературной плодовитости и своеобразия. То, о чем столь пылко писала Дельфина де Жирарден, он сам сто раз говорил тем, кто предпочитал еле капающую из крана тепловатую водичку щедрому излиянию потока. Сын поощрял его пристрастие к изобилию во всем: в сочинительстве, в делах и в любви. У него самого к этому времени было две любовницы: куртизанка Мари Дюплесси, которая, напишет он потом, «была высокой, очень изящной брюнеткой с бело-розовой кожей. Головка у нее была маленькая, продолговатые глаза казались нарисованными эмалью, как глаза японок, только смотрели они живо и гордо; у нее были красные, словно вишни, губы и прелестнейшие на свете зубки. Вся она напоминала статуэтку из саксонского фарфора».[79] Хрупкая, выглядевшая чистой и невинной в своих заманчиво декольтированных платьях, Мари Дюплесси при любых обстоятельствах украшала себя камелиями. Говорили, будто она больна чахоткой. Дюма-сын был в нее влюблен до безумия. Но в то же самое время он был любовником актрисы из Водевиля, Анаис Льевен, содержание которой, как говорили, «обходилось в две тысячи франков в месяц». Должно быть, платил отец, донельзя счастливый тем, что сын на него походит.

У Анаис, среди прочих ее достоинств, была страсть принимать у себя знаменитостей, художников, журналистов, писателей, но при этом она совершенно не заботилась о том, чтобы, приглашая к себе гостей, считаться с их тайными пристрастиями. На один из ужинов, который она устраивала у «Братьев-провансальцев» и на котором присутствовали Александр Дюма и его сын, она сочла возможным пригласить и Александра Дюжарье, управляющего газетой «La Presse», и Розмона де Боваллона, сотрудника «Globe». Однако два журналиста ненавидели друг друга с тех пор, как из-за колоссального успеха «Королевы Марго», печатавшейся в «La Presse», стремительно упали продажи соперничавшей с ней газеты «Globe». Сидя друг против друга, эти двое обменивались кисло-сладкими замечаниями. Вмешательства других приглашенных оказалось недостаточно для того, чтобы разрядить атмосферу, и после какого-то замечания, показавшегося ему особенно обидным, Дюжарье вызвал Боваллона на дуэль.

В назначенный для поединка день, 11 марта 1845 года, Боваллон, который был большим специалистом по части выяснения отношений с оружием в руках, убил Дюжарье. Однако секунданты упрекнули его в нарушении кодекса чести: он пробовал пистолеты перед поединком. Больше того, руководство «Globe» обвиняли в том, что Боваллону, известному своей меткостью в стрельбе, было поручено устранить редактора конкурирующего издания. Кое-кто заговорил об убийстве. Дело дошло до суда. Боваллон был оправдан, но после обжалования кассационный суд передал дело в следующем году на рассмотрение суда присяжных в Руане. Дюма и его сын были вызваны в качестве свидетелей. Они отправились в суд в открытой коляске. Обоих сопровождали любовницы: отца – очередная актриса Атала Бошен (сменившая к этому времени Селесту Скриванек), сына – Анаис Льевен. Когда коляска с обеими парами остановилась у здания руанского дворца правосудия, толпа зевак, узнав автора «Трех мушкетеров», принялась ему аплодировать. Он в полном восторге стал раскланиваться словно в театре. В зале суда представление продолжалось, и Александр развлекался вовсю, отвечая на вопросы судебного чиновника. «Профессия?» – спросил у него председатель суда. «Я назвал бы себя драматургом, не будь мы на родине Корнеля!» – ответил тот. Судья улыбнулся и с холодной насмешливостью заметил: «О, здесь существуют градации!» Боваллон был приговорен к восьми годам тюремного заключения.

Поведение обоих Дюма во время процесса, несомненно, позабавило любителей судебных инцидентов, но большинство

присутствующих их развязность неприятно удивила. Местные газеты, как и парижские издания, сочли нелепым это цирковое представление, устроенное во время суда над человеком, которого обвинили в том, что он хладнокровно и предательски убил другого человека. Нестор Рокплан, который считался другом Дюма, писал своему брату Камиллу: «На этом процессе Дюма, который хотел выказать себя знатоком в вопросах чести, человеком рафинированным и завзятым бретером, навсегда скомпрометировал само понятие „джентльмен“, настолько он им злоупотреблял. […] Во время руанского процесса отец и сын Дюма и их дамы вели общее хозяйство».[80]

Эти волнения в публике нисколько не затрагивали спокойствия Александра. Вернувшись домой, в Сен-Жермен-ан-Ле, снова обосновавшись на улице Медичи, он присматривал за ходом работ на строительстве замка, который возводил для себя неподалеку оттуда, в Марли, и в соавторстве с Маке занимался переделкой своего романа «Двадцать лет спустя» в пьесу под названием «Мушкетеры». Им снова овладела честолюбивая мечта получить в свое распоряжение театр, где он был бы единственным хозяином и единственным поставщиком. Благодаря незабвенному Фердинанду он «заполучил» в 1836 году «Ренессанс», но тогда он должен был считаться с выдающимся компаньоном, каким был Виктор Гюго, и директором, Антенором Жоли, что сильно сковывало его свободу. Впрочем, «Ренессанс» вскоре затонул под собственной тяжестью после нескольких совершенно непредсказуемых провалов. Но не может ли он сейчас, опираясь на свою известность, потребовать дать ему собственный зал, собственную публику? Ему недоставало лишь покровителя в высших сферах, но, хорошенько пошарив в окружении короля, он, должно быть, такого найдет. А пока Дюма отдал своих «Мушкетеров» в Амбигю-Комик. Театр, конечно, второсортный, но он может удовольствоваться им, надеясь, что для следующего своего драматического опыта обзаведется чем-нибудь получше. Узнав о том, что пятый сын Луи-Филиппа, герцог де Монпансье, которому в то время исполнился двадцать один год, является большим поклонником его романов, Дюма послал юноше билеты на премьеру своей пьесы, которая назначена была на 27 октября.

В тот вечер успех «Мушкетеров» был полным и безоговорочным. Молодой герцог, хотя и несколько расстроенный сценой обезглавливания короля Карла Первого, напомнившей ему о гибели на эшафоте его родного деда, Филиппа Эгалите, тем не менее заявил, что в полном восторге от спектакля. Публика, увлекаемая его примером, бешено аплодировала этому новому творению любимого автора. Александр был до того доволен, что

решил разделить триумф с излюбленным соавтором. Даже не предупредив об этом заинтересованное лицо, он попросил Меленга, который играл роль д'Артаньяна, после того как закончатся вызовы, объявить, что драма обязана своим появлением на свет «господам Дюма и Маке». Он был вознагражден за свой добрый поступок: неделей позже герцог де Монпансье, принимая его в Венсене, пообещал замолвить за него словечко перед отцом, попросить дать разрешение основать достойный автора «Мушкетеров» театр, которым тот лично руководил бы. Герцог сдержал слово, и растроганному до глубины души Александру показалось, будто в этом великодушном и благородном молодом человеке светится та же лучезарная доброта, что была свойственна его старшему брату Фердинанду.

Новый театр мог бы назваться Театром Монпансье, в знак уважения и благодарности тому, кто был первым его защитником. Луи-Филипп одобрил проект, но название его не устраивало: никогда заранее нельзя сказать, не прогорит ли театр, и он не желает, чтобы славное имя Монпансье было связано со столь ненадежным предприятием. А потому поладили на более невинном названии – Исторический театр. Добытая таким образом привилегия была передоверена Александром подставному лицу, Ипполиту Остейну, давно подвизавшемуся в управлении театральными делами.

Последний основал товарищество под руководством Веделя, бывшего директора «Комеди Франсез». Месяцем позже товарищество приобрело за шестьсот тысяч франков бывший отель Фуллона и кабачок «Срезанный Колос» на бульваре Тампль. Работы, руководить которыми было поручено архитекторам Дре и Сешану, были начаты незамедлительно. Пять этажей, две тысячи мест, сцена, достаточно просторная для того, чтобы по ней могла передвигаться толпа статистов. На фасаде выбиты барельефные изображения величайших гениев драматической литературы. «Вот оно, наше гранитное объявление!» – с обычной своей гордостью заявил Александр. Нестор Рокплан, неизменно скептически настроенный, посмеивается над ним: «Дюма утверждает, что он уже заказал декорации для семи пятиактных пьес, которые написал недели две тому назад, ужиная с любовницей. Веселость, беспечность, прожектерство, остроумие, безалаберность, безрассудство этого малого, его цветущее здоровье и плодовитость совершенно феноменальны».[81] Таким образом, даже те, кто считал его наполовину помешанным, не могли не склониться перед его жизненной силой и его изобретательностью. Поскольку Дюма не мог ждать долгие месяцы, пока Исторический

театр, избавившись наконец от лесов, будет готов принять его творения, он решил снять театр в Сен-Жермен-ан-Ле, где ставили бы написанные им комедии. Главным в его глазах было не дать публике ни на день о нем забыть, сделать так, чтобы его имя неизменно звучало в ушах французов, чтобы о нем как можно чаще говорили в салонах, в кафе, в редакциях газет. В стремлении предотвратить возможное охлаждение читателей он издает «Бастарда де Молеона» и спешно сочиняет волнующие, приправленные магнетизмом и магией приключения Джузеппе Бальзамо.

Но тут до него дошли слухи о странной инициативе правительства. Завоевание Алжира было практически завершено, несмотря на редкие вылазки отрядов Абд-эль-Кадера, и король считал, что неплохо было бы отправить туда колонистов, которым было бы вменено в обязанность приобщать дикие племена к европейской цивилизации и заставить природные богатства этой страны приносить доход. Несмотря на выгоды, которыми заманивали желающих уехать, очень немногие французы решились ими воспользоваться. Министр народного просвещения Нарсис Ашиль де Сальванди был этим весьма обеспокоен. Внезапно он сообразил, что Александр Дюма с его хорошо известной словоохотливостью мог бы помочь ему вербовать добровольцев. Достаточно было бы отправить писателя за море и убедить его привезти оттуда «дорожные впечатления», достаточно заманчивые для того, чтобы убедить сотни читателей попытать счастья. Сказано – сделано: министр пригласил Александра на обед и без долгих предисловий предложил ему поехать в Испанию на свадьбу герцога де Монпансье и инфанты Луизы-Фернанды, а затем отправиться в Алжир, осмотреть страну и написать об этом путешествии живописный очерк, который будет напечатан в газетах. Дюма никогда не мог устоять перед соблазном путешествовать. Несмотря на строительство Исторического театра, который постепенно вырастал, камень за камнем, несмотря на еще не завершенного «Жозефа Бальзамо», он принял предложение. Но все же выставил одно условие, и непростое: в его распоряжение должны были предоставить корабль из королевского флота. Человек, занимающий такое положение, провозгласил он, не может плавать на торговой посудине. Речь идет о престиже Франции, которую ему поручено представлять. Сальванди, поначалу оторопевший от запросов гостя, согласился обсудить это на Совете министров. В конце концов требования этого сумасбродного Дюма были удовлетворены. Ему решили не только предоставить судно, но еще и финансировать его поездку. Чего только не сделаешь ради того, чтобы привлечь внимание

французов к заморским территориям!

Раздраженный этой новой милостью, оказанной и без того чрезмерно обласканному публикой собрату по перу, Виктор Гюго пишет в «Пережитом» («Choses vues»): «Александра Дюма послали в Испанию присутствовать в качестве историографа на свадьбе герцога Монпансье. Вот как добывали деньги на это путешествие: полторы тысячи франков отпустило министерство просвещения из фонда „Поощрения и помощи литераторам“, еще полторы тысячи – из фонда „Литературных поручений“, министерство внутренних дел выдало три тысячи франков из кассы особого фонда, господин де Монпансье – двенадцать тысяч франков. Получая деньги, Дюма сказал: „Ну что ж, этого, пожалуй, хватит, чтобы уплатить проводникам“».[82]

Газеты, по обыкновению своему зубоскаля, тоже писали о том, что богатейший автор «Мушкетеров» отправляется исполнять обязанности «историографа» на свадьбе герцога де Монпансье за государственный счет. Между тем для Александра поездка в Испанию представляла собой лишь незначительный эпизод его путешествия. Главным для него самого было продолжение, открытие Алжира, прославление колонизаторской деятельности Франции. Когда есть такая цель, денежные вопросы, пусть даже речь идет о больших деньгах, оказываются второстепенными. Александр готов был, если потребуется, приплатить из собственного кармана. Впрочем, он не намеревался путешествовать в одиночестве. Его должны были сопровождать сын, Огюст Маке и художник Луи Буланже. Но ему необходим был слуга, по возможности – цветной. Ресторатор Шеве порекомендовал ему негра, владевшего пятью языками, в числе которых был арабский. Эта черная жемчужина в Сомали откликалась на поэтическое имя Росный Ладан, однако в Париже его называли попросту Поль. Внешность у него была приятная, он казался неглупым, но проявлял нескрываемое пристрастие к рому. По расчетам Александра, восемнадцати тысяч франков, выделенных правительством, не могло хватить на оплату поездки четырех человек по негостеприимным краям. Менее скупой, чем государство, считавшее, будто дает ему работу, он продал на сорок тысяч франков акций железных дорог, чтобы не пришлось побираться в пути.

Третьего октября 1846 года, в шесть часов вечера, маленький отряд поездом выехал из Парижа. Затем, пересев в дилижанс, добрались до Бордо, где Александр нанял экипаж, чтобы передвигаться быстрее.

Утром девятого числа он прибыл в Мадрид – как раз вовремя, чтобы десятого присутствовать на свадьбе герцога де Монпансье и

инфанты Луизы-Фернанды. Сразу после этого события обоих Дюма закружил вихрь, в котором чередовались спектакли, фейерверки, балы, народные праздники и бои быков. Посещение Эскуриала, обед во дворце в обществе епископов, камергеров и испанских грандов произвели на Александра куда меньшее впечатление, чем бои на арене между несущими смерть матадорами и животными, чья кровь лилась на песок. Ему казалось, что эта жестокая забава отвечает его собственной природе, жаждущей опасностей и славы. Он чувствовал себя на месте здесь, в этой примитивной и вместе с тем театральной обстановке. К тому же все испанцы, говорившие по-французски, им восхищались. Должно быть, они угадали в нем человека своей породы. Инстинктивно они прозвали его *Амо*, что означает «хозяин, руководитель, владелец». Он, давно уже ставший кавалером ордена Изабеллы Католической, внезапно оказался награжденным еще и орденом Карла III. Осыпанный почестями, он вместе с сыном и друзьями продолжил путь к югу. К этому времени маленький отряд пополнился двумя французами: один из них – художник-карикатурист Эжен Жиро, второй – Дебароль, «человек с ружьем», нелепый чудак, который не мог пропустить ни одной крысы, ему непременно надо было в нее прицелиться. Толедо, Гренада, Кордова поочередно принимали путешественников, которые восторгались монументами и пейзажами, но на все лады проклинали испанскую кухню. В Севилье, во время бала, Дюма был покорен движениями танцовщиц, чьи тела изгибались так сладострастно, что казалось, будто это они своими бедрами, грудями, спиной, животом производят ту самую любовную музыку, которая сопровождала танец. Какой урок для французских женщин, ставших жертвами ложной стыдливости! Они не умеют воспламенять, как здешние женщины, повинуясь требованиям крови. Как жаль, что уже пора уезжать!

В порту Кадиса участников экспедиции ждал обещанный Сальванди корвет «Стремительный» («Vèloce»), и они вместе со своим багажом поднялись на борт. Двадцатого ноября корабль вышел в море. Александр осознал, что теперь, после полутора месяцев всевозможных развлечений, начинается наконец его истинная миссия: он откроет для себя Африку, воздаст должное героизму французских солдат и побудит соотечественников устремиться искать счастья на этой пока еще нетронутой земле. Но его собственный сын откололся от остальных, он остался в Кордове, где его удерживали мимолетные любовные увлечения. Что ж, ничего не поделаешь! Придется несколько дней обходиться без него. Двадцать первого ноября путешественники высадились

на берег в Танжере и немедленно приняли участие в охоте на кабана вместе с одним англичанином и еще одним французом – и тот, и другой были канцлерами своих посольств, английского и французского. Слуги, сопровождавшие караван, были арабами или неграми, лошадей напрокат давали евреи, к которым очень плохо относились мавры-загонщики – прочесывая кусты, с тем чтобы выгнать оттуда кабана, они кричали: «Выходи-ка оттуда, паршивый еврей!»

Это восклицание, переведенное с арабского языка на французский Полем, странствующим слугой, привело Александра в негодование. Дюма, ставивший себя самого, мулата, выше чистокровных негров, считал, что евреи вправе претендовать на уважение, поскольку свое положение и свое богатство завоевали «в битве, длившейся восемнадцать веков». Мысль об этом соединялась у него с почти бессознательным ощущением, что в Марокко местное население питает к захватчикам-чужеземцам непримиримую ненависть. И путешественники очень скоро вернулись на корабль, спеша отправиться в Гибралтар, где их ждал, чтобы его подобрали, молодой Дюма, завершивший к этому времени свои краткие любовные приключения. Когда он присоединился к остальным, оказалось, что своему кордовскому опыту Александр-младший обязан не только воспоминаниями об экзотическом романе, но и длинной поэмой. Отец, прочитав это сочинение, решил, несмотря на то что стихи были слабыми, все-таки его напечатать. Это должно было стать первым шагом его сына на том пути, который ему самому с каждым днем приносил все больше славы.

Следующий заход в порт был сделан ради того, чтобы обнять французских пленников, которых отпустил, получив за них выкуп, Абд-эль-Кадер после битвы при Сиди-Брагиме. Александр благоговейно выслушал рассказ о страданиях, которые пришлось перенести пленным, и о том, как они впоследствии отомстили мучителям. После банкета, на котором председательствовал Мак-Магон, Дюма и его спутники вернулись на «Стремительный».

Тридцатого ноября перед ними возник Алжир с его французскими постройками, которые уже тогда «исказили восточный облик города». Бюжо только что отбыл оттуда в Оран с инспекционной поездкой вместе с несколькими депутатами, и в отсутствие маршала контр-адмирал Риго позволил Дюма и остальным отправиться на «Стремительном» в Тунис. В Тунисе, поскольку бей отсутствовал, Александра принял бей лагеря Сиди-Мохаммед и вручил ему очередной орден, украсивший грудь прославленного писателя, которому хотелось иметь столько же наград, сколько пьес и романов числилось в списке его

произведений. В Карфагене он посетил «гробницу святого Людовика», украшенную каменной резьбой в национальном стиле: это творение было делом рук тунисского скульптора Юниса. Теперь этот необыкновенно искусный мастер трудился над будущей гробницей Сиди Мохаммеда. Александр отправился взглянуть на него за работой и пришел в неистовый восторг при виде изощренной отделки надгробного памятника. После чего немедленно решил пригласить Юниса во Францию, чтобы тот устроил в его замке в Марли мавританскую комнату. Юнис согласился, но прежде он должен был закончить украшать место будущего упокоения Сиди Мохаммеда. Однако Дюма ждать не умел. Он поделился своими намерениями с Сиди Мохаммедом, который поначалу заставил себя упрашивать: ему не хотелось даже на несколько дней расставаться с художником, призванным способствовать его посмертной славе. Желая убедить его, Александр воскликнул: «Конечно, ты прав, твоя светлость, но ты сейчас все поймешь. Для тебя он строит гробницу, – я хочу, чтобы он отделал для меня комнату. В моей комнате я поселюсь при жизни, ты будешь обитать в твоей гробнице лишь после смерти, естественно, тебе спешить некуда, и ты должен уступить мне свою очередь». Бей, отчасти убежденный его словами, в конце концов смирился, и Юнис получил свой паспорт.

«Стремительный» снова вышел в море. На этот раз Александр твердо намерен был телом и душой отдаться своей миссии патриотической информации и пропаганды. В Боне, в Константине он собрал обильный урожай военных рассказов, страшных историй о зверствах, которыми грешили оба лагеря, а также забавных наблюдений за нравами населения. Желая отдать дань местному колориту, он купил в Сторе злобного грифа по кличке Югурта, предназначенного для зверинца, который он устраивал в своем замке. Вернувшись в Алжир, он посетил вернувшегося тем временем Бюжо, который встретил его с высокомерным лукавством: «Ах, так это вы, господин захватчик судов!» Бюжо явно пришел в ярость, узнав, что штатский позволяет себе путешествовать за государственный счет на корабле, принадлежащем королевскому флоту. Но Дюма решил, что какому-то там маршалу не подобает указывать, как себя вести, писателю его масштаба. «Господин маршал, – ответил он, – я подсчитал вместе с капитаном, что со времени моего отъезда обошелся правительству в одиннадцать тысяч франков, которые пошли на уголь и продовольствие. Вальтер Скотт во время своего путешествия в Италию обошелся английскому адмиралтейству в сто тридцать тысяч франков, так что французское правительство должно мне еще сто девятнадцать тысяч!» Бюжо, несмотря на то

что довольно скептически выслушал рассуждения этого писателя, считавшего, что перо на весах государства весит больше, чем сабля, пригласил Александра сначала на ужин, а затем на множество местных праздников, с тем чтобы он мог ознакомиться с обычаями огромной страны, где постепенно налаживалась мирная жизнь.

Восхищение, которое вызывали у Дюма его открытия, не мешало ему увидеть и понять, насколько несправедливо порабощение алжирцев завоевавшей страну Францией. «Мы оттеснили их в горы, – пишет он, – мы отняли у них их владения, а взамен дали союз с нами. Должно быть, для них это очень почетно, но, с точки зрения людей, считающих себя естественными собственниками земли, возможно, этого недостаточно». Неужели французское правительство, пославшее писателя в Алжир для того, чтобы он воспел героизм французских войск и отеческую заботу французского руководства, удовольствуется этими уклончивыми и даже, можно сказать, критическими замечаниями? Дюма подобные соображения нисколько не заботили. Он один, думал он, настолько же способен разобраться в положении в стране, насколько все министры вместе взятые.

Небольшое разочарование: Бюжо не позволил Дюма вернуться во Францию на «Стремительном», и ему пришлось плыть домой за свой счет на пассажирском судне под названием «Ориноко». Вся компания, к которой теперь присоединились еще Юнис, его маленький сын Мохаммед и гриф Югурта, поднялась на борт. Четвертого января 1847 года, встретив Новый год в море, путешественники прибыли в Тулон. Думая о близящейся встрече с родной землей, Александр, еще окутанный видениями Африки, чувствовал тревогу, смешанную с печалью. «В полной противоположности с тем, что мне следовало бы испытывать, – писал он, – у меня всегда сжимается сердце, когда после долгого путешествия я снова ступаю на французскую землю. Дело в том, что во Франции меня ждут мелкие враги и застарелая ненависть. Тогда как, напротив, стоит поэту пересечь границу Франции, и он превращается при жизни в умершего, который присутствует на суде будущего. Франция – это современники, иными словами – зависть. Чужая сторона – это последующие поколения, то есть правый суд».

Вот как раз с «правым судом», с правосудием, ему и предстояло столкнуться, едва успев разобрать багаж на вилле в Сен-Жермен-ан-Ле. Затянувшееся отсутствие помешало Дюма представить в оговоренный срок заказанные несколькими газетами романы с продолжением. Жирарден из «La Presse» и

Верон из «Le Constitutionnel» подали на него в суд за несоблюдение контракта. Не дав им текстов, он не только лишил их денежной выгоды, не только ущемил их интересы, но и дискредитировал в глазах читателей. Необходимо было возместить причиненный ущерб.

Тридцатого января Дюма намеревался сам выступить в свою защиту перед судьями. Вот это событие! Публика повалила толпой. В половине первого двери распахнулись, и любопытные потоком хлынули в зал суда. Наконец появился и сам Дюма. Он выглядел величественно со своей львиной гривой и взглядом римского императора, но он сильно растолстел в последнее время. И очень жаль! – единодушно решили дамы. Повернувшись ко всем этим людям, собравшимся здесь, чтобы его послушать, он широко взмахнул рукой. Человек, обладающий таким талантом, как у него, не нуждается в помощи адвоката! Кто может сказать о нем лучше, чем он сам? Началось разбирательство дела, и с самого начала он принялся раскатистым голосом себя защищать. Да, конечно, он не сдержал всех своих обещаний, но у него есть оправдания: «За восемнадцать месяцев я написал сто пятьдесят тысяч строк. Я нечеловечески устал. Здоровье мое пошатнулось. Мой доктор сказал, что я страдаю неврозом. Он посоветовал мне развеяться, отправившись путешествовать. […] Стало быть, выполнение контракта было прервано обстоятельствами непреодолимой силы». Королевский прокурор проявил снисходительность к ответчику: «Господину Дюма нетрудно будет рассчитаться с долгами, для этого ему достаточно снова взять в руки перо». Девятнадцатого февраля решением суда Дюма был приговорен к тому, чтобы через восемь месяцев представить Жирардену восемь томов и шесть томов Верону – через шесть месяцев. Кроме того, оба истца разделят между собой шесть тысяч франков в качестве возмещения ущерба. Поначалу ошеломленный перспективой предстоявшего ему каторжного труда, Александр сделал кое-какие подсчеты и успокоился: дело оказалось не таким уж невозможным. Он сделает все намеченное: «La Presse» получит его «путевые впечатления» «Из Парижа в Кадис», «Le Constitutionnel» утешится отличным романом «Сорок пять», а «Веку», который вообще-то к делу отношения не имел, достанется замечательный роман с продолжением «Виконт де Бражелон».

Однако, отрабатывая повинность, Александр должен был одновременно готовиться к открытию Исторического театра, назначенному на 20 февраля 1847 года. Первым спектаклем в его афише стояла «Королева Марго». Но, может быть, Дюма совершил ошибку, решив отдать в этой пьесе роль старой Екатерины Медичи девятнадцатилетней актрисе Беатрис Персон? Правда, та

пообещала загримироваться как следует и обезобразить себя в соответствии с ролью. А она такая прелесть, когда играет старушек, с ее-то детским личиком! Александр всеми возможными способами давал ей это понять. А пока он забавлялся с ней любовными играми в своей временной парижской квартире, Селеста Скриванек по-прежнему вела хозяйство на вилле на улице Медичи, в Сен-Жермен-ан-Ле, и надеялась, что вскоре будет царствовать полноправной хозяйкой в замке, который строился в Марли. Тем временем «Королева Марго» продолжала репетироваться полным ходом, доводя актеров до изнеможения, поскольку пьеса вышла непривычно длинной. Только бы публика захотела вытерпеть столь утомительный спектакль!

Одиннадцатого февраля, когда Дюма был занят внесением последних поправок перед премьерой, кто-то бросился к нему и отвлек от работы, размахивая верстской «Вестника» («Le Moniteur») и крича во все горло: «Читайте! Читайте!» Удивленный Александр выхватил из рук гонца пахнущий свежей типографской краской листок и прочел, что во время бурного заседания в палате депутатов к правительству обратился с запросом по его поводу депутат Кастеллан. «Я узнал, – заявил тот, – что сочинитель романов с продолжением был облечен миссией исследовать Алжир. Судно, принадлежащее королевскому флоту, было послано из Кадиса, чтобы взять на борт этого господина. Позволено ли мне сказать, что было нанесено оскорбление чести флага? Напомню, что перед тем этот корабль был подготовлен к тому, чтобы принять короля». Военно-морской министр попытался оправдаться, ссылаясь на то, что лицу, о котором идет речь, было дано «особое поручение». Это объяснение вызвало шквал возмущения и смеха в зале заседаний. Депутаты Мальвиль и Лакросс возмущались громче всех. Кастеллан вопил: «Правда ли, что министр сказал: „Дюма откроет господам депутатам Алжир, о котором они ничего не знают?“» Сальванди смело признался в том, что действительно произнес такие слова. Среди всего этого шума имя Дюма жестоко осмеивалось. Александр не мог такого стерпеть и немедленно отправил свой ответ в газеты, напечатавшие отчет о заседании. «Человек, который плыл на „Стремительном“, – это человек, никогда ничего не говоривший, кроме того, что есть на самом деле; впрочем, ему не было надобности что-либо говорить, поскольку все было указано в его паспорте, и этот паспорт, выданный министерством иностранных дел и подписанный Гизо, был в руках у капитана. А теперь поговорим о том, в каких условиях, при каких обстоятельствах выполнял он свое особое поручение. Он оставил ради этого самые

важные дела, потерял три с половиной месяца своего времени и добавил двадцать тысяч франков собственных денег к тем десяти тысячам, которые выдал ему господин министр народного просвещения. Что же касается „Стремительного“, который был предоставлен мне, как говорят, *неожиданно*, он был действительно выслан за мной в Кадис господином маршалом Бюжо. Было отдано распоряжение взять меня на борт, меня и тех, кто меня сопровождает, *либо в самом Кадисе, либо в любом другом месте побережья, где я мог находиться и куда ему следовало за мной отправиться*. Когда я, в отсутствие маршала Бюжо, прибыл в Алжир, „Стремительный“ был на восемнадцать дней предоставлен в мое распоряжение. Я был волен отправиться на „Стремительном“ в любое место, куда пожелаю. Это распоряжение не было ошибочным, это распоряжение не было недоразумением, это распоряжение было отдано господином контр-адмиралом Ригоди». Однако Дюма не мог довольствоваться тем, что ответил своим обидчикам на страницах газет. Он желал объясниться с оружием в руках. Мальвиль, публично его оскорбивший, получил от него хлесткое послание: «У депутатов есть свои привилегии, у парламента есть свои права; однако всякая привилегия и всякое право имеют свои границы. По отношению ко мне вы эти границы преступили. Я имею честь требовать от вас удовлетворения». Затем Александр написал Виктору Гюго, которого просил быть его секундантом. Негодование отца передалось и сыну, и младший Дюма вызвал на дуэль Лакросса. Огюст Маке, не желая оставаться в стороне, послал вызов Кастеллану. Три поединка по одному и тому же поводу – лучше не придумаешь! Увы! Понятие о чести во Франции начало утрачиваться. Все три депутата высокомерно ответили, что драться не станут, поскольку им претит делать рекламу господину Дюма и к тому же они защищены «парламентской неприкосновенностью».

Разочарованный тем, что все трое уклонились от поединка, Александр еще больше был разочарован поведением журналистов, которые, напечатав его открытое письмо, воздержались от того, чтобы его поддержать. И снова неустрашимая Дельфина де Жирарден одна устремилась на помощь великому человеку, которого истязали карлики.

«У господина Дюма есть в его ошибках не одно прекрасное и серьезное оправдание, – пишет она в „La Presse“. – Прежде всего это пыл его воображения, жар его еще недавно африканской крови; и потом у него есть оправдание, какое есть не у всех, – ему кружит голову его слава… А как бы вы повели себя, вы, все прочие люди, считающие себя благоразумными, если бы вам

вдруг предложили платить по три франка за строчку ваших скучных каракулей? О, какими бы вы сделались заносчивыми! До чего высокомерно стали бы держаться! Так будьте более снисходительны к неумеренным проявлениям его гордости. Но если мы находим оправдания оплошностям господина Дюма, то оправданий выпаду, совершенному против него в парламенте господином де Кастелланом, мы не найдем. Как только может молодой депутат, слывущий умным человеком, нападать на писателя, чей талант сомнений не вызывает?.. С каких пор талантливому человеку ставят в вину легкость, с которой он пишет, если эта легкость ни в чем не умаляет совершенства его произведений? […] Быстрота, с которой он сочиняет, напоминает скорость передвижения по железной дороге. У той и другой одни и те же принципы, одно и то же ту и другую порождает: предельной легкости добиваются, преодолев огромные трудности. […] Каждый том, написанный им, представляет собой плод огромного труда, бесчисленных исследований, разностороннего образования. […] Прибавьте к этому искрящееся остроумие, неистощимую веселость и неисчерпаемое красноречие, и вы прекрасно поймете, что, обладая подобными способностями, человек может в своей работе достичь невероятной скорости так, чтобы при этом ни разу не принести в жертву ей безупречности построения, нигде не поступившись совершенством и основательностью своего творения. И такого человека смеют называть *господином* (избегая произносить его имя)! Но просто *господин* – это некто безвестный, так обозначают человека, никогда не написавшего ни одной хорошей книги, никогда не совершившего ни одного прекрасного поступка, не сказавшего ни одной прекрасной речи, человека, о котором не ведает Франция и о котором никогда не слышала Европа. Конечно, господин Дюма в меньшей степени маркиз, чем господин де Кастеллан, но господин де Кастеллан куда в большей степени [заурядный] господин, чем Александр Дюма».

Александр перестал сожалеть о несостоявшихся дуэлях. Благодаря статье Дельфины де Жирарден его гонители получили по заслугам. А весь этот шум, поднявшийся вокруг его особы, привлек внимание к Историческому театру.

С вечера 19 февраля, накануне его открытия, к окошечку кассы выстроилась длинная очередь. К счастью, зима выдалась теплая, и толпа стояла терпеливо. Этот приток зрителей привлек продавцов бульона, которые переходили от одного к другому, дешево предлагая свое варево; затем появились торговцы с еще теплыми булочками и разносчики охапок соломы, предназначенных для тех, кому хотелось иметь подстилку, чтобы

провести ночь на тротуаре. С наступлением рассвета ближайшие к театру кафе выслали на улицу официантов, снабженных бидонами горячего кофе с молоком. Потягивая утреннее питье, стоявшие в очереди за билетами слушали уличного певца, импровизированными куплетами откликнувшегося на выдающееся событие. Дожидаясь открытия кассы, в очереди смеялись и болтали друг с другом. Но, едва двери театра открылись, тут же началась давка. Однако если дешевые места брали приступом и расхватали в минуту, то в ложах осталось несколько свободных кресел. Светских людей отпугивала заранее объявленная длительность представления. Занавес, который поднимется в шесть часов вечера, должен был опуститься окончательно лишь в три часа ночи. В течение девяти часов подряд голодные зрители должны были питаться лишь событиями драмы, где предательство, преступления и любовь сменялись в бешеном темпе. Читатели полюбили роман, и еще больше они полюбили пьесу, став зрителями. Молодой герцог де Монпансье и его испанская супруга, сидя в своей ложе, зааплодировали первыми. К ним присоединились остальные, зал обезумел от восторга, поднялся шквал аплодисментов. Оголодавшие зрители были счастливы. Они бы с удовольствием съели самого Дюма, если бы им поднесли его сейчас на блюде. На улице певец распевал куплеты, в которых прославлял автора «Мушкетеров» и его театр, окрестив его с ходу «Театром Дюма».

Александр поинтересовался суммой сборов, которая оказалась более чем внушительной. Слава и деньги были для него неразделимы, и, если бы пришлось выбирать что-то одно, он почувствовал бы, что разрывается на части. В предвидении грядущих доходов он оговорил в контракте, заключенном с Остейном, свои права на все пьесы, независимо от того, подписаны ли они его именем, какие будут идти на сцене Исторического театра. По его подсчетам, эта финансовая комбинация должна была приносить ему сто пятьдесят тысяч франков в год. И она будет сопровождаться ростом его известности у зрителей, собратьев по перу и журналистов. Постоянно жаждущий почестей, Дюма не упускал ни единого случая оценить собственную популярность. Так, отправившись на похороны мадемуазель Марс, скончавшейся 20 марта 1847 года, он был приятно удивлен тем любопытством, какое вызвало в толпе его появление. Все головы повернулись в его сторону, его имя перелетало из уст в уста, еще немного – и люди начали бы аплодировать. Виктор Гюго, которого никто из присутствующих, казалось, не узнавал, не мог скрыть жгучей досады. Он – академик, он – пэр Франции, и что же? Современники явно

предпочитают ему этого литературного выскочку. Их беспримерное легкомыслие, их неразумие вполне соответствуют невероятной хвастливости того самого человека, который так давно водит их за нос. И Гюго яростно пишет в «Пережитом»: «Этому народу требуется слава. Когда у него нет ни Маренго, ни Аустерлица, он хочет и любит всяких Дюма и Ламартинов».

Что касается самого Александра, ему никогда не казалось, будто он забрался слишком высоко, в погоне за успехами всякого рода он не желал ни малейшей передышки, не знал ни минуты покоя. С нетерпением избалованного ребенка он ждал того дня, когда его замок Монте-Кристо будет наконец достроен и он сможет устроить в нем новоселье. Заставляя как можно быстрее завершить работы, он выбрал день 27 июля 1847 года, через три дня после своего дня рождения, в который ему исполнилось сорок пять лет, для того, чтобы показать друзьям сказочную обстановку, в какой отныне будет протекать его жизнь и будут создаваться его произведения.

Главное здание, к которому по бокам были пристроены две башенки, а над крышей поднимался целый лес флюгеров, было отчасти навеяно стилем Возрождения. На фасаде, в каменных медальонах, размещались изображения гениальных авторов всех эпох и из всех стран. Гомер и Вергилий, Шекспир и Расин, Данте и Мольер, Байрон и Гюго – не меньше дюжины писателей стерегли приют собрата. Над входной дверью – герб Дюма и его девиз: «Я люблю тех, кто любит меня». Внутри, на трех этажах, на каждом из которых было по пять комнат, царило невероятное нагромождение предметов, где драгоценная мебель соседствовала с ятаганами, эспадронами, средневековыми реликвиями и полотнами великих художников. Переходя из комнаты в комнату, посетитель пересекал все эпохи и все страны и вскоре, затерявшись среди этого грандиозного беспорядка, среди этой выставленной напоказ безвкусной роскоши, переставал понимать, где находится: не оказался ли он ненароком в музее или на складе театральной бутафории?

Для себя, чтобы не мешали работать, Александр велел построить в двух сотнях метров от замка готический павильон с донжоном, окруженный заполненным водой рвом, через который перекинули маленький подъемный мост. На камнях были высечены названия произведений Дюма – для того, чтобы подкреплять его уверенность в собственной значимости и подстегивать воображение. Лазурный потолок единственной комнаты первого этажа украшала россыпь сияющих звезд. Над богато украшенным резьбой камином поместили рыцарские доспехи. Когда писатель уставал работать, он мог подняться по

винтовой лестнице на второй этаж, чтобы немного отдохнуть в келье, где стояла железная кровать. Наверху у него размещалась дозорная площадка, наблюдательный пост: забравшись туда, Дюма видел с высоты свой английский парк и приветствовал гостей, которые неспешно прогуливались, пока он в поте лица зарабатывал деньги на то, чтобы достойно их принимать.

Леон Гозлан был совершенно очарован псевдоисторической кричащей роскошью поместья Дюма. «Эту жемчужину архитектуры, – писал он, – я могу сравнить разве что с замком королевы Бланш в лесу Шантильи и домом Жана Гужона… Здание не принадлежит ни к одной определенной эпохе, его нельзя отнести ни к античности, ни к Средневековью. Здесь можно увидеть резные орнаменты, какие встретишь только на мавританских плафонах Альгамбры: переплетение углубленных линий, в целом создающее впечатление и иллюзию роскошного кружева. Меня эти орнаменты привели в полный восторг. Даже в Трианоне не найти ни одного плафона, сравнимого с тем, который тунисец [Юнис] создал для Монте-Кристо».[83] И даже Бальзак, большой знаток архитектурных извращений и отклонений, со своей стороны, напишет Эвелине Ганской: «Ах, Монте-Кристо – это один из самых прелестных загородных домов, какие когда-либо строились, это самая великолепная бонбоньерка на свете! Дюма уже потратил на свой замок больше четырехсот тысяч франков, и ему понадобится еще сто тысяч, чтобы его закончить. […] Если бы вы могли его увидеть, вы бы тоже пришли от него в восторг. […] Если коротко, то это загородный дом времен Людовика XV, но выстроенный в стиле Людовика XIII с элементами убранства эпохи Возрождения!»[84]

По случаю торжественного открытия своего весьма причудливого шедевра Александр пригласил на обед шестьсот друзей. Обед был заказан в знаменитом ресторане Сен-Жермен-ан-Ле – в «Павильоне Генриха IV». Столы расставили на лужайке. В курильницах задымились благовония. Дюма расхаживал среди гостей, поперек живота – тяжелая золотая цепь, сюртук – в орденах. Время от времени он пожимал руку кому-нибудь из друзей, с кем-то перекидывался двумя-тремя словами, галантно целовал пальчики той или иной даме. Все здесь любили его, он сам любил всех – он никогда в жизни не был так счастлив. И всем этим необычайным счастьем, всем этим блаженством он был обязан только перу и бумаге!

Праздник продолжался до рассвета. А едва гости разошлись, Александр немедленно вернулся к своему радостному, своему каторжному труду…

Жизнь в замке Монте-Кристо сразу же пошла по раз и

навсегда установленному и незыблемому расписанию. Утром, наскоро выпив чаю, Дюма в простых тиковых штанах и одной рубашке садился за работу. Он, когда-то такой стройный, теперь отрастил живот, который упирался в край стола, мешая приблизиться к рукописи. Когда в кабинет заявлялся гость, Александр, не прекращая работы, протягивал ему левую руку. И только если назойливый посетитель прямо обращался к нему, он неохотно откладывал перо, несколько минут внешне беспечно болтал с ним, но затем выпроваживал и вновь склонялся над текстом. Даже в тех случаях, когда разговор с кем-нибудь увлекал Александра, он не переставал думать о книге, которую в это время писал. Посетитель наконец уходил – и фразы, словно сами собой, легко выстраивались на бумаге. К одиннадцати здесь же, в кабинете, накрывали круглый столик на одной ножке, с боем часов писателю подавали скромный завтрак. Он быстро подкреплялся, запивая еду сельтерской водой, и возвращался к прерванной главе. А гости, с которыми он едва успевал поздороваться, тем временем пировали в парадной столовой: повару было приказано принимать их по-королевски. Впрочем, иногда Александр, сам страстно увлекавшийся кулинарией, решал побаловать посетителей Монте-Кристо каким-нибудь фирменным блюдом: он ревниво хранил в памяти множество рецептов, и ничто не могло порадовать его больше, чем вид гостей, наслаждающихся каким-нибудь яством, секрет приготовления которого был известен ему одному. Глядя на то, с каким аппетитом они уписывают его стряпню, он радовался и гордился точно так же, как наблюдая за зрителями, которые, затаив дыхание, смотрят представление одной из его пьес. Все для Дюма превращалось в театр или в роман. Даже сама жизнь. Нет, прежде всего – жизнь! Литература, вкусная еда, дела, красивые женщины – до чего же это весело: заниматься всем сразу и выигрывать всегда и везде!

Глава II
От революции к разорению

Несмотря на то что спектакль был непомерно длинным, «Королева Марго» привлекала так много зрителей, что продержалась до конца мая 1847 года. На смену ей пришла поставленная Александром без особого желания драма в стихах «Школа семей», ее написал его безвестный однофамилец, некий Адольф Дюма. Последний, кстати, весьма неуклюже заметил как-то во время репетиции: «В истории литературы останутся два Дюма, как были два Корнеля». Александр сделал тогда вид, будто не слышал его слов, однако, прощаясь с Адольфом, с улыбкой прошептал: «До свидания, Тома!»[85]

Пьеса незадачливого Адольфа Дюма прошла при общем и вполне заслуженном безразличии, и Александр окончательно убедился в том, что решительно, кроме него самого, никто не способен собрать полный зал. Работая, как и прежде, совместно с Огюстом Маке, он написал драму «Шевалье де Мезон-Руж», премьера состоялась в Историческом театре 3 августа 1847 года. Пьеса, в которой речь шла о жестокости Французской революции, вышла громоздкой, напыщенной и изобилующей ненужными подробностями, она состояла из двенадцати картин, в спектакле были заняты тридцать актеров и толпа статистов, декорации поражали правдоподобием, и все это грандиозное сооружение было от начала до конца проникнуто мощным патриотическим порывом. Авторы, ко всему еще, сочинили гимн – «Песнь жирондистов», приводивший публику в восторг:

Мы, друзья, – те,
Кто безвестно гибнет вдали от сражений,
Хотим по крайней мере наше погребение
Посвятить Франции, ее свободе!
Умереть за родину —
Самая прекрасная, достойная зависти участь!

Пламенные слова гимна, в которых звучало преклонение перед мужеством народа, не могли не радовать во Франции всех, кого возмущали политические махинации высокопоставленных слуг государства и упорство короля, замкнувшегося в своем непреклонном властолюбии. Луи-Филипп только что отверг вполне невинную реформу, предполагавшую снижение избирательного ценза, с тем чтобы дать право голоса всем

«дееспособным», то есть гражданам, благодаря своему образованию, своей профессии, своему таланту, своей репутации как нельзя больше подходящим для участия в законодательных выборах. Этот презрительный отказ вызвал в стране волну «реформистских банкетов» – их участники не упускали случая раскритиковать режим и призвать монарха к тому, чтобы он осознал истинные чаяния своих подданных. Разумеется, Александр всей душой был с ними. Однако, как ни странно, он чувствовал себя слишком отяжелевшим, слишком отягощенным возрастом, опытом, повседневными заботами, а возможно, и талантом, для того, чтобы присоединиться к их выступлениям. Он предпочитал делать вид – хотя бы какое-то время, – будто не замечает этих политических содроганий, ему хотелось подождать, пока все уляжется само собой, и обратиться к более обширным, более загадочным и в некотором роде вечным, вневременным проблемам. Так, например, когда вся Франция кипела возмущением, когда множились самые разнообразные антиправительственные выступления, Дюма устраивал у себя в Монте-Кристо спиритические сеансы. За последние годы он пережил несколько смертей, оставивших в его душе глубокий след: кончина матери, затем – герцога Орлеанского, Шарля Нодье и, наконец, Фредерика Сулье, давнего соавтора, который только что умер всего сорока семи лет от роду…

Этот все сгущающийся траур заставил Александра оглянуться на собственное прошлое. Несколько месяцев назад он начал работать над мемуарами, подводя итоги радостям, горестям и иллюзиям целой жизни, и сердце у него мучительно сжималось. Кто говорит «воспоминания» – думает «сожаления»! Ему хотелось быть в ладу с совестью, и ради этого он вернул домой свою дочь Мари, которую до тех пор воспитывала ее мачеха Ида.

Однако у шестнадцатилетней Мари оказалась не только непривлекательная внешность, но и трудный характер. Кроме того, девушка страдала от того, что ее грубо оторвали от женщины, которая в детстве была для нее воплощением нежности, мудрости и защиты, злилась на отца за то, что забрал ее к себе. Мари раздражали его манеры, бесило непрестанное хвастовство Александра, она ненавидела самозванок, чье присутствие он ей навязывал. «Жизнь, которую мне приходится здесь вести, невыносима, – писала она Иде еще 28 августа 1847 года. – Прибавь к этому страдания, которые я постоянно испытываю от разлуки с той, которую люблю больше всех на свете. Немало горя причиняют мне и требования отца, который намерен заставить меня жить в его доме. Ах, дорогая моя! В его-то положении!.. Я никак не могу на это согласиться, меня

оскорбило до глубины души то, что отец не постыдился заставить меня подать руку распутной женщине. Он не стесняется того, что вынуждает меня находиться в обществе этой женщины, хотя отцовские чувства должны были бы подсказать ему, что ее следовало изгнать из Монте-Кристо в тот самый день, когда я здесь появилась, более того – о ней даже упоминать в моем присутствии не следовало!»

Ее детское возмущение ни к чему не привело. Дюма, сохраняя полное спокойствие, продолжал опекать Мари, несмотря на все ее негодование, и в то же время с удовольствием помогал своей «кисоньке» Беатрис Персон разучивать новую роль. Он был совершенно уверен в том, что прекрасно справляется с обязанностями отца, оставаясь безупречным любовником. Понемногу, думал он, дочь привыкнет к образу жизни, установившемуся в Монте-Кристо, перестанет ревновать его, а нежность, которую он неустанно к ней проявляет, заставит ее забыть обо всех обидах.

Мелкие семейные неурядицы занимали Дюма не настолько сильно, чтобы отвлечь от других проблем, куда более важных для его карьеры. Друзья-реформисты, от которых он несколько отдалился в последние месяцы, требовали, чтобы он доказал свою преданность общему делу. Однако он слишком многим был обязан семье герцога Орлеанского, памяти милого Фердинанда и доброжелательности герцога де Монпансье, чтобы сегодня отречься от того режима, который вчера его поддерживал. Следует ли ему, во имя чести, хранить верность тем, кто помогал ему в прошлом, или же он должен, во имя политических убеждений отмести всякие сомнения и думать лишь о будущем Франции? Является ли неблагодарность по отношению к облагодетельствовавшим тебя правителям более тяжкой виной, чем предательство по отношению к идеалу, от которого зависит судьба целого народа?

Эта дилемма стала особенно мучительной, когда Александра 27 ноября 1847 года пригласили на банкет, устроенный Одилоном Барро в Сен-Жермен-ан-Ле. Если он туда пойдет, рассуждал Дюма, ему придется говорить речи, защищать необходимость реформ, произносить тосты, враждебные по отношению к королевской семье, может быть, даже подписывать какие-нибудь компрометирующие бумаги. А если не пойдет, на него обрушится негодование всех его друзей-республиканцев и всех тех, кто видит в нем поборника свободы. После недолгих колебаний он решил в оправдание своего отсутствия на банкете сослаться на «дипломатическую» болезнь и написал Одилону Барро: «Я лежу в постели с тяжелым гриппом, голова и грудь в

огне; передайте мои сожаления нашим друзьям-реформистам, скажите от моего имени, что душой я среди вас. Я должен был произнести тост за прессу, то есть за писателей, которые сражались в 1830 году и продолжают сражаться в 1847-м за народ и реформы, за объединяющие нас принципы. Мне приходится произнести этот тост здесь. Подхватите его там».

Это письмо было напечатано 2 декабря 1847 года в «Débats». Александр еще несколько дней просидел дома, подтверждая «правдивость» своей отговорки, затем решил, что достаточный срок выдержан, и вновь появился в свете. Теперь он с показным усердием занялся постановкой в Историческом театре своей новой пьесы, названной «Монте-Кристо», – одно это имя приносит счастье! Премьера состоялась второго и третьего февраля 1848 года, два вечера подряд – поскольку на этот раз драма разрослась до того, что представление не укладывалось в один вечер.

К сожалению, зрители, озабоченные тревожными своими предчувствиями, – грозили ведь, похоже, серьезные уличные беспорядки, – не откликались на фантастическое нагромождение валившихся на героя пьесы катастроф и триумфов. Конечно, Дюма и сам был встревожен, но его прежде всего остального беспокоило будущее спектакля и только затем – будущее Франции. Неизменно осмотрительный, он поостерегся явиться на банкет, назначенный на 22 февраля 1848 года, и не принял участия в последовавших за ним народных собраниях. Он даже посоветовал Остейну закрыть на этот день театр. Пока все прочие размахивали руками и вопили, выказывая тем самым возмущение несправедливыми действиями властей, он, укрывшись в своей парижской квартире, заставляет себя работать. «Смогли ли вы хоть что-то написать посреди всего этого шума?» – спрашивает Александр верного Маке. И добавляет: «Очень важно, чтобы вы прислали мне двести ваших страниц к вечеру пятницы».

На следующий день, 23 февраля, повстанцы уже овладели несколькими стратегическими объектами столицы, и отряды Национальной гвардии братались с ними под крики: «Да здравствует реформа!» и «Долой Гизо!» А если военные мундиры перемешиваются с куртками и блузами, значит, дело принимает скверный оборот.

Испуганный размахом движения, Луи-Филипп пожертвовал Гизо, заменив его Моле. Но этого оказалось недостаточно: рабочие и некоторые присоединившиеся к ним представители умственного труда продолжали требовать установления Республики. Решившись наконец выйти на улицу, Александр услышал, как манифестанты распевают его «Песнь жирондистов», чередуя ее с «Марсельезой». Ну вот, теперь он оказался

соперником еще и Руже де Лиля!

Дюма одновременно преисполнился гордости и слегка забеспокоился. Прибыло подкрепление регулярных войск, с тем чтобы навести порядок… Все революции шли по одному и тому же сценарию, и сейчас все повторялось, как обычно: баррикады, крики ненависти, красные знамена, пламенные речи, патриотические гимны и стрельба… Трупы сваливают в повозку, и погребальное шествие при свете факелов трогается в путь, направляясь неведомо куда.

Александр отправился домой, надел сохранившийся у него мундир полковника Национальной гвардии и снова вышел на улицу, чтобы смешаться с толпой. Но вскоре, осознав, что с ним или без него – дни власти все равно сочтены, вернулся в свою комнату и стал ждать дальнейшего развития событий там, предпочитая на данный момент роль стороннего и скептически настроенного наблюдателя.

Двадцать четвертого февраля баррикады все еще оставались в руках мятежников. Колонны орущих рабочих двинулись к Тюильри. Два линейных полка, вместо того чтобы их остановить, к ним присоединились. Осознав, какая надвигается катастрофа, Луи-Филипп отрекся от престола в пользу своего десятилетнего внука, графа Парижского, и бежал в Сен-Клу. Герцогиня Орлеанская явилась в палату депутатов вместе с детьми, чтобы утвердить свое регентство. Александр втайне надеялся на то, что она этого добьется, но зал заседаний заполнила вооруженная толпа, и мятежники с искаженными гневом лицами громкими криками стали требовать Республики. Перепуганные депутаты сдались. Улица восторжествовала над дворцом. Герцогиня и принцы удалились, провожаемые свистом и шиканьем. Правление страной взяло на себя временное правительство, состоявшее из семи членов, возглавил его Дюпон де л’Эр. Ошеломленный столь внезапным разрывом с прошлым, Александр задумался, сможет ли он приспособиться к новому порядку, хотя и стремился к нему всей душой. Возможно, Республика установилась слишком быстро, под напором людей, действующих опрометчиво, мечтателей, одержимых утопией равенства? «Я возвращался один, печальный и озабоченный, республиканец более чем когда-либо, но находил Республику плохо устроенной, незрелой, неудачно провозглашенной, – напишет он в своих мемуарах. – Я возвращался с тяжелым сердцем, я был подавлен тем, как грубо оттолкнули эту женщину, мне было больно видеть этих двух детей, разлученных с матерью, этих двух принцев, вынужденных бежать…»

Покинув палату депутатов, Дюма пробрался в

полуразрушенный, наполовину разграбленный чернью, жаждущей мести, дворец Тюильри. Печально постоял в прежнем кабинете Филиппа Орлеанского, затем – в кабинете Луи-Филиппа, где пол был засыпан бумагами с бесполезной отныне подписью его величества. Власть теперь следовало искать не в этих, некогда священных стенах, но в Ратуше, где заседали Распай, Луи Блан и неистребимый Ламартин…

А что это значит? Не то ли, что литература в лице последнего готова вот-вот взять в руки политику? Тогда, может быть, настало время для писателей, прежде только просвещавших и развлекавших народ, повести его за собой? Но в таком случае не пробил ли и его, Дюма, час, если уж он настал для автора «Размышлений»?

Внезапно Александр почувствовал себя нравственно обязанным потребовать доли своего участия в переустройстве родины и уже 29 февраля 1848 года поместил в «La Presse» заявление, в котором целиком и полностью становился на сторону реформистов. Разумеется, заверял писатель, он по-прежнему будет на радость современникам сочинять романы и драмы, но вместе с тем станет действовать и в другой области – желая реально обеспечить им то счастье, на которое они вправе рассчитывать. Обращаясь к Эмилю де Жирардену, Дюма в этом заявлении провозглашает: «Для вас [то есть для „La Presse“] и „Le Constitutionnel“ – мои романы, мои книги, наконец, моя литературная жизнь. Но для Франции – мое слово, мои мнения, моя политическая жизнь. Начиная с сегодняшнего дня в писателе живут два человека: публицист должен присоединиться к поэту, дополнив его. […] Да, то, что мы видим сейчас, – прекрасно, да, то, что мы видим сейчас, – величественно. Ибо мы видим Республику, а до того видели лишь революции. Так храни нас Господь, нас, его старших детей, нас, спасителей мира!» Однако благородный порыв либерализма не помешал тому, что у Александра защемило сердце, когда 6 марта 1848 года, проходя по двору Лувра, он увидел, что статуя Филиппа Орлеанского сброшена с пьедестала. И он мужественно указал на эту политическую ошибку, опубликовав на страницах «La Presse» такие слова: «Поверьте мне, Республика 1848 года достаточно сильна для того, чтобы увековечить столь возвышенную странность, как принц, оставшийся стоять на пьедестале, когда королевство рухнуло с высоты своего престола». Формулировка великолепна: в нескольких словах Александру удалось примирить уважение, с которым он относился к семье герцога Орлеанского, с надеждой, пробужденной в нем первыми шагами Республики.

Теперь его цель окончательно оформилась: увлечь

избирателей, как прежде он увлекал читателей. Для этого Дюма основал газету под названием «Le Mois» («Месяц»), которой предстояло стать «ежемесячным историческим и политическим обзором всех событий – день за днем, час за часом», и все это намеревался писать он один. Убеждения Александра были убеждениями умеренного республиканца, сторонника правосудия и недруга беспорядка. Именно с такой гибкой программой он решил выставить свою кандидатуру на выборах в Учредительное собрание, назначенных на 23 апреля.

Свою избирательную кампанию писатель решил проводить в департаменте Сены. В обращении, адресованном трудящимся всех категорий, Дюма сообщил о том, что он – один из них, поскольку за его спиной «шесть лет образования, четыре года нотариальной конторы и семь лет бюрократии», прибавив к этому, что его занятия литературой – это труд в поте лица, с пером в руке, «в течение двадцати лет, по десять часов в день, и это составляет семьдесят три тысячи часов», что в течение этого двадцатилетнего неустанного труда им написано «четыреста томов и тридцать пять драм» и что, по его подсчетам, эти книги и драмы обеспечивали в течение тех же самых двадцати лет заработную плату двум тысячам ста шестидесяти работникам, «не говоря уж о бельгийских подделках и иностранных переводах…». Стало быть, продолжал Дюма, справедливо и необходимо, чтобы все трудящиеся, «независимо от того, заняты ли они физическим или умственным трудом», проголосовали именно за него. Но он не забыл и о защитниках веры, священниках или просто верующих – им была принесена клятва защищать Церковь перед будущим Собранием: «Приветствую вас с братской любовью и христианским смирением». А поскольку требовалось еще совершить нечто эффектное, чтобы явственно представить глазам народа идеал чистого сердца, он посадил перед зданием Исторического театра дерево Свободы. Повернувшись к кучке зевак, собравшихся полюбоваться этим событием, Александр с пафосом воскликнул: «Граждане, вот посажен символ, теперь осталось укрепить то, что за ним стоит. Помните, что свободы подобны деревьям: они берут силу от корней!»

Однако вскоре новоявленный кандидат в депутаты убедился в том, что его красноречие не нашло отклика в департаменте Сены. Неизменно прагматичный, он быстро сориентировался и переключился на департамент Сены-и-Уазы. Там, посадив еще одно дерево Свободы, не жалея своего времени и не щадя языка, настрочив новые воззвания, Александр принялся активно выступать перед людьми. Случались казусы, но Дюма всегда находил выход из положения. Так, когда во время одного из

предвыборных собраний кто-то обратился к нему с упреком, сказав, что Дюма, дескать, выставляет свою кандидатуру в депутаты, будучи всего-навсего «полукровкой», Александр заткнул ему рот оскорблением «из трех букв» и, пожав плечами, продолжил излагать свои взгляды на труд, который, по его мнению, представляет собой «предназначение человека», а потому ленивец является «дурным гражданином». Несмотря на представительную внешность писателя, его величественную осанку, хорошо поставленный голос и приводимые им хлесткие доводы, слушатели не скрывали недоверия по отношению к этому так называемому защитнику трудящихся, который никогда в жизни не держал в руках молотка и не шел за плугом. И результат выборов, состоявшихся 23 апреля 1848 года, говорил о полном разгроме: Александру едва удалось набрать 226 голосов, между тем как в одном только кантоне[86] Сен-Жермен избирателей насчитывалось 3869. Франция признавала Дюма-писателя, но отвергала Дюма-депутата.

Тем не менее по случаю объявленных дополнительных выборов он начал в июне новую избирательную кампанию, на этот раз – в департаменте Ионн. Главным его соперником в округе стал принц Луи Наполеон собственной персоной. Последний располагал великолепным козырем – именем, прославленным в Истории; что же до Александра, он мог рассчитывать лишь на имя, известное в Литературе. Борьба оказалась неравной. В ходе первых же предвыборных собраний Дюма почувствовал себя в этой сельскохозяйственной провинции лишним – и как парижанин, и как писатель. «Зачем я отправился в департамент Ионн? – горестно пишет он. – Разве я бургундец? Разве я виноторговец? Разве у меня есть виноградники? Разве я изучал проблемы виноделия? Разве я состою членом общества ценителей вин?» А тут еще во время предвыборной кампании какой-то крестьянин весело окликнул его: «Эй, ты, негр!» – и получил от Александра в ответ звонкую оплеуху, так что оппонент не осмелился продолжать… И когда Дюма, снова взобравшись после этого инцидента на трибуну, вернулся к прерванной на полуслове речи, один из слушателей нагло потребовал у него ответа о его «связи» с герцогом Орлеанским. Но такие требования его нимало не смущали. Совесть его была чиста, и он в этот раз, как и в другие, настолько удачно ответил провокатору, что даже противники ему зааплодировали…

Однако все эти аплодисменты были слабым утешением: когда подсчитали избирательные бюллетени, Дюма пришлось довольствоваться 3458 голосами, тогда как избранный депутатом принц Луи Наполеон набрал 14 989 голосов.

Казалось бы, второй провал подряд должен был навсегда лишить Александра желания заниматься политикой. Однако нация настолько раскололась, будущее казалось столь ненадежным, что он не решался закрыть глаза на людей и на события, волновавшие страну, – просто не мог этого сделать! После неудачи государственного переворота 15 мая, подстроенного Распаем, Барбесом и Бланки, он оправдал тех, кто требовал ареста зачинщиков. Точно так же, как он раньше полагался на короля, если шла речь о наведении порядка в разворошенной Франции, теперь он считал, что временное правительство, продолжая защищать основные свободы, обязано в то же время препятствовать злоупотреблениям социализма.

Увы! Месяцем позже Дюма пришлось убедиться в том, что беспорядки продолжаются и даже усиливаются. Были закрыты национальные мастерские, представлявшие собой удобное пристанище для безработных рабочих, и это привело к новой вспышке волнений. Недовольство нарастало. И тогда генерал Кавеньяк хладнокровно приступил к подавлению мятежа. В течение трех дней, с 24 по 26 июня, на улицах Парижа шли ожесточенные бои. Убитые насчитывались сотнями, в больницах недоставало коек, чтобы принять всех раненых, четыре тысячи повстанцев были брошены в тюрьмы, столько же без суда отправили в Кайенн и на высокогорные плато Алжира. Не переставая осуждать безрассудство тех, кто бросил вызов власти в те часы, когда необходимо было национальное единство, Александр не желал терпеть и того, чтобы первую страницу Второй Республики подписывали кровью парижского люда. В стремлении обеспечить триумф подлинной демократии он решил отойти от Кавеньяка и его клики палачей, поддержав Луи Наполеона, который, с его точки зрения, по крайней мере ничем не провинился перед родиной.

В ноябре 1848 года он заявляет в «La Fraternité» («Братство»): «Сейчас у нас существуют две партии: партия „National“, представленная господином Кавеньяком, и партия Франции, представленная Луи Наполеоном. Само собой разумеется, я принадлежу к партии Луи Наполеона». Перед избирателями департамента Ионн в свое время он высказался пространнее: «Социализм действует. […] Красная Республика мечтает о новом Пятнадцатом Мая, надеется на новое Июньское восстание. […] Надо победить одновременно внешнего врага и внутреннего врага. […] Мои политические враги – это господа Ледрю-Роллен, Лагранж, Ламенне, Пьер Леру, Этьен Араго [тот самый, который несколькими годами раньше был для него образцом для подражания], Флокон и все те, кого называют монтаньярами. […]

Мои политические друзья – это господа Тьер, Одилон Барро, Виктор Гюго, Эмиль де Жирарден, Дюпен, Бошар, Наполеон Бонапарт. Это именно те люди, которых анархисты именуют Реакцией. Это именно те люди, которых я именую Порядком».

«Порядок» – слово, которое то и дело выходит из-под пера и звучит из уст этого человека, чья личная жизнь всегда представляла собой один сплошной беспорядок. Но ведь он слишком хорошо понимал, что его счастье, его писательское благополучие зависят от определенной политической стабильности, и потому не мог желать глубоких потрясений в стране. Если коммерсанты начнут терять деньги, если пошатнется биржа, если обыватель испугается, если бедным покажется, что они слишком бедны, а богатым – что они недостаточно защищены, если улица станет угрожающей – никому больше не захочется ни книги покупать, ни по театрам ходить: тревога за завтрашний день мешает получать удовольствия сегодня.

Между тем, несмотря на провозглашение Республики, дела шли все более шатко, рента сделалась неустойчивой, казначейские боны падали. И казалось, будто только Луи Наполеон со своим великим именем и своими благородными помыслами способен вернуть Франции желание трудиться, копить деньги и развлекаться. Александр, в свое время навестивший томившегося в заточении Луи Наполеона, сохранил самые лучшие воспоминания о беседе с ним и теперь на него одного возлагал все свои надежды. И когда, после того как 4 ноября 1848 года Национальным собранием была принята конституция Второй Республики, Луи Наполеон выставил свою кандидатуру на пост президента страны, Дюма его поддержал. Десятого декабря его «фаворит», без труда набрав семьдесят процентов голосов, был избран президентом. Даже самые красные из трудящихся голосовали за него. Наконец-то рабочие и буржуа объединились под общим флагом. Александр радовался этому словно личной победе. Оно и понятно – победа пришлась очень вовремя: еще немного, и Исторический театр окончательно прогорел бы.

Силы были на исходе, но Дюма все-таки поднапрягся и поставил в октябре 1848 года античную драму под названием «Калигула», навеянную римским заговором против Республики. Однако, несмотря на несомненные достоинства пьесы, зрителей совершенно не увлекли отголоски политики времен Цицерона, которыми театр пытался их заинтересовать в то самое время, как в реальной жизни решалась судьба Франции времен Луи Наполеона.

Теперь сборы едва-едва покрывали расходы, и Остейн призадумался, не выйти ли ему из дела. Это дезертирство в

разгар боя побудило Дюма запустить руку в собственные запасы. Деньги, полученные им за романы «Жозеф Бальзамо» и «Королева Марго», мгновенно ухнули в бездонную долговую пропасть, со всех сторон высовывали свои крысиные мордочки кредиторы. Доведенный до разорения Александр продал своих лошадей, расстался со зверинцем, уступил грифа Югурту хозяину «Павильона Генриха IV» и даже начал подумывать о том, чтобы заложить замок Монте-Кристо. Но и этого оказалось недостаточно! Испробовав все средства, он поставил в январе 1849 года в Историческом театре «Молодость трех мушкетеров». Хорошее название, отличные диалоги, удачное распределение ролей… Казалось, зрителям спектакль понравился. Но, несмотря на явный успех, крах тоже с каждым днем становился все более явным: Исторический театр, поначалу кормивший Дюма, теперь его разорял. С тяжелым сердцем Александр продал мебель из своего замка подставному лицу, некоему Антуану Жозефу Дуайену, а затем, 22 марта 1849 года, и сам замок был по решению суда продан с торгов – все тому же подставному лицу – за смехотворно ничтожную сумму в тридцать тысяч франков. Отлично придумано! По условиям сделки Дюма разрешалось еще какое-то время пожить в стенах построенного им замка… Но эта уловка грозила рано или поздно обернуться против того, кто до нее додумался.

Бальзак, узнав о разорении своего соперника, написал госпоже Ганской: «Я прочитал в газетах, что в воскресенье будут распродавать всю обстановку Дюма из Монте-Кристо и что дом уже продан или вот-вот будет продан. Эта новость заставила меня содрогнуться, и я решил работать день и ночь, чтобы меня не постигла та же участь».

К тому же еще вновь оживилась ненасытная Ида. Мало ей было того, что она за пять лет до того полюбовно рассталась с мужем, – теперь она еще добилась от суда решения о разделе имущества супругов в свою пользу. Александра обязали возвратить ей приданое, оцененное – неизвестно, на каком основании! – в сто двадцать тысяч франков плюс двадцать семь тысяч процентов. Дюма немедленно обжаловал решение суда. Тогда Ида назначила свою мать, Анну Ферран, своей генеральной и особой представительницей, поручив ей дальнейшие хлопоты по ведению дела.

Пятого августа 1848 года апелляционный суд подтвердил решение гражданского, и Дюма ничего другого не оставалось, кроме как заплатить. На его счастье, благодаря комбинации, которую разработали они с Дуайеном, официально он был признан несостоятельным. О возвращении долгов можно будет

поговорить позднее, к тому времени немало воды утечет. А пока что Александр, успевший приобрести привычки богача, продолжал жить – хотя и более скромно – временами в Монте-Кристо, владельцем которого теперь по закону считался Дуайен, временами в своей парижской квартирке. И продолжал повсюду таскать за собой свою дочь Мари, которая не переставала упрекать его за недостойную связь с Беатрис Персон. Что же касается его сына, более удачливого, чем отец, то Александр-младший только что прославился своим романом «Дама с камелиями», где была поведана история его любовной связи с Мари Дюплесси, той самой чахоточной куртизанкой, с которой он не так давно расстался и которая умерла, так и не увидевшись с ним.

Дюма-отец был одновременно и очень горд успешным вступлением сына на литературное поприще, и несколько раздосадован теми неумеренными комплиментами, которые расточали новичку читательницы. Всякая похвала, адресованная кому-нибудь другому, бессознательно раздражала его, поскольку воспринималась как предательство по отношению к нему самому. Тем не менее отцовская любовь не замедлила возобладать в его сердце над писательской ревностью. Больше того, ему казалось тогда, что никто так хорошо его не понимает и никто так его не любит, как этот двадцатипятилетний сын, унаследовавший от него талант, взгляды и жажду жизни. Даже их политические воззрения были сходны. Оба стояли за Республику, если речь шла о ходе дел во Франции, и оба в глубине души смутно сожалели о монархии. Оба стремились достичь успеха у толпы и в салонах. Оба были неравнодушны к чарам прекрасного пола и охотно хвастались своими победами.

9 мая 1849 года отец и сын вместе отправились в Амстердам, чтобы присутствовать при коронации короля Вильгельма III Голландского. Новый государь принял их дважды. Любезный, голубоглазый, с белокурой бородой, он выглядел человеком терпимым, понимающим, скромным и мечтательным. Увидев его, Александр невольно вспомнил тех правителей, которые так украшали в последние годы его жизнь во Франции. Станет ли он сожалеть о них? Он не имеет на это права – он, республиканец с самого начала! Тронутый почтительным отношением знаменитого писателя, Вильгельм III наградил его нидерландским орденом Льва. Подумать только, жаловался Дюма, в его собственной стране никому больше и в голову не приходит его награждать! Вместо того чтобы воздать ему должное, с него взыскивают долги!

А пока Дюма прохлаждался в Голландии, ожидая приема в

королевском дворце, в Париже проходили выборы депутатов нового парламента. Как и было предусмотрено, большинство примкнуло к партии Порядка, но социалисты утвердили свое присутствие и свое значение, заняв сто восемьдесят мест. Дюма удивился этому, не осмеливаясь сожалеть. Граница между его рассудительным либерализмом и чрезмерным реформаторством его друзей была такой расплывчатой…

Как только Александр вернулся во Францию, ему пришлось снова впрячься в работу, и он принялся лихорадочно исписывать страницу за страницей. Долги ли заставляли его возводить эту гору рукописей или потребность доказать самому себе, что он все еще способен к великим свершениям? Решительно и окончательно сделав ставку на театр, Дюма взялся за инсценировку «Шевалье д'Арманталя», вместе с Гранже и Монтепеном работал над «Коннетаблем Бурбона», превратил маленькую комедию Луи Лефевра «Граф Герман» в пятиактную драму, снова объединился с Маке ради того, чтобы сочинить «Женскую войну», под именем Поля Лакруа написал «Завещание Цезаря». Последняя пьеса была принята в «Комеди-Франсез». Право, на такое он и не рассчитывал!

Двадцатого мая 1849 года, во время репетиции «Завещания», к Александру подошел служащий театра и шепнул на ухо: «Мадам Дорваль послала за вами, она умирает и не хочет умереть, не простившись с вами». Дюма был потрясен: он давным-давно потерял из виду прелестную исполнительницу роли Адели в «Антони». Однако ему было известно, что она порвала с Виньи, что она не могла утешиться после утраты своего внука Жоржа, что она больше не играет на сцене, что Остейн отказался дать ей роль в «Мачехе» Бальзака и что она угасала в нищете, одиночестве, среди всеобщего равнодушия и неблагодарности. Вот только не знал о том, что Мари так серьезно больна… Прервав репетицию, Александр побежал на улицу Варенн. Когда он вошел в комнату, лицо женщины, которая когда-то была его резвой любовницей, а теперь превратилась в иссохшую мумию с угасшим взглядом, осветилось жалкой улыбкой. Она протянула руки к своему дорогому Александру, все такому же бодрому и оживленному, и прошептала: «Ах, это ты! Я знала, что ты придешь!..» Он поцеловал умирающую и зарылся лицом в одеяло, чтобы скрыть выступившие на глаза слезы. Дочь Мари Дорваль, Каролина, и зять, Рене Люге, на цыпочках вышли, оставив их наедине. «Ты не умрешь!» – простонал Александр. Она погладила его по голове. Это прикосновение мгновенно напомнило ему прежние жгучие наслаждения. И пока он старался справиться с нахлынувшими воспоминаниями, она лепетала: «Ну что же, мой

Александр, ты прекрасно знаешь, что после смерти моего маленького Жоржа я только и ждала предлога. Предлог подвернулся, и, как видишь, я его не упустила!» Мари настаивала на том, чтобы он сам убедился, вглядевшись пристальнее в ее лицо, насколько она постарела, он слабо возражал: «Да нет, я не нахожу, чтобы ты так уж сильно изменилась!» Мари не приняла эту милосердную ложь и вернулась к своей главной заботе: она боялась, что из-за недостатка денег ее похоронят в общей могиле. Она хотела, чтобы ее положили рядом с внуком. Но где найти деньги, необходимые на погребение? Мучимый раскаянием Александр пообещал, горестно кивнув головой, взять на себя расходы. Он склонился над Мари, и она коснулась его лба уже похолодевшими губами – вместе с ней сама смерть наградила его благодарным поцелуем. Люге и его жена вернулись в комнату. Мари в последний раз поблагодарила их за то, что они о ней заботились, когда все ее покинули, потом закрыла глаза, и ее не стало…

А Дюма поспешил в похоронную контору. На то, чтобы арендовать временное место на кладбище, требовалось шестьсот франков. Сумеет ли он набрать эту сумму, которая во времена его несметного богатства показалась бы ему смехотворно мелкой? А теперь, вывернув карманы и перерыв все ящики, он еле наскреб две сотни франков. По его просьбе господин де Фаллу, министр народного просвещения, лично дал ему взаймы еще сто франков. Виктор Гюго, как всегда, поскупился и сам не дал ничего, но обратился к министру внутренних дел и добился пособия в двести франков «во имя культуры». Однако для того чтобы набрать необходимую сумму, не хватало еще немножко. Александр вытащил свой тунисский орден, отнес его в ломбард и вернулся с этой последней сотней франков. Мари Дорваль похоронят пристойно, как ей хотелось! На кладбище, над только что вырытой могилой, друзья покойной попросили Дюма сказать несколько слов, но от горя у него перехватило горло, и он только и мог, с полными слез глазами, вытянуть цветок из венка и поднести его к губам. Позже он напишет, что Мари Дорваль была женщиной, которую он «любил больше всего на свете».[87]

Куда бы Дюма теперь ни взглянул, ему казалось, что везде он различает только лик смерти. У него было впечатление, будто в мире, который рассыпался на куски у него на глазах, не оставалось ничего прочного, ничего надежного, ничего долговечного. Даже от политики тянуло горелым. Расточая поначалу одни лишь похвалы Луи Наполеону, теперь он с огорчением замечал первые ошибки власти и писал в «Le Mois»: «Продолжая поддерживать и принцип, и человека, необходимо

помешать принципу исказиться, а человеку – ослабеть и впасть в заблуждение». Несмотря на столь суровое суждение, Луи Наполеон почтил своим присутствием премьеру новой драмы Дюма «Граф Герман», состоявшуюся в Историческом театре 22 ноября 1849 года. И не мог не заметить, что Дюма, хранивший верность памяти прежних друзей, подчеркнуто оставил пустой и освещенной ложу, которую обычно занимал герцог де Монпансье, и не отправился приветствовать принца-президента, когда тот вошел в зал.

Зрители прекрасно принимали пьесу, горячо аплодировали, но достаточно ли этого, чтобы снова начать подниматься в гору? Дюма сомневался. Совершенно выдохшийся, усталый, в полном изнеможении, он теперь рассчитывал ради спасения Исторического театра лишь на издание «дорожных впечатлений» от поездок в Голландию и Италию и сборника своих – порой правдивых, порой фантастических – повестей под названием «Тысяча и один призрак». Вспыхнул еще ненадолго луч надежды, когда Арсен Уссе, руководивший теперь «Комеди-Франсез», сделал ему странное предложение: написать для представления «Любви-целительницы» Мольера три легких «антракта», которые будут играть между тремя актами комедии и которые станут забавной «передышкой», – и, конечно же, Дюма согласился и мгновенно написал это дополнение к мольеровскому дивертисменту.

Пятнадцатого января 1850 года Луи Наполеон пришел на премьеру «Любви-целительницы». Зрители стоя шумно приветствовали принца-президента. Куда более прохладно они встретили «импровизации» Александра. Публика, сбитая с толку разностильным соединением классических текстов и современных шуток, реагировала с запозданием. Окончательно смешав Дюма и Мольера, зрители в конце концов принялись аплодировать Дюма, освистав Мольера. Принц-президент остался недоволен проведенным в театре вечером, Александр был недоволен еще сильнее…

А несколько дней спустя на него свалилась новая, совершенно неожиданная неприятность – из-за отсутствия читателей перестала выходить его газета «Le Mois». Что касается Исторического театра, и тут его дела обстояли не лучше. Из хозяйственных руководителей театра никто не мог удержаться, один призрачный директор сменялся другим – после уволившегося к этому времени Остейна на этом месте поочередно перебывали: мошенник Макс де Ревель, за ним – прелестный и простодушный граф д’Олон, вложивший в дело свое небольшое наследство и все потерявший, следом – актер Долиньи,

пообещавший вернуть д'Олону так неудачно вложенные им средства… Все эти люди, желавшие Дюма только добра, сбросились, чтобы помочь ему пережить трудные времена, однако до наступления лета на подмостках Исторического так и не появилось ни одной пьесы, которая прошла бы с успехом и дала возможность автору пополнить кассу.

Актеры, которым плохо платили, начали роптать. Шестнадцатого октября они отказались выходить на сцену и пригрозили, что подадут на д'Олона и Долиньи в торговый суд департамента Сены.

Несмотря на то что гроза надвигалась, Дюма по-прежнему держался стойко. У него в голове столько замыслов, в его папках столько планов! Главное – это верно прицелиться, суметь пробудить любопытство охладевшей публики. В этом злополучном 1850 году в его театре за полгода были поставлены пять пьес. Кроме того, он напечатал в «Le Siecle» два исторических романа, «Голубка» и «Черный тюльпан», и два современных романа, «Адская бездна» и «Бог располагает», в «L'Evénement» – газете Гюго.

Дюма тем охотнее отдал ему для публикации свою прозу, что Гюго, к тому времени избранный депутатом, разделял политические взгляды Александра и выступал против «подлого закона», лишавшего права голоса налогоплательщиков со скромными доходами. Написав Виктору как коллеге, поддержав занимаемую им позицию, Дюма воспользовался случаем для того, чтобы предсказать падение всякого правительства, которое осмелится обойтись без народного одобрения. «Сейчас мы оказались посреди океана. Ошибка власти состоит в том, что она полагает себя островом, когда на самом деле она – всего лишь корабль. Нынешней власти кажется, будто океанская волна затихнет у ее берегов, но нет – океан подхватит ее; нет – океан разобьет ее в щепки; нет – океан ее поглотит!»[88]

В начале лета Александр вместе с Огюстом Маке начал работать над новым романом из цикла, посвященного революции, – «Анж Питу». Именно в это время депутаты по просьбе Луи Наполеона и под давлением правого большинства приняли закон, ограничивающий свободу прессы: запрет уличной торговли газетами и расклейки их в общественных местах; восстановление гербового сбора; увеличение залога. Издатели газет, которым угрожали повышение налогов и сборов и усиление контроля, вынуждены были сокращать расходы. Даже самому Эмилю де Жирардену, несмотря на успех «La Presse», приходилось экономить. Романы с продолжением, обложенные высокими налогами, обходились ему теперь слишком дорого. «Я хочу, чтобы

„Анж Питу“ сократился до половины тома вместо шести томов, чтобы в нем было десять глав, а не сто, – напишет он Дюма. – Устраивайтесь, как хотите, и сокращайте сами, если не хотите, чтобы сокращал я». Александр немедленно передал распоряжение владельца газеты Маке и прибавил к сказанному: «Я один закончу „Анжа Питу“, над которым с учетом сокращений нам совершенно невыгодно работать вдвоем». И снова, в который уже раз, материальные соображения возобладали у него над стремлением к художественному совершенству. Сочинение, за которое мало платят, не заслуживает таких же стараний, как то, что способно принести большой доход, полагал он. Однако Маке не согласился, более того – потребовал, чтобы ему полностью были выплачены причитающиеся ему деньги, составлявшие, по его мнению, сумму в сто тысяч франков, упрекнул Александра в том, что тот не упускает случая приуменьшить значение услуг, оказываемых ему его верным соавтором. Если Александр стремится заработать побольше денег, то он, Маке, требует прежде всего остального, чтобы к нему относились с уважением! «Несмотря ни на что, я питаю к нему [Дюма] дружеские чувства и никогда не откажусь ему это доказать, – пишет Маке Полю Лакруа. – Пусть он отныне строит наши отношения ясным, положительным, неизменным образом, пусть ограничит мои доходы, но пусть при этом выплачивает мне то, что должен. И пусть не забывает о реальной доле известности. Я дорожу этим более, чем всем прочим». Поль Лакруа согласился походатайствовать за Маке перед Дюма, и Дюма, устыдившись ссоры из-за денег, омрачившей долгую дружбу, предложил новое соглашение, более выгодное для соавтора. Однако этот компромисс останется пустым звуком. На самом деле ни у того, ни у другого просто уже не было ни малейшего желания работать вместе.

Двадцать первого августа Дюма счел необходимым присутствовать на похоронах Бальзака. «…Он не был мне ни другом, ни братом, – напишет впоследствии Александр. – Скорее – соперником, почти что врагом». Что правда, то правда: на всем протяжении своей литературной карьеры Дюма страдал из-за того, что коллеги и журналисты, слывущие «знатоками» и «ценителями», ставили его ниже, чем автора «Человеческой комедии». Разумеется, в прессе и у Бальзака было немало гонителей, но в целом, несмотря на булавочные уколы и насмешки, они относились к нему с достаточным уважением. Должно быть, Бальзак заслужил эту привилегию тем, что в своих книгах выступал как «мыслитель», тогда как он, Дюма, всегда довольствовался ролью «забавника». Слушая высокопарную речь

Гюго над гробом великого человека, Александр спрашивал себя, не требуется ли ради того, чтобы стать достойным стольких похвал, сделаться немного скучным. Может быть, в литературе лишь длинные описания и запутанные отступления имеют некоторые шансы понравиться утонченным натурам? Тем не менее столь горестный вывод нисколько не помешает ему заявить, что творения покойного были бы в числе тех, которые он взял бы с собой, если бы ему предстояло отправиться в кругосветное путешествие… Но что бы и где бы Дюма ни говорил, на самом деле после торжественного погребения собрата по перу его больше всего удручала мысль о том, что горы исписанных сочинителем страниц, все эти корректуры, выверенные строчка за строчкой, все эти мечты, брошенные на растерзание толпе, – все это завершается несколькими приличествующими случаю словами и несколькими горстями земли. Кому завтра будет дело до Бальзака? Кому завтра будет дело до Дюма? – печально думал он.

И – словно одного траура было недостаточно для того, чтобы усилить завороженность Александра небытием, – в это же самое время приходит известие о смерти Луи-Филиппа, находившегося в изгнании в Англии. Дюма не испытывал ни малейшего сочувствия к этому властному и вместе с тем непостоянному королю, но, как и в случае с Бальзаком, счел себя обязанным присутствовать на похоронах. Воспоминание о милом Фердинанде Орлеанском и благодарность, которую он неизменно испытывал по отношению к герцогу де Монпансье, заставляли его отдать последний долг тому, кого его враги прозвали «королем-грушей». Из любви к сыновьям он, так и быть, отдаст последний долг отцу!

Бросив работу, Александр сел в поезд, идущий в Кале, и назавтра, в десять часов утра, был в Лондоне. Посещение Клермона, где помещалась резиденция королевской семьи в изгнании, его разочаровало. Дюма позволили расписаться в книге соболезнований, но никто из официальных лиц не снизошел до того, чтобы его принять. Дети усопшего не могли простить Дюма того, что он, после того как прославил добродетели конституционной монархии, снова сделался республиканцем. А то, что он поддержал Луи Наполеона, лишь усугубляло его вину. Желая утешиться после оказанного ему холодного приема, Александр посетил могилу Байрона и нанес визит леди Холланд, которую знал в Париже и которая вела свое происхождение от Марии Стюарт. Он застал знатную даму в парке, увлеченной… чтением «Виконта де Бражелона» – ну что ж, это была неплохая компенсация обычного непонимания, с которым относятся к нему

сильные мира сего!

Удовольствовавшись оказавшимся столь приятным визитом к леди Холланд, Александр вернулся в Париж, чтобы поспешить на помощь гибнущему Историческому театру. Сможет ли новая пьеса, «Капитан Лажонкьер», которую он наскоро состряпал из своей «Дочери регента», отвести беду? Главную роль Дюма в свое время предназначал Беатрис Персон, которая вот уже почти четыре года делила с ним его беспокойную жизнь, однако сейчас молодая женщина была на гастролях в Гавре. Кем же ее заменить? Мадемуазель Жорж порекомендовала автору одну из своих учениц – хрупкую, белокурую и грациозную Изабель Констан, которой в то время было всего-навсего пятнадцать с половиной лет. Молоденькую девушку еще предстояло обучить всему: и игре на сцене, и любовным играм – Дюма решил взять на себя эту двойную заботу, тем более что малышка нисколько не воспротивилась. И очень скоро Александр уже ощущал непреходящий восторг от того, что в свои сорок восемь лет смог стать не только любимым, но и желанным для девочки, которой годился в отцы. Этот привкус инцеста кружил ему голову. Он не любовался Изабель – он требовал подать ее на стол, он не наслаждался ею – он уплетал ее за обе щеки. Само собой разумеется, что мадемуазель Констан была тут же зачислена в труппу Исторического театра. В самый разгар нового романа Дюма внезапно вспомнил о том, что обещал Беатрис Персон приехать к ней в Гавр, но теперь эта поездка представлялась ему совершенно невозможной. Он попытался кое-как оправдаться перед брошенной подругой: «Славная моя кисонька, у меня никак не хватает денег на то, чтобы выехать в час. Деньги я получу только вечером и уеду в одиннадцать. […] Надеюсь, ты знаешь свою роль». Двойная ложь: во-первых, он и не думал никуда ехать, во-вторых, эту роль он отдал Изабель, и та уже приступила к репетициям под его руководством. Ничего, когда придет время, он как-нибудь да уладит все это с Беатрис, ну а пока надо воспользоваться отсутствием «славной кисоньки», застрявшей в провинции, и наслаждаться свежестью новой фаворитки…

Дюма-сын со снисходительной улыбкой поглядывал на запоздалые безумства отца, зато его единокровная сестра Мари, которой и присутствие в доме двадцатидвухлетней Беатрис Персон было непереносимым, просто уже выходила из себя от того, что ей приходилось жить под одной крышей с новой любовницей отца, вообще едва расставшейся с детством. Желая избежать ссор, которые могли иметь последствия самые неприятные, Александр снял для Изабель уютную маленькую квартирку в доме 96 по улице Бомарше, «выстелив ее изнутри

ваткой, словно гнездышко щегла», расставил на подоконниках цветы и снял для себя самого две комнаты на той же лестничной площадке. Неизменно обеспокоенный здоровьем своей юной любовницы, которая была хрупкого сложения, Дюма позвал к ней своего личного врача и поручил ему заботу об Изабель. Тот прописал подопечной пить каждое утро по столовой ложке рыбьего жира и по полстакана молока ослицы, но прежде всего порекомендовал Александру пореже проявлять свою страсть к девушке. «Берегите ее, друг мой. Это цветок, который равно могут погубить зной, мороз и солнце, но главное – любовь». Александр прислушался к совету врача. Впрочем, воздержание, к которому он себя обязал, давало ему возможность познать ни с чем не сравнимое наслаждение ожиданием. Теперь, боясь слишком большой поспешностью ранить предмет своего преклонения, он рассказывал девушке о своем собственном детстве, читал ей вслух, вдыхал ее аромат… Словом, у него появилась еще одна дочь, которая лишь временами превращалась в его жену. Он ласково называл ее «Зизза». Порой ему казалось, будто он сам рядом с ней становится моложе, порой он думал, что слишком стар для того, чтобы полностью насладиться выпавшим ему счастьем.

Вернувшись в Париж, Беатрис Персон обнаружила, что и ее место в доме занято другой, и ее роль в театре отнята тою же самой лживой инженю. Напрасно Александр предлагал подруге денежную компенсацию или контракт в России, который обещал раздобыть для нее благодаря своим связям, добавляя: «Вы вольны поступать так, как захотите. Только вы и сами понимаете, что нам неприятно было бы встречаться на репетициях. Откажитесь от роли, а жалованье вам будет выплачено независимо от того, будете вы играть или нет», – Беатрис Персон рассуждала здраво и последовательно. Обманутая и униженная, она заставила Дюма, через посредство подставного лица, Долиньи, признать в торговом суде контракт расторгнутым и выиграла процесс. Вдохновленные ее примером актеры, которым по-прежнему не платили, в свою очередь, обратились в торговый суд, требуя, чтобы д’Олон и Долиньи были признаны несостоятельными, и прекрасно при этом зная, что своим выступлением против двух марионеток готовят крах Дюма, истинного виновника. Двадцатого декабря 1850 года суд вынес решение в пользу истцов. И если д’Олона, потерявшего все деньги, которые он вложил в дело, вердиктом этого суда освободили от ответственности, то Долиньи и Александра, подлинных управляющих и руководителей Исторического театра, совместно объявили банкротами. Были назначены судья, облеченный

определенными обязанностями, и конкурсный управляющий. Это позорное решение было напечатано в «Судебной газете», и кредиторы толпой набросились на Дюма, намереваясь его растерзать. Но Александр, который рассчитывал тем самым насколько возможно отдалить полное разорение, для начала обжаловал вынесенное торговым судом решение. Черпая мужество в отчаянии, он снова взялся за работу, переговорил с Маке, написал вместе с ним две драмы, «Граф де Морсерф» и «Вильфор», обе по мотивам «Монте-Кристо», фантасмагорию «Вампир», навеянную неподписанным произведением Шарля Нодье, роман «Олимпия Клевская», где рассказывалось о нравах, царивших в театре XVIII века, ряд исторических сцен, после чего – на этот раз в одиночестве – вернулся к работе над своими мемуарами. Радость, которую он испытывал, вспоминая прошлое, состоявшее из молодых желаний, надежд и успеха, окрашивалась в них серьезностью и печалью при мысли о нынешних горестях. Сколько утраченных наслаждений, сколько забытых лиц и какое нагромождение сочинений, а ведь о них, должно быть, завтра никто и не вспомнит!..

Работая в своей комнате на улице Бомарше, Александр слышал, как Изабель осторожно покашливает по ту сторону лестничной площадки. У нее была слабая грудь, эта особенность придавала ей особое очарование. Она послушно ждала, пока он закончит писать и зайдет на часок поболтать с ней, приласкать ее. Александр в это время думал о том, что его сын тоже познал уже это покровительственное умиление, глядя в свое время на привлекательную и желанную женщину, которую подтачивала болезнь. Но Александр Второй быстро оправился от горя после смерти бывшей любовницы и теперь влюблен в русскую знатную даму, графиню Лидию Нессельроде, которую прозвал «Дама с жемчугами». Можно ли считать это возвышением в обществе того, кто некогда был любовником «Дамы с камелиями»? Лидия красива, капризна и деспотична. Она украшает себя жемчугами, сапфирами или рубинами, в зависимости от цвета платья, которое на ней надето. Ее муж – граф Дмитрий Нессельроде, сын всемогущего министра иностранных дел России. В марте 1851 года, узнав о том, что жена в Париже ему изменяла, он приказал ей немедленно возвращаться в Москву. Александр-младший хотел было последовать за ней, но у него не хватало денег. Надеясь, что это поможет добиться помощи от отца, Дюма-младший устроил Дюма-старшему встречу со своей возлюбленной, перед которой, как он говорил, никто не может устоять. Лидия приняла обоих «в одном из тех элегантных парижских домов, которые сдают иностранцам со всей обстановкой». Графиня лежала на кушетке,

обитой светло-желтым дамастом, облаченная в очень легкий и волнующе прозрачный пеньюар из вышитого муслина. Сладострастная гибкость движений доказывала, что стан ее не стянут корсетом. Распущенные черные волосы падали до колен. Взгляд был более чем многообещающим. Отец, тотчас ею пленившись, понял сына и решил дать ему денег на этот чудесный любовный поход через границы. Вывернув карманы, папаша наскреб денег, чтобы мальчик мог достойно выглядеть рядом с ветреной графиней, и пожелал голубкам удачи. Однако поездка вышла более дорогостоящей, чем предполагалось, тем более что «Дама с жемчугами» нисколько не торопилась вернуться в Москву к мужу, и парочка медлила, то и дело останавливаясь в пути. Дюма-старший, истощая свои и без того скудные средства, изо всех сил старался всякий раз снабжать отпрыска деньгами. «Только в субботу я добыл из своего кармана – карманы издателей, журналистов и друзей остались наглухо закрыты для руки Вьейо [новый секретарь Дюма] – сто пятьдесят франков», – пишет он сыну 6 апреля 1851 года. И советует ему быть предельно осторожным на территории России, где всякий иностранец – кто же этого не знает! – нежелателен и, мало того, вызывает подозрения. «Ты хорошо сделал, что остался, если дело зашло так далеко, надо довести его до конца. Только берегись русской полиции, она дьявольски груба и жестока и, несмотря на покровительство наших трех полек [подруг Лидии], а может быть, именно из-за их покровительства, может быстро вернуть тебя на границу».

Дюма не напрасно опасался эпилога русских приключений, в которые так неосторожно ввязался его сын. Решив, что возмутительное поведение французишки по отношению к подданной русского царя получило возможность проявляться достаточно долго, граф Нессельроде велел остановить его на польской границе, тогда как Лидию обязали в одиночестве продолжать путь, возвращаясь под далекий супружеский кров. Внезапно лишившийся подруги и маявшийся вынужденным бездельем, Александр развлекался тем, что слонялся по этой части Европы, будущее которой пока оставалось туманным. Добравшись до Силезии, он нашел в Мысловице, у одного богатого городского купца, связку писем Жорж Санд, адресованных Шопену и написанных в самом разгаре их пламенной страсти. Сестра Шопена получила эти письма после смерти композитора и, возвращаясь в Россию, оставила их другу, боясь, как бы они не попали в руки русской полиции. Хранитель сокровищ позволил Дюма-сыну составить их опись, и тот, взволнованный своим открытием, известил о нем отца, а он, в

свою очередь, поспешил рассказать обо всем Жорж Санд, которая, сильно встревожившись, попросила, чтобы ей вернули эту переписку, слишком интимную для того, чтобы отдать ее на растерзание любопытству публики, и заранее горячо поблагодарила автора «Трех мушкетеров» – на случай, если его сын справится с этим ответственным поручением так же ловко, как его герои, преданно служившие Анне Австрийской, со своими. Дюма-отец пообещал: «Александр [Дюма-сын] пробудет в Мысловице еще две недели, и я твердо надеюсь, что он привезет вам эти драгоценные частички вашего сердца».

Как только путешественник вернулся домой, письма Жорж Санд к Шопену были возвращены отправительнице. Перечитав их, она вскоре сожжет письма, но навсегда сохранит благодарность к собрату, который помог ей снова вступить в обладание ими. Вот тут Дюма впервые и призадумался: а что станет с его собственными любовными письмами, распыленными между столькими женщинами, – ведь многих он едва может припомнить? Из всех тех, кого он некогда желал и кем обладал, в его жизни осталась нынче лишь малышка Изабель Констан. Несмотря на хрупкое сложение и болезнь, она еще могла играть в «Заставе Клиши» в Национальном театре и исполнять более чем скромную роль Мелюзины в «Вампире» в Амбигю-Комик. Этим и приходилось довольствоваться, поскольку Исторический театр находился на грани закрытия. Девятнадцатого ноября 1851 года начался апелляционный процесс. Адвокат Дюма ссылался на то, что его подзащитный, поставлявший для театра великолепные пьесы, не нес никакой административной ответственности за управление предприятием, упирал на беспечность, расточительность, душевную открытость человека, которого пытались обвинять, вместо того чтобы прославлять и восхвалять. Он представил письмо, подписанное двадцатью четырьмя актерами, которые заявляли, что им оскорбительно видеть, как гениального писателя приравнивают к заурядному устроителю коммерческих представлений. Однако заместитель прокурора не принял во внимание этот призыв к милосердию и великодушию, и решение его оказалось безжалостным: «Господин Александр Дюма не мог смириться и дать погибнуть делу, на которое возлагал все свои надежды добиться личного успеха и богатства. Он истощил свои силы и свои средства, стараясь поддержать существование этого театра, но вот таким именно образом, сам, может быть, того не сознавая, автор превратился в спекулянта, антрепренера публичных представлений, тем самым приобретя и звание коммерсанта, последствия чего должен теперь испытать на себе».

Вынесение приговора было отложено на неделю. Александр больше не верил в чудо. Если его объявят несостоятельным должником, он рискует угодить в долговую тюрьму. Но сможет ли он когда-нибудь от этого оправиться?

Ночью 1 декабря 1851 года в Елисейском дворце был устроен большой прием. Дюма на него приглашен не был. Да и с какой стати Александра стали бы приглашать после того, как не так давно он позволил себе критиковать Луи Наполеона, а самому писателю вот-вот должны были вынести позорный и бесчестящий его приговор? Дюма сожалел о добрых старых временах, когда у него были друзья, близкие к власти. Внезапно он испугался собственного одиночества, собственной уязвимости… А события между тем развивались по непредвиденному сценарию: в ту самую ночь, когда принц-президент красовался в ослепительно ярко освещенных салонах дворца, его сторонники трудились не покладая рук – они расклеивали на улицах объявления о роспуске Законодательного собрания и Государственного Совета. И назавтра, второго декабря, едва проснувшись, парижане впали в тупое недоумение. Газеты еще усилили это недоумение: читая один материал за другим, подписчики усердно терли глаза, не понимая, по-прежнему ли они еще живут в Республике. Депутатов оппозиции арестовывали в их собственных домах, на их собственных квартирах. Парламент был осажден, а только что расклеенные афиши извещали французов о том, что вскоре будет организовано всенародное голосование с целью продлить пребывание Луи Наполеона на посту президента, несмотря на окончание срока его полномочий. Горстка республиканцев во главе с Гюго, Альфонсом Боденом и Жюлем Фавром попыталась расшевелить население. Понемногу занялось восстание. Однако сил хватило ненадолго. Жители столицы устали то и дело восставать по любому поводу. Да и наполеоновский миф пришел на помощь тому, в чьих жилах и текла-то самая малость императорской крови. Франции был необходим хозяин. Этому-то хоть есть от кого наследовать, яблоко от яблони недалеко падает, думали французы! Баррикады некому было защищать. На одной из них был убит депутат Боден, гордившийся тем, что стал представителем народа за мизерную плату. Он упал с криком: «А сейчас посмотрите, граждане, как умирают за двадцать пять франков!» Но ни у кого не возникло желания руководствоваться его примером, тем более что последние залпы, которые дали войска по Большим бульварам, оказались смертоносными. А потом, как обычно, за резней последовали массовые аресты и высылки тысячами…

Александр, который на этот раз оставался в стороне от

событий, хотя в принципе и одобрял движение, в спешке писал актеру Бокажу третьего декабря 1851 года: «Сегодня, в шесть часов, двадцать пять тысяч франков были обещаны тому, кто арестует или убьет Виктора Гюго. Вы же знаете, где он: передайте – пусть ни под каким видом не выходит из дома!»

В ночь с 4 на 5 декабря сопротивление было подавлено окончательно, и Луи Наполеон праздновал победу. Виктор Гюго под вымышленным именем бежал в Брюссель. Дюма, опасаясь за собственную безопасность, решил сделать то же – не столько повинуясь политическим соображениям, сколько стараясь избежать лишения свободы, которое вполне могло оказаться следствием вынесенного ему обвинительного приговора в случае неисполнения определенных этим приговором имущественных санкций.

Десятого декабря, с наступлением темноты, он стоял на платформе Северного вокзала под заливавшим Париж ледяным дождем. Александр Второй тихонько успокаивал Александра Первого: в конце концов, это изгнание, несомненно, будет временным; рано или поздно они придумают какой-нибудь способ отвязаться от кредиторов. В одиннадцать часов, когда поезд тронулся, Дюма приободрился, к нему вернулось подобие прежнего оптимизма. Как всегда, он смотрел опасности в лицо с молодым огнем во взоре. Сын жалел его и любовался им.

На следующий день, 11 декабря 1851 года, как обухом по голове обрушился тот самый приговор, которого оба они боялись: банкротство! Но кого из них только что объявили несостоятельным – Дюма или Францию? Александр всерьез раздумывал над этим – и уже рассчитывал на то, что бельгийцы утешат его в огорчениях, причиненных французами.

Глава III
Вдали от Парижа

Прибыв в Брюссель, оба Александра остановились в гостинице «Европейской» на углу Королевской площади. Но молодой Дюма собирался тут же снова уехать: его ждали в театре Водевиль, где начинались репетиции пьесы, которую он сотворил из романа «Дама с камелиями». Вот так, с первых же шагов, обозначится контраст между отцом, который бежал в Бельгию, чтобы там лелеять свою досаду, и сыном, который спешил вернуться в Париж, чтобы там попытать счастья. Отец притворялся, будто разделяет надежды сына, будто верит в то, что успех спектакля подхватит и раздует успех книги, хотя пьеса, которую он прочел, его разочаровала и даже раздосадовала. Слезливая, нравоучительная, переполненная обывательской сентиментальностью, она была так далека от его собственных блестящих и стремительных сочинений – он не мог испытывать ни малейшего влечения к литературе подобного рода! Впрочем, почти все театры, которым Александр Второй предлагал свою пьесу, ее отвергли, да и Юг Дезире Буфе, новый директор Водевиля, принял ее неохотно. Тем не менее Александр Первый не был бездушным человеком: он искренне желал своему мальчику в двадцать семь лет познать успех, сравнимый с тем, какой выпадал на долю его отца в том же возрасте.

Опасения, которые испытывал Александр-старший, не сбылись – после отъезда сына он отнюдь не почувствовал себя в Брюсселе одиноким. Город оказался переполнен французскими изгнанниками, которые встречались в кафе и гостиных, чтобы обмениваться полученными сведениями и подогревать тем самым ненависть к режиму, заставившему их бежать из Франции. Несмотря на то что причины, по которым Дюма отправился в добровольную ссылку, были скорее юридическими, чем политическими, он вполне разделял патриотические настроения и негодование соотечественников. Общий порыв гнева еще усилился, когда из Парижа дошли результаты всенародного голосования, состоявшегося 20 и 21 декабря 1851 года и мощно поддержавшего государственный переворот и принца-президента. К этому времени стало совершенно ясно, что Луи Наполеон намеревается отбросить первую половину своего имени, чтобы сделаться просто Наполеоном с порядковым номером III.

Угроза восстановления империи, при которой придется плясать под дудку авантюриста, доводила до отчаяния

брюссельских изгнанников, и Дюма к ним присоединился. Тем не менее, в отличие от непримиримых оппозиционеров, он старался не компрометировать себя оскорбительными высказываниями по адресу властей, поскольку это непременно стало бы известно в Париже и сделало бы невозможным пока еще вполне вероятное возвращение на родину.

Прожив месяц в гостинице, Александр перебрался в красивый двухэтажный дом под номером 75 по бульвару Ватерлоо. Обставив новое жилье с обычным своим пристрастием к роскоши и комфорту (брюссельские торговцы предоставляли Дюма кредит под его славу писателя с мировым именем), он устроил свою жизнь, нанял слугу-бельгийца Жозефа и секретаря-француза по имени Ноэль Парфе, бывшего депутата, вынужденного, чтобы избежать преследований «диктатора», по примеру многих других покинуть родину, взяв с собой жену и детей. Став доверенным лицом Александра, этот новый секретарь – человек, подобно священнослужителю, всегда одетый в черное, – очень скоро проявил себя на удивление мудрым, честным, преданным, да к тому же еще оказалось, что он обладает великолепным чувством юмора. Мало того, Ноэль Парфе только вступил в должность – и уже навел порядок в запутанных денежных делах своего нанимателя! Александр, поддерживаемый таким «аудитором», приободрился и вновь поверил в то, что обстоятельства вот-вот поправятся. Его воодушевила столь приятная перспектива, и он открыл двери своего дома для всех французских друзей, относившихся к нему с большим или меньшим восхищением. Их число росло на глазах: среди прочих к нему едва ли не каждый вечер приходили Виктор Гюго, Этцель, Шервиль, Эмиль Дешанель, Этьен Араго… Пока гости, рассевшись в гостиной, вели бесконечные дискуссии, Дюма работал в кабинете. «Разве что, – писал он, – два или три раза за вечер я спускался со своего второго этажа и бросал словечко посреди общего разговора, подобно путнику, который, выйдя на берег реки, бросает в воду веточку». Затем он возвращался в свое жилище, вновь склонялся над рукописью, и ему чудилось, будто он все еще во Франции. И на самом деле – где бы он ни был: в Брюсселе, Париже или замке Монте-Кристо – истинной его родиной всегда оставался чистый лист бумаги.

Вскоре Александру показалось мало того, что он устраивал эти дружеские посиделки, и он открыл у себя нечто вроде столовой, где его соотечественники могли подкрепиться, заплатив за обед полтора франка. Но некоторое время спустя оказалось, что эта щедрость преждевременна, денег снова стало не хватать. Ноэль Парфе постоянно призывал к экономии, а Дюма

принялся лихорадочно искать сюжет, который с легкостью мог бы использовать и обеспечить себе и своим гостям хотя бы просто сносную жизнь. Брюссельский издатель Шарль Анри посоветовал ему обратить внимание на прелестную сельскую новеллу фламандского писателя Гендрика Консьянса «Новобранец» («Le conscrit»). Александр заказал перевод, получил у автора разрешение и, отталкиваясь от первоначального текста, состряпал роман под «соусом Дюма», перенеся действие в Вилле-Котре. В честь сочинителя истории он назвал свой новый роман «Консьянс простодушный». Темп его работы не замедлился: по одному тому каждые десять дней. Закончив очередной кусок, он немедленно переправлял его в Париж, где роман с продолжением печатали в «Le Pays». Но это была проходная, заурядная вещь, многословное произведение, предназначенное лишь для того, чтобы чуть-чуть исправить денежную ситуацию и заполнить пустоту, а Дюма по-прежнему ждал случая совершить нечто выдающееся, что помогло бы ему вновь обрести славу и богатство.

Что же касается его сына, тот имел у публики куда больше успеха. Премьера «Дамы с камелиями», состоявшаяся 2 февраля 1852 года, завершилась громом аплодисментов и оглушительными криками «браво!». Зрители, а потом и журналисты наперебой расхваливали молодого автора, который мгновенно, одним прыжком, взлетел ввысь и встал вровень со своим отцом. Неожиданно пришедшее к сыну признание, разумеется, обрадовало «Александра Великого», но в то же время и обидело, он счел его не просто мелкой несправедливостью, он воспринял это как предательство со стороны своих неизменных поклонников. Ощущение было довольно смутное, но вдруг ему показалось, что сын отнимает у него одновременно счастье и хлеб! И поздравление, посланное Александром Первым Александру Второму по случаю премьеры, оказалось предельно лаконичным: «Очень рад. Крепко целую!» – после чего отец немедленно принялся жаловаться сыну на свое нынешнее стесненное положение, поручив тому обойти все газеты, где ему хоть какую-то мелочь были должны. «Приезжай и привози с собой как можно больше денег, потому что я на мели», – закончил приветственное послание Дюма-старший.

Понемногу он начал осознавать удивительный переворот, который произошел в их отношениях. До «Дамы с камелиями» Александр Первый был наставником, советчиком и покровителем Александра Второго; с тех пор роли переменились, и теперь Александр Второй больше не нуждался в Александре Первом, он сделался настоящим писателем, соперником Александра Первого, возможно, даже равным ему соперником. Во всяком случае, сын

преуспевал в то самое время, как отец лихорадочно трудился ради пропитания и чувствовал себя совершенно потерянным в чужой стране. У Александра-младшего было по сравнению со старшим большое преимущество – обаяние молодости. Он был в моде. Он восходил. И не кончится ли все это тем, что он заставит позабыть о том, что всего лишь второй из носящих это имя?

Скорее, скорее писать, писать все равно что, лишь бы писать, чтобы показать всему миру, что это он, Дюма-отец, достоин всех и всяческих почестей. Истинную славу на всю семью не делят! Она должна принадлежать лишь одному человеку, и именно ему, Александру Дюма Единственному и Неповторимому! А кроме того, надо ведь помнить и о низменных, денежных интересах, надо зарабатывать себе на хлеб. Известность – это прекрасно, при условии, что не пренебрегаешь и выгодой!

Поль Мерис сделал драму «Бенвенуто Челлини» из романа «Асканио», который они когда-то написали вдвоем. Премьера в театре «Порт-Сен-Мартен» была назначена на первое апреля 1852 года, и этот спектакль сулил немалые доходы. Дюма получил от торгового суда пропуск и отправился в Париж, чтобы присутствовать на первом представлении. Его милая крошка Изабель Констан оказалась прелестна в роли Коломбы, а Беатрис Персон, которую ему вообще хотелось бы исключить из распределения ролей, чтобы две его любовницы не встречались на сцене, имела большой успех в роли герцогини д'Этамп.

Однако, несмотря на теплый прием, пьеса не принесла золотого дождя, на который Александр так рассчитывал. Для того чтобы не пришлось делить гонорары с кредиторами несостоятельного должника, сочинителю передавали их из рук в руки. Ничего не поделаешь – когда едва-едва сводишь концы с концами, никакая выгода не покажется слишком мелкой!

Этот денежный ручеек притек очень кстати, поскольку дочка Дюма, беспокойная Мари, только что покинула Париж, чтобы окончательно поселиться вместе с ним в доме на бульваре Ватерлоо. Александр и обрадовался этому, и почувствовал легкую досаду. До появления девушки он устраивался так, чтобы принимать у себя, когда они приезжали в Брюссель, то нежную Изабель Констан, то Маргариту Гиди, богатую и привлекательную сорокалетнюю даму, которая с недавних пор сделалась его любовницей. Кроме того, ему надо было выкраивать несколько свободных часов еще и на развлечения с некоей обладательницей «глаз испуганной газели» – прекрасной булочницей с бульвара Ватерлоо. Причем мало ему было того, что он занимался с ней любовью, – Дюма еще и устраивал для нее сеансы гипноза, поскольку булочница получала удовольствие от того, что ее

гипнотизируют. Этим трем женщинам, которые поочередно возлегали на ложе хозяина дома, приходилось теперь терпеть недовольный вид и выслушивать резкие замечания Мари. Закоснев в непримиримом целомудрии, она осуждала поведение отца, но в то же время не желала покинуть его дом. Устраиваемые дочерью сцены ревности и попытки «навести в доме порядок» раздражали Дюма. Он выходил из себя, громогласно возмущался этой девственницей двадцати одного года, которая позволяет себе читать отцу мораль, но тотчас же, стоило немного успокоиться, чувствовал, что все-таки ему лестно обращение с ним дочери, которая ведет себя так, как вела бы женушка, которой он изменил. Он прощал Мари ее несдержанные речи и заверял в своей любви: «Я так люблю тебя, дорогая моя девочка, что одно лицо твое становится для меня источником радости или источником печали, – говорил он ей. – Постарайся же не огорчать меня в течение тех трех или четырех дней, которые она [Изабель Констан] пробудет здесь». В ожидании отцовской любовницы Мари пообещала придержать язык, но, стоило Изабель показаться на бульваре Ватерлоо, враждебность девушки пробудилась вновь, и снова начались стычки, опять послышались крики и полились слезы. Впрочем, дело не только в юности Изабель, которая так раздражала Мари. Достаточно было поблизости от отца мелькнуть, хотя бы мимолетно, вообще какой-нибудь юбке, и дочь настораживалась: его у нее отнимут, его запятнают!.. Только оставшись с Александром наедине, она могла полностью, безраздельно наслаждаться ничем не омраченным сознанием того, что она – его дочь. Мари с удовольствием помогала отцу украшать дом, однако почти от всего, что она предлагала, Александр тотчас отказывался: ему хотелось наложить на любую деталь обстановки, на любые предметы, его окружавшие, свой личный отпечаток. И в брюссельском особняке повсюду торжествовал тот же нелепый стиль, что прежде в замке Монте-Кристо.

В гостиной царствовала толпа алжирских диванов, скамеечек для молитвы, исполинских фарфоровых китайских и японских ваз вперемешку со средневековыми доспехами. На стенах красовались щиты с изображениями величайших писателей века: Виктор Гюго соседствовал там с Шатобрианом и Ламартином – в каком-то необъяснимом припадке скромности хозяин дома не стал выставлять рядом с их портретами собственный; лазурный потолок, усыпанный золотыми звездами, располагал к грезам; ванная везде была отделана мрамором… Один только рабочий кабинет писателя отличала поистине армейская строгость. Ну и еще выгороженный рядом с кабинетом закуток, где его секретарь,

неутомимый Ноэль Парфе, перебелял рукописи, разбирал почту и со скрупулезной тщательностью вел счета.

Мари так беспредельно восхищалась последним романом отца «Консьянс простодушный», что то и дело твердила: «Милый папочка, ты пишешь слишком мало таких книг, как эта!» Видимо, от бесконечных повторений в конце концов замечание дочери показалось Дюма более чем справедливым, и он начал подумывать о том, не написать ли к этому произведению, в котором показано торжество Добра над Злом, парный роман, где на этот раз будет рассказано о шествии Зла сквозь века, шествии по следам Вечного Жида…

Даже не набросав плана этой обширной эпопеи, он напишет Антенору Жоли, редактору литературного отдела «Le Pays»: «Что бы вы сказали насчет огромного, в восьми томах, романа, который начинался бы во времена Иисуса Христа и заканчивался бы с последним человеком на свете? […] Это покажется вам безумным, но спросите у Александра [Дюма-сына], который знает это произведение от начала до конца, что он о нем думает». Столь обширное полотно было задумано Дюма ради того, чтобы показать глазами Вечного Жида, Исаака Лакедема, путь человечества сквозь ряд кровавых заблуждений и преступлений к материальному и нравственному прогрессу, заданному Провидением. Подобная теория должна была бы понравиться Гюго, но Александр никак не мог поговорить с ним об этом, поскольку прославленный изгнанник после кратковременного пребывания в Бельгии решил сменить обстановку и искать пристанища в Англии.

Некоторые из друзей, в том числе и Александр, проводили путешественника до Антверпена. Во время устроенного по случаю отъезда Гюго прощального банкета Дюма был провозглашен президентом этого небольшого собрания верных. Эмиль Дюшанель произнес в его честь такой тост: «Предлагаю вам выпить за того из наших писателей, кто лучше всех сумел обратить в деньги французский дух и оставить на нем отпечаток, который был ему необходим для того, чтобы разойтись по всему свету…» Конечно, тезис об обращении автором «Трех мушкетеров» французского духа в деньги прозвучал обидно, но Александр все равно был растроган честью, которую оказали ему товарищи по изгнанию, объединив со своим кумиром, Гюго. Погруженная в глубокую печаль кучка поклонников проводила отъезжающего до пристани. С неба лил дождь. Гюго на мгновение прижал Дюма к своей груди и сел в лодку, которая пришла за пассажирами, чтобы отвезти их на пароход «Ravensbourne», стоявший на якоре в некотором отдалении от берега. Поднявшись

на борт корабля, Гюго приблизился к леерам и помахал рукой друзьям, оставшимся на берегу. В память об этой последней встрече с Дюма он позже напишет в «Созерцаниях»:

> Твой приют – побережье, корабль – мой приют:
> Мы две лютни, чьи струны согласно поют,
> Мы глядим друг на друга: сливается звук —
> И две лютни меняются душами вдруг…[89]

И воздаст должное трудолюбивому мужеству собрата, который, обняв его в день отъезда и проводив в новое изгнание, сумел вернуться к своему «ослепительному, неисчислимому, многообразному, ошеломляющему творению, в котором сияет свет». Этим творением в тот момент было не что иное, как история Вечного Жида, Исаака Лакедема, от которой Дюма ждал чуда. Для того чтобы написать этот «роман-чудовище», он перерыл десятки исторических и богословских трудов, он с лупой изучал евангелия и греко-латинскую мифологию, он штудировал трактаты Лютера и различные комментарии к трудам раввинов. Его способность воспринимать и усваивать прочитанное была так велика, что через несколько месяцев он не хуже любого специалиста разбирался в вопросах религии. Охваченный жаждой познания, Дюма без колебаний изобретал вроде бы необходимые ему для развития сюжета самые причудливые подробности. Так, 24 ноября 1852 года он писал Кеньяру де Солси, хранителю Артиллерийского музея: «Мне надо, чтобы ты сказал мне, вполне ли ты уверен в том, что Христос говорил по-арабски. Мне надо, чтобы ты сказал мне, остался ли какой-нибудь письменный след того знака, который Господь начертал на лбу Каина, а Ангел – на лбу Вечного Жида, – не Тау ли это? Завтра утром я приступаю к своему „Жиду“, и потому мне надо, чтобы ты прислал мне все эти сведения со следующей же почтой».

Чем больше романист углублялся в материалы, тем более важным представлялось ему показать двойственную природу Христа: одновременно и человеческую во плоти, и божественную в душе. Приближая Господа к слабостям его созданий, мы лучше сможем объяснить и воспеть его власть над ними, решил он. И сообщил Моисею Мийо, владельцу «Le Pays», только что перекупившему «Le Constitutionnel» и надеявшемуся, что газета возродится, если в ней будет печататься с продолжением роман Дюма: «„Исаак Лакедем“ – главное творение моей жизни. […] Теперь все, чего бы мне хотелось от вас, – чтобы вы разъяснили вашим читателям, что я предлагаю им книгу, подобной которой не существует ни в одной литературе мира; эта книга, как все

книги, в которых заключена великая мысль, нуждается в том, чтобы ее прочитали до конца и лишь потом судили о ней. […] Я могу утверждать, что за те двадцать лет, пока я ее обдумывал, она достигла в моей голове такой степени зрелости, что теперь остается лишь сорвать плод с дерева воображения. Стало быть, ждать вам не придется: я не сочиняю этот роман – я просто диктую его себе».

Александр настолько высоко вознесся в собственном представлении, что отныне воспринимал это колоссальное предприятие как оправдание всего, что написал в прошлом и будущем. Бальзак поверил, будто свершил то, что ему предназначено, когда додумался до того, чтобы дать общее название «Человеческая комедия» разрозненным романам, которые издал до того, – он же увенчает ряд своих рассказов из французской и мировой истории «Исааком Лакедемом», который возвысится над ними, озарит их и определит их философию. И когда в будущем станут говорить о нем, его назовут уже не автором «Трех мушкетеров», но автором «Исаака Лакедема»! Дюма был настолько глубоко в этом убежден, что его ошеломило известие о том, что «Constitutionnel» сомневается, стоит ли печатать текст романа полностью.

Второе декабря 1852 года стало днем провозглашения империи. Неделей позже «Constitutionnel» начал печатать с продолжением «Исаака Лакедема». И уже к середине января редакция журнала заявила, что вынуждена смягчить некоторые фрагменты, в которых говорится об Иисусе Христе, чтобы не задеть чувства католического читателя. В самом деле, несмотря на сделанные из осторожности сокращения, читатели жаловались, да и в прессе началась кампания против писателя, поскольку, по словам журналистов, он осмелился покуситься на лучезарный облик Спасителя, изобразив его всего-навсего человеком, одаренным исключительными способностями. «В том недостойном и постыдном надругательстве, которое господин Дюма счел дозволенным, удручает не столько соблазн, безбожие и святотатство, которое оно в себе заключает, сколько беспросветная глупость автора, тупое самодовольство, им проявленное, и то простодушие, с которым он марает вечную и прекрасную истину!» – таков был первый отклик на роман. Другие газеты подхватили. Ошеломленный тем, как яростно все на него набросились, Александр поспешил вернуться в Париж и стал молить Жозефа Наполеона Бонапарта, известного своими либеральными взглядами, заступиться за него перед своим кузеном-императором или, по крайней мере, перед «властями». Однако не помогло и любезное вмешательство Жозефа

Наполеона: министр полиции Мопа отвечал ему уклончиво и сдержанно.

«Пишу тебе из министерства полиции, где обсуждается вопрос „Вечного жида“, – пишет в эти дни Александр дочери. – Наполеон [Жозеф Наполеон Бонапарт] был очень мил; он везде ходил со мной, да и сейчас он рядом…» Дюма все еще надеялся на то, что благодаря поддержке его высокого покровителя ножницы цензуры пощадят его прозу. Но он еще не знал тщетности этой поддержки, не учитывал маниакального упрямства Мопа. Вместо того чтобы утихомирить рвение «исследователей», министр полиции… призвал их к суровости. Роман вышел из рук цензоров обезображенным, искалеченным. Под различными предлогами они выбросили пятнадцать выпусков. Дюма старался кое-как залатать то, что осталось от его безразмерной легенды, затем решил, что игра, возможно, и не стоит свеч. Подавленный, разочарованный, он забросил произведение, благодаря которому рассчитывал вернуть себе славу и доходы. Но больше всего в этом трагическом провале сочинителя огорчало то, что читатели «Constitutionnel» не протестовали, когда начатый роман оборвался, и на самом деле приговор «Исааку Лакедему» вынесла не политическая власть, но вся публика в целом. Привыкшие к тому, что Дюма, поучая, развлекает их, обыватели зевали над этим серьезным размышлением об эволюции человека и верований, у них создалось впечатление, будто им подсунули не тот товар или их обычный поставщик утратил навык.

Последнее предположение лишило Дюма и последних остатков прежнего упорного желания продолжать гонку, которую теперь уже вел не он. Начиная с этого дня он больше не пытался возродиться и измениться, он прозябал, переписывая и выпуская в свет под своим именем произведения, которые сочиняли для него другие авторы. Оставив сыну труды и радости славы, которую поминутно надо завоевывать заново, он довольствовался тем, что распоряжался своим угасанием. Его бывший секретарь в Историческом театре, Симон Гиршлер, взялся вести его дела в Париже, в то время как сам он вернулся в Брюссель, где остались дом, дочь и много друзей… Впрочем, на самом-то деле он жил между двух столиц. Пользуясь любым предлогом, садился в поезд и вновь окунался в парижские шум и суету, прислушивался к парижанам, которые, потихоньку ворча, приспосабливались к новому режиму, затем возвращался в Бельгию, к изгнанникам с их вечными жалобами.

Судебное разбирательство, которое должно было уладить его отношения с кредиторами, шло своим ходом. 18 апреля 1853 года

было наконец принято решение о выплате долгов, но предложенное судом соглашение между несостоятельным должником и его кредиторами оказалось вполне приемлемым: сорок пять процентов гонораров Дюма отныне шли на уплату долгов, пятьдесят пять процентов оставались ему самому. При таких обстоятельствах Александру показалось возможным окончательно перебраться в Париж, и, устроив роскошный банкет для изгнанников-республиканцев и для своих друзей-бельгийцев, он сообщил Мари и Ноэлю Парфе, что они остаются в Брюсселе, в чудесном доме на бульваре Ватерлоо, который был снят до 1855 года, а сам стал весело собирать вещи, готовясь к новому парижскому рождению.

Конечно же, ему хотелось по мере возможности вернуть себе расположение соотечественников – и он подряд напечатал великолепную «Графиню де Шарни», «Эшборнского пастора», который прошел незамеченным, и «Катрин Блюм» с довольно лихо закрученным детективным сюжетом – роман, оставивший, увы, любопытство читателей неутоленным. Разочарованный полуудачами своих романов и воодушевленный успехами сына в театре, он, в свой черед, решил снова попытать счастья на подмостках. Благодаря доброжелательному отношению Арсена Уссе сумел заключить с последним договор на комедию в пяти актах, которую надо было представить во второй половине июля, и засел за работу. Пьеса, получившая название «Людовик XIV и его двор», должна была, согласно его замыслу, рассказывать о романе молодого короля с Марией Манчини накануне свадьбы его величества и Марии-Терезы Испанской. Но ведь это был всего лишь замысел, который следовало еще облечь в слова, причем как можно быстрее! И Александр трудился над этой пьесой, не прекращая метаний из Парижа в Брюссель, из Брюсселя в Париж… Эти железнодорожные скитания взад и вперед вели его от милой маленькой Изабель, влюбленной и горевшей в лихорадке, к милой маленькой Мари, чья нежность могла сравниться разве что с ее же ревностью. Дюма теперь призывал дочь в свидетели того, какую жалость внушает ему любовница. «Вчера вечером я был у Изабель, – пишет он Мари. – Я знал, что она больна. Оказалось, она очень плоха. На этот раз она, может быть, оправится от новой вспышки болезни, но третьего обострения ей не выдержать. Я застал ее с пятнадцатью пиявками на боку, рядом с ней был врач, который предпочитал прижигать ранки ляписом, а не останавливать кровь обычными средствами. На спину больной только что перед моим приходом налепили вытяжной пластырь, и она не переставала ворочаться и стонать. Увы! Несчастная девочка, она так молода – ей трудно будет

умирать. Сегодня утром бедняжка была в изнеможении, как все больные этой злополучной болезнью, – и говорила о белом платье, которое сошьет себе к весне…»

От изголовья Изабель Александр перемещался в Париже к изголовью другой женщины, которая тоже была его любовницей и тоже была больна: мадам Гиди. Конечно, она чувствовала себя немного лучше своей юной соперницы, «но ты ведь знаешь, что означает „улучшение“ в ее случае: хроническая болезнь попросту ненадолго отпускает, чтобы вернуться вскоре с новой силой», – говорил он дочери-наперснице. К счастью для Александра, он мог рассчитывать на третью парижскую любовницу, Анну Бауэр, которая, слава Богу, была в добром здравии и даже родила ему в 1851 году сына Анри.[90] Ребенка Дюма, правда, не признал, но охотно продолжал спать с его матерью. Надо сказать, ему почти никогда не удавалось решительно порвать с женщиной, кроме того, он не пренебрегал и «разогретыми кушаньями».

Ненадолго появившись в Брюсселе – только для того, чтобы отечески расцеловать Мари, успокоить ее насчет своих похождений и изучить под присмотром щепетильного Ноэля Парфе свои счета, – он готов был без передышки снова мчаться в Париж, снова отправляться в «Комеди Франсез».

Дюма закончил пьесу, посвященную юношеской любви будущего Короля-Солнце. Изабель-Зизза встретила его восторженно. Она ожила, посвежела, она даже отвечала на его ласки. Александр обрадовался этому, посчитав добрым предзнаменованием: значит, художественный совет Французского театра примет «Людовика XIV и его двор» и предстоящее испытание окажется простой формальностью! Действительно, вскоре он сообщил дочери: «Чтение прошло великолепно!» Пьесу приняли единогласно.

Тем не менее с самого начала репетиций закулисная атмосфера была отравлена актерской ревностью. Обойденные мстили за то, что не получили роли, которой добивались, распространяя в ближайшем окружении министра Ашиля Фула слухи о том, что Дюма будто бы позволяет себе в своей пьесе высмеивать недавно заключенный брак Наполеона III с Евгенией де Монтихо, графиней де Теба. Поверить сплетне было легко: в самом деле, в обоих случаях речь шла о браках, заключенных по политическим соображениям на развалинах истинной любви. Подозрительный Ашиль Фул велел доставить ему рукопись и, пробежав ее, нашел, что от нее действительно попахивает крамолой. Цензоры, поднятые им по тревоге, 8 октября 1853 года завладели предметом спора и тщательно изучили содержание пьесы. Угроза становилась все более определенной, и Дюма

решил защитить свое творение перед главным заинтересованным лицом. И написал прямо императрице Евгении – из Брюсселя, куда снова ненадолго приехал, 11 октября: «Меня уверяют […] будто мое намерение, когда я писал эту пьесу, было оскорбительным для Вашего Величества. Но ведь если бы в моей душе была хотя бы тень подобного намерения, я считал бы себя недостойным взять сейчас в руки перо! Уважение и восхищение, которые я испытывал со времени моей поездки в Испанию к графине Теба, были всегда столь велики и столь искренни, что то положение, в которое Провидение ее привело, каким бы высоким это положение ни оказалось, не смогло ничего прибавить к этим чувствам. […] Я не прошу, чтобы пьесу позволили играть, я лишь прошу Ваше Величество увериться в том, что я не способен на дурной поступок».

Несмотря на заверения драматурга в полной его невиновности, рукопись была конфискована, а пьеса – запрещена. Дюма устремился в Париж, он обращался ко всем, к кому только мог, но все его старания ни к чему не привели. И тогда, не желая все-таки признавать себя побежденным, Александр решил действовать хитростью и предложил директору театра принять такие условия: он сочинит для него другую пьесу, «Юность Людовика XV», причем берется написать за неделю, и она будет сильно отличаться от «Людовика XIV», но пусть Арсен Уссе взамен пообещает непременно ее поставить, потому что – очень существенная подробность! – можно будет, уж Александр-то об этом позаботится, использовать декорации предшественницы. Предложение было принято, хотя и с недоверием. Дюма снова засел за работу, трудился без передышки и завершил пьесу еще до назначенного срока. Пять актов за четыре с половиной дня! Литературный подвиг тем более невероятным, что в этом втором рассказе о королевской молодости Дюма не ограничился тем, что заменил Людовика XIV Людовиком XV, он изменил сюжет, реплики – словом, изменил все, от начала до конца… На этот раз он заинтересовался проблемой короля, едва вышедшего из отроческого возраста и пытающегося сломить сопротивление своей супруги, Марии Лещинской, чья чрезмерная стыдливость лишала его наслаждений, на которые ему давало все права и даже вменяло в обязанность освященное Церковью таинство. По единодушному мнению, столь милая и забавная пьеса не должна была вызвать ни малейших препятствий со стороны властей. Однако император был настолько придирчив, что даже в полете мухи способен был усмотреть проявление злого умысла и недоброжелательства. Не обращая ни малейшего внимания на то, что 17 ноября пьеса была единогласно одобрена художественным

советом «Комеди-Франсез», он посоветовал цензорам проявить особенную бдительность при изучении текста, а призыв быть суровыми, обращенный к этим официальным стражам нравственности, никогда не оставался тщетным. Посовещавшись, они обвинили творение Дюма в непоследовательности и цинизме, усмотрев здесь оскорбление, нанесенное Церкви тем обстоятельством, что кардинал Флери, один из персонажей пьесы, оказался причастным к либертинской интриге.

«Юность Людовика XV», как перед тем – история любви молодого Людовика XIV, была запрещена. Собравшись с силами, Александр подумывал было приступить к сочинению третьей «Юности», на этот раз – Лозена, и рассказал об этом Уссе. Но тот отсоветовал ему упорствовать в намерении перенести на сцену любовные похождения исторических личностей, и Дюма на этот раз не стал упираться. Следовавшие одна за другой неудачи убедили писателя в том, что он сделался предметом особой ненависти императорской власти.

Новое происшествие только укрепило его в этом представлении. «Мемуары» Дюма, которые до тех пор регулярно печатались в «La Presse», с некоторых пор также стали сильно прореживаться цензурой. Больше того – Эмиль де Жирарден в связи с их выходом в свет получил официальное предупреждение, которое внушило ему тревогу за судьбу газеты. Опасаясь вызвать недовольство во дворце, он приостановил публикацию воспоминаний – хотя и совершенно безобидных – своего основного сотрудника.

Как ни странно, это последнее унижение не только не привело Дюма в уныние, но напротив – только придало мужества для того, чтобы открыто поддержать противников режима. Не сравнявшись с Гюго в резкости нападок на «Наполеона Малого», он все же не упускал случая изобличить слабости и беспринципность узурпатора, выступить против его ложной славы. Дюма посмел даже намекнуть на то, что в жилах нынешнего императора вообще не течет кровь Бонапарта, что Наполеон III – плод незаконной связи королевы Гортензии с голландским адмиралом! А потом, желая иметь трибуну, с которой он мог бы высказываться, как ему хочется, решил основать ежедневную газету «Мушкетер», чисто литературную, но отчаянно независимую. Александр говорил, что напечатает там свои мемуары, которые стали ненужными «La Presse», что ответит на страницах газеты своим гонителям, что станет там «критиковать критиков»… Короче, его «Мушкетер», в полном соответствии со своим названием, будет поборником справедливости, реформатором общества, рупором друзей

истины.

Редакцию газеты Дюма разместил в квадратной башне ресторана «Золотой дом» на улице Лаффит. Тесные, заваленные бумагами комнатушки, на третьем этаже – снятая им для себя плохо проветриваемая и почти не обставленная квартира, где он часами работал, не поднимая головы. Александр один поставлял девять десятых прозы, которая печаталась в «Мушкетере»!

Первый номер его газеты вышел из печати 20 ноября 1853 года тиражом в десять тысяч экземпляров. Цена годовой подписки для Парижа составляла всего тридцать шесть франков, но желающих подписаться нашлось немного. Ноэль Парфе, секретарь Дюма, оставшийся в Брюсселе, где продолжал присматривать за «домом Дюма», был совершенно удручен новой прихотью хозяина. В письме к брату Шарлю он пожаловался на «появление этого листка, который никого не пугает, но который, кажется, никого и не занимает и который останется – если вообще останется – в памяти лишь как самый невероятный памятник самовлюбленности и предвзятости суждений». А продолжал критику он в следующих выражениях: «Это даже не любопытно: разве что плечами пожимают, только и всего. Мемуары Дюма, которые составляют основную часть издания и из которых отныне изгнана политика, поскольку газета чисто литературная, представляют собой всего-навсего неудобоваримый сборник давних закулисных анекдотов и цитат, приведенных в беспорядке, без плана, без цели, без разбора, кстати и некстати. Правду сказать, те, кто подобно мне самому искренне любит Дюма, могут лишь глубоко огорчиться при виде того, как он губит себя, расточая подобным образом свой талант, и ставит под удар свою литературную репутацию».

Что ж, и критика может иметь место… Зато Мишле, конечно же, до небес превозносил «неукротимый талант и героическое упорство» Дюма. Зато Ламартин провозгласил: «Вы – сверхчеловек. Мое мнение о вас – восклицательный знак! Люди давно стремились к вечному движению, но вы совершили нечто большее – вы создали постоянное удивление. […] Живите, пишите, я всегда готов вас читать». Зато сам Виктор Гюго словно бы принял от них эстафетную палочку. «Читаю вашу газету, – написал он Александру. – Вы возвращаете нам Вольтера, это последнее утешение для униженной и онемевшей Франции». Благословение великого изгнанника способствовало тому, что гордость Александра выросла уже до предела. Он хотел воспроизвести эти пылкие строки на страницах «Мушкетера», но побоялся, сделав их достоянием читателей, тем самым опасно разжечь враждебность императора. И все-таки, как Дюма ни

ненавидел режим, он тем не менее нисколько не желал бежать из страны, где осуществлялась «тирания, в конечном счете, терпимая». Он довольствовался тем, что цитировал направо и налево великолепные строфы Гюго: ведь то, о чем Дюма в Париже говорил еле слышно, Гюго на Джерси сказал во весь голос. В каком-то смысле они поделили работу между собой.

Но если Дюма и отказался повторить публично то, что сказал о «Мушкетере» Виктор Гюго, дифирамбические письма Мишле и Ламартина он поспешил напечатать в своей газете полностью. Ну и кто теперь посмеет критиковать издание, чьи высокие достоинства подтверждены двумя величайшими умами Франции?

Однако дружба, как ничто другое, лишает способности здраво судить о собрате. Бесспорно, «Мушкетер» был от начала и до конца всего лишь данью уважения, приносимой его автором самому себе, своим воспоминаниям, своим мнениям, своим чаяниям и сожалениям. Все становилось для него предлогом для того, чтобы вновь обратиться к собственному прошлому или поговорить о собственном характере. Если он упоминал о таланте Жорж Санд, то делал это лишь для того, чтобы определить собственный талант, соотнося его с талантом подруги: «Жорж Санд – писатель философского склада и мечтатель, я же писатель-гуманист и популяризатор. […] В ее книгах именно персонажи создают действие, в моих книгах действие в каком-то смысле создает персонажей. […] Ее персонажи мечтают, думают, философствуют, мои – действуют. Она – это покой и мысль, я – это движение и жизнь». В конечном счете эта параллель достаточно верна. Но так ли интересуют читателей такие чисто литературные тонкости? Ноэль Парфе в этом сомневался. И не напрасно.

Дюма не мог справиться один со своей работой вездесущего издателя и собрал вокруг себя, с тем чтобы они ему помогали, нескольких достойных уважения писателей, среди которых выделялись Октав Фейе, Анри Рошфор, Теодор де Банвиль, Роже Бовуар, Альфред Асселен, Морис Санд и графиня Даш. Некий Макс де Гориц, венгр по происхождению, переводил для него пьесы и новеллы немецких авторов в надежде, что великий писатель рано или поздно снизойдет до того, чтобы их обработать и разделить с ним доходы. Кассиром редакции стал Мишель, прежде работавший садовником в замке Монте-Кристо: он был выбран на столь ответственную должность, поскольку не умел ни читать, ни писать – именно в этом, решил Александр, и проявилась предельная утонченность его ума. В самом деле, разве существует лучшее доказательство широты взглядов человека умственного труда, чем полностью довериться неграмотному?

Дюма, столько же по натуре своей, сколько по семейной традиции, любил контрасты. Так, его ненависть к Наполеону III нисколько не мешала ему искать дружбы Луи Жозефа Наполеона и принцессы Матильды. Больше того – Дюма, всю жизнь недолюбливавший Бальзака, после смерти писателя стал неумеренно им восхищаться. И даже взялся собирать по подписке деньги, чтобы поставить на могиле автора «Человеческой комедии» достойный его таланта памятник. Однако это начинание не понравилось вдове писателя Еве, заподозрившей Дюма в том, что тот использовал имя ее мужа только ради того, чтобы привлечь внимание к самому себе, о чем она не преминула заявить в суде первой инстанции. Каждая из двух сторон желала оставаться единственной в служении посмертной славе Бальзака. Решение судьи пощадило чувства соперников: вдова сохранила за собой привилегию поддерживать в порядке могилу и ухаживать за ней, однако Дюма добился права открыть подписку, чтобы собрать деньги на возведение памятника великому человеку. Впрочем, вскоре он сам откажется от своих планов и позабудет о своих обещаниях: слишком много на него сваливалось хлопот с живыми для того, чтобы заниматься еще и усопшими!

Александра вызвали в префектуру полиции, где он должен был давать свидетельские показания о Максе де Горице, его случайном переводчике, который оказался, как выяснилось, мошенником и убийцей, разыскиваемым властями нескольких стран. Что касается Дюма, то он увидел в этом человеке всего-навсего жалкого перебежчика, готового взяться за любую работу и вытерпеть любые унижения ради того, чтобы заработать себе на хлеб. Александр сжалился над ним, а его помощник, должно быть, запустил руку в кассу. Неприятная сложилась ситуация, но собственная слепота удивила и позабавила Дюма. А Ноэль Парфе, узнав об истории с Горицем, написал 10 апреля 1854 года своему брату Шарлю: «Вот какие люди окружают этого несчастного умнейшего дурачину!»

«Несчастный умнейший дурачина» нимало не сожалел об исчезновении Макса де Горица, который ушел из его жизни в наручниках, окруженный двумя жандармами. Ему было уже не до того: теперь он не знал, как отделаться от некой Клеманс Бадер, с недавних пор осаждавшей газету, где она надеялась поместить свои вымышленные истории, в которых, повинуясь странной маниакальной прихоти автора, действовали одни цветы. «Горести Фиалки» перекликались с «Несчастьями Розы», а «Гибель Бабочки» соседствовала с «Камелией» и «Вьюнком». У этой сорокалетней дамы был римский профиль и роскошная грудь. Если бы и ее саму пришлось сравнить с каким-нибудь растением,

надо было бы выбрать для этого гортензию. Убежденная в собственной гениальности, Клеманс то и дело появлялась в редакции «Мушкетера», доводила до отчаяния сотрудников, заставляя их читать ее сочинения, и в конце концов потребовала встречи лично с Дюма. Александр велел принести ему спорную рукопись, перелистал ее, нашел отвратительной и решил принять беспокойную Клеманс Бадер, с тем чтобы отговорить эту сумасшедшую писать дальше. Однако не успел он и рта раскрыть, как посетительница закричала, что восхищается им как писателем, чьи книги, разумеется, прочла все до одной, и как человеком, чья мужественная и величественная внешность заслуживает того, чтобы преклонить перед ним колени. Ее восторг казался таким непосредственным и таким искренним, что великодушный Дюма пришел в затруднение: как ей нанести удар отказом? Поколебавшись, но не победив порыва снисходительности, он пообещал госпоже Бадер «подумать», но едва за ней закрылась дверь, решил переписать «Камелию» и «Вьюнок» по-своему, даже не предупреждая об этом авторшу. Для дебютантки, подумал он, это станет приятной неожиданностью. Новый вариант цветочной прозы под названием «Приключения Вьюнка» появился в «Мушкетере» за подписью Клеманс Бадер. Даме следовало бы обрадоваться этому, но она опять стала выходить из себя, вопя, что ее произведение изуродовано и осквернено. Более того, она отправила к Дюма судебного исполнителя, чтобы потребовать во имя священной литературной собственности напечатать и изначальный текст.

Склоки Александра всегда раздражали, а потому он уступил, напечатал, но… сопроводил публикацию «подлинного» «Вьюнка» в своей газете насмешливыми комментариями по адресу возомнившего о себе автора, не способного грамотно писать по-французски, но при этом не позволяющего исправлять ошибки в его текстах. Последовала новая волна возмущения неистовой Клеманс: на этот раз она намеревалась передать дело в суд. Вот только все адвокаты, к которым эта дама обращалась, ей отказали: юристы сочли, что если она будет упорствовать, то проиграет процесс и выставит себя на посмешище. Однако жажда сокрушительного реванша продолжала терзать графоманку. Отказавшись от помощи правосудия, мадам Бадер избрала своим оружием памфлет. Мстительное сочинение, озаглавленное «Солнце Александр Дюма», было от начала до конца написано ею самой и напечатано на средства автора. Здесь, свалив все в одну кучу, она вперемешку припоминала Александру цвет его кожи, его тройной подбородок, его «шестьдесят» соавторов, его самодовольство как прославленного писателя и всемогущего

издателя газеты: «До чего же он счастлив, этот господин Дюма, тем, что у него есть его „Мушкетер“! Он себя ласкает и нежит, холит и лелеет на страницах этой газеты, он себя нахваливает, он глаз с себя не сводит и любуется собой в своих владениях!» Правда, автору памфлета все же пришлось признать, что господин Дюма – красивый мужчина и писатель с легким пером. А в заключение Клеманс даже одарила его своей дружбой: «На этом, мой прекрасный литератор с сотнями томов, мое прекрасное Солнце с тысячами миллионов дюжин лучей, я убираю свои коготки и прощаюсь с вами до тех пор, пока буду снова иметь честь и удовольствие вас оцарапать».

Клеманс Бадер больше не «оцарапает» Дюма, но благодаря той рекламе, какую она себе сделала за его счет, ей удастся добиться того, чтобы ее выдающиеся произведения были напечатаны в другом месте. А Александр, обрадованный избавлением от бой-бабы с садоводческими наклонностями, смог наконец вплотную заняться обустройством дома за номером 77 по Амстердамской улице, который только что снял для себя в Париже за три тысячи шестьсот франков в год. Прежде всего он велел, выкинув камни, которыми был вымощен двор, посадить там деревья и разбить газон: получился чудесный сад для отдыха. Внутреннее убранство дома также полностью определялось его указаниями. Три сообщающиеся между собой, со вкусом отделанные комнаты образовали его личные покои, которые сам он назвал «своим уединенным приютом». Из теплицы тут можно было перейти в спальню и ванную.

На этот раз Дюма показалось, что он нашел жилье, какого у него еще не было, целиком отвечающее его вкусу, его истинным потребностям, – дом, который он не покинет до конца своих дней, откуда его вынесут ногами вперед! Но пока Александр обзаводился хозяйством на новом месте, Мари жаловалась, что отец, дескать, бросил ее одну в Брюсселе. В какой-то момент Дюма услышал наконец отдаленные стоны и, внезапно вспомнив о том, что у него есть дочь, позвал Мари к себе. Только сможет ли девочка приспособиться к рассеянному образу жизни отца? Последний в этом сомневался, мало того – опасался, как бы совместная жизнь, задуманная в радости, не закончилась слезами.

Парижская жизнь полна неожиданностей. Однажды, январским утром 1855 года, Александр, полностью погруженный в свои семейные дела и заботы, узнал из письма Арсена Уссе о смерти Жерара де Нерваля, только что покончившего с собой. Директор «Комеди Франсез» сообщал, что «этот странный человек» повесился прошлой ночью в доме на улице Старого

Фонаря, неподалеку от площади Шатле. Душевное расстройство замечательного поэта, автора «Химер», давно уже тревожило его друзей. Время от времени он приходил к Дюма в редакцию, вид у него был потерянный, полубезумный – он был «словно пьян от гашиша». Впрочем, Жерар незадолго до самоубийства вышел из психиатрической клиники доктора Бланша – и почему только он не остался там до полного выздоровления!

Александр нанял экипаж и поехал на место трагедии. У дома покойного застал Уссе – такого же взволнованного, как и он сам. Окаменев от ужаса, друзья смотрели на облупившийся фасад, балюстраду, что шла над лестницей, взгромоздившегося на перила и каркавшего оттуда ручного ворона… А вот и роковое окно, забранное решеткой!.. С одной из поперечных перекладин свисает «белый шнурок – вроде тех, из каких делают завязки для передников». Этот шнурок, этот ворон, это безмолвие… Александру казалось, будто он блуждает в кошмарном сне.

Вместе с Уссе они отправились в морг. Там им предъявили мертвое тело – это Жерар, обнаженный по пояс, с выпирающими ребрами, с иссиня-бледным и искаженным лицом, с лиловой бороздой, перерезающей шею… На соседнем столе покоилось тело неизвестной девушки, которую выловили из Сены: должно быть, жертва несчастной любви. «Если в полночь мертвые разговаривают между собой, эти два трупа на следующую ночь должны были рассказать друг другу весьма печальные истории», – записал позже Дюма. И прибавил: «Я был одним из последних, кто видел Жерара де Нерваля. Я любил его, как можно любить ребенка».

А тогда, вернувшись домой, он тотчас известил Виктора Гюго о трагедии и о том, что похороны назначены на вторник, 30 января. Если бы Гюго был в Париже, он, несомненно, захотел бы поддерживать один из концов траурного покрывала. И Дюма заверил его в том, что в отсутствие Виктора никто его не заменит, что место изгнанника рядом с катафалком останется свободным и что вместо четырех или шести носильщиков, положенных по обычаю, ограничатся тремя или пятью.

Во время погребального обряда, совершавшегося в соборе Парижской Богоматери, Александр встретился с молодой женщиной, с которой с недавних пор поддерживал весьма приятную переписку и которая считала, будто пишет стихи. Эмма Маннури-Лакур говорила, что ей тридцать два года, что она живет в Кане с мужем, но совершенно свободна как в своих передвижениях, так и в своих предпочтениях.

Ее природная грация, белокурые волосы, голубые глаза и выражение меланхолического веселья пленили Александра,

несмотря на глубокое горе, которое он испытывал после кончины Жерара де Нерваля. Рассказывали, будто Эмма больна туберкулезом, чем объясняются и ее сдержанные манеры, и ее прерывистое дыхание. Все время, пока длился обряд, Дюма только о ней и думал. Когда пришло время покидать собор, их взгляды встретились. Прочел ли он в глазах Эммы восхищение, которое у нее вызывал, и обещание счастья тому, кто сумеет ее любить? Вскоре они встретились снова. Молодая женщина рассказала Александру о горестях своей жизни: дважды побывав замужем, она оба раза испытала разочарование. Ее нынешний супруг не способен ее удовлетворить ни в каком отношении. Он едва прикасается к ней. Она все равно что девственница, несмотря на все усилия, которые предпринимает этот несчастный, чтобы расшевелить жену. Единственное утешение она обретает в поэзии. Александр взялся доставить ей и другие. Вскоре Эмма призналась, что в его объятиях впервые испытала плотское наслаждение. Это его обрадовало, но нисколько не удивило.

Новая возлюбленная, пылкая и смелая в постели, оказалась ревнива ровно настолько, чтобы вызвать у Дюма гордость, особо ему не докучая. Желая успокоить подозрения Эммы, он поклялся ей, как и всем прочим, что она – его единственная страсть. Об Изабель говорил ей как о ребенке, о котором заботится из милосердия, даже молил ее быть нежной с несчастной малюткой, у которой, кроме него самого, нет других защитников от злых людей. «Я хочу, чтобы ты полюбила это дитя, – пишет он Эмме. – Кроме тебя, она – единственное существо на свете, которое меня любит, вот только она любит меня как дочь, а ты, слава Богу, любишь меня по-настоящему».

Больше всего, завязывая романтические отношения с пылкой госпожой Маннури-Лакур, он опасался реакции своей настоящей дочери Мари, которая так тяжело мирилась с другими любовницами отца. Не взорвется ли девочка, когда он познакомит ее с новой подругой? Однако произошло чудо – появление Эммы в доме на Амстердамской улице совсем не возмутило Мари – напротив, эта любовница отца совершенно ее покорила. Новоприбывшая была так элегантна, так прелестна, так скромна, она так дружелюбно относилась к дочери хозяина дома, так интересовалась ее попытками заняться живописью, что вскоре они сделались подругами. Александр радовался тому, что дочь и возлюбленная ладят друг с другом, и уговаривал их встречаться почаще, и даже в его отсутствие.

Но Дюма и сам был покорен, он уже не мог прожить без Эммы и дня. Едва она уехала в Кан, он поспешил следом. А Эмма,

увидев нежданного гостя, засияла от радости и бросилась ему на шею, не обращая никакого внимания на мужа, Анатоля Маннури-Лакура, который смиренно, с видом обреченного, смотрел на голубков. И в дальнейшем он будет все так же кротко относиться к их незаконному союзу, ни разу не потревожив.

Эмма увезла своего прославленного любовника в деревушку Тьюри-Аркур, где у нее был маленький замок Мон. Каждая прогулка по парку становилась приглашением к новым ласкам, каждый вечер у горящего камина становился прелюдией к ночным безумствам. Весной 1855 года Мари тоже была приглашена в Мон. Девушка, некогда метавшая громы и молнии против сексуальных излишеств, которым, по ее мнению, предавался отец, теперь играла при нем роль искусной сводни. Ее расположение к этой паре дошло до того, что в конце апреля, узнав о том, что Эмма беременна, она обрадовалась этому словно подарку небес. Зато Александра перспектива в пятьдесят три года снова стать отцом нисколько не радовала, и он полунамеками заговорил об аборте. Это крайнее решение оскорбило религиозные чувства Мари. Александр попытался урезонить ее в длинном письме, противопоставляя собственную «социальную, а главное – человечную» точку зрения «слащавым и чувствительным отговоркам» дочери. «Каждый несет ответственность за собственные ошибки и даже за свои увечья, – писал он Мари, – и не имеет никакого права заставлять других с ними мириться. Если какой-то несчастный случай или изъян сложения делают того или другого человека бессильным [намек на Анатоля Маннури-Лакура], именно он должен отвечать за все последствия этого изъяна сложения и расплачиваться сам за все беды и при всех последствиях, какие только могут из этого обстоятельства проистекать. Если женщина провинилась, если она забыла о том, что прежде считала своим долгом, – именно она должна искупить свою слабость посредством силы, как искупают преступление раскаянием. Но женщина с ее виной, равно как и мужчина с его бессилием, не имеет права заставлять третье лицо нести груз ее собственной ошибки или его собственного несчастья. Я изложил Эмме все эти соображения *до* того, как был зачат ребенок. Они были ею взвешены, и решение высказано в следующих словах: „Ради моего ребенка я найду в себе силы все сказать и все сделать так, как надо!“» Не правда ли, вывод напрашивается такой, продолжал рассуждать благородный отец: по собственному признанию Эммы, она хотела родить ребенка от Александра, готовая, если потребуется, заставить Анатоля его признать или же расстаться с мужем, сообщив ему о своей неверности. А дальше Дюма заверял Мари, что думает

исключительно о слабом здоровье Эммы и о той печальной участи, которая ожидает ребенка, если его мать скончается, а несчастный будет еще во цвете лет. И заключил вопросом: «Не должно ли такое количество с легкостью предсказываемых бедствий побудить любовников пожертвовать плодом их любви?» Вместо того чтобы убедить Мари, холодные рассуждения отца довели ее до истерического припадка. В приступе ярости девушка разорила не только всю квартиру Александра, но даже ту маленькую мастерскую, где ей нравилось уединяться со своими кистями и красками, чтобы создать хотя бы у себя самой иллюзию таланта.

Дюма, не в силах дольше терпеть скачков настроения дочери, решил расстаться с ней и твердо посоветовал Мари перебраться куда-нибудь еще. Ноэль Парфе так рассказывал в очередном письме к своему брату Шарлю о семейной грозе, которая пронеслась над домом 77 по Амстердамской улице: «Она вытворяла нечто чудовищное, неслыханное, и словно бы без всякой причины, забавы ради, поскольку ничем нельзя было объяснить ее выходок: отец всегда проявлял к ней беспримерную доброту, которую можно было бы даже расценивать как слабость. И одному Богу ведомо, как она его терзала в последнее время, когда меня не было рядом и я не мог хоть немного эту безумную сдерживать!»

Внезапно все уладилось само собой: осенью у Эммы случился выкидыш. Правда, теперь оказалась беременной Изабель Констан! Александр просто захлебывался в акушерско-гинекологических проблемах своих возлюбленных. Нет, решительно куда легче соблазнить женщину, чем потом справляться с последствиями своего поступка. Изабель родила в апреле 1856 года. Ребенок вскоре умер в колыбели. У матери, смотревшей на крошечное холодное тельце, даже плакать уже не было сил. Глядя перед собой сухими глазами, сжав руки, вся она была воплощением безмолвного отчаяния и отрешенности. Дюма, стремглав прибежавший к ней, чувствовал себя виноватым, но вместе с тем успокоенным, словно сбылось его невысказанное желание. Но сердце у него сжалось, когда он подумал о том, что в последнее время ему удавалось зачать лишь нежизнеспособное потомство. Не преследует ли его рок? Не случится ли с его книгами того же, что с его детьми?

Пока Александр пытался заглянуть в свое будущее, оставаясь рядом с онемевшей от горя Изабель, жизнь шла своим чередом. Прибежал Поль Мерис – принес ему свежий, только что вышедший из печати экземпляр «Созерцаний» Виктора Гюго. «Я взял ваши стихи из рук Поля Мериса, – пишет Дюма далекому

другу, – подбежал к ней [Изабель] и упал на колени со словами: „Мать, вот перед вами единственное утешение матерей, потерявших свое дитя; смотрите – я несу вам слезы!“ И открыл книгу наугад, хотя следовало бы сказать – по воле Божьей. Я попал на „Привидение“ и стал читать. На десятом стихе Изабель заплакала…»

До сих пор женщины были для Дюма символом радости жизни, но не являются ли они для него вместе с тем и носительницами смерти? Стараясь отделаться от этой новой навязчивой мысли, Александр попробовал обратиться к менее сложным натурам, в частности заинтересовался некой Мари де Фернан, которая писала и печаталась под мужским псевдонимом Виктор Персеваль. Она поставляла ему тексты, переведенные ею с английского, а он отблагодарил ее, сотворив ей ребенка – девочку Александрину. Для него так много значил выбор матерью для маленькой девочки этого прозрачного имени, что он назначил Мари де Фернан ежемесячное пособие в двести франков. Но его собственная, резкая и вспыльчивая Мари так ничего и не узнала об этой весьма непритязательной и обыденной связи. После «разрыва» с отцом она покинула Амстердамскую улицу и нашла приют в скромном жилище – дом по улице Берри значился под номером 16. Отец и дочь, хотя теперь и не жили под одной крышей, продолжали видеться и по-прежнему любили друг друга – со слезами, ссорами, объяснениями и примирениями. Среди всех этих страстей Дюма продолжал трудиться с усердием рабочего, прикованного к станку. Он писал все так же много, и пусть качество новых сочинений уступало качеству прежних лучших его романов, все же «кладка» была вполне достойна уважения.

«Парижские могикане», состряпанные им в соавторстве с Полем Бокажем, продолжали свои невероятные приключения, хотя все же не сумели добиться такого же успеха, как «Парижские тайны» Эжена Сю, с которыми перекликались; одноактную комедию «Ромул» по мотивам романа немецкого писателя Августа Лафонтена на скорую руку поставили во Французском театре; «Мраморных дел мастер» по Коцебу, давным-давно переведенный Максом де Горицем, провалился в Водевиле, да и «Совесть», навеянную трилогией Августа Иффланда и инсценированную все тем же Максом де Горицем, похоже, ожидала нисколько не более славная и не более прибыльная участь в Одеоне. Тем не менее вечером 4 ноября 1855 года несколько праздных и нищих студентов, собравшись у дверей театра, встретили автора «Совести», который пришел на премьеру своей пьесы, овациями. Александр, обрадованный таким горячим приемом со стороны

подрастающего поколения, провел этих молодых людей, которые жаждали аплодировать, в зрительный зал бесплатно.

В том же году он напишет еще «Госпожу дю Деффан» и «Сладострастницу» – вещи, переделанные им из обрывков двух текстов графини Даш. Повинуясь непреодолимому порыву, он опубликует также множество автобиографических рассказов и «Историю моих животных», в которой подробно опишет свое одновременно грубое и ласковое обращение с различными тварями – собаками, кошками, обезьянами или – почему бы и нет? – с грифом. Наконец он завершит работу над своими колоссальными «Мемуарами» описанием костюмированного бала 1833 года, но пообещает читателям в ближайшее время вернуться к этой исповеди в другой форме.

Читателям долго ждать не придется, Дюма еще раз подтвердит это: как только Паскаль Дюпра, прежний добровольный изгнанник в Бельгии, начнет выпускать новую газету «La Libre Recherche» («Свободный поиск»), Александр напечатает в ней «Царство моих воспоминаний» – нечто вроде адресованного издателю открытого письма – и в этом письме пообещает вскоре полностью разоблачиться, выставить напоказ все свои чувства и мысли…

Поскольку власть отказывалась признавать его заслуги, писатель задирал ее в это время с особым удовольствием, во всеуслышание хвастаясь дружбой, которая связывает его через границы с теми, кому пришлось бежать из Франции, спасаясь от политических преследований. Отдавая дань уважения Гюго и всем собратьям-изгнанникам, он посмел написать: «Мое тело в Париже, но сердце мое в Брюсселе и на Джерси». Эта святотатственная фраза стоила ему вызова к имперскому прокурору. Дюма рассчитывал на процесс, в ходе которого смог бы выкрикнуть свое негодование против злоупотреблений власти и сказать о своей преданности делу тех, кого называли предателями родины, тогда как на самом деле они были самыми благородными ее представителями. Однако, к величайшему его сожалению, он не был ни брошен за решетку, ни привлечен к суду. Все ограничилось устным выговором. Рекламная возможность была упущена. Что ж, ничего не поделаешь!

Доброжелательность по отношению к нему, как выяснилось, простиралась куда дальше – после всех зверств цензура вдруг разрешила играть 5 января 1856 года в театре «Порт-Сен-Мартен» его новую трагедию в стихах «Орестея». Название не соответствовало содержанию: Александр воспевал в трагедии великие общественные движения римской эпохи, лишь мимоходом напоминая сюжет об Оресте, убившем свою мать.

Пьеса была посвящена народу. Благородство духа, которым от нее веяло, заставляло зрителей забыть о промахах поэта. Успех был фантастическим. Когда спектакль закончился, актеры вытащили Александра на авансцену, на поклон зрителям, аплодировавшим и выкрикивавшим его имя. Несколько дней спустя Виктор Гюго высокопарно, как никогда прежде, написал ему: «Я аплодирую вам из оглушительно грохочущих недр ветров и волн. Вы шумите, и я это слышу. Я часто прерываю свои грезы, чтобы воскликнуть: браво, океан, и браво, Дюма!»

«Океан Дюма» приободрился, но вскоре им снова овладело беспокойство. Теперь ему казалось, будто голова у него пустая, словно дочиста выскобленная изнутри тыква. Все мысли разбежались. Ему приходилось разрабатывать только чужие замыслы. Конечно, он в большей или меньшей степени занимался этим всю свою жизнь, но теперь у него недоставало воображения даже на то, чтобы подсыпать соли в похлебку. Творческую работу он подменил компиляцией. От соавторства перешел к плагиату.

И знал об этом только он сам. Ну и, кроме него, разумеется, несколько журналистов, которые цинично над ним посмеивались. Главным для Александра отныне было стремление зарабатывать деньги, торгуя своим именем как ярлыком. В результате потоком хлынули скучные, бесцветные сочинения: «Заяц моего деда», «Мемуары юного кадета», «Паломничество Хаджи Абд-эль-Хамид Бея»… Его новые поставщики идей, среди которых находился и плодовитый Шервиль, с которым он свел знакомство в Брюсселе, были менее талантливы, чем Огюст Маке, что заметно сказалось на новых произведениях писателя. В поисках утешения, желая хоть чем-нибудь отвлечься, развеять печаль собственного угасания, Дюма затеял судебный процесс против газеты «Век» и издательства «Мишель Леви братья», потребовав выплатить ему немалые суммы с тиражей, о которых не был поставлен в известность. Эжену Делакруа, ставшему его другом, Александр сказал, что, если выиграет процесс, его будущее более чем обеспечено. «Около восьмисот тысяч франков для начала, не считая остального», – радостно утверждал он. Перенеся дело из торгового суда в исправительный, Дюма обвинил своих противников в контрафакции, в присвоении чужой собственности, и в конце концов ему удалось-таки убедить судей в обоснованности своих жалоб. И тогда началась долгая и кропотливая война экспертов. Дождется ли он ее конца?

А в то время как писатель усердно трудился над слабыми подражаниями и сутяжничал, в мире происходило немало событий. Франция и Англия воевали с Россией. Крымский поход завершился взятием Севастополя. Виктор Гюго, которого

английское правительство объявило нежелательным лицом на острове Джерси, перебрался на Гернси и поселился в доме, стоявшем над морем.

Умер русский царь Николай I, и Александр II сменил его на престоле. Был подписан мирный договор. Но все эти превратности происходили так далеко и так мало сказывались на повседневной жизни французов, что Дюма нисколько не чувствовал себя затронутым. Другое событие, которое, в отличие от тех, близко касалось его самого, отвлекло на себя все внимание и стало единственным источником тревог: Мари, которая так долго его критиковала, держалась с ним вызывающе и нисколько с ним не считалась, вернулась в отчий дом, но лишь для того, чтобы объявить отцу, что собирается выйти замуж. Александр прекрасно знал претендента на ее руку – Пьер Огюст Олинд Петель, двадцатилетний юноша, пописывавший стихи, несколько из которых Дюма напечатал в своем «Мушкетере». Хорошая ли это партия для дочери? Олинд Петель был сыном врача из Шатору. Собственного состояния у него не было, Мари же могла рассчитывать лишь на гипотетические доходы своего стареющего отца. Вот и прекрасно! Любовь заставит забыть о бедности. У кого сердце переполнено, не огорчается из-за того, что в карманах пусто. И потом, ведь рядом будет он – несокрушимый и неистощимый творец, который уж на первых-то порах непременно поможет молодой семье!

Настроившись на оптимистический лад, Дюма прежде всего озаботился выбором свидетелей. Как всегда, он метил высоко: «Моя дочь 28-го числа этого месяца выходит замуж, – сообщил он Гюго. – Она пишет вам письмо, дорогой мой Виктор, с просьбой быть вместе с Ламартином, через доверенное лицо, свидетелем со стороны невесты. Мы часто с ней видимся, и никогда не бывает, чтобы, встретившись, не говорили о вас! Да и вообще, дорогой мой Виктор, вы – одна из насущных потребностей моего сердца, и я, ваш старый друг, говорю о вас так, как говорит о своей возлюбленной юный любовник. […] А Мари ждет от вас письма, в котором вы сообщите, что соглашаетесь через посредство Буланже быть ее свидетелем, и это станет для нее предметом вечной гордости». По просьбе Александра 4 мая 1856 года нотариус Эмиль Фульд составил брачный контракт. Разумеется, названная в нем сумма приданого была одной лишь видимостью: Олинд Петель ни гроша не получит. Зато извещения о свадьбе, разосланные во все концы Парижа, соответствовали действительности: «Господин Александр Дюма Дави де ла Пайетри имеет честь сообщить о свадьбе мадемуазель Мари Дюма Дави де ла Пайетри, его дочери, с господином Олиндом Петелем,

домовладельцем, и просит вас присутствовать на венчании, которое состоится во вторник, 6 мая 1856 года, ровно в полдень в церкви Сен-Филипп-дю-Рюль».

Сразу после обряда венчания новобрачные отправились в свадебное путешествие в Италию. Казалось, они заворожены собственным счастьем и полны веры в будущее. Увы, идиллия продлится недолго…

Олинд Петель страдал душевным расстройством. Его невероятные выходки, причуды и прихоти, его беспричинные вспышки ярости предвещали нелегкую жизнь. Однако Дюма продолжал цепляться за иллюзию супружеского счастья дочери, счастья, изведать которое так и не довелось ему самому. Оставшись в одиночестве, он почувствовал себя так, словно разом постарел на десять лет. Еще недавно Мари доставляла ему немало хлопот, обременяла и стесняла его, а теперь ему ее недоставало. Что же касается сына, с ним он совсем не виделся. После успеха сначала «Дамы с камелиями», а вскоре после того и «Полусвета» поведение и даже нрав Александра Второго претерпели заметные изменения. Похвалы газетчиков вскружили ему голову, он стал нравоучительным и высокопарным писателем, озабоченным тем, чтобы угодить режиму, осуждающим любые отклонения от правил в семейных отношениях и громогласно вещающим о своей нежной привязанности к бедной старушке-матери, весьма достойной и более чем того заслуживающей Лор Лабе. Такая крайне благопристойная и традиционная установка, впрочем, нисколько не мешала ему быть официальным любовником русской княгини Надежды Нарышкиной, которая к тому же только что от него родила. Александр-старший не осуждал тридцатидвухлетнего сына, который, стремясь утвердить свою самобытность и свою личность, теперь только и делал, что противопоставлял все свои взгляды и мнения отцовским, но одиночество на Амстердамской улице с каждым днем становилось для него все более тягостным. Немножко отогреться душой он мог, лишь навещая маленькую Изабель, которую подтачивал туберкулез и которой, должно быть, жить оставалось совсем недолго, или получая письма от Эммы, томившейся вдали от него, в Моне, и посвящавшей ему стихи, обильно орошенные слезами. Даже повседневная борьба за существование, которую приходилось вести «Мушкетеру», в конце концов перестала занимать Дюма. Он передал руководство этой злополучной газетой Ксавье де Монтепену. Большая часть сотрудников редакции разбежалась еще раньше, а число подписчиков упало почти до нуля. Кто все еще читает «Мушкетера»? Кто все еще читает Дюма?

В поисках ответа на этот мучительный вопрос Александр как-то бросил взгляд на список своих произведений. Каскад названий: несколько знаменитых, по большей части забытых всеми. Несмотря на внешнее разнообразие романов и пьес, ему хотелось найти в них какое-то общее направление, мысль, вдохновившую все его творчество в целом. Ему не давал покоя пример Бальзака, восседающего на пьедестале из томов своих сочинений. Желая приукрасить собственный образ, который он стремился создать у грядущих поколений, Дюма решил, будто и у него самого тоже, когда он писал, существовал грандиозный замысел, будто и в его творениях тоже всегда все было согласовано, все «сцеплено» между собой. Александр считал, что Бальзак живописно изобразил общество лишь одной определенной эпохи, а вот он сам, Дюма, таким же зорким и проницательным взглядом всматривался то в один, то в другой век. Бальзак показал горизонтальный срез всего человеческого слоя своего времени, он же показал срез вертикальный, проходящий через годы и режимы. Бальзак открыл французам глаза на них самих, он открыл соотечественникам глаза на их прошлое. Бальзак был сочинителем историй, он принадлежит Истории. «Бальзак создал великое и прекрасное творение с сотней граней, названное „Человеческой комедией“, – напишет он в 1856 году. – Наше творение, начатое одновременно с творением Бальзака и о котором мы, разумеется, не судим, могло бы в целом именоваться „Драмой Франции“[91]». Иными словами, по его мнению, одно другого стоило. Ему хотелось бы убедить в этом читателей, критиков и себя самого. Поставленная задача была тем более смелой, что с некоторых пор любой текст, выходивший из-под пера Дюма, становился всего лишь повторением прежнего. В собственную его голову ничего не приходило, и в поисках вдохновения он машинально просматривал листки с записями, которые приносили ему соавторы. Одно время подумывал написать исторический роман «Рене д’Аргонн», в котором говорилось бы о приключениях волонтера 1792 года и события начинались бы в день ареста короля Людовика XVI в Варенне. Решил даже отправиться на место событий, чтобы придать своему рассказу больше правдоподобия. Но ни посещение этих мест, ни расспросы окрестных жителей не помогли высечь желанную искру. Возвращаясь в Париж, Александр чувствовал себя выжатым и выдохшимся как никогда; надо бы отдохнуть за городом, чтобы проветрить мозги перед тем, как садиться за работу, это мне на самом деле необходимо, думал он.

Для начала навестил сына, который наслаждался безоблачной любовью со своей русской княгиней в Сент-Ассизе,

поблизости от Мелена. Во время одного из беспорядочных разговоров, когда собеседники то и дело перескакивали с одного на другое, упомянул историю роялистского заговора, о котором когда-то рассказывал ему Нодье, заговора «Соратников Иегу» – его руководители были казнены в Бурге-ан-Бресс. Слушая отца, Александр-младший встрепенулся: мятеж вчерашних жертв после 9 Термидора, белый террор, самоубийственные подвиги – разве это не лучший сюжет, чем замысел «Рене д'Аргонна»? – и прямо сказал об этом отцу. Вот тут-то и произошла наконец долгожданная вспышка.

Дюма-старшего не пришлось уговаривать – мгновенно согласившись с сыном, отныне он только и говорил, что о «Соратниках Иегу», которые, по его заверениям, должны были встать наравне с «Тремя мушкетерами». Но железо следовало ковать, пока горячо. И вместо отдыха писатель отправился в Бург-ан-Бресс, исследовал место событий, подышал воздухом этих краев, изучил документы процесса и вернулся в Париж с богатым урожаем сведений, ни одно из которых не пропадет даром. Сочинять роман оказалось на удивление легко, и закончил его Александр, как и раньше, быстро. По счастливому совпадению, «Соратники Иегу» вышли из печати как раз тогда, когда начался процесс против Флобера и его «Госпожи Бовари», которую сочли безнравственной.

Однако осуждение романиста не только не уронило его в глазах читателей, но, напротив, лишь привлекло новых и принесло ему истинную славу. Прежде Гюстав был всего лишь известным писателем, теперь же сделался знаменитым! Обрадованный этим Дюма призадумался: а не следует ли и ему самому тоже напроситься на какой-нибудь шумный судебный процесс ради того, чтобы вернуть благосклонность публики? Все, что выставляло власть в смешном и унизительном виде, казалось теперь ему полезным для той битвы, которую вел он сам. Обреченный на жизнь лицом к лицу со сворой привилегированных, закосневших в эгоизме и лицемерии собратьев, он с каждым месяцем чувствовал себя все ближе к Гюго. Еще не решаясь присоединиться к первому бунтарю на его скале, он думал о том, что многие люди, многие его соотечественники были бы счастливы видеть двух величайших писателей братски объединившимися хотя бы на несколько дней, чтобы бросить миру как вызов свой отказ признать диктатуру. Да, да, именно вызов – и впрямь, какой вызов власти был бы брошен, если бы удалось устроить в Англии эту нашу встречу – встречу двух священных чудовищ!

Предлог для поездки нашелся быстро: вскоре в

Великобритании должны были состояться выборы, и «La Presse» искала журналиста с громким именем, который мог бы написать отчет о событиях для ее читателей. Дюма не моргнув глазом предложил редакции свои услуги, и его предложение было принято. 27 марта 1857 года он выехал в Лондон. Стоя на палубе корабля, чьи колеса взрывали лопастями воду, Александр наслаждался двойной радостью: отмщения и избавления.

Разумеется, Дюма не предполагал подобно Гюго отрезать себя от родины, чью политику осуждал, но не мог же он не заметить, что тем не менее дышит, с тех пор как, оставив позади себя врагов из правительства, газет и салонов, устремился навстречу дружбе, несравненно свободнее! В конечном счете, думал путешественник, если он временно и покидает французов, то делает это исключительно ради того, чтобы вновь обрести вечную Францию.

Глава IV
Русская интермедия

Как ни подгоняло Александра нетерпение, как ни хотелось ему поскорее добраться до Гернси и поговорить с Виктором Гюго о событиях, происходящих во Франции, он считал себя обязанным в качестве корреспондента газеты «La Presse» прежде всего заняться английской политикой. Дело заключалось в том, что лорд Палмерстон, оказавшись в меньшинстве, распустил палату и снова созвал избирателей, и потому, словно бы вопреки закрепившейся за англичанами репутации флегматиков, в стране начались волнения. Едва приехав в Лондон, Дюма погрузился в бурные волны публичных собраний. Первый подсчет голосов его обрадовал, поскольку результаты, как ему показалось, свидетельствовали о высокой степени свободы совести у британских граждан, – тут в доказательство недоставало лишь избрания в Сити Лайонела Ротшильда, несмотря на его принадлежность к иудейской религии, которая помешала бы принести присягу на Библии. День за днем Александр добросовестно отправлял отчеты в редакцию своей газеты. Либеральное большинство откликнулось на призыв Палмерстона, и Дюма предвидел, что вскоре на него так и навалятся наиболее активные представители его клана, а значит, ему придется «скакать галопом по пути прогресса»… «Не знаю, имеют ли мои письма успех в Париже, – пишет он Эмилю де Жирардену. – Но в Лондоне они, замечу мимоходом, имеют огромный успех. Все газеты их перепечатывают, а на дверях любой читальни можно увидеть объявление: „Здесь читают письма Александра Дюма“. […] „Таймс“ оказал мне честь, предоставив свою первую полосу».

Наконец 4 апреля 1857 года Александр нашел возможность ускользнуть от журналистских обязанностей и сесть на корабль, идущий к Гернси. Виктор Гюго ждал его, стоя на молу и раскрыв навстречу объятия, волосы и бороду изгнанника трепал ветер. Прошло пять лет с того дня, как они расстались в другом порту, в Антверпене, и с тех пор, разделенные морем и туманом, часто думали друг о друге. Разлука, которая должна была бы отдалить этих собратьев по перу, напротив, соединила их в своеобразном, наполовину литературном, наполовину политическом братстве.

Гюго привел Дюма в свое роскошное пиратское логово, Отвилль-Хауз, выстроенное на вершине скалы. Работы были еще не совсем закончены, но гость пришел в восхищение, представив себе, каким станет дом после того, как отделка будет завершена.

Но и в таком незавершенном виде жилище Виктора оказалось не похожим ни на одно из тех, с какими Александру приходилось знакомиться в жизни. Ему показалось даже, будто он вошел в храм – но храм атеиста: с алтарями, превращенными в кровати, со средневековой мебелью, имеющей бесчисленные потайные ящики, с никуда не ведущими коридорами, с окнами, за которыми открывался морской простор… Все здесь было тяжеловесным, причудливым, если не бредовым, тревожащим воображение… Дюма прикинул, что эта лавка старьевщика должна была стоить целое состояние, и еще больше пожалел о том, что продал замок Монте-Кристо, созданный когда-то примерно в том же стиле. Да, решительно у них с Гюго удивительно схожее понимание величия и одинаковое пристрастие к барочному стилю! В прошедшем месяце Дюма дал хозяину этого дома убедительное доказательство верности, вступившись за него и взяв его сторону в конфликте с актрисой Огюстиной Броган, которая под псевдонимом Сюзанна подло раскритиковала автора «Созерцаний». Поскольку эта самая Огюстина была актрисой Французского театра, Александр написал Ампи, директору театра, письмо, послав копию этого письма в «Фигаро» с просьбой немедленно предать документ гласности, что и было сделано. А написано там было вот что: «Я отношусь к господину Виктору Гюго настолько по-дружески и так восхищаюсь им, что хочу, чтобы та особа, которая нападает на него в его изгнании, больше не играла в моих пьесах. А потому буду вам весьма признателен, если вы тотчас же снимете с репертуара „Мадемуазель де Бель-Иль“ и „Барышень из Сен-Сира“. Впрочем, спектакли можно было бы оставить в афише, но только передав кому угодно те роли, которые до сих пор играла в них мадемуазель Броган».

Гюго, которому стал известен этот резкий отпор интриганке, немедленно откликнулся, поблагодарил своего защитника: «Великие души подобны великим светилам. У них есть собственный свет и собственное тепло; вы не нуждаетесь в похвалах, вы не нуждаетесь даже в благодарности; но мне – мне необходимо сказать вам, что я с каждым днем люблю вас все больше. И не только потому, что вы – одно из ослепительных впечатлений нашего века, но потому еще, что вы – одно из его утешений».

Должно быть, во время нынешней встречи они вспоминали эту историю, которая позволила обоим осознать, насколько они друг друга ценят. Должно быть, они говорили о своей работе, о своих планах. Должно быть, сожалели о пассивности соотечественников, которые не осмеливались стряхнуть иго

Наполеона Малого. Возможно, кто-то из них коснулся в разговоре своей личной жизни. Впрочем, тут было что сказать и тому, и другому. Виктору наверняка трудно было умолчать о связи с Жюльеттой Друэ, которая последовала за ним на Гернси и жила на соседней вилле, равно как Дюма – о тех трудностях, которые он испытывал со своими многочисленными любовницами, о двусмысленных отношениях с сыном, о беспокойстве за дальнейшую супружескую жизнь Мари… И, может быть, возник у обоих вопрос: а существуют ли на самом деле удачные браки? Если так, то, сидя друг против друга в гостиной Отвилль-Хауза и думая о рукописях, над которыми в это время работали, о своем непростом любовном опыте, эти два пятидесятилетних человека, скорее всего, говорили друг другу, что, наверное, не бывает, чтобы удавались и творчество, и личная жизнь!..

Им надо было сделать друг другу столько признаний, обменяться столькими мыслями, что они могли бы вот так просидеть за разговорами не одну неделю, но миссия Дюма не терпела отлагательств. Он должен был во что бы то ни стало вернуться к своей работе репортера. И вот шестого апреля, после двух дней воодушевляющей близости с Гюго, наступило время расстаться.

Однако, прибыв в Лондон в куда лучшем расположении духа, чем уезжал из английской столицы, Александр понял, что Эмиль де Жирарден больше не ждет от него сообщений. Обрадовался: наконец-то можно вернуться в Париж, где его ждет столь многообещающее приключение!

На этот раз не любовное: Дюма решил издавать еженедельник «Монте-Кристо», призванный заменить покойного «Мушкетера». Первый номер нового издания вышел 23 апреля 1857 года тиражом десять тысяч экземпляров. Все тексты в газете, посвященные романам, истории, путевым заметкам, личным воспоминаниям и размышлениям, писал Александр Дюма. Иногда, кроме того, он занимался на страницах «Монте-Кристо» критическим разбором произведений других писателей. Так, к примеру, он проанализировал изруганную всеми, кому было не лень, «Госпожу Бовари» Гюстава Флобера – «книгу высочайших достоинств», которую ставил в один ряд с произведениями Бальзака. Дюма отметил, что, если у Флобера и недостает воображения, когда речь идет о композиции сюжета, зато он проявляет незаурядную фантазию в выборе лексики и описании деталей, каковая особенность делает стиль этого романиста более совершенным, чем стиль Бальзака. «Однако, – пишет он дальше, – именно из-за названного формального совершенства читатель испытывает, продвигаясь по этой книге, такую же усталость,

какую испытывал бы странник, который пустился бы в долгий путь со слишком тяжелым посохом. Подобный посох, вместо того чтобы стать путнику опорой, делается обузой, так что время от времени бедняге приходится садиться у обочины или опускать посох на землю».[92] Говоря об исключительных достоинствах «Госпожи Бовари», Александр тут же признавался, что у него ушло «восемь или десять дней» на то, чтобы дочитать книгу до конца – столь это было утомительно. Как это постоянно случалось у Дюма, когда он говорил о других писателях, мимолетный, вскользь сделанный роману Флобера упрек послужил на самом деле замаскированным оправданием его, Александра-старшего, собственного способа писать. Говоря о другом с притворной беспристрастностью, он подразумевал под этим: «А вот мой читатель так увлечен повествованием, что ему и в голову не придет отложить книгу до тех пор, пока не узнает развязки!» Оправдание же такое было ему необходимо для того, чтобы иметь возможность поставить себя вровень с великими.

Дюма всегда больше доверял мнению публики, чем мнению профессиональных критиков, предпочитал благосклонность многих уважению придирчивых знатоков. Ему и в голову не приходило стыдиться того, что он – общедоступный писатель, напротив, он этим хвастался, гордился и говорил об этом во всеуслышание. И вот этого-то кое-кто не мог ему простить.

Непробиваемый для насмешек, он поместил в своем еженедельнике «Монте-Кристо» продолжение «Парижских могикан» и несколько глав из «Гарольда, или Последнего саксонского короля» – переделанный им перевод Виктора Персеваля, украсив этот последний текст своими лондонскими воспоминаниями и рассказом об исследованиях, связанных с «Соратниками Иегу»… Все шло у Александра в дело, все годилось для того, чтобы заполнить страницы своей газеты. И самое изумительное, что работа единственного сотрудника редакции еженедельника нисколько не мешала ему часто бывать в свете, много встречаться с людьми и путешествовать.

Вот он снова в Англии – он присутствует на дерби в Эпсоме, задумчиво стоит в музее Тюссо перед копией гильотины, которая отсекла голову Людовику XVI, прячет стыд, глядя на проституток-француженок с Креморн Род, или восхищается прогрессом искусства и науки на выставке в Манчестере… Вот он в Осерре – следует за кортежем в причудливых одеяниях… Вот он в Пьерфоне, где Руджиери по его просьбе устраивает на развалинах замка великолепный фейерверк… А вот он охотится с друзьями – правда, от этого удовольствия ему пришлось отказаться почти в самом начале из-за того, что нога не сгибалась в колене. Но он не

унывал – и справедливо: чуть подлечившись, несколько дней спустя Александр был снова полон сил. Ничего удивительного – до старости еще так далеко!

Как-то сентябрьским утром, когда Дюма работал над текстом для «Монте-Кристо», слуга Теодор провел в его кабинет молодую женщину, при виде которой Дюма замер с пером в руке. На вид – года двадцать три, высокая, стройная, с чудесной молочной кожей, глубокими синими глазами, каштановыми волосами, мелкими белыми зубками, готовыми впиться… Лилла фон Буловски – венгерка по национальности и актриса по профессии… Желая избежать каких бы то ни было двусмысленных поползновений, она с самого начала сообщила Александру о том, что муж и ребенок – две страсти ее жизни и если она решилась покинуть их и одна приехала в Париж, то лишь потому, что ей как актрисе необходимо встретиться с несколькими величайшими умами Европы. Вообще-то Лилла уже исполняла в Венгрии роли в спектаклях, поставленных по пьесам как господина Александра Дюма-старшего, так и его сына, унаследовавшего талант отца – «яблоко от яблони недалеко падает»…

Дюма слушал бесконечные дифирамбы и готов был замурлыкать от удовольствия. Он немедленно решил, что эта иностранка не только хороша собой, но и умна, а поскольку ей хотелось посмотреть Париж, тут же и предложил показать ей город. Лилла согласилась с готовностью, которая показалась ему хорошим предзнаменованием для дальнейшего. Целый месяц, забросив свои повседневные труды, Александр ходил с гостьей по музеям, водил ее в театры, появлялся вместе с ней в гостиных. И при всем при том, как бы ни складывались внешние обстоятельства, Лилла оставалась с ним хотя и ласковой, но неизменно сдержанной. Можно подумать, она никогда не знала любви и нисколько не хотела узнать. Неужели эта красавица – бесполое и бездушное существо? Александр пребывал в раздумьях об этом, но тут Лилла, совершенно тем временем покорив и основательно потомив поклонника, внезапно объявила ему, что должна теперь ехать в Мангейм, где живет великая немецкая актриса Софи Шредер, согласившаяся давать ей уроки «артистического совершенствования», по пути же туда намерена остановиться в Брюсселе, где у нее дела, в Спа, в Кельне, в Майнце… Дюма любил путешествия почти так же страстно, как женщин, к тому же он как раз собирался съездить в Брюссель, где один из соавторов, Шервиль, ждал его, чтобы обсудить планы различных книг… В общем, актрисе было предложено, что писатель станет ее спутником на «части пути». Втайне Александр,

конечно, надеялся на то, что неприступная красавица в дороге окажется настроенной по отношению к нему более благосклонно.

Они выехали ночным поездом. В вагоне, который уносил их прочь из Парижа, Лилла примостилась у плеча Александра, и он подумал, что наконец-то пришел его час. Но не тут-то было! Едва коснувшись его губ своим дыханием, молодая женщина отвернулась и уснула. «Никогда я не испытывал более странного ощущения, чем то, которое овладело мной, когда волосы этого прелестного создания легли на мою щеку, когда ее дыхание пролетело по моему лицу, – напишет он. – На лице моей спутницы появилось детское, невинное, спокойное выражение, какого я никогда не видывал ни у одной женщины, уснувшей у меня на груди». Убаюканный стуком колес, до конца пути Дюма так и оберегал в полумраке сон той, кого ему так хотелось бы разбудить своими поцелуями.

В Брюсселе он за несколько часов уладил все дела с Шервилем и отправился вместе с Лиллой слушать знаменитую пианистку Мари Плейель, которая играла для них одних и с такой виртуозностью, что эта воздушная музыка околдовала обоих и вызвала просто-таки нервное потрясение. В поезде, которым они возвращались в Спа, Лилла от возбуждения не могла заснуть. Александр тщетно старался ее загипнотизировать, чтобы успокоить. Добравшись до Спа, они остановились в гостинице, но, когда настала ночь, Лилла снова начала маяться бессонницей. Она позвала Александра в свой номер, тот поспешил к ней и снова попытался ее загипнотизировать. Прошло довольно много времени, прежде чем она закрыла глаза, но тотчас стала жаловаться на боль в груди. Когда встревоженный Дюма попросил ее показать, в каком месте болит, Лилла взяла его руку и, глубоко вздохнув, положила себе на грудь. Он почувствовал сквозь сорочку тепло ее тела. Понемногу его искусно затянутое прикосновение успокоило страдалицу, но теперь уже окончательно растревоженный Александр надеялся все-таки на иное, чем обычно, завершение событий. Однако, когда он уже почти совсем не владел собой, Лилла, окончательно исцелившись, попросила оставить ее одну. Дюма, смущенный и растерянный, вернулся к себе.

На другой день путешествие продолжилось. Они спустились по Рейну от Кельна до Майнца. И на всем пути, если Александр и не смог ни разу добиться от своей спутницы большего, чем знаки чисто дружеского расположения, зато чем дальше, тем больше он мог убеждаться в масштабах своей известности: на каждой остановке незнакомые люди собирались вокруг него толпами, выпрашивая автографы.

В Кобленце некая красотка из Вены подружилась одновременно с ним и с Лиллой. Молодые женщины поселились в гостинице в одном номере. Ночью они позвали Александра к себе, чтобы он рассказал какую-нибудь историю. Рискованная ситуация показалась ему заманчивой, и он посоветовал им улечься в одну постель, чтобы лучше его слышать. Венка без колебаний скользнула в постель венгерки. Весь напрягшись от вспыхнувшего желания, Александр принялся вспоминать одно из своих давнишних любовных приключений. Они слушали его, тесно прижавшись одна к другой, обнявшись, – томные, должно быть, втайне испытывающие лесбийское влечение и явственно насмехающиеся над ним. Едва Дюма договорил, барышни отправили его восвояси, и он снова остался в одиночестве. «Впервые, – напишет он после, – я оказался в таком странном положении: близость без обладания и вольность в обращении без любви».

Однако Александр был не из тех, кто долго может довольствоваться игрой обманутых ожиданий. Распрощавшись с прелестной венкой, Дюма и Лилла продолжили свои странствия ложных любовников и ложных друзей по Германии, которой дела не было до их отношений. Близился конец поездки. В Мангейме Александр проводил молодую женщину к престарелой и прославленной госпоже Шредер, которая, прослушав Лиллу, согласилась открыть ей высшие тайны своего искусства. Лилла вернулась после этого испытания в гостиницу хмельная от счастья. Зато Александр теперь совершенно не понимал, что он делает в этом немецком городе в обществе прелестницы, которой хочется брать уроки трагедии у отставной актрисы, а не уроки любви у мужчины, пребывающего в отличной форме и сгорающего от желания провести с ней ночь. В общем-то ему все это надоело! И на следующий же день он без обид и сожалений расстался с Лиллой и тронулся в обратный путь во Францию.

Едва добравшись до Парижа, Дюма тотчас принялся нагонять упущенное время, набросившись на романы, для которых Шервиль дал ему основу. Это были «Предводитель волков», «Блек», «Волчицы из Машкуле»… Он то и дело теребил своего соавтора, слишком медленно подготавливавшего очередную порцию «сырья»: «Не раскисайте, трудитесь неустанно […] Как только покончите с „Шевалье“ […], сразу накидывайтесь на „Волчиц“, на „Волчиц“, на „Волчиц“!..» Но Шервиль был куда более ленивым, чем Маке, и Александру приходилось буквально вымогать у него страницу за страницей. Лентяй догадывался о том, что нескольких строк, вышедших из-под его пера, Дюма вполне достаточно для того, чтобы превратить их в целую главу,

блестяще написанную и полную удивительной силы; впрочем, Александр и не скрывал этого. «Вы ведь знаете о том, что, пройдя через мои руки, сооружение удваивается, утраивается, учетверяется», – напоминает он Шервилю. И снова настаивает, умасливает: «Как только у вас будет сотня страниц, несите их на почту! А я постараюсь в конце месяца прислать вам еще пятьсот франков». Напоминания о сути их отношений шли в Брюссель постоянно: если Шервиль станет аккуратно поставлять тексты, то и Александр будет аккуратно ему платить, услуга за услугу! И в конце концов Шервиль повиновался. Он поставляет канву. Александр по ней вышивает.

Но иногда Дюма брал все – или почти все – только из собственной головы, из собственной жизни. Вот так он перенес в книгу, получившую окончательное название «Госпожа де Шамбле» (первоначальное – «Да будет так»), воспоминания о своей связи с Эммой Маннури-Лакур. Он знал о том, что женщина тяжело больна, со дня на день ждал известия о ее кончине, и роман, который он посвятил скорее уже ее памяти, чем ей самой, весь был проникнут этим печальным предчувствием…

В самом деле, достаточно было Александру оглянуться на собственное прошлое, и перед ним вставала целая вереница призраков: за Жераром де Нервалем последовали Огюстен Тьерри, Дельфина де Жирарден, Альфред де Мюссе, Беранже, Эжен Сю… То и дело слышался свист косы смерти, неутомимо косившей территорию французской литературы. Александру то и дело приходилось отдавать последние почести на страницах «Монте-Кристо» тому или другому из прославленных усопших. А сам-то он? Может быть, сам он несокрушим? Никогда еще Дюма не чувствовал себя так великолепно. Никогда прежде не испытывал он такого желания жить, такой жажды жизни. Но никогда раньше и не думал так много о смерти.

В начале 1858 года умерла от туберкулеза великая Рашель. Одиннадцатого января Александр шел вместе с траурной процессией за гробом актрисы, держась за одну из серебряных кистей черного покрывала, накинутого на гроб, и размышлял, приноравливая свой шаг к шагу везущих катафалк лошадей, о тех далеких временах, когда он был бесконечно несчастен из-за того, что та самая женщина, которую сегодня хоронят, отказала ему в своей благосклонности.

Три дня спустя, 14 января, Орсини совершил свое бессмысленное покушение на монарха. Четверо погибших, сто сорок восемь раненых, а Наполеон III остался цел и невредим – ни единой царапины. Зато власть воспользовалась случаем и моментально издала закон о государственной безопасности,

позволявший без суда высылать за пределы страны лиц, заподозренных в участии в заговоре против режима. Снова начались беззаконные аресты. Однако большая часть народа предпочитала не замечать незначительных, как многим казалось, посягательств на свободу мнения. Шестнадцатого января, то есть через двое суток после взрыва бомбы Орсини, театр «Жимназ» показал «Внебрачного сына», драму в пяти актах Александра Дюма-младшего. Устроившись, как ему и полагалось, в ложе для почетных гостей, отец автора слушал со смешанным чувством гордости и досады, какими овациями встречают сочинение «малыша». Иные триумфы звучат похоронным звоном… Александр Первый и сам аплодировал, пожимал руки, благодарил за комплименты, адресованные Александру Второму, и страдал из-за этого нелепого недоразумения. Успех сына пробудил в нем желание вернуться в театр, чтобы, в свою очередь, с упоением внимать крикам «браво». Но с некоторых пор ему трагически недоставало идей. Правда, словно бы в качестве компенсации он, на его счастье, владел искусством приспосабливать остатки, кроить из лоскутков.

Когда двое актеров марсельского Гран-Театра, Женневаль и Кларисса Мируа, сообщили Дюма, что им хотелось бы поставить его пьесу, он предложил им инсценировку «Джен Эйр», слегка подправив переделанный в свое время для сцены Виктором Персевалем роман Шарлотты Бронте. Получил согласие и с рукописью в кармане отправился в Марсель, чтобы защищать «свое» творение. Пьеса была прочитана перед актерами, к которым присоединились несколько местных журналистов и несколько членов муниципального совета, все в один голос стали предсказывать триумф. Лишь одна актриса, недовольная тем, что ей не дали роли, не преминула заметить, что эту драму уже играли в Брюсселе и на афише стояли имена двух молодых бельгийских авторов. Александр не захотел неприятностей. Должно быть, речь шла о другой инсценировке того же романа, в свою очередь заметил он, но какое это имеет значение, у него это далеко не последняя пьеса! И немедленно, желая избежать будущих нареканий в собственный адрес, предложил в следующий же четверг прочесть актерам совершенно новое произведение. Называться пьеса будет «Лесники», сюжет – у него в голове, потому – нет ни малейшего сомнения! – он с легкостью сможет за это время пьесу написать.

Один из марсельских друзей, Берто, предоставил Дюма свой загородный дом, с тем чтобы драматург мог в спокойной обстановке полностью отдаться своему титаническому труду. На самом деле труд оказался вовсе не титаническим: чтобы сдержать

слово, Александр ограничился тем, что сделал инсценировку своего детективного романа «Катрин Блюм». Канва давно уже существовала, расшить ее – дело нехитрое. Четыре дня спустя пьеса была готова – реплики в ней вспыхивали настоящим фейерверком.

Прочитанная перед художественным советом и с волнением принятая, наспех отрепетированная, она была показана две недели спустя добродушной публике, которая с радостью аплодировала великому парижскому писателю, не поленившемуся нарочно приехать на юг, чтобы поддержать марсельских артистов. Дюма на сцене увенчали золотой короной; театральный оркестр исполнил серенаду у него под окном, он с царственным видом вышел на балкон, поблагодарил актеров и поклонников, произнес речь перед толпой и отправился с веселой компанией ужинать в одном из лучших ресторанов города. В четыре часа утра он вышел оттуда свежий как огурчик. Эдмон Абу, который при этом присутствовал, рассказывал, что, возвратившись домой, неутомимый Дюма не пожелал ложиться спать и сел к письменному столу, чтобы подготовить текст для очередного номера «Монте-Кристо».

Здоровье и задор Дюма изумляли окружающих. Он не способен был ни отложить перо, ни отказаться от привычки к перемене мест. Теперь Александр снова подумывал о путешествии по Средиземному морю, о поездке в Малую Азию, в Сирию, Палестину и Египет… Но осуществлению этих планов помешал другой проект. Земля так обширна, а населяющие ее народы так разнообразны, считал Дюма, что любую возможность увидеть какую-нибудь новую страну надо считать подарком. Впрочем, по его мнению, все, что в жизни происходит неожиданного, должно быть истолковано как вмешательство Провидения, а следовательно – как выпавшая тебе удача, которую нельзя упускать из страха обидеть Господа.

В то время Александр только что свел знакомство с молодой четой русских аристократов, графом и графиней Кошелевыми-Безбородко, которые путешествовали по всей Европе ради собственного удовольствия. Их сопровождала многочисленная свита – целая толпа слуг, друзей и прихлебателей, среди которых были личный врач, итальянский маэстро, придворный поэт и даже настоящий спирит. Последний, Дэниел Дуглас Юм, должен был вскоре жениться на сестре графини. Внезапно воспылав дружескими чувствами к Дюма, он захотел, чтобы тот был свидетелем на его свадьбе, – ну и как тут откажешься?

Вся разноплеменная компания обитала в гостинице «Трех Императоров» на площади Пале-Рояль и только и делала, что

переходила с одного приема на другой, с одного пиршества на другое. Довольно быстро Александр сделался непременным участником этих светских сборищ. Его болтовня так забавляла русских путешественников, что графиня, привыкшая смело решать любые вопросы, внезапно предложила ему: «Поедемте-ка с нами в Санкт-Петербург!» Отъезд был намечен через пять дней. Ошеломленный, но уже готовый поддаться соблазну, Александр растерянно пробормотал, что вряд ли сумеет за такое короткое время подготовиться к такому долгому путешествию, и к тому же, если бы он должен был отправиться в Россию, то не довольствовался бы пребыванием в Санкт-Петербурге, но хотел бы увидеть еще и Москву, Нижний Новгород, Казань, Астрахань, Севастополь… «Вот и чудесно! – воскликнула графиня. – У меня есть поместье в Коралово, под Москвой, у графа – земли в Нижнем, степи под Казанью, рыбный промысел на Каспийском море, загородный дом в Изаче!..» У Александра голова закружилась только от одного этого роскошного перечисления, но он все еще колебался. Не маркиз ли Карабас приглашает его посетить свои владения, свои поместья, столь же многочисленные, сколь и воображаемые? У него перехватило дыхание, он поспешно выскочил на балкон, возвышавшийся над площадью Пале-Рояль, и вдохнул воздух Парижа, пытаясь вернуться к действительности. Задуманное им путешествие вокруг Средиземного моря вдруг показалось ему заурядным и второстепенным. А кроме того, он ведь сможет туда отправиться, когда вернется из России. Впечатления же, которые он вывезет из царской империи, послужат основой для великолепных статей, которые можно будет поместить в «Монте-Кристо». Не прошло и двух минут, как решение было принято окончательно. «Ну что ж, я еду с вами!» – объявил Дюма. Услышав эти слова, граф и графиня просияли, а Юм порывисто расцеловал того, кому теперь уж точно предстояло стать свидетелем на его свадьбе.

На следующий день Александр принялся улаживать свои дела и складывать чемоданы, а прежде всего он немедленно сообщил сыну, все так же пылко влюбленному в прекрасную Надежду Нарышкину, что теперь и у него тоже появятся тесные связи с Россией. Поскольку Дюма никогда не мог во время путешествия обойтись без приятного спутника, он пригласил Жан-Пьера Муане, декоратора «Опера-Комик», присоединиться к нему в этой поездке.

Осталась последняя и главная забота: что станет в его отсутствие с нежной Изабель Констан? Бедняжка так неопытна, она такая хрупкая, такая уязвимая! Достаточно на нее дунуть, чтобы сбить с ног. Александр поручил одному из своих друзей,

краснодеревщику Ван Лоо, присматривать за подругой. «Оставляю вам это письмо на случай необходимости, – пишет он Ван Лоо. – На тот случай, если со мной произойдет какое-то несчастье, которое помешает мне прислать Изабель все, в чем она будет нуждаться, я открываю ей у вас кредит до двухсот франков». Нельзя сказать, чтобы это было очень уж щедро, даже и просто щедро, но при том, в каком состоянии были тогда финансовые дела Дюма, большего он сделать не мог.

Выехали поездом в середине июня 1858 года. Восемнадцатого числа путешественники были в Берлине, девятнадцатого – в Штеттине, где сели на судно под названием «Владимир», идущее в Кронштадт. Затем, сделав пересадку, прибыли в Санкт-Петербург. И уже двадцать четвертого июня Александр поселился в роскошном загородном доме Кошелевых-Безбородко. Восемьдесят слуг, парк на три версты в окружности, две тысячи душ крепостных, расселенных по многим деревням, беседка для музыки, частный театр, изобилие статуй и картин – каким же маленьким показался ему замок Монте-Кристо, которым он не так давно владел, в сравнении с этим дворцом из «Тысячи и одной ночи»!

Посетив столицу, Александр увидел город-обманку, город-видение, наполовину стоящий на земле, наполовину на воде, на зыбкой болотистой почве, северную столицу России с ее горделивыми зданиями, прямыми улицами, каналами в гранитных парапетах, с прозрачными северными ночами, которые не дают уснуть и навевают самые что ни на есть безумные мечты.

Он бывал в литературных и аристократических салонах, познакомился с романистом Григоровичем и поэтом Некрасовым, о которых он прежде никогда не слышал, но которые здесь были почти так же знамениты, как и он сам. А главное – он снова встретился здесь с прелестной соотечественницей, бывшей актрисой Женни Фалькон, с которой часто виделся в Париже: ее сестра, великая певица Корнали Фалькон, потеряла голос, а сама Женни, после многообещающего дебюта в театре Жимназ, получила ангажемент во Французском театре в Санкт-Петербурге и сделала там неплохую карьеру. В нее влюбился близкий друг Дюма, граф Дмитрий Нарышкин, он сделал актрису своей официальной любовницей, осыпал драгоценностями, поселил в роскошно обставленной квартире и заставил покинуть сцену. Однако праздное существование в позолоченной клетке тяготило актрису, и она утешалась, устраивая самые великолепные в Санкт-Петербурге балы и раскатывая по улицам на самых красивых во всей округе рысаках.

Поприсутствовав на свадьбе гипнотизера Дэниела Дугласа

Юма, затем ненадолго заехав в Финляндию, покатавшись по льду замерзшего Ладожского озера, осмотрев несколько памятников и несколько церквей, Александр поддался уговорам Дмитрия Нарышкина и Женни: он устремился в Москву. И в течение двух месяцев блаженствовал в их загородном доме в Петровском парке, бороздил вместе с ними улицы древнего города царей, блуждал по залам кремлевских дворцов, вдыхал запахи рынков под открытым небом, расспрашивал местных жителей, пытался постигнуть традиции и историю странной этой империи, которая словно бы жила вне времени и пространства. Хозяева так баловали его, были к нему так предупредительны, что рядом с ними он и сам чувствовал себя богачом. Здесь денег не считали, здесь всем правила прихоть, но всякое человеческое существо становилось – кто в большей, кто в меньшей степени – рабом хозяина здешних мест. «У него [Дмитрия Нарышкина] повсюду земли, повсюду дома. Он не знает счета ни своим деревням, ни своим крепостным. Этим занимается его управляющий, – пишет Дюма. – Вполне можно допустить, без ущерба для того и другого, что управляющий ворует у него по сотне тысяч франков в год. Дом Нарышкина – заповедное царство беспечности, апофеоз беспорядка».

Завороженный щедростью и великолепием оказанного ему приема, Александр тем не менее заметил, что это всего лишь фасад, за которым скрываются беспредельная нищета и невежество отсталой страны. Конечно, в последние несколько месяцев было много разговоров о том, что готовится указ об отмене крепостного права. Однако обнародование этого указа все откладывается из-за множества препятствий, а благородные намерения царя Александра II вызывают недоверие у крестьян и тревогу у помещиков. Разве можно вот так, ни с того ни с сего, освободить миллионы крепостных рабов, если многие поколения этих людей, подобно вьючным животным, привыкли к слепому повиновению и, веря, что хозяева способны уберечь их от любой беды, сжились с преимуществом быть таким образом избавленными от всякой заботы о завтрашнем дне? Но больше всего изумляла Александра этническая пестрота народа, считавшего себя единым. Здесь была не одна Россия, но двенадцать, двадцать Россий, и в каждой – свои нравы, свои обычаи, своя религия, свое прошлое, свой язык… Только сильная и деспотичная центральная власть могла поддерживать некое подобие сплоченности этих разрозненных, не связанных между собой народов. Дюма с удивительной проницательностью предсказывал: «Россия разломится не на две части, как Римская империя, но на четыре куска. […] Император, который будет

править в то время, когда совершится это великое потрясение, сохранит за собой Санкт-Петербург и Москву, то есть истинный российский престол; вождь, которого станет поддерживать Франция и любить Варшава, будет избран королем Польши; неверный наместник поднимет свои войска и, воспользовавшись своим военным влиянием, станет царем в Тифлисе; наконец, какой-нибудь ссыльный, будучи гениальным человеком, установит федеративную республику от Курска до Тобольска. Невозможно, чтобы империя, сегодня покрывающая седьмую часть земного шара, оставалась в одной руке. Слишком твердая рука будет перебита, слишком слабая разожмется, и в том и в другом случае ей придется выпустить то, что она держит».

Это предсказание подкреплялось сотнями наблюдений и анекдотов, которыми Дюма заполнял послания, аккуратно отправляемые читателям «Монте-Кристо». Без всякого порядка, как придется, он то пересказывал целые периоды из истории России, то рассказывал о своих встречах с самыми что ни на есть незначительными, но чем-то привлекшими его внимание личностями или просто случайными людьми, об особенностях повседневной жизни народа или о разговорах с тем или другим высокопоставленным царским чиновником. Неутомимо, словно насекомое, добывающее нектар, он переходил от одной темы к другой: здесь обличал пагубные последствия крепостного права, там жаловался на трудность езды в неудобных повозках, именуемых *тарантасами*, или порицал неумеренное распространение *бакшиша* среди чиновников.

Но вместе с тем он восхищался русским гостеприимством, страстью знати к поэзии, смелостью лихих киргизских всадников, которые ездят без седла на диких лошадях. И о чем бы он ни говорил, красноречие и увлеченность неизменно оставались главными достоинствами его рассказов. Невозможно понять, что в его дорожных зарисовках было правдой, что – выдумкой, но читатель следовал за повествователем до конца ради одного только удовольствия почувствовать себя в новой, непривычной обстановке, его глазами увидеть чужие края.

Впрочем, Дюма не ограничивался только живописными изображениями увиденного. Разве он не посланник французской литературы? Осознавая свою роль посредника между двумя мирами, плохо друг друга знающими, он пытался в своих статьях приобщить соотечественников к великим произведениям русской литературы. Он представлял им волнующие образы Пушкина, Лермонтова, Некрасова в весьма приблизительных переложениях, слегка приукрасив переводы, сделанные неотступно следовавшим за ним Калино; он цитировал Гоголя, Григоровича, Тургенева…

Одним словом, старался как мог, делал все, что было в его силах, – ведь он почти ничего не знал о литературе этой прекрасной и варварской страны, – чтобы Россия стала понятнее западному уму. И что бы Дюма ни делал, уважение к северному соседу не мешало ему судить о нем с пренебрежительной снисходительностью старшего брата. «У русских, недавно родившегося народа, – пишет он, – еще нет национальной литературы, равно как и музыки, скульптуры и живописи; у них есть только поэты, музыканты, художники и скульпторы, однако число их недостаточно велико для того, чтобы образовать школу». Не позабыл ли Александр о «Евгении Онегине», «Мертвых душах», «Герое нашего времени»? Разве не знал он, к примеру, о том, что Тургенев в свое время до слез тронул царскую семью своими «Записками охотника» – проникновенным рассказом о простых людях России и в то же время речью неумолимого обличителя крепостного права? Он не заметил, что еще совсем недавно роман того же Тургенева «Дворянское гнездо» произвел на читателей такое впечатление, что все молодые русские девушки захотели быть похожими на его героиню? Ничего не слышал о начинающем писателе по имени Лев и по фамилии Толстой, который только что прославился своей трилогией – «Детство», «Отрочество» и «Юность», и о другом дебютанте, Федоре Достоевском, авторе повести «Бедные люди», который в то время был на каторге в Сибири, искупая свое преступление, – он по легкомыслию принял участие в заговоре против покойного царя Николая I? Нет, нельзя узнать о стране все, стремительно по ней пролетев!

И тем не менее, сравнивая увлечение Россией французских путешественников с тем, которое рождала у русских путешественников Франция, Александр думал, что русских прежде всего привлекает французская культура, тогда как французов прежде всего очаровывает русская душа, чистая, благородная и беспечная. Впрочем, во время этой первой части своей поездки он видел Россию скорее все-таки глазами Женни. Те места, в которых он побывал вместе с ней и ее любовником Дмитрием Нарышкиным, имели для него двойную прелесть – он открывал для себя прекрасную страну, одновременно сближаясь с красивой женщиной. С каждым днем Женни казалась ему все более привлекательной, и он не упускал случая сказать ей об этом. Уступила ли она его домогательствам? Должно быть, несколько раз ей случалось забыться, и она была обязана ему несколькими мгновениями блаженства, потому что много лет спустя, уже на пороге старости, когда Женни расспрашивали о том, какие у нее были отношения с Дюма, она призналась, потупив глаза: «Согрешила…»

Но вот наконец, совершив патриотическое паломничество в Бородино, на поле битвы, которую французы упорно продолжали называть Московской, в последний раз побывав в Кремле, прокатившись с Женни в Троице-Сергиеву лавру, ненадолго съездив с ней же в Елпатьево и Калязин, где они обедали с гвардейскими офицерами, Александр с легкой печалью решился покинуть «несравненную прелестницу» и вместе с Муане и Калино сел на корабль, которому предстояло спуститься вниз по Волге.

На четвертый день однообразного плавания между ровными берегами Дюма заметил, что пейзаж вдруг сильно оживился. На горизонте поднялся шум, «напоминавший те раскаты, которые предшествуют землетрясениям», скажет он позже. И продолжит свой рассказ: «Это был рокот двухсот тысяч голосов. Внезапно, за одним из поворотов Волги, мы увидели, что река скрывается за лесом расцвеченных флагами мачт. Это оказались все те суда, которые, спустившись или поднявшись по реке, привезли товары на Нижегородскую ярмарку».

Сойдя на берег в Нижнем Новгороде, Дюма направился к своему «корреспонденту», господину Грассу, к которому у него были рекомендательные письма. Тот, не дав гостю ни малейшей передышки, потащил его осматривать шумные, забитые народом базары, раскинувшиеся в четырех предместьях; русские там были перемешаны с татарами, персами, армянами и китайцами, и все они, казалось, были здесь у себя дома. В одних торговых рядах продавали чай, в других – ковры или драгоценные камни, тут же шла и торговля телом. «…Здесь – ярмарка из ярмарок, целый город из шести тысяч ларьков, – писал Дюма-отец Дюма-сыну, – к тому же публичный дом на четыре тысячи девиц. Как видишь, все на широкую ногу».[93] Любой предмет здесь становился предлогом для бесконечного торга. «Первое впечатление от подобной толкотни, первое воздействие подобного шума, – пишет Дюма, – ошеломление, от которого в первый день так и не можешь оправиться. Все эти люди, снующие взад и вперед по своим делам, – среди них множество татарских торговцев вразнос, с неутомимым упорством предлагающих всякие тряпки, лохмотья и всевозможный хлам, – кажутся сбежавшими из дома умалишенных, одни лишь турецкие купцы – неподвижные, веселые и безмолвные – самим своим видом показывают, что они в здравом уме».

По совету Грасса, Александр отправился с визитом к нижегородскому губернатору, генералу Муравьеву. Тот пригласил писателя выпить чаю в обществе именитых горожан. Едва он уселся среди других гостей, как лакей объявил: «Граф и графиня

Анненковы». Дюма вздрогнул. Это имя пробудило в нем далекое воспоминание: не те ли это самые два персонажа – заговорщик-«декабрист» и молодая француженка, чью историю он рассказал в одном из своих романов? Генерал, взяв француза за руку, подвел к новоприбывшим и сказал в качестве представления: «А вот герой и героиня вашего „Учителя фехтования“». Александр вскрикнул от удивления и кинулся обнимать этих двух улыбающихся призраков. Они были помилованы царем Александром II – после того, как провели тридцать три года в Сибири!

Потребовался бы не один месяц на то, чтобы проникнуть во все тайны Нижнего Новгорода, но Александр не мог себе позволить такой неспешности. Три дня спустя он покинул эту столицу торговли и смешения племен, чтобы продолжить свое медленное скольжение вниз по «матушке» Волге: Казань, Саратов, Царицын, Астрахань – вот он уже на берегу Каспийского моря… Неужели это все еще Россия? Пестрая мозаика народов и религий заставляла в этом усомниться. Ну что, скажем, общего между москвичами и жителями Астрахани?

На свое счастье, путешественники прибыли в эти южные края вовремя и смогли присутствовать при большом лове осетра. «Существуют две вещи, ради которых и самый скупой из русских всегда готов на любые безумства, – замечает Дюма, – это икра и цыгане». Александр весьма оценил вкус икры, но остался совершенно равнодушен к чарам цыган, «этих созданий, – уточнил он, – которые поглощают состояния юношей из хороших русских семейств».

Дальше путешествие продолжилось по суше. Александр отметил поначалу для себя, а потом и для других, что существуют два способа стряхнуть апатию русского кучера: выдать себя за генерала, пусть даже французского, или, если потребуется, стегать извозчика кнутом и колотить его кулаками по спине.

В конце октября Дюма присутствовал при совершении буддистского обряда у калмыцкого князя Тумена. Вспоминая варварский грохот, от которого едва не оглох, Александр пишет: «Я оказался среди всех этих дребезжащих колокольчиков, звенящих цимбал, гудящих гонгов, грохочущих барабанов, воющих раковин, ревущих труб и уже готов был поклясться, что присутствую на каком-нибудь шабаше, которым управляет Мефистофель собственной персоной».

По местному обычаю мужчины в знак дружбы должны были потереться носами между собой. Александр последовал этому обычаю, заметив потом мимоходом, что проявил изрядную ловкость, поскольку «нос калмыков, как известно, не самая

выдающаяся часть их лица, и не так легко до него добраться между широких его щек – этих двух костистых выступов, которые охраняют приплюснутый нос подобно двум оборонительным сооружениям». Александр с удовольствием произвел бы подобное соприкосновение и с маленьким носиком восемнадцатилетней супруги князя Тумена, но подобная фамильярность была запрещена протоколом. «Я было попытался потереться носом о нос княгини, но меня предупредили, что эта форма вежливости принята только между мужчинами. Как я сожалел об этом!..»[94]

Дюма утешился, любуясь чудесами верховой езды, которые показывали калмыки, бешеными верблюжьими гонками, плавным и стремительным полетом обученных соколов, преследующих в небе дюжину лебедей, и величественными движениями воинов, исполняющих национальные танцы. Князь показал французским гостям свой табун из десяти тысяч диких коней и угостил их любимым калмыцким кушаньем: сырой кониной, приправленной луком, перцем и солью. Александру понравилось это блюдо с крепким запахом, но он поморщился, когда пришлось глотать кумыс.

Когда обед подходил к концу, триста всадников, собравшись перед дворцом, выпили за здоровье французского гостя, издавая оглушительные крики «ура!». Для того чтобы ответить на их приветствие, князь Тумен велел принести Александру, чей бокал показался ему слишком маленьким для такого великого человека, оправленный в серебро олений рог и приказал вылить туда целую бутылку шампанского. Позже князь предложил гостю помериться силами в борьбе, сказав, что победитель получит один из тех великолепных патронташей, которыми украшается кавказский костюм. Александр принял бой. Оба разделись до пояса, встали в центр кольца почтительно ожидающих начала соревнования зрителей. «У князя было больше привычки к таким упражнениям, – рассказывает Дюма, – но я оказался явно сильнее. […] Через пять минут он упал, а я упал на него. Как только его плечи коснулись земли, он признал себя побежденным». После этой дружеской схватки противники потерлись носами и пошли окунуться в воды Волги, наполовину скованной льдом. «Тем, кто меня знает, – сообщает Дюма своим читателям, – известно, насколько я равнодушен к переменам погоды».

Седьмого ноября, уже в Кизляре, Калино, его переводчик, с ним распростился, и Александр, перебравшись через Терек, оказался на территории Кавказа. Очередная смена культуры и нравов. Грузинские обеды и ужины были не чем иным, как грандиозными попойками, требующими немалого мужества и выдержки. Тут не мерились физической силой – тут шло

состязание в том, кто кого перепьет, кто дольше продержится, соседи по столу бросали друг другу вызов, а в подобных условиях трудно остаться здоровым. Но жителей этого не вполне еще завоеванного края, на взгляд Дюма, подстерегала и другая опасность. Между казаками, состоявшими на службе империи, и чеченцами, не желавшими признавать владычества русских, шла беспощадная партизанская война. На дороге в станицу Червленую охрана Дюма подверглась нападению горцев. Один из казаков был убит чеченцем, который тотчас отрезал голову врага и принялся размахивать ею перед глазами у «проклятых православных захватчиков». Другой казак немедленно бросился на агрессора, желая отомстить за обезглавленного товарища. На этот раз убитым оказался чеченец, и победитель, перерубив шею побежденного, показал окровавленный трофей товарищам по оружию, что те, в свою очередь, шумно приветствовали. Подчеркивая жестокость ежедневных стычек, о которых никто не писал в газетах, Александр воздает должное и храбрости казаков, и смелости их врагов. Он испытывает даже своего рода нежность к российской «колонии», сумевшей сохранить своеобразие, гордость и беспечность, несмотря на нависшую над ней тягостную тень метрополии. России, «сумрачной правительнице, которую ее величие не делает веселее», он противопоставляет Грузию, «веселую рабыню, которую даже рабское положение не способно опечалить». Кроме всего прочего, грузинки показались Дюма одними из самых красивых женщин на свете, а грузины – образцом мужественной красоты.

В Дербенте князь Багратион познакомил гостя с городом, а делегация персов расхвалила его талант рассказчика. Но прочли ли они хотя бы одну строчку из его сочинений? В Тифлисе Александр торжественно отпраздновал наступление нового, 1859 года, нанес визит градоправителю, князю Барятинскому, и, по обычаю, стал участником множества застолий. Но между двумя приемами, между двумя прогулками он умудрялся все-таки выкраивать несколько часов для того, чтобы продолжать записывать свои дорожные впечатления. За путевыми заметками из России последовали заметки о путешествии по Кавказу. Эта работа, которой он занимался урывками, не мешала ему время от времени вспоминать милых его сердцу людей, оставшихся на родине. И тогда, на время отложив исполнение своих обязанностей репортера, он предавался праздному блаженству *сплина*. «Кроме тебя, – пишет он Эмме именно в такие дни, – меня никто на свете не любит, никто обо мне не думает, никто обо мне не тревожится. Я чувствую себя одиноким и совершенно всеми позабытым, так что могу почти в полной мере наслаждаться

счастьем, каким обладают только умершие, не подвергаясь неприятности быть погребенным». Правда, почти сразу же следом за тем он прибавляет: «Я помолодел на десять лет, судя по тому, сколько я чувствую в себе сил, и мог бы сказать то же самое о своем лице. […] До чего хороша эта свобода делать что захочешь, одеваться как захочешь, вести себя как захочешь, идти куда захочешь!» Но когда же он пишет искренне – когда жалуется на одиночество или когда радуется тому, что так юношески крепок и свеж в свои пятьдесят шесть лет?

С сыном Александр говорит более прямо и откровенно: «С Новым годом, доброго тебе здоровья, прими все самые нежные и самые отеческие пожелания моего сердца, я люблю тебя. […] В понедельник уезжаю на гору Арарат. Постарайся повидаться с Деннери [один из соавторов Дюма-отца], скажи ему, что я привезу отсюда черкесский роман, из которого, думаю, можно будет сделать прекрасную драму. Мне кажется, это будет достаточно ново: герой-татарин и героиня-черкешенка, выведенные на подмостки человеком, который спал с черкешенками и участвовал в перестрелке с татарами». Стало быть, даже подпав под очарование дикой красоты этого края, он не забывает о выгоде, которую сможет из этого извлечь для будущей своей работы. Охотился ли Александр на крупную дичь, разглагольствовал ли до хрипоты на пирах, подвергался ли неприятельскому обстрелу из засады или ухаживал за калмыцкой красоткой – он никогда не забывал о том, что прежде всего он – писатель и что все попадавшееся ему волею обстоятельств на глаза должно послужить главному: сочинению романов и пьес.

В начале февраля, вдоволь настранствовавшись по заснеженным дорогам Кавказа, Александр и Муане прибыли в Поти, город на побережье Черного моря. Они поселились в гостинице, дожидаясь прихода судна. Александр, чтобы убить время, охотился, ловил рыбу, писал заметки. Среди служащих гостиницы приметил молодого грузина по имени Василий, с виду крепкого и расторопного, и предложил ему поехать во Францию. Тот сначала удивился, затем поспешил согласиться с благодарностью потерявшейся собаки, которую берут на псарню. Желание повиноваться и преданность были, видимо, у него в крови. На следующий день хозяин и новый слуга покинули Кавказ на русском судне «Великий князь Константин», а в Трапезунде пересели на французский корабль «Сюлли». После шестидневной стоянки в Константинополе они добрались до острова Сира в Кикладском архипелаге, где Дюма сошел на берег, чтобы заказать греческому кораблестроителю, к которому ему посоветовали обратиться, для себя яхту, естественно, заранее назвав ее «Монте-

Кристо»; а как же иначе – ведь это счастливое для него имя, имя-талисман! На этой яхте Александр и намеревался совершить то самое средиземноморское плавание, о котором так давно и страстно мечтал.

Подписав по всем правилам с судостроительной верфью господина Николаса Пагида контракт на сумму в семнадцать тысяч франков, которые он должен был выплачивать по векселям в Париже, Дюма перебрался в Афины, где сел на пассажирское судно «Ганг», идущее в Марсель.

Вот так, едва завершив одно путешествие, он принялся грезить другим… Но, куда бы он ни задумал отправиться в следующий раз, ему необходимо было писать, и писать много и быстро, для того чтобы оплатить расходы на поездку и обеспечить существование женщин, которых он покидал. Впрочем, на это Александр никогда не жаловался. Может быть, он даже лучше мог насладиться подробностями своих экзотических странствий, заново проживая их с пером в руке. Описывая поездку в Россию, Дюма невольно думал о Бальзаке, который до него побывал в этой удивительной стране и тоже пытался о ней рассказать. Ему бы так хотелось обменяться свежими впечатлениями с собратом по перу! Только вот скорее всего во многом они бы не сошлись… То, что Александру было известно о последнем пребывании автора «Человеческой комедии» на родине женщины, которая впоследствии стала его женой, заставляло предположить, что действительность была частично заслонена от него любовью: Бальзак воспевал Россию, ее царя, ее режим, ее нравы с ослеплением поклонника госпожи Ганской. Его не ужасал ни нестерпимый гнет самодержавной власти, ни отжившее и возмутительное рабство, которое все еще сохранялось в этой стране! Все казалось ему прекрасным, но, нет сомнений, лишь потому, что прекрасна была милая его Эва. Зато Дюма, судивший более беспристрастно, сумел за время своей поездки взвесить все «за» и «против».

Он вернулся с воспоминаниями об огромном государстве, занимающем громадную территорию с неисчерпаемыми природными ресурсами, о стране, богатой талантами и надеждами, но на два века отставшей от европейской цивилизации. По окончании своего «туристического расследования» он утвердился в мысли о том, что побывал в обществе, где царят неравенство возможностей, административный и финансовый произвол, богатства тратятся попусту, а население пребывает в блаженном неведении. Тем не менее, критикуя примитивный и дружелюбный народ, он чувствовал себя более близким к тем нескольким русским, с

которыми он встречался, чем к большинству своих соотечественников, и, плывя по направлению к Франции, смутно сожалел о том, что ему пришлось проститься с добродушием и наивностью северян для того, чтобы совсем уже скоро встретиться с язвительными и насмешливыми парижанами. Ощущение утраты было столь пронзительным, что на борту «Ганга» Александр захотел остаться в черкесском наряде, который приобрел для себя в тех краях.

Девятого марта 1859 года Дюма сошел на берег в Марселе, одетый в черкеску с газырями, в традиционной казачьей папахе на голове и с саблей на боку. Воинственный кавказский наряд так ему шел, что он с сожалением переоделся в штатскую одежду, чтобы вернуться в Париж, – ведь если бы он этого не сделал, журналисты снова обвинили бы его в том, что он старается поразить воображение публики, вырядившись в карнавальный костюм. Ах, как жаль, как жаль, что приходится считаться с опасением выглядеть смешным, считаться с мелочными умами, путающими своеобразие с желанием выделиться!

Парижские друзья писателя отпраздновали его возвращение, устроив банкет в ресторане «У Мадлен». Мери прочитал там отвратительные стихи, сложенные в честь «Великого Путешественника». Бокалы взлетали вверх, руки аплодировали, рты переставали жевать, чтобы крикнуть «Браво!». Но что на самом деле думали о нем все эти люди, которые пришли его поздравить? Александр пил шампанское, улыбался, благодарил, рассказал несколько забавных историй… Ну что ж, внутренне улыбался он, в конце концов, и во Франции не так уж плохо!

Вскоре после возвращения он узнал из письма Альфонса Карра, что Ида умерла от рака 11 марта 1859 года, через день после того, как он сошел на берег в Марселе. Она скончалась в Генуе, на руках у своего любовника князя Виллафранка, который с тех пор, как говорили, так и остается безутешен. Что касается самого Александра, он воспринял новость равнодушно. Ида давным-давно была для него всего лишь досадным воспоминанием, связанным с представлением о юридических и финансовых неприятностях. Стоило при Дюма произнести ее имя, как он настораживался, предчувствуя какие-нибудь новые вымогательства. Кончина женщины, которая в течение семи лет была его любовницей и четыре года – его законной женой, не только не огорчила Александра, но, напротив, принесла ему облегчение, и он холодно ответил Альфонсу Карру: «Мой добрый друг, когда пришло твое письмо, я был у дочери [Мари] в Шатору и нашел его только по возвращении. Спасибо. […] Госпожа Дюма приезжала в Париж год тому назад и заставила отдать ей ее

приданое [сто двадцать тысяч франков]. У меня есть расписка».

Глава V
Итальянская интермедия

Вернувшись в Париж, Александр, конечно, по-прежнему мечтал о далеких путешествиях, но мечтами пока и пришлось ограничиться: для начала следовало собрать побольше денег, чтобы их оплатить. Его обычный в последнее время поставщик рукописей становился все менее и менее плодовитым: истощивший свой мозг, выдохшийся, опустошенный, Шервиль присылал теперь «сырье», сделать из которого хоть что-нибудь мало-мальски приличное было очень трудно, и в результате получались посредственные романы, заурядные сочинения, порочащие имя «фирмы» Дюма. Среди таких оказались «Врач с острова Ява», «Папаша Разруха», «Охотник на водоплавающую дичь», «Маркиз д'Эскоман»… Едва кое-как слепленная рукопись отправлялась в типографию, сам автор еле-еле мог припомнить содержание книги. Значение имели только те деньги, которые Дюма приносила эта работа после того, как он оплатит безвестный труд Шервиля, а ему ведь еще приходилось торговаться из-за каждого су со своим соавтором, деля гонорары. «Боюсь, в этом случае, как было и в прошлом, вы ошибаетесь, – пишет в Брюссель Александр. – […] Вот окончательный расчет всего, что вы получили с того дня. […] Как видите, вы получили все, что вам причиталось, *плюс* восемьдесят один франк. […] Я постараюсь все уладить так, чтобы дать вам по меньшей мере три тысячи франков за „Франсуа Гишара“ [„Папаша Разруха“], независимо от того, удастся его пристроить или нет». Официальный счетовод и поверенный торгового дома Дюма, Ноэль Парфе, зорко следил за этими баталиями чисел: ему по должности полагалось яростно отстаивать интересы своего доверителя. Александр обратился к нему с просьбой поторопить Шервиля, слишком медленно поставлявшего тексты. Не помогло. И поскольку несчастный бумагомарака явно не способен был справиться с возложенной на него задачей, пришлось обратиться к другим – не простаивать же фабрике! Бенедикт Ревуаль сделал для Александра перевод сборника охотничьих рассказов Р. Гордона Камминга, названного автором «A lion hunter in South Africa»[95] и вышедшего под маркой Дюма как «Жизнь в пустыне»; Дю Куре уступил Дюма права на «Счастливую Аравию»; доктор Феликс Майнар передал ему за вознаграждение заметки для «Путешествия к землям антиподов» (тут обработчик выбрал лаконичное название: «Китобои»); от Виктора Персеваля (он же

Мари де Фернан) была получена обработка «Stories of detective» Уотера, которые вышли на французском языке под названием «Мемуары полисмена».[96] Столь многочисленные заимствования нисколько не смущали Дюма: он отказался от каких бы то ни было литературных притязаний. Теперь его не заботило качество того, что он пишет, теперь ему не было дела даже до читательских восторгов, единственное, что его интересовало, – деньги, которые приносит ему работа.

Искусство отошло на второй план, на первый выступили финансы. Повседневные жизненные потребности отодвинули заботу о посмертной славе. Потомки, думал он, будут помнить лишь выдающиеся произведения, такие, как «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо» или «Королева Марго», и эти вершины заставят позабыть об окружающей их низменной местности… Пусть изобилие в его романах чужих мотивов покажется кому-то странным, но можно ли упрекнуть человека, который добывает себе пропитание своим пером, в том, что он издал под своим именем кое-какие незначительные произведения, чтобы не умереть с голоду самому и помочь своим близким? На попечении Александра так много женщин – одни зависят от него материально, другие – морально, третьи – и так, и так! Малышка Изабель Констан, такая одинокая, такая хрупкая, не смогла бы обойтись ни без его почти отеческой нежности, ни без его денежной помощи… Бедняжка Эмма Маннури-Лакур кашляет кровью вдали от него, ждет от него писем и терзает мужа видом создания, умирающего у него на руках, любя другого… Наконец, Мари, его родная дочь, неудачно вышедшая замуж, томится в Шатору с полупомешанным Олиндом и ищет утешения, рисуя ангелов, которых видит в своих грезах…

Александру были хорошо понятны навязчивые идеи дочери. А что делал он сам, если не гнался за химерами? Каждому из нас нужны одна или две цели в жизни, чтобы, не дрогнув, продолжать идти своим путем. Для него этими целями в течение долгого времени были слава и любовь. Нынче их место заняли деньги и путешествия. Стоило Дюма оторвать взгляд от рукописи – и ему казалось, будто он видит, как его яхта «Монте-Кристо» несется на всех парусах по синим волнам Средиземного моря. Двухмачтовое судно, покинув наконец судостроительную верфь на острове Сира, и впрямь вышло тем временем в море и приближалось к Марселю. На борту яхты находились капитан-грек Апостоли Подиматас, с ним пять матросов той же национальности. Узнав о том, что клипер прибыл в порт назначения, Александр от нетерпения задрожал, как ребенок в праздничный день, и устремился на юг. Подарок, ожидавший в марсельском порту,

обрадовал его безмерно. Он восторгался этим шедевром элегантности и надежности, которому так шло имя «Монте-Кристо», он немедленно испытал судно, обойдя вокруг замка Иф, и объявил, что доволен столько же кораблем, сколько и командой.

Было решено, что парусник пройдет по Южному каналу, обогнет мыс Финистер, поднимется по Сене и остановится в Париже, где Ван Лоо и другие ремесленники займутся отделкой его интерьеров. Так что в Париже теперь Александр только и делал, что подстерегал минуту, когда между набережными появится его чудесный корабль. Но вот беда! Двадцатого сентября капитан Апостоли Подиматас увидел, что у «Монте-Кристо», остановившегося в шлюзе у моста Агд, осадка слишком глубока для того, чтобы идти Южным каналом. Можно было сообразить и пораньше! – чертыхался Дюма. Пришлось вести яхту обратно в Марсель, куда парижским художникам приказали отослать декоративные панно, чтобы можно было на месте заняться отделкой. Тем временем двое матросов, из-за продолжения работ оказавшиеся без дела, решили вернуться в Грецию и потребовали, чтобы с ними расплатились, пообещав непременно вернуться в феврале, как только отделка «Монте-Кристо» будет завершена окончательно. Конечно, Александр мог бы согласиться на такие условия, поскольку его процесс против издателей братьев Леви только что завершился вполне приемлемым соглашением: их обязали выплатить автору сто двадцать тысяч франков, причем тридцать из них – сразу после вынесения приговора, но он не хотел позволить провести себя, как желторотого новичка. Вернувшись в Марсель, Дюма осмотрел «Монте-Кристо», который к этому времени не только туда возвратился, но его заканчивали уже обшивать медью, выслушал сетования оставшихся не у дел матросов, а вот выплатить им компенсацию, которой они требовали, наотрез отказался, совершенно позабыв о том, что «Монте-Кристо», построенный на Сире, шел под греческим флагом. А это сильно осложнило проблему. Консул Греции, поддержав требования соотечественников, пригрозил писателю тем, что арестует его яхту из-за неуплаты жалованья команде. Александр, решив, что лучшая оборона – это нападение, гордо заявил: ничего у вас не выйдет, мы поплывем под другим флагом. Под каким? Иерусалимским, черт возьми! И стал наводить справки. Выяснилось, что патент на это должен выдать некий итальянский граф, живущий во Флоренции. За чем же дело стало – отправимся за документом туда! Сказано – сделано: Александр прибыл на место и без труда добился смены национальной принадлежности судна. Однако через две недели, когда

вожделенная бумага оказалась у владельца яхты в руках, он увидел, что в соответствии с правилами капитан судна, идущего под флагом Иерусалима, должен – и справедливость этого ничем не оспоришь! – принадлежать к католической церкви. Но Апостоли Подиматас-то исповедует православие! Доведенный от отчаяния внезапно возникшим новым препятствием, Александр помчался в Рим, чтобы попросить о вмешательстве герцога де Грамона, французского посла. Тот посочувствовал неудаче Дюма, признался, что не может ничем помочь, и предложил писателю купить его прежнюю яхту «Эмма», поскольку знал, что нынешний ее обладатель готов уступить судно по вполне разумной цене. Дюма ухватился за подвернувшийся случай. Прощай, прощай, несбывшаяся мечта, прощай, «Монте-Кристо», и – да здравствует «Эмма»!

Перед тем как вернуться в Марсель, чтобы заключить сделку, Александр захотел показать Рим, Верону и Венецию молодой девушке, сопровождавшей его в этой поездке, деловой и увеселительной одновременно. Эмилии Кордье было двадцать лет. Миниатюрная, хрупкая, послушная, невинная, предельно уязвимая. Мать забрала ее из белошвейной мастерской, где Эмилия работала, и пристроила на центральный рынок к торговцу рыбой, поскольку каждому известно, что запах морской рыбы свежего улова и прочих даров моря целителен для тех, у кого слабая грудь, больные легкие. Но рядом с господином Дюма, которому девочку представили и который сразу же ввел ее в театральные круги, решила любящая мать, она, несомненно, сделает лучшую карьеру, чем в рыбных рядах. Одним словом, бедняжка была отдана Александру в полное и безраздельное владение, чтобы он ее воспитал, вывел в люди и обеспечил хорошее будущее. Малышка смотрела на людоеда-покровителя с восторженной покорностью и, собираясь с ним на очередную прогулку по улицам или в поход по музеям и салонам, доверчиво вкладывала свою ручонку в его огромную ручищу. А Дюма пытался рассказать и показать на примерах, как красива Италия и как вместе с тем несчастна эта страна, переживающая истинную трагедию с тех пор, как ее искусственно разделили на части, как жаждет она вновь обрести единство и величие. Все надежды воплощаются, объяснял он, только в одном человеке, и называл имя этого человека – Джузеппе Гарибальди! Александру, побывавшему в разных городах полуострова, не раз доводилось видеть героя итальянских патриотов. Они быстро сошлись – их объединяли любовь к свободе и неизменная готовность к сражениям. А на этот раз, встретив Дюма на одной миланской вилле, Гарибальди захотел продиктовать ему свои мемуары. Он и

в самом деле приступил к этому занятию, но на второй день добровольно взятая на себя обязанность стала революционера тяготить, и он решил доверить свои автобиографические заметки этому приятному и отлично его понимающему французскому писателю, чтобы тот переделал их на свой лад. Гордый оказанным доверием, Александр склонился перед прославленным воином и пообещал служить ему своим пером, как охотно служил бы своей шпагой. В знак свидетельства своей преданности делу освобождения Италии Дюма даже взялся поспособствовать вооружению войск повстанцев и подписал ордер на покупку двенадцати карабинов с нарезными стволами.

На удивление покладистая Эмилия поехала за благодетелем во Францию. Сначала они остановились в Марселе, где Александр продал себе в убыток «Монте-Кристо» и оплатил покупку «Эммы», которая обошлась ему в одиннадцать тысяч франков. И решил, что в конечном счете выиграл от этой замены: «Эмма», построенная из клена и красного дерева, была отличной шхуной водоизмещением в семьдесят восемь тонн. В капитаны Дюма выбрал на этот раз истинного француза по фамилии Богран, крепкого бретонца с открытым лицом и внушительной фигурой. Пока морской архитектор трудился, стараясь добиться того, чтобы «Эмма» сделалась столь же комфортабельной, сколь и красивой, Александр ненадолго съездил в Париж, уладил кое-какие любовные и денежные дела и подготовил распоряжения для сына «на случай, если произойдет несчастье». Этот документ был подписан 27 апреля 1860 года у нотариуса мэтра Шарпийона в Сен-Бри (департамент Ионны).

Обеспечив таким образом будущее своих близких, Дюма, по-прежнему в сопровождении Эмилии, вернулся в Марсель и поселился в гостинице «Лувр». Местные жители встретили его восторженно, мэр ублажил хвалебной речью, и в каютах «Эммы» росла груда подарков от незнакомых людей. Несмотря на поднятый вокруг его особы и весьма радостный для него шум, Александру не терпелось выйти в открытое море. Наконец последний рабочий покинул судно. Как только позволит погода, можно поднять паруса. Перед тем как проститься с Францией, Александр отказался не только от своей яхты «Монте-Кристо», но и от носившей то же имя газеты, которой совсем еще недавно так гордился. Последний номер, от 10 мая, вышел с обращением редактора к читателям, напечатанным большими буквами: «Поскольку господин Александр Дюма не дал нам текстов для того, чтобы заполнить до конца этот номер „Монте-Кристо“, редакция вынуждена разослать подписчикам газету с несколькими чистыми страницами».

Накануне того дня, когда появилось объявление, сбежавший автор поднялся на борт «Эммы» вместе с несколькими пассажирами, среди которых были молодой художник Эдуард Локруа, фотограф Легре, доктор Обанель, Поль Парфе – сын милого Ноэля, который так хорошо вел финансовые дела Дюма, и странный подросток с женственными повадками, одетый в форму курсанта военно-морского училища, сшитую из лилового бархата и отделанную синими с золотом аксельбантами. Разумеется, это была все та же, только переодетая мальчиком, прелестная Эмилия Кордье, которую все здесь галантно и слегка насмешливо величали адмиралом.

Начало плавания было несколько испорчено морской болезнью. Дюма уверял, будто спасается от этого недомогания хорошей порцией буйабесса. На пятый день «Эмма» бросила якорь в Ницце, городе, который месяц назад радостно проголосовал за свое присоединение к Франции. Банкет, устроенный Альфонсом Карром, лишний раз подтвердил убеждение Дюма в том, что у него по всему свету есть друзья. Тем не менее, как ни хотелось Александру сделать приятное незнакомцам, наперебой произносившим тосты и речи, он стремился скорее их покинуть, чтобы присоединиться в Италии к отважному Гарибальди, чьи сподвижники – «красные рубашки» – только что заняли Палермо.

Шестнадцатого мая Дюма сошел на берег в Генуе, рассчитывая пробыть там дней десять-двенадцать, с тем чтобы переписать начисто мемуары Гарибальди и составить себе ясное представление о политической ситуации в стране. Что за путаница происходит в этой Италии! Только истинно латинский ум способен в ней разобраться… В Турине свой король, Виктор-Эммануил II, в Неаполе – свой, другой совсем, Франциск II, в Риме всем заправляет папа, на границах – недремлющие австрийцы, и ко всему этому – Наполеон III, который направо и налево торгует своей поддержкой… Для Александра, как и для Гарибальди, главным врагом был король Неаполя Франциск II, препятствовавший объединению всех провинций под властью единого скипетра и единой конституции. «Получилось, что я лично вступил в войну против неаполитанского короля, – пишет он Эмме Маннури-Лакур. – В остальном тебе беспокоиться не о чем, судна лучше „Эммы“ не найдешь. Оно прочное, и у него великолепный ход. […] Ты со мной, дорогое мое дитя, и в мои веселые минуты, и в грустные, потому что ты неизменно присутствуешь в моих мыслях. И ни одного часа я не могу прожить без того, чтобы мое сердце и мой ум не обращались к тебе». Эмма издала второй сборник стихотворений, «Асфодели», и Дюма настаивал на том, чтобы Сен-Феликс, Альфонс Карр и

Дешанель посвятили хвалебные статьи последним стихам той, которая, по его мнению, вот-вот может навеки закрыть глаза. С одной стороны – «Асфодели» и слезы Эммы, с другой – грохочущие на Сицилии пушки. Колебаний быть не могло. Долг чести превыше любовного милосердия.

Тридцать первого мая, несмотря на шторм, Александр отдал приказ сниматься с якоря. Простояв два дня в бухте на севере Сардинии, куда пришлось все-таки зайти из-за непогоды, «Эмма» взяла курс на Сицилию. Море успокоилось, но качка все еще оставалась ощутимой. На рассвете 10 июня судно приблизилось к Палермо: над городом реяло красное знамя, правда, над фортом по-прежнему развевался неаполитанский флаг. Ну что ж, значит, Гарибальди взял город, а последние очаги сопротивления долго не продержатся! Александр бросился на берег. Со всех сторон он видел остатки баррикад, наполовину обугленные фасады… Тут уносили с поля битвы раненых, там добровольцы в красных рубашках выкрикивали что-то радостное, размахивая ружьями… Вдыхая запах пыли и пороха, он чувствовал себя помолодевшим, ему казалось, будто он вознагражден за все труды.

У входа в собор его встретил торжествующий Гарибальди в шляпе набекрень, в промокшей от пота и прилипшей к телу красной рубахе. Вождь революции распахнул объятия навстречу Александру: «Милый Дюма, как мне вас недоставало!» И пригласил разделить с ним завтрак, состоявший из «куска жареной телятины и кислой капусты». Малышку Эмилию, такую грациозную в своем мундирчике морского офицера, тоже пригласили к этому скудному застолью. Один из сотрапезников Гарибальди и его верный спутник, Джузеппе Банди, позже напишет, припомнив эту сцену:

«Возвращаясь во дворец Преторио, мы перебирались через баррикаду, как вдруг увидели шедшего нам навстречу очень красивого человека, который по-французски приветствовал генерала [Гарибальди]. Этот здоровяк был одет во все белое, голову его покрывала большая соломенная шляпа, украшенная тремя перьями – синим, белым и красным.

– Угадай, кто это? – спросил меня Гарибальди.

– Кто бы это мог быть? – ответил я. – Луи Блан? Ледрю Ролен?

– Черта с два! – смеясь, возразил генерал. – Это Александр Дюма.

– Как? Автор „Графа Монте-Кристо“ и „Трех мушкетеров“?

– Он самый.

Великий Александр заключил Гарибальди в объятия, всячески выражая свою любовь к нему, затем вместе с ним вошел во

дворец, громко разглагольствуя и смеясь, словно он хотел наполнить здание раскатами своего голоса и смеха.

Объявили, что завтрак подан. Александр Дюма был в сопровождении щуплой гризетки, одетой в мужское платье, вернее – в костюм адмирала. Эта гризетка – сплошные гримасы и ужимки, настоящая жеманница, без всякого стеснения уселась по правую руку генерала, как будто иначе и быть не могло.

– За кого принимает нас этот знаменитый писатель? – спрашиваю я своих соседей по столу. Правда, поэтам дозволяются некоторые вольности, но то, что разрешил себе Дюма, посадив эту ничтожную дочь греха рядом с генералом, не может быть дозволено ни людьми, ни богами.

Великий Александр ел, как поэт, и оказался столь речистым, что никому не удалось и рта раскрыть. Следует сказать, он говорил не хуже, чем писал, и я слушал его затаив дыхание…»[97]

Решительно этому чертову французу прощалось все – его хвастовство, его нелепые наряды, его дурные манеры, его наглая ложь и пошлые связи – все искупалось его щедростью, любую неловкость оправдывал его хорошо подвешенный язык… Александр вырос, так и не повзрослев. Простодушие его было совершенно ребяческим, при том что желания и потребности – вполне мужскими. Жить на земле, думал он, означает не только получать подарки, но и сражаться ради того, чтобы их добыть. Гарибальди, способный оценить Дюма по достоинству, поселил приезжего вместе с его юной любовницей во дворце и предложил народу приветствовать «французского союзника», как только тот покажется на балконе. Едва завидев его, женщины закричали: «Да здравствует Италия!» Перед ним по мостовой катали огромную голову, отколотую от обезглавленной статуи короля Фердинанда II Бурбона, от которого генералу Дюма столько пришлось вытерпеть в калабрийских тюрьмах. Сегодня, глядя на обломки, лежащие у его ног, сын чувствовал, что отомстил за унижения и горести, выпавшие на долю отца. Вернувшись в свои комнаты, Александр, у которого в ушах все еще звучали овации толпы, одновременно и гордился тем, как История за него отомстила, и радовался тому, что рядом с ним есть прелестная девочка, которой можно рассказать свою историю. Эмилия по-прежнему слушала его с глуповатым восхищением. Разделявшие их годы ничуть не охлаждали ее пыла – наоборот, со временем девочка все крепче к Александру привязывалась. И не замедлила дать ему весьма ощутимое доказательство своей любви.

Узнав о беременности юной возлюбленной, Дюма нескрываемо развеселился и обрадовался своему, оказывается, неувядаемому таланту производителя. Стало быть, он в старости

остался куда более крепким, чем мог предположить. Вот чудо-то: пока он раздумывает над тем, способен ли еще творить, Эмилия радостно показывает, что он способен натворить, а это ведь еще более лестно! Александру не терпелось сообщить новость своим друзьям, но Шарлю Роблену, который когда-то был его свидетелем на свадьбе с Идой, он написал о событии все-таки не без иронии: «Дорогой Роблен! Я обращаюсь к тебе как к человеку, который имел четырнадцать детей и, познав это несчастье, должен сочувствовать другим. Та крошка, которую ты видел у меня в доме, днем щеголявшая в костюме мальчика, ночью вновь становилась женщиной. Однажды, в бытность ее женщиной, с ней произошел несчастный случай, который в следующем месяце дал себя знать. Г-н Эмиль исчез, а м-ль Эмилия беременна…»[98]

Впрочем, этот младенец, заявивший о себе посреди путешествия, в разгар войны, пусть даже и привел Дюма в восторг, все равно не смог отвлечь его от грандиозных итальянских планов. Правда, с самого начала Александр принялся искать способ примирить свою преданность делу «красных рубашек» с заботой о том, как обеспечить будущей матери хотя бы минимальный комфорт. Он написал Гарибальди, что готов отправиться во Францию за оружием и боеприпасами, в которых нуждались его соратники, но, разумеется, не сказал ему о намерении воспользоваться кратким пребыванием на родине для того, чтобы отвезти Эмилию к ее родителям, которые должны были позаботиться о ней в последние месяцы беременности: эти семейные проблемы никого, кроме него самого, не касались! Несмотря на настойчивость, с которой Дюма предлагал свои услуги, ответ заставил себя ждать. Только вернувшись с Мальты, куда он отвез нескольких своих пассажиров, Дюма нашел в Катани великолепное, хотя и лаконичное письмо генерала, присланное до востребования: «Жду вас ради вашей драгоценной особы и ради вашего замечательного предложения насчет ружей». Не теряя ни часа, «Эмма» на всех парусах понеслась через Мессинский пролив.

Вблизи Милаццо Александр услышал яростную канонаду. Стоя на палубе, он следил через подзорную трубу за перипетиями боя, который гарибальдийцы вели с королевскими войсками. Наконец шум начал спадать, стало тихо, и Александр понял, что неаполитанцы, укрывшиеся в замке, отдали город гарибальдийцам. Пренебрегая опасностью, он перебрался на берег. Улицы были завалены трупами проигравших сражение, на лицах победителей читалась смертельная усталость. Александр шел по городу, спрашивая каждого встречного, где находится командир. Наконец ему указали на человека, спящего у входа в

церковь. Действительно, Гарибальди, также сломленный усталостью, крепко сомкнув глаза и открыв рот, отсыпался здесь после победы. Прямо на земле рядом с ним стоял его ужин: краюха хлеба и кувшин с водой. Александр не посмел будить генерала, тихонько ушел.

Назавтра они встретились на «Turkery». Теперь взгляд у Гарибальди был живой и ясный, голос звучал уверенно. Расцеловав друга, он открыл ему кредит на сто тысяч франков, чтобы тот смог купить во Франции оружие, и посоветовал по возвращении в Италию основать газету. Дюма спросил, как же должна называться итальянская газета, которой будет руководить француз. Гарибальди снова взял в руки перо, при помощи которого только что передал в распоряжение Александра сто тысяч франков на вооружение «патриотов», и размашисто написал: «Газета, которую мой друг Дюма собирается выпускать в Палермо, будет носить прекрасное название „L'Indipendente“ („Независимый“) и тем более его заслужит, что для начала не пощадит меня, если я когда-нибудь уклонюсь от исполнения своего долга как сын народа и как человеколюбивый солдат».

Столь благородные речи могли лишь укрепить Александра в намерении служить Гарибальди, насколько хватит сил. К сожалению, муниципалитет Палермо из предусмотренных ста тысяч смог выдать ему только шестьдесят. Что поделаешь? Дюма заверил, что в ожидании, пока с ним окончательно расплатятся, сумеет как-нибудь все уладить, в крайнем случае – добавит недостающее из собственного кармана. Двадцать девятого июля он отплыл вместе с Эмилией на французском пароходе «Pausilippe».

Едва высадившись на берег в Марселе, Александр нежно простился с молодой женщиной, которая уезжала в Париж, где ей предстояло до родов оставаться под присмотром матери, и вздохнул свободнее: теперь он мог посвятить себя целиком делу революции, теперь его единственной заботой оставалась миссия, возложенная на него вождем борцов за независимость Италии.

Он купил тысячу ружей с нарезными стволами, пятьсот пятьдесят карабинов и патронов к ним, что обошлось ему в девяносто одну тысячу франков. Как Дюма и обещал жителям Палермо, тридцать одну недостающую тысячу он заплатил из собственных денег. Однако миссия миссией, но он не забывал, что в соответствии с распоряжениями Гарибальди, после того как товар будет доставлен на место, ему вернут сорок тысяч франков, то есть он получит вполне приличную прибыль в девять тысяч! Самые высокие идеалы, если им служить не только самоотверженно, но и умело, могут оказаться доходными.

В начале августа оружие погрузили на судно прямой связи «Mercey», а сам Александр вновь поплыл на «Pausilippe». Четырнадцатого августа он прибыл в Мессину, где вручил ружья и патроны помощнику Гарибальди и узнал о том, что Виктор-Эммануил II вызвал генерала в Турин и что молодой король, следуя совету своего министра Кавура, намерен препятствовать походу гарибальдийцев в Калабрию. Не ловушка ли это? Александр так тревожился за судьбу своего героя, что уже 16 августа распорядился сниматься с якоря и идти в Салерно. Вместе с ним на «Эмме» отправился брат Иоанн, капеллан Гарибальди: никогда не помешает иметь при себе священника, если предвидится сражение.

Стоянка в Салерно. Брат Иоанн сошел на берег, чтобы узнать новости, и вернулся сияющий, с радостным сообщением о том, что Неаполитанское королевство полностью разгромлено и что в городе счастье народа достигает степени помешательства. Александр немедленно велел достать из трюма бенгальские огни и трехцветные римские свечи. Его запасов вполне хватило бы на то, чтобы озарить фейерверками небо над всей Италией. Сотни лодок отошли от берега и направились к «Эмме», чтобы насладиться зрелищем. Треску петард и огненным всполохам отвечали восторженные крики зрителей, стоявших в лодках. Дюма и сам чувствовал себя ярко горящей ракетой. Скорее, скорее к Гарибальди, туда, на место решающего штурма! И «Эмма», покинув Салерно, направилась к северу.

Двадцатого августа, когда Дюма прибыл на борту своего судна в Неаполитанский залив, ему сообщили, что Гарибальди тем временем уже прошел через Мессинский пролив и высадился в Реджо. «Эмма» становилась все больше похожей на военный корабль. На случай всегда возможного ответного выступления королевских войск на ее палубе постоянно дежурили люди с заряженными ружьями. Каждый день сюда являлись добровольцы, желавшие пополнить собой ряды повстанцев.

Сознавая угрожающую ему опасность, Франциск II спешно установил конституционную монархию и объявил, что готов пойти на некоторые уступки, надеясь избежать худшего. Двадцать третьего августа 1860 года министр внутренних дел, его превосходительство Либорио Романо, явился на «Эмму» и начал переговоры с дерзким французом, которого считал посланцем Гарибальди. Речи Романо звучали вкрадчиво: он будет сражаться за конституционную монархию столько, сколько сможет, говорил министр, но, как только увидит, что все усилия бесполезны, перейдет на сторону Гарибальди и, если потребуется, призовет народ восстать против правителя, которого никто больше не

хочет. Стремясь убедить Дюма в том, что руководствуется самыми лучшими намерениями, Романо предложил ему и его друзьям покровительство каморры – объединения неаполитанских злоумышленников, превратившегося при Франциске II в тайную полицию, которая, смотря по необходимости, облагала данью, грабила, терроризировала или защищала «честных граждан». Дюма поверил двусмысленным заверениям министра и пообещал дать ему убежище на борту «Эммы» в случае опасности. На следующий день Александр получил портрет Романо со следующими словами: «Напишите под этим портретом: портрет труса, если я не сдержу своих обещаний».

Впервые в жизни Дюма чувствовал, что напрямую прикоснулся к Истории. И как странно, что возможность воздействовать на ход событий, которой у него никогда не было во Франции, если не считать эпизодического участия в парижских беспорядках в 1830 и 1848 годах, внезапно появилась у него в чужой стране! В России, слишком прочно стоящей для того, чтобы ее основы можно было поколебать, случая проявить себя в деле у него не было, зато распад Италии предоставил ему теперь неповторимую возможность попробовать себя в роли реформатора. А ведь, действуя таким образом, Александр сможет защитить не свободу одной своей родины, но свободу всех людей, изнывающих под гнетом несправедливых режимов! Отныне он будет не только французом, но и итальянцем, австрийцем, русским, смотря по обстоятельствам! Отныне его отечество не будет иметь границ! И он знал, он предчувствовал! Еще в прошлом месяце он в приливе восторга написал Гюго: «Вы слишком любите меня для того, чтобы оставаться в неведении о том, где я и чем занимаюсь. Я в Палермо, в Меларо, в Мессине – повсюду, где разыгрывается какой-то из актов великой драмы, финалом которой станет падение неаполитанского короля, римского папы, австрийского императора… Я начинаю выпускать газету, которую вы будете получать. Напишите мне о нынешних событиях: вы ведь знаете, какое впечатление произвела ваша речь!!!»

Вот так он отвечал Гюго, которого считал республиканской совестью Франции, – отвечал от имени мировой республиканской совести. Если забота Гюго не выходит за пределы Парижа, его, Александра, вниманием окутана вся планета. Он брат не только своим соотечественникам, но и неаполитанскому рыбаку, украинскому крестьянину, негру с Сан-Доминго. При таких условиях разве не заслуживает он такого же ореола филантропа, каким окружен великий отшельник с Гернси?

В ожидании признания своих политических талантов

Александр довольствовался тем, что с борта своего судна наблюдал в подзорную трубу за людьми, входившими в королевский дворец и выходившими оттуда. Укрывшийся в своей резиденции Франциск II, должно быть, с тревогой ждал последнего решительного выступления мятежников. Предвидя падение этого марионеточного правителя, Дюма торопил четырнадцать портных, которые, расположившись на палубе «Эммы», шили для гарибальдийцев красные рубашки: скорее, скорее, рубашки вот-вот понадобятся! Но король почему-то все еще не считал себя побежденным… Более того, узнав о двойной игре, которую вел его министр Романо, Франциск II в присутствии всех своих советников, какие у него оставались к этому времени, с негодованием воскликнул: «Господин Дюма помешал генералу Скотти прийти на помощь моим солдатам в Базиликате; господин Дюма произвел революцию в Салерно; затем господин Дюма прибыл в порт Неаполя, откуда засыпает город воззваниями, распределяет оружие и раздает красные рубашки. Я требую, чтобы господин Дюма лишился защиты своего флага и чтобы его заставили покинуть рейд!»

На этот раз угроза была настолько непосредственной, что Александр, опасаясь, как бы по его кораблю не начали стрелять из пушек и не взяли его на абордаж, 2 сентября приказал поднять якорь и снова направился к Мессине. Прибыв туда 8 сентября, он застал жителей города обезумевшими от радости, которую доставили им последние известия. Не дав Дюма и дух перевести, ему сообщили о бегстве Франциска II и триумфальном вступлении Гарибальди в Неаполь. Стало быть, надо немедленно туда возвращаться!

Команда послушно выполнила все необходимые маневры, и «Эмма», повернув на другой галс, устремилась в открытое море. Но ветер был неблагоприятный, и по приказу Гарибальди навстречу шхуне вышел пароход, который и привел ее в порт на буксире. Встреча Александра с новым хозяином города была достойна какой-нибудь пьесы Дюма. «А, вот и ты наконец! – воскликнул Неукротимый, театральным жестом раскрыв объятия навстречу Дюма. – Слава богу! Долго же ты заставил себя ждать!» (Гарибальди впервые обратился на «ты» к своему французскому другу.) Александр, прослезившись, пал ему на грудь. Позже он скажет, что это был самый прекрасный день в его жизни. А ведь таких дней у него было немало! Но, правду сказать, объятия Гарибальди в его глазах значили куда больше, чем все аплодисменты всех французских зрителей вместе взятых…

Четырнадцатого сентября 1860 года Александр Дюма указом Гарибальди был назначен управляющим музеями и раскопками

области, в его распоряжение была предоставлена служебная квартира во дворце Кьятамоне. В своих мечтах писатель никогда не поднимался выше того, чтобы войти в историю литературы, – и вот теперь он вступает в мировую Историю! Какое возвышение! Сияя от счастья, переполненный радостью, Дюма на следующий же день пишет своему другу Ван Лоо: «Вот вам словечко на бегу. Я в Неаполе с Гарибальди. Живу в прелестном маленьком дворце на берегу моря. В моем распоряжении – и это заставляет меня сожалеть о том, что вас нет со мной, – все охотничьи угодья Франциска II. Но до сих пор мне лень было подстрелить даже какого-нибудь фазана. Будьте здоровы, друг мой. Газеты расскажут вам о моих политических новостях».

Глава VI
Последние улыбки Италии

Медовый месяц Дюма с неаполитанцами продлился недолго. Всего несколько дней спустя после того, как он обосновался во дворце Кьятамоне, на его счет по городу поползли неприятные слухи. Местные жители сочли оскорбительным для итальянского народа то, что должность управляющего музеями и руководителя раскопок возложена на иностранца, чужака обвиняли в том, что он ради собственного удовольствия истребляет дичь в прежних королевских охотничьих угодьях, что растрачивает деньги муниципалитета на оргии, и даже в том, что он будто бы наполняет собственные карманы, обирая бедных. Все это была ложь от первого до последнего слова, но слухи могли достичь ушей Гарибальди, который к тому времени был уже далеко – он продолжал свое дело завоевания и освобождения страны к северу от Неаполя. Лишившийся своего покровителя, Александр хотел по крайней мере начать издание революционной газеты «L'Indipendente», как было условлено, и напечатать исторический труд собственного сочинения, «Неаполь и его окрестности», в национальной типографии. Он написал Гарибальди, который по-прежнему был в походе, и, не получив ответа, возобновил свое ходатайство 7 октября 1860 года: «Когда я говорю о том, что *вы обо мне забыли*, *я* говорю вам: *вы забываете самого себя*. Зачем мне стремиться к власти – она нужна мне лишь для того, чтобы помогать вам!»

Однако ответа все не было; впрочем, у Гарибальди были очень серьезные причины не отвечать. Пока Александр осыпал его упреками, жалобами, наставлениями и призывами, король Виктор-Эммануил II, встревоженный разрушительными помыслами Гарибальди, обратился за поддержкой к Франции и добивался от Наполеона III, чтобы тот прислал в Италию свои войска. Наполеон III не преминул исполнить просьбу. Французы заняли папские государства и объявили, что готовы восстановить порядок на всем полуострове. Одним словом, Италия более не нуждалась в Гарибальди. Признавая его заслуги перед родиной, ему тем не менее предлагали покинуть политическую арену. К тому же всенародное голосование только что утвердило присоединение Южной Италии к королевству Пьемонт, и Франциск II был изгнан. Гарибальди, в свою очередь, сложил оружие и признал новый монархический мир. Седьмого ноября он принял Виктора-Эммануила II в Неаполе, высокомерно отверг

предложенные ему официальные почести вместе с пенсией и предпочел стать изгнанником в собственной стране. Вскоре Александр, с бессильной яростью в сердце, стоял среди безутешной толпы, провожавшей героя, который отплыл 9 ноября на «Вашингтоне» по направлению к острову Капрера.

Вскоре Дюма, опечаленного потерей друга, постигла еще одна утрата, и на этот раз ему пришлось проститься с любовью: Эмма Маннури-Лакур скончалась в Кане 26 ноября 1860 года. Конечно, Александр не питал бессмысленных надежд и давно готовился к смерти подруги, но, получив скорбную весть, он внезапно почувствовал, что словно овдовел, потерял свою единственную «истинную жену». «Три четверти моего сердца, если не все мое сердце, умерли вместе с ней», – скажет он тогда.

К счастью, не прошло и месяца, как горечь этой утраты уступила место радости, вызванной известием о рождении нового его дитяти. Двадцать четвертого декабря 1860 года Эмилия произвела на свет девочку, которую назвали Микаэла-Клелия-Жозефа-Элизабет. Известие об этом несколько излишнем подарке судьбы Дюма получил в первый день нового, 1861 года. Странное семейное положение, подумал он. Его тридцатишестилетний сын только что сам стал отцом внебрачной дочери, которую родила ему княгиня Надежда Нарышкина; девочку назвали Мари Александрина Генриетта, по-домашнему – Колетта. Его собственная старшая дочь, которой было к этому времени уже под тридцать, постоянно ссорилась с мужем, одна семейная сцена в ее доме сменяла другую, Мари кашляла кровью и горевала из-за своего бесплодия, – беда, да и только! Сам же он, отец этих двух взрослых детей, по милости одного из них ставший дедом, только что вновь дерзко изведал радость отцовства. Облагодетельствованный таким образом природой, он напишет Эмилии 1 января 1861 года: «Ты же знаешь, моя дорогая малышка, что я больше хотел девочку. И сейчас объясню тебе, почему. Я больше люблю Александра, чем Мари. Ее я вижу едва ли раз в году, а Александра могу видеть столько, сколько пожелаю. Стало быть, всю любовь, какую я мог бы питать к Мари, я перенесу на мою дорогую крошку Микаэлу! Так и вижу малышку лежащей рядом с ее милой мамочкой, которой я запрещаю вставать с постели и выходить из дома до моего приезда. Я все устрою так, чтобы быть в Париже к 12 [января]. Как бы сильно мне этого ни хотелось, раньше я оказаться там не смогу. […] За последний час мое сердце расширилось, чтобы вместить новую любовь. Если ты не хочешь в первые месяцы расставаться с нашей девочкой, мы снимем маленький домик на Искии, там самый лучший воздух, и это самый красивый остров

вблизи Неаполя, и там я смогу проводить с вами два или три дня в неделю. Словом, можешь положиться на меня, я сумею любить и ребенка, и мать как должно».

Однако вскоре выясняется, что, хотя он и обещает молодой женщине приехать в Париж, чтобы обнять ее, он вовсе не намерен окончательно уезжать из Неаполя. Дело в том, что, несмотря на отъезд Гарибальди, Александр по-прежнему жил во дворце Кьятамоне, роскошь, комфорт и многочисленная прислуга которого удовлетворяли его склонность к пышности и изобилию. Дворец стоял на берегу залива. Глядя из окна, Александр видел море за обширной площадкой с дубовыми рощами, зарослями жасмина и аллеями, окаймленными разноцветными олеандрами. «Разве можно найти что-нибудь более восхитительное, – пишет он, – чем в утренние и вечерние часы дышать морским бризом на этой площадке, откуда открывается самый прекрасный вид на всем свете!» Редакция газеты «L'Indipendente» помещалась здесь же, во дворце. Дюма во что бы то ни стало, порой даже на собственные средства, хотел продолжать издание этой газеты, посвященной прославлению Гарибальди. И все же ему случалось, когда он писал статьи о единстве Италии, отчасти почувствовать себя современным Дон Кихотом, воюющим с ветряными мельницами. И настал день, когда, устав сражаться в одиночку и подумав о своих семейных обязанностях, он решил временно передоверить руководство изданием постоянным сотрудникам, поставив во главе их своего секретаря Адольфа Гужона. Самые прекрасные мечты когда-нибудь кончаются, вздохнул он и принялся безрадостно складывать чемоданы.

По пути в Париж Александр-старший встретился с Александром-младшим – тот как раз собрался в Неаполь, полагая увидеться там с отцом. Дюма предложил сыну в его отсутствие поселиться в королевских покоях, которые занимал благодаря своей должности, и заверил, что очень скоро вернется.

И вот наконец он стоит у изголовья сияющей молодой матери и видит младенца. Надо же на старости лет получить такой подарок – он и надеяться не мог! Растроганный видом прелестной новорожденной, Дюма говорит Эмилии, что никогда в жизни не был так счастлив, клянется до самой своей смерти заботиться о ней и о девочке. Однако ни он, ни она пока даже и не думают признавать Микаэлу официально. Торопиться некуда, решили они, успеем подумать об этом через несколько лет…

Понянчив несколько дней малышку, поворковав с матерью над колыбелькой дочери, Александр снова отправился в Италию, где он был необходим стольким людям.

Шестого февраля он отплыл из Марселя и уже на следующий

день встретился в Неаполе со своим «большим мальчиком», который ждал его с нетерпением. Отец радостно предвкушал, как станет рассказывать о своих итальянских приключениях – как приятно, думал он, поговорить об этом с человеком, способным оценить всю соль истории. Однако он не замедлил увидеть, что сын озабочен, ворчлив, встревожен, что, вполне может быть, его можно даже не без оснований назвать ипохондриком. Из двух Александров именно старшему пришлось поднимать настроение младшему, подбадривать его. Но в чем же дело? Ведь, похоже, автору «Дамы с камелиями» все удавалось, все у него складывалось как нельзя лучше. Разве не прошел только что с большим успехом в театре Жимназ его «Блудный отец»? Ах, если бы «старый» Дюма мог надеяться на нечто подобное со своими последними творениями! Однако ему теперь не только не предлагали контрактов ни парижские газеты, ни парижские издатели, но и «L'Indipendente» приносила одни убытки. Восемнадцатого мая 1861 года Дюма пришлось прекратить издание газеты. Какое-то время он подумывал о том, чтобы сделаться акционером фабрики гравировки по стеклу, потом отказался от этой сомнительной причуды и с тех пор, праздный и нерешительный, переживал измену фортуны, покинувшей его в зрелых годах после того, как столь блистательно всегда помогала ему в молодости.

Прошло немного времени – меланхолия овладела и Дюма-старшим. Неудачи так и сыпались на его голову, и в смятении Дюма принялся искать виновников обрушившейся на него несправедливости. Один обнаружился сразу.

Как-то в разговоре сын предложил ему возобновить работу с прежним «сообщником», Огюстом Маке. Но нет, Дюма и думать не хотел о возможности примирения с ним! И едва «Александр-младший» уехал в Париж, «Александр-старший» послал ему вдогонку письмо с объяснением причин столь упорной своей обиды на соавтора и с доказательствами того, что ему есть на что пожаловаться: «Маке – человек, с которым я больше не могу вступать ни в какие отношения. Маке, на одном доверии, с тем чтобы он передал мне деньги из рук в руки, получивший треть гонорара за „Гамлета“, к которому он не имел никакого отношения, но оставивший деньги себе, Маке, который оставил себе еще и две трети за „Мушкетеров“ [речь идет о возобновлениях]… В моих глазах Маке – вор!»

В прежние времена Александр не придал бы ни малейшего значения этой возможности получить деньги, которой лишил его Маке. Сегодня он раздул из этого целую историю. Все теперь ранило его, оскорбляло, возмущало. Мир казался ему населенным

ложными братьями, поддельными писателями и вообще всевозможными лицемерами, двурушниками и предателями. И в этом отношении Франция была ничем не лучше Италии. Мало того! Можно подумать, ему не хватало забот с газетчиками, издателями и соавторами, – теперь ко всему этому прибавились еще и семейные сложности. Мари звала его на помощь. Муж дочери, вспыльчивый, неуравновешенный человек, выставлявший напоказ все свои чувства, сделал ее жизнь невыносимой. Окончательно сломленная, не в силах ему сопротивляться, она хотела укрыться в монастыре и начала процесс, добиваясь решения о раздельном проживании супругов. Дело разбиралось в суде Шатору. Мари рассчитывала на отца и единокровного брата, надеялась на то, что они поддержат ее, помогут справиться с тягостным испытанием. Оба Александра и в самом деле поспешили к ней на помощь. Но, несмотря на все их усилия, несмотря на все старания адвоката, иск был отклонен. Мари снова обратится в суд в следующем году, но этого еще так долго ждать…

Дюма снова уехал в Италию. Хоть он и ненавидел, по его же словам, Неаполь, жить без Неаполя уже не мог. Не обращая внимания ни на какие пересуды, Александр упорствовал в своем убеждении, что именно здесь – идеальное место для того, чтобы отстаивать единство Италии. К кому бы он ни обращался, к итальянцам или французам, речи его были все те же. Так, уступив права на «Монте-Кристо» некоему Кальве, ставшему владельцем-редактором газеты, выходившей теперь два раза в месяц, он продолжал снабжать издание статьями о положении в Неаполе, под заглавием «Одиссея 1860 года» им была изложена эпопея гарибальдийской тысячи. Может быть, именно воинственные интонации льстеца-француза побудили Гарибальди вновь начать битву? Как бы то ни было, в июне 1862 года «генерал» попытался захватить Трентино-Альто-Адидже, затем, когда попытка провалилась, высадился в Калабрии со своими добровольцами, и здесь войска Виктора-Эммануила II без труда покончили с этим его безнадежным предприятием. Раненый Гарибальди был брошен в тюрьму в Аспромонте, и единственной радостью, какую принесло ему возвращение на политическую и военную арену, была моральная поддержка, которую оказывал гарибальдийцам Дюма своими статьями в «L’Indipendente» и в «Монте-Кристо». До самого окончательного поражения героя Александр не переставал воспевать его храбрость, мужество и величие души. А продолжая прославлять этого великолепного побежденного, неустанно обличал упадок, в который пришел Неаполь, город, где царили нищета и разбой.

Эти обвинения против каморры, грозного объединения, занятого воровством, вымогательством и убийствами, каморры, которую власть, со временем становившаяся все более продажной, не в силах была усмирить и подчинить себе, в конце концов начали раздражать итальянцев. Они не могли стерпеть, чтобы какой-то французишка критиковал их и намеревался устроить их счастье помимо их воли. На стол «поборника справедливости» стали ложиться письма с угрозами; местная пресса язвительно высмеивала самоуверенность и дерзость чужестранца, вздумавшего всех поучать. Дюма чувствовал, что слуги, большая часть которых была подкуплена каморрой, за ним следят. Наконец под предлогом того, что Александра необходимо охранять, муниципалитет поставил у входа во дворец Кьятамоне вооруженных часовых.

Однажды, когда у Александра был в гостях его соотечественник Максим Дю Кан, проездом оказавшийся в Неаполе, под окнами дворца раздались полные ненависти крики: «Дюма, убирайся прочь! Дюма, в море!» По словам Максима Дю Кана, там собрались сотни три человек, «впереди которых выступали большой барабан, китайская шляпа и итальянский флаг». Полиция разгоняла толпу, но делала это с какой-то странной снисходительностью. Может быть, она сочувствовала демонстрантам? Дю Кан отправился узнавать новости. Вернувшись, он увидел, что Дюма сидит сгорбившись, закрыв лицо руками. Тронул писателя за плечо. Александр поднял на него полные слез глаза и прошептал: «Я привык к неблагодарности Франции, но не ожидал неблагодарности от Италии!»[99]

Несмотря даже и на это предупреждение, Дюма продолжал упорствовать в намерении отдать все силы освобождению угнетенных народов – независимо от того, каковы их географическое положение или истоки цивилизации. Как раз тогда, когда Италия принялась доказывать, как ей хочется от него избавиться, он заметил несчастья Албании, Фессалии, Эпира, Македонии, изнемогающих под турецким гнетом… И вот греко-албанская хунта под предводительством князя Георга Кастриоти Скандербега обращается к нему с письмом, которое поначалу привело его в восторг: «Сударь, вы можете сделать для Афин и Константинополя то, что совершили для Палермо и Неаполя. Выдвинувшийся вперед часовой возрождающихся народов, вы удвоите ваши силы в день, когда начнется последняя битва христианства против Корана. Сударь, национальная реформа, во главе которой не стоит гений, подобный вам, чтобы направлять помыслы толпы, подобна локомотиву, пущенному без

машиниста». Как можно устоять перед столь благородным предложением и столь настойчивой просьбой?

Испытывавший непреодолимую потребность посвятить себя великому делу, Александр почувствовал, что в его душе албанцы и греки уже вытесняют и заменяют собой итальянцев. Он без промедления известил хунту о том, что предоставляет в ее распоряжение свою шхуну «Эмма» и что добьется кредита у парижских оружейников, которые его знают и доверяют ему. И вот он уже готов выступить в новый крестовый поход. Держитесь, мусульмане! «Для начала мы изгоним турок из четырех порабощенных провинций, – пишет Дюма Женни Фалькон в октябре 1862 года, – затем станем гнать их до самого Константинополя, а возможно, и столкнем в Босфор». Он был настолько уверен в том, что доведет до победного конца эту героическую битву креста против полумесяца, что пообещал Эмилю де Жирардену изо дня в день присылать в «La Presse» репортажи о ней. Несмотря на то что замысел очередной священной войны казался ему преждевременным, Жирарден согласился, предложив семьдесят пять франков за статью независимо от ее размера! Начиная с 4 января 1865 года тексты, написанные в Неаполе, стали поступать бесперебойно, однако, поскольку военные действия еще не начались, речь в них шла лишь о нищете, лени и пороках неаполитанцев. Для того чтобы напрямую связаться с греко-албанской хунтой, Александр отправил в Лондон молодого сицилийца по фамилии Прима. Ему было поручено обсудить с князем Скандербегом условия, на которых повстанцам будет оказана помощь. Албанское восстание было намечено на лето того же года. Для того чтобы перейти к боевым действиям, хунте требовалось десять тысяч франков. В благодарность за эту финансовую поддержку Дюма было предложено генеральское звание. Воспоминание об отце, таком красивом в своем генеральском мундире, едва не заставило Александра согласиться, однако он устоял, опасаясь колкостей в парижских газетах, всегда готовых высмеять любые блестящие начинания. Но тем не менее написал сыну: «Тебе не хотелось бы принять участие в албанской кампании? Могу предложить место моего адъютанта». Потом все же образумился и ответил хунте, что удовольствуется должностью, более соответствующей его возрасту, а именно – суперинтенданта военных складов христианской армии Востока. Само собой разумеется, он станет вместе с тем и историографом этого нового крестового похода, имеющего целью отвоевать христианские земли у неверных, и соберет средства, необходимые для успешного его завершения. В ожидании ответа Дюма поручил сыну осведомиться у парижских

оружейников о возможности крупных закупок товара по самым низким ценам.

Но как-то утром неаполитанская полиция вызвала его для того, чтобы передать срочное сообщение. И он услышал, что псевдокнязь Скандербег, организатор албанского восстания, на самом деле – всего лишь мошенник и рецидивист. Его королевское высочество скрылись, прихватив с собой казну. Албанская мечта растаяла в лондонском тумане… Одураченный, расстроенный и уязвленный, Александр уже не знал, возмутиться ли ему мошенническими проделками князя или посмеяться над собственной доверчивостью. «Влипли по уши! Как дурачки!» – заключил он. На самом же деле Дюма проиграл по всем статьям. Он жаждал прославлять Гарибальди, но «Неукротимый» оказался за решеткой; он желал освободить Италию, но везде торжествовала каморра, а королевская власть не могла скрыть своей слабости; он захотел изгнать турок из Албании и Греции, но герой оказался мошенником, а его самого гнали прочь из Неаполя.

Единственным своим утешением в этой цепи разочарований он был обязан женщине, а его утешительницей стала Фанни Гордоза, великолепное сопрано, певица с золотым голосом и трепетными нервами. Уж не сделался ли он меломаном? Каждый раз, слыша, как Фанни поет на сцене, он мечтал о том, что услышит, как она ночью стонет в его объятиях. И чудо произошло. В шестьдесят один год Александр вновь оказался счастливым любовником. Если Фанни согласится последовать за ним в Париж, он без колебаний покинет Неаполь, где ему поначалу льстили, где его расхваливали и заискивали перед ним, а теперь всякий за ним шпионит и его грабит.

Фанни не отказала ему, и он, уверенный, что все без исключения ему что-нибудь должны, тотчас обратился к сыну с просьбой собрать от его имени как можно больше денег с парижских издателей и редакторов газет. Сам же, в предвкушении грядущих перемен, усердно работал над длинным романом «Сан-Феличе», который рассчитывал продать Эмилю де Жирардену.

Из грандиозных планов ничего не выходило. Александр-младший попытался договориться о нескольких инсценировках романов Дюма-отца: «Жозеф Бальзамо», «Сорок пять», «Паж герцога Савойского»… Тщетно! В чем была причина неудачи? «Мальчик» ли не сумел взяться за дело – или же директора театров утратили доверие к автору «Трех мушкетеров»? Как бы то ни было, разочарованный Дюма решил, что из этих переговоров не последует ничего определенного до тех пор, пока он не сдвинется с места и не начнет сам улаживать свои дела.

Но небольшая интермедия, впрочем, оказавшаяся скорее приятной, помешала ему немедленно привести в исполнение свои намерения: Эмилия с маленькой дочкой приехала в Неаполь. Их появление его растрогало. Дюма повез обеих в Швейцарию. Ради этой туристической поездки Эмилия вновь – у нее это обратилось уже в какую-то манию, хотя и довольно невинную! – переоделась в мужской костюм, приняв обличье юноши. Впрочем, этот маскарад нисколько не мешал малышке Микаэле, которой к тому времени исполнилось два года, называть «юношу» мамочкой. Что же касается самой Эмилии, она охотно звала «папочкой» своего импозантного покровителя, а тот уже не понимал, умиляться ему или обижаться.

За неделю странствующая семья побывала на озере Четырех Кантонов, в Люцерне, на озере Бриенц, в Интерлакене, Берне, на водопадах Рейна, в Шаффхаузе… Дюма до тошноты объелся швейцарскими красотами. Может быть, подобного рода поездки ему уже не по возрасту? Да и Эмилия начала его немного раздражать своими восторженными повизгиваниями и ужимками влюбленной девочки. Ох, слишком уж долго он ею любуется, ему необходимы перемены, неожиданности, что-то яркое, сверкающее! Пылкая и роскошная Фанни Гордоза уже вытеснила из его мыслей чересчур хорошенькую мамочку Микаэлы. Возвращаясь в Неаполь с Эмилией и ее малышкой, Александр мечтал лишь об одном – как-нибудь поскорее их спровадить. И, едва они скрылись из виду, тотчас стал готовиться к переезду в Париж вместе с той, кого он уже считал своей главной и окончательной возлюбленной.

Он был уверен в том, что, появляясь об руку с ним в салонах, Фанни пленит всех своей резвостью, своим пламенным взглядом и переливами божественного голоса. Они станут самой знаменитой и желанной парой во всем Париже. Их две славы сольются в одну.

Дюма без сожалений простился с сотрудниками «L’Indipendente», которым предстояло продолжать сражение за истину под руководством Адольфа Гужона. Что касается его собственной журналистской деятельности в Париже, то он договорился о сотрудничестве с новым печатным изданием, основанным Моисеем Полидором Мийо и носившим название «Маленькой газеты» («Le Petit Journal»). Руководство ее заверило Александра в том, что в редакции он будет как дома, а расплачиваться с ним станут немедленно и полностью. Обеспечив таким образом свои тылы, 6 марта 1864 года он отплыл вместе с Фанни Гордоза на «Pausilippe».

Дюма надеялся на триумфальное «возвращение из изгнания»,

ждал шумных приветствий, но, когда он вновь появился в Париже, первые аплодисменты сограждан, которые он услышал, были адресованы не ему, а его сыну. Двенадцатого апреля 1864 года Александр-старший с сумрачной гордостью внимал успеху комедии в пяти актах «Друг женщин», написанной «малышом». Сидя в глубине своей ложи рядом с великолепно одетой Фанни Гордоза, он улыбался направо и налево, едва сдерживая досаду. Конечно, благосклонности публики хватит на обоих Дюма, однако это соперничество в конце концов начинало его утомлять. Когда же французы наконец заметят, что он вернулся на родину, что он по-прежнему талантлив и что его могучая старость заслуживает похвал настолько же, если не больше, насколько заслуживает их дерзкая молодость второго Александра?

Глава VII
Огни гаснут

Еще находясь в Италии, Александр возлагал свои надежды на тот огромный роман «Сан-Феличе», первые главы которого представлялись ему блестящим опровержением слов всех, кто говорил, что его творческое воображение истощилось. Уже в январе 1864 года он с нескрываемой гордостью написал об этом сыну, чтобы подготовить того к великому событию, и даже признался в своем письме, что, нарушив все свои привычки, перечитал и переписал собственный текст, чтобы исправить в нем ошибки: «Я попросту, подобно Атласу, несу на себе целый мир, но у Атласа было оправдание – ему взвалили этот мир на спину, я же взвалил его на себя сам. Скажи Готье, что я делаю для него, и только для него одного, то, чего никогда ни для кого не делал: я переписываю свой текст, чтобы он остался доволен стилем, – то есть вместо того чтобы зарабатывать по триста франков в день, зарабатываю всего по сто пятьдесят. […] Скажи еще двум его милым девочкам, что если я ради их отца работаю над стилем, то красочность и любовь вкладываю в книгу только ради них».

Несомненно, «красочности» и «любви» в этом чудесном романе, где переплетались страсть нежной Сан-Феличе и революционера Пальмиери, страсть королевы Мари-Каролины и Актона, страсть Эммы Лионна и адмирала Нельсона, было предостаточно, но все-таки и здесь стук сердец заглушался бряцанием оружия.

Действие романа разворачивается во время завоевания Неаполя войсками Бонапарта. Дюма хорошо знал и эти места, и это время и говорил о них с околдовывающей читателя пылкостью. Едва вышел из печати первый том «Сан-Феличе», парижские друзья принялись осыпать автора неумеренными комплиментами, и Александр возликовал. «Вот уже шесть лет как я ничего не делал ни для газет, ни для Французского театра, – пишет он Арсену Уссе, – и в течение этих шести лет не появлялось произведений такого высокого уровня. Эту книгу я считаю серьезной: в ней показана целая эпоха, в ней показаны все – от короля до разбойника, от кардинала до простого монаха. И над всем этим будет парить республиканская Франция, спокойная, честная, поэтическая, воплощенная в двух личностях – Шампьонне и Макдональде. Совершенно не следует тревожиться из-за глав, которые могут показаться вам эпизодическими: в романе из трех миллионов букв надо позволить автору

определенно представить персонажей. Так, мне потребовалась целая глава для того, чтобы описать Маммоне, две главы – для Фра Пасифико, три главы – для Фра Дьяволо, но развитие характеров моих персонажей будет соответствовать обширности постамента. […] Хочется создать истинно художественное произведение».

Хвалебные письма, которые Александр получал от читателей «Сан-Феличе», он неизменно показывал Фанни Гордоза в надежде и этим тоже поддерживать ее пылкость. Что же, собственно, привлекало его в этой незаурядной женщине? Близкие описывают ее как особу, несомненно, красивую, хотя чрезмерно смуглую и черноволосую, но при этом несговорчивую и неуживчивую, с колючим характером. Фанни в равной мере искала ссор и жаждала примирений. Ее объятия были едва ли не истерическими. Должно быть, Александру нравилось укрощать эту строптивую красавицу, как хорошему всаднику нравится обуздывать дикую лошадку. Рассказывали, что бывший муж утомительной Фанни, австрийский барон, с трудом терпел ее вулканический темперамент: чтобы хоть немного унять пыл неугомонной супруги, он обертывал ей поясницу полотенцами, пропитанными холодной водой. А вот Александр без всякого труда приспосабливался к требованиям своей дамы! Это ли не свидетельство его преимуществ перед другими!

Поначалу они поселились в квартире, снятой со всей обстановкой в доме 112 по улице Ришелье, том самом доме, где помещались редакции группы газет, затем, в мае 1864 года, чета перебралась на виллу Катина, стоявшую на берегу озера в Энгиене. Вскоре это их скромное жилище превратилось в настоящий храм музыки. Гордоза то и дело приглашала туда без разбора учителей пения, преподавателей игры на фортепиано, аккомпаниаторов, любителей бельканто и… всевозможных прихлебателей, которые млели от восторга, слушая, как заливается соловьем хозяйка дома. Некоторые оставались обедать или ужинать, никогда заранее не было известно, сколько гостей будет за столом, прислуга на это жаловалась, синьора Гордоза, возмущенная дерзостью персонала, выгоняла одного повара за другим, и Дюма ничего не оставалось, кроме как самому, посмеиваясь, встать к плите.

Терпение, с которым он относился к выходкам подруги, изумляло тех, кто знал его вспыльчивый, резкий нрав. Неужели новой даме сердца удалось подпилить ему зубы и когти? Фанни ревниво следила за тем, чтобы преградить вход в свои владения всякой женщине, какую могла заподозрить в том, что та имеет виды на ее любовника. Однажды давняя подруга Александра,

Матильда Шоу, позвонила у дверей его дома. Ей открыла горничная, выглядевшая смущенной и растерянной. Матильда не успела и рта раскрыть, чтобы сказать о цели своего посещения, как неизвестно откуда раздался громкий женский голос. «Это женщина? – вопила невидимка с сильным итальянским акцентом. – Скажите ей, что господин Дюма болен, и пусть она убирается!» А когда Матильда Шоу попросила все-таки более подробных сведений о здоровье хозяина дома, в прихожую ворвалась растрепанная черноволосая фурия, едва прикрытая облаком белого муслина; при виде гостьи она разоралась еще громче: «Я хочу, чтобы вы оставили в покое господина Дюма, потому что бедняжка болен и ему совершенно незачем видеть других женщин! Мое имя – Гордоза!» Оторопевшая Матильда Шоу все еще продолжала надеяться, что Александр, выйдя, в свою очередь, в прихожую, заставит эту разбушевавшуюся ведьму замолчать, однако он и не подумал навести порядок, и Матильде пришлось уйти, чувствуя себя так, словно явилась непрошеной гостьей, а то и самозванкой.

Дюма, на удивление терпимый и снисходительный по отношению к этому нетерпимому созданию, куда меньше снисходительности проявлял к своей прежней любовнице – Эмилии. Впрочем, удивляться тут нечему. Как только женщина утрачивала в его глазах физическую привлекательность, он тотчас открывал в ней те недостатки характера, которые ему следовало бы заметить в самом начале их связи. Бедняжку Эмилию он даже упрекнул в том, что так долго заблуждался на ее счет. Но Эмилия оказалась не такой уж кроткой. Убедившись в непостоянстве Александра, она приперла «папочку» к стенке: хватит ей терпеть его вечное порхание от одного цветка к другому, надоело, если он на ней не женится, она от него уйдет и заберет с собой дочь! А Дюма так привязался к маленькой Микаэле, которой шел четвертый год… Он хотел и готов был расстаться с матерью, но не с девочкой, а потому предложил заключить соглашение: до тех пор, пока Эмилия будет жить в Париже, «малютка» станет проводить полгода с матерью, полгода с ним; если же Эмилия покинет Францию, Микаэла останется с ним, но мать сохранит за собой право в любое время с ней видеться. Александр рассказал об этом предложении господину Кордье, отцу Эмилии. «Я думаю, что рассуждаю здраво, предлагая такие условия, – писал он, – и предлагаю вам, в отсутствие Эмилии, поговорить об этом с госпожой Кордье [матерью Эмилии]. Малютка очень меня любит и не должна страдать из-за тех жизненных обстоятельств, которые могут разлучить нас, Эмилию и меня».

Но Эмилия закусила удила и слушать ничего не желала. Чтобы помешать Дюма отнять у нее дочь, она официально ее признала. Александр бросил мать Микаэлы, заявила Эмилия, а потому не имеет никаких прав на ребенка, которого сделал, возможно, думая при этом о другой женщине. Непримиримая родительница восстала против самца, намеревавшегося отнять у нее ту, что была ей дороже всего на свете. И Дюма уступил – то ли по доброте, то ли попросту от усталости. Что верно, то верно – в это время у него было немало и других забот. Надо было ублажать ненасытную Фанни, заканчивать работу над «Сан-Феличе», переделывать для театра объемистых «Парижских могикан»…

В июле 1864 года начались репетиции. Однако цензура не дремала. Пьеса была запрещена из-за «чрезмерно либеральных намеков». Дюма заранее подготовил ответный ход: с одной стороны, он попросил потихоньку вмешаться своих друзей и покровителей – Наполеона Жозефа и принцессу Матильду; с другой стороны, он сделал достоянием читающей публики письмо, написанное им 10 августа 1864 года Наполеону III.

«Ваше Величество, – говорилось в этом письме, – в 1830 году французскую литературу возглавляли три человека, которые и сегодня стоят во главе ее. Эти три человека – Виктор Гюго, Ламартин и я. Виктор Гюго изгнан из страны, Ламартин разорен. Меня нельзя отправить в ссылку, как отправили Гюго: ни в моих сочинениях, ни в моих словах, ни в моей жизни нет ничего такого, что дало бы повод для изгнания, – но меня можно разорить, как разорили Ламартина, и меня в самом деле разоряют. Не знаю, почему цензура настроена по отношению ко мне так недоброжелательно. Я написал и опубликовал тысячу двести томов. Не мне оценивать их с литературной точки зрения. Переведенные на все языки, они разошлись так далеко, как только смог унести их пар. И хотя из троих вышепоименованных я являюсь наименее достойным, эти тысяча двести томов сделали меня из нас троих наиболее известным во всех пяти частях света, может быть, потому, что один из нас – мыслитель, другой – мечтатель, а я сам – всего-навсего популяризатор. Из этих тысячи двухсот томов нет ни одного, который нельзя было бы дать прочесть рабочему из предместья Сент-Антуан, наиболее республиканского, наиболее целомудренного из наших предместий. И при этом, Ваше Величество, в глазах цензуры я – самый безнравственный человек на свете!»

Составив для его величества список всех тех своих произведений – одно другого безобиднее и невиннее, – на которые обрушился гнев цензуры, Дюма заключает: «Сегодня

цензура запретила „Парижских могикан“, которых должны были играть в следующую субботу. Она, вероятно, запретит под более или менее благовидными предлогами также и „Олимпию Клевскую“, и „Жозефа Бальзамо“, над которыми я работаю в настоящее время. […] Потому я в первый и, возможно, в последний раз обращаюсь за помощью к правителю, чью руку я имел честь пожимать в Арененберге, Гаме и Елисейском дворце и который, неизменно видя меня самоотверженным прозелитом на пути к изгнанию и к тюрьме, ни разу не встречал меня просителем на пути Империи».

Письмо, подкрепленное хлопотами Наполеона Жозефа и принцессы Матильды, возымело желаемое действие. Для Дюма все ограничилось несколькими сделанными наспех купюрами, «Парижские могикане» увидели свет рампы и имели большой успех.

Однажды, внезапно войдя в театре в ложу, где сидел Александр, Фанни застала его воркующим с юной актрисой, позы обоих показались ей весьма вольными. Певица раскричалась, осыпала виновных проклятиями, пригрозила разрушить все кругом, позвать в ложу рабочих сцены и даже зрителей… Дюма поспешно привел в порядок свою одежду и воскликнул: «Уберите от меня эту помешанную! Похоже, она со вчерашнего дня постится, и ей нестерпимо видеть, как другие садятся за стол!» Вечером на вилле Катина ярость Фанни вспыхнула вновь. На глазах у любовника, тщетно пытавшегося ее утихомирить, она расшвыривала стулья и била посуду. Поняв наконец, что имеет дело с неуравновешенным человеком, а то и впрямь с помешанной, Александр, когда все возможные аргументы оказались исчерпаны, схватил хрустальный графин и разбил его «в непосредственной близости от плеч дамы». Этот резкий жест внезапно даму отрезвил. Ее гнев перешел в злобную покорность. Сначала она падала в обморок, принималась рыдать, но в конце концов согласилась покинуть дом, не забыв перед тем обшарить все ящики и прихватить с собой все деньги, какие там были. Когда дверь за Фанни закрылась, Дюма решил, что все-таки отделался от нее с наименьшими потерями.

Чтобы немного развеяться, он собрался в Марсель, где должны были ставить «Могикан», а впоследствии подумывал отправиться в Соединенные Штаты, чтобы читать там лекции о Гарибальди. А пока, чтобы на период обдумывания путешествий сменить обстановку, перебрался на другую квартиру и поселился на первом этаже дома 70 по улице Сен-Лазар.[100] Мари, покинувшая сестер из монастыря Успения Пресвятой Богородицы, вернулась к отцу и стала снова жить с ним. Александр был очень

рад совместной жизни с дочерью, хотя поведение молодой женщины и казалось ему порой странным. Она любила теперь наряжаться кельтской жрицей, надевала на голову венок из омелы, подвешивала к поясу серп и целые часы с восторженным лицом стояла за мольбертом, рисуя серафимов и архангелов. Ей явно не требовалось присутствия рядом другого мужчины, кроме отца. Александра это удивляло. Ему казалось немыслимым, чтобы у женщины тридцати трех лет не было никаких сексуальных потребностей, сам-то ведь он, в свои шестьдесят два, не мог увидеть ни единой хорошенькой мордашки без того, чтобы тотчас не размечтаться о любовной гимнастике.

Одна из картин Мари, носившая длинное название «Литании Святого Имени Иисуса и Пресвятой Девы, произносимые святыми», была выставлена на Салоне 1864 года. По просьбе Александра многие газеты превозносили это огромное полотно четырех метров длиной, на котором можно было увидеть отца и сына Дюма, изображенных в виде святых отцов-францисканцев, а саму Мари – в виде ангела-хранителя Карла Великого. Должно быть, Дюма-отец слегка опешил, увидев себя, известного распутника, изображенным в виде монаха, принадлежащего к ордену с очень строгим уставом.

Не переставая поощрять увлечение дочери живописью, Александр все же не мог поставить ее рядом с Эженом Делакруа, чье творчество всегда было в его представлении вершиной искусства. Когда в конце года импресарио Мартине предложил ему прочитать лекцию о художнике, умершем годом раньше, он с восторгом ухватился за эту возможность публично воздать должное мастеру. Интересно, сделал бы он это, если бы узнал о том, какое суровое суждение высказал о нем покойный в своем тогда еще не опубликованном «Дневнике»? Делакруа писал там: «Что такое Дюма и почти все то, что он сегодня пишет, в сравнении с таким чудом, как, к примеру, Вольтер? […] Необходимость писать по столько-то за страницу – роковая причина, способная подточить и более могучие таланты. Они чеканят деньги, нагромождая тома; шедевр сегодня создать невозможно». Но Дюма не ведал о столь суровом мнении о себе и явился в черном фраке и белом галстуке в просторный зал Фоли-Паризьен, где были выставлены лучшие полотна художника. Его встретили громом аплодисментов. Женщины, казалось, особенно легко поддались чарам обширной фигуры и хорошо подвешенного языка Александра. По окончании его речи сотни рук потянулись к нему, чтобы поблагодарить за то, как он, исполин пера, прекрасно говорил об исполине кисти.

Этот шумный успех у толпы побудил Дюма возобновить

опыты подобного рода. В юном возрасте он пренебрегал лекциями, теперь он нагонит упущенное. Правда, до того надо завершить «Сан-Феличе». Но вот наконец, позволив себе перед тем, правда, совершить короткую туристическую поездку в Германию, он смог написать внизу последней страницы своей рукописи: «Сегодня, 25 февраля 1865 года, в десять часов вечера, я закончил роман, начатый 24 июля 1863 года, в мой день рождения».

Подведя черту под этой огромной работой, Александр внезапно почувствовал себя совершенно свободным, праздным, ничем не занятым и… встревоженным этим обстоятельством. Его персонажи без предупреждения его покинули, и он даже не знал, хочется ли ему впускать других. Тем не менее, поскольку Жюль Нориак, только что основавший ежедневную газету «Новости», попросил у Дюма какую-нибудь неизданную вещь, он пообещал вскоре дать ему роман «Граф де Море», действие в котором будет происходить между эпохой «Трех мушкетеров» и временем «Двадцати лет спустя». Территория была знакомая, перо легко бежало по бумаге. Но чем дальше он продвигался по своему сюжету, тем больше убеждался в том, что всего лишь переписывает, даже не переделывая, исторические документы XVII века, которыми широко пользовался при работе над своими более ранними книгами. Речь шла не о творчестве, а в лучшем случае – о тягостном перекраивании обрезков. Это почувствовали и читатели: глубоко разочарованные, они принялись жаловаться Нориаку, и тот сообщил об их недовольстве Дюма. Александр сказал, что его это горестно удивило, и пообещал отныне сделать сюжет более пряным. Вот только был ли он по-прежнему на это способен? Герои его нового романа получались вялыми и скучными. Возвращался он к ним через силу и весьма охотно вообще бы от них от всех избавился.

Стремясь убедить самого себя в том, что все еще полностью располагает своими способностями как в области литературы, так и деторождения, – а по его мнению, одного без другого попросту не существовало, – Дюма обратился к проституткам, которые время от времени стали его навещать: это показалось ему лучшим средством вернуть уверенность в себе.

Как-то раз все та же подруга Александра по имени Матильда Шоу, которая уже упоминалась, застала его одетым в красное фланелевое белье, грузно сидящим в кресле в окружении трех гетер, принявших самые что ни на есть сладострастные позы. «Все три, пренебрегая отсталыми понятиями нашей цивилизации, – напишет Матильда позже, – были в костюме нашей праматери Евы до первородного греха!» Что было, то было: Дюма позволял

себе маленькие эротические развлечения. Но только душа у него уже к этому не лежала. Вскоре он настолько же разочаровался в этих жалких любовных упражнениях, насколько и в сочинительстве по заказу.

На его счастье, Моисей Полидор Мийо только что открыл зал для представлений, предназначенных для простонародной публики, назвав его Большим Парижским театром. Там в ближайшее время должны были поставить «Лесников», которых играли в 1858 году в Марселе. На все роли были назначены второстепенные актеры, их реплики во время репетиций часто заглушались грохотом поездов, проходивших по расположенной совсем рядом Венсеннской железнодорожной линии, но зрители 28 мая 1865 года заполнили зал – сосредоточенные, взволнованные, готовые аплодировать шедевру.

Дюма обратился за помощью ко всем своим друзьям, от Готье до Жанена, попросив их поддержать пьесу в газетах. Он опасался провала на этой жалкой сцене и с этими никудышными исполнителями. Однако его ждал триумф! Неужели у его «Лесников» большое или хотя бы прибыльное будущее? Не тут-то было! Надежды снова рассыпались в прах. Дарсонвиль, «доверенное лицо», человек, недавно назначенный управлять театром, растратил деньги от сборов, не расплатился с актерами, и Дюма пришлось его выгнать, чтобы избежать полного разорения.

Чтобы возместить актерам ущерб, он устроил гастрольную поездку со своей пьесой по провинции – ее должны были играть в Руане, в Суассоне, в Вилле-Котре. В родном городе Дюма принимали как национального героя. А он… Среди всей этой провинциальной суматохи он высматривал лица друзей, многие из которых за это время успели уйти из жизни. «Бедный Котре, – напишет Александр сыну 31 августа 1865 года. – Все люди моего возраста уже умерли. И город напоминает рот, потерявший три четверти зубов».

Вернувшись в Париж, Дюма снова, в который уже раз, подводит итоги. Гастроли большой прибыли не принесли. Надо искать деньги в другом месте. Пусть сын постарается, пусть стучится во все двери подряд. С двумя сотнями тысяч франков «можно будет дотянуть до конца», – заверяет Дюма-старший. И прибавляет: «Займись этим; это обеспечит мне спокойствие на остаток моих дней».

В ноябре он в сопровождении дочери уезжает читать цикл лекций, на этот раз – в Австрию и Венгрию. В Пеште прием, оказанный публикой, превзошел самые радужные его ожидания. «Когда я вошел, – вспоминает Дюма, – весь зал поднялся на ноги

и под гром аплодисментов трижды издал национальный клич. Если Парижская академия состоит в каких-либо отношениях со своей сестрой, Академией Пешта, и если бы она услышала эти аплодисменты, она покраснела бы за себя».[101] После представления «Капитана Поля» в городском театре был устроен чудовищный ужин, достойный средневековых мадьяр, на котором к автору и актерам присоединились поклонники. Дюма, в честь которого произнесли двадцать три тоста подряд, несмотря на то что обычно предпочитал ничего, кроме воды, не пить, каждый раз, не дрогнув, осушал полный бокал венгерского вина.

Опять оказавшись в Париже в январе 1866 года, он меланхолически сравнивает в высшей степени любезную французскую пресность с мужественной экспансивностью жителей стран Востока. Четырнадцатого февраля братья Гонкуры записали в своем «Дневнике»: «Посреди нашего разговора вошел Дюма-отец в белом галстуке и белом жилете – огромный, потный, пыхтящий, очень веселый. Он вернулся из Австрии, Венгрии, Богемии… Он рассказывал о Пеште, где его пьесу играли на венгерском языке, о Вене, где император предоставил ему для того, чтобы прочитать лекцию, один из залов своего дворца, он говорил о своих романах, о своем театре, о своих пьесах, которые не хотят ставить в „Комеди-Франсез“, о своем запрещенном „Шевалье де Мезон-Руж“, затем о праве публикации пьесы после одобрения цензурой, которого не может добиться, после этого – о ресторане, который хочет открыть на Елисейских Полях… Вот уж огромное *я, я* по образу этого человека, но с бьющим через край добродушием, но с искрящимся остроумием».

Не желая ни в чем себя ущемлять, Александр перебирается вместе с дочерью в дом 79 по бульвару Мальзерб, в двух шагах от парка Монсо. Правда, в том, что касалось обстановки, он, по его словам, готов был теперь довольствоваться самым необходимым. Однако его главной заботой стало приобретение кровати «из черненного под эбеновое орехового дерева, предельно простой формы, чтобы она выглядела похожей на диван, который могла бы заменять собой днем. На каждой стойке – мой вензель золотыми буквами и герб». Выполнить заказ было поручено краснодеревщику Ван Лоо, который до того уже занимался отделкой двух яхт Дюма. Пока Мари писала картину «Salvator Mundi»,[102] с ангелами во всех углах, предназначенную для выставки 1867 года, Дюма совместно с Амеде де Жалле усердно работал над драмой по мотивам своего романа «Габриель Ламбер». Перед самым началом премьеры в театре Амбигю он заявил друзьям: «Я уверен в моей пьесе; сегодня вечером мне дела нет до критики!» Услышали ли брошенный им вызов

журналисты? Когда они могли допустить, чтобы с ними обращались пренебрежительно? Как бы то ни было, приговор, вынесенный газетами, был до того суровым, что дух захватывало. А в результате – окончательно затравленному прессой «Габриелю Ламберу» пришлось сойти с афиши после двадцати трех представлений.

Задетый, но не смертельно раненный автор встрепенулся и решил возродить прежний Исторический театр. Для начала отправил своим «знакомым или незнакомым друзьям, во Франции или за границей» просьбы о помощи. Газеты широко воспроизвели этот призыв к любителям зрелищ, брошенный ради того, чтобы спасти «лучший театр на свете, какой когда-либо существовал» – разумеется, театр Дюма, а как же иначе! Несмотря на всю эту шумиху и трескотню, те, кто, как предполагал Александр, охотно и сразу же должны были поставить свое имя в подписном листе в пользу возрождения его театра, пребывали в нерешительности. Они еще помнили крах того же самого предприятия четырнадцатью годами раньше. И в конце концов оказалось, что никто или почти никто и слышать не хочет о возможном его воскрешении. Новое разочарование! Оставалось последнее средство – Александр обратился к Наполеону III, надеясь получить субсидию в тридцать или сорок тысяч франков, которой, по его мнению, было бы достаточно для того, чтобы финансировать проект.

«Исторический театр, Ваше Величество, – пишет он императору, – это литература, скажу больше того, это мнение народа предместий. Ваше Величество, соблаговолите совершить эту последнюю попытку вернуть жизнь усопшему, чья смерть была роковой и чья жизнь принесет пользу. Поручите мне сказать ему от имени Кесаря: „Лазарь! Иди вон!“ – и он восстанет, достойный Франции и Вас». Однако и этот патетический призыв Дюма остался без ответа. Замысел был похоронен.

В надежде, что тут ему больше повезет, он задумал создать газету «Мушкетер II». На самом деле речь шла о «Новостях», издании Жюля Нориака, переименованном, чтобы привлечь читателей. Однако, вопреки оптимизму, выказываемому Александром, «Мушкетер II» начал спотыкаться с первых же шагов и полгода спустя после своего создания перестал выходить за неимением подписчиков. И это было еще не все: публикация «Новых мемуаров» в «Солнце» («Soleil»), газете Моисея Полидора Мийо, была внезапно прекращена – по просьбе читателей, которые не увидели ничего интересного в бесконечном повторении одних и тех же воспоминаний.

Однако за время краткого существования «Мушкетера II»

Дюма имел удовольствие принимать у себя в кабинете главного редактора, а позже – и у себя дома очаровательную даму тридцати шести лет по имени Олимпия Одуар. Эта дама – актриса-любительница, романистка от случая к случаю, замужняя, но живущая отдельно от мужа, который служил где-то далеко в нотариальной конторе, – с упоительным бесстыдством признавалась в том, что предпочитает мужчин в возрасте. И поскольку она обладала поэтическим умом, то всех своих убеленных сединами воздыхателей делила на мужчин-бабочек, мужчин-комаров, мужчин-жаворонков, мужчин-селезней. Ярая феминистка и покровительница животных, Олимпия помещала в свой бестиарий всех партнеров мужского пола, какие встречались на ее жизненном пути. Дюма присоединился к ним, но его связь с Олимпией оказалась недолгой. Вскоре ее сменила в постели Александра другая женщина – Ада Айзекс Менкен.

Новая пассия Дюма была красивой голубоглазой брюнеткой тридцати лет. Еврейка португальского происхождения, американская подданная, она родилась в Луизиане, называла себя поэтессой, лекторшей, актрисой, танцовщицей, натурщицей, журналисткой и полиглоткой и гордилась тем, что была специалисткой по творчеству Эдгара По, Марка Твена и Уолта Уитмена. Перепробовав множество профессий, Ада успела при этом поочередно побывать замужем за музыкантом, боксером, импресарио, а перед тем как покинуть Америку, стала женой некоего Беркли, сделав это лишь с одной целью: чтобы узаконить ребенка, которого прижила с другим человеком.

Она решила покорить Европу и к моменту знакомства с Дюма уже успела пленить Лондон, выступив в цирковом номере, навеянном поэмой Байрона «Мазепа». Номер выглядел эффектно: привязанная к спине скачущего галопом коня и одетая в трико телесного цвета, в котором выглядела обнаженной, артистка перелетала через барьер и замирала, бесстыдная и великолепная, перед ошеломленной публикой. Тот же номер Ада повторила и в Париже, на сцене театра Gaoté, во время спектакля, который назывался «Пираты саванны». Александр присутствовал на этом представлении, номер привел его в восторг, и, едва выступление закончилось, он поспешил за кулисы, чтобы поздравить молодую наездницу. Та бросилась ему на шею и пылко поцеловала в губы. А потом призналась, что, будучи в восхищении писателем и его громкой славой, она хотела бы подвергнуть испытанию мужчину. Александру только этого и было надо! Отныне их видели вместе в кафе, салонах, театрах. Поскольку Ада больше всего на свете любила рекламу, они с Александром позировали вдвоем, нежно обнявшись, перед фотографом Льебером. Александр сначала

появился перед объективом полностью одетый, затем сбросил сюртук, а Ада, устроившись у него на коленях, то вытягивала обнаженную руку, то выставляла напоказ ножки, то прислонялась головкой к широкой груди своего любимого писателя. Льебер, которому Дюма задолжал, решил на нем заработать и вернуть таким образом свои деньги: сделав из снимков четы открытки на продажу, он выставил их во многих парижских витринах. Публика, не привыкшая к провокациям подобного рода, возмущалась, негодовала, насмехалась, обвиняла автора «Трех мушкетеров» в том, что он торгует собой. Огорченная отцовским необдуманным поведением, Мари бегала из лавки в лавку, умоляя убрать с витрин эти оскорбительные фотографии. Дюма-сын, со своей стороны, уговаривал отца, несомненно, введенного в заблуждение, подать на Льебера в суд. Подали. Дело слушалось в суде первой инстанции, третьего мая иск был отклонен. Александр подал на апелляцию и предложил компромиссное решение: он выкупит снимки за сто франков, если их запретят продавать, и двадцать четвертого мая дело было решено в его пользу. Но тем временем пикантной историей завладели мелкие газеты и куплетисты. Молодой Поль Верлен написал по этому поводу:

С мисс Адой рядом дядя Том.
Какое зрелище, о Боже!

Фотограф тронулся умом:
С мисс Адой рядом дядя Том.

Мисс может гарцевать верхом,
А дядя Том, увы, не может.
С мисс Адой рядом дядя Том,
Какое зрелище, о Боже![103]

А в сатирической газете «Tintamarre» («Шум») появилась баллада «Всегда он!» (немедленно перепечатанная «Фигаро») с эпиграфом из Жан-Жака Руссо: «Кто посмеет поставить природе четкие границы и сказать: „Вот докуда может идти человек, но ни шагу дальше!“»

Она наездницей была,
Писателем был он.
Она цвела, его ж дела
Катились под уклон.

Она была свежа, легка,
Была в расцвете сил,
А он чуть меньше бурдюка
Животик отрастил.

Она брюнеткою была,
Был седовласым он.
И вот судьба их там свела,
Где слышен рюмок звон.

Как мушкетер и экс-герой,
Что неизменно мил,
Он, позабыв про возраст свой,
Ей поцелуй влепил.

«Тубо! Не к месту этот жар! —
Воскликнула она. —
Хотя ты толст, хотя ты стар,
Добыча не жирна.

Какая выгода с тебя?»
«Всех выгод и не счесть:
Мое внимание привлечь —
Уже большая честь!»

Она в ответ: «Писатель мой,
Чтоб мне не сплоховать,
Ты на колени предо мной
Немедля должен встать.

Тебе поверю я тогда,
Мы славно заживем…»
Вы в лавках можете всегда
Увидеть их вдвоем.[104]

Узнав об этих шутовских злоключениях своего великого собрата, Жорж Санд, преисполнившись сочувствия, написала Дюма-сыну: «До чего же, должно быть, вам неприятна вся эта история с фотографиями! Но что поделаешь! С возрастом начинают сказываться печальные последствия богемного образа жизни. Какая жалость!»

Дюма огорчался из-за своего «падения» куда меньше, чем его

дети и его истинные друзья. Он продолжал встречаться с Адой как ни в чем не бывало, словно она не заманила его в ловушку. Они вместе бывали на парижских вечеринках и вместе принимали гостей в квартире, которую она наняла для того, чтобы дать приют их связи, на улице Шоссе-д'Антен. «Если у меня и впрямь есть талант, как верно то, что у меня есть душа, то и другое принадлежит тебе», – говорил он ей.

К сожалению, Ада была связана заключенными раньше контрактами и должна была в июле уехать в турне по Австрии и Англии, пообещав, что через месяц вернется в Париж, чтобы возобновить выступления в «Пиратах саванны». Она сдержала слово и в самом деле приехала, но, едва оказавшись в Париже снова, слегла с острым перитонитом и, проболев несколько дней, умерла в Буживале 10 августа 1868 года. Одни лишь ее грумы, ее горничная, несколько товарищей-актеров и конь, с которым она выступала, проводили останки на кладбище Пер-Лашез.[105]

В эти последние несколько месяцев, заполненных пустой суетой и страстью без завтрашнего дня, до Дюма постоянно доходили слухи о военных приготовлениях. Не так давно, в начале 1867 года, он напечатал в «Мушкетере» и в «Ситуации» два романа – «Белые и синие» (с подзаголовком «Пруссаки на Рейне») и «Прусский террор». В первом из них он рассказывал о лихорадочной жизни в Эльзасе в то время, когда французские солдаты под предводительством Оша и Пишгрю остановили, потом гнали назад врага. Во втором еще более подробно, при помощи волнующей интриги, обрисовал опасность, угрожающую Франции от чрезмерно могущественного соседа у ее границ. Главный герой романа, Бенедикт Тюрпен, был воплощением французского «блеска», противопоставленного тяжеловесной германской мстительности. Своего рода «вторым д'Артаньяном». Но, несмотря на талант автора, этот д'Артаньян не стал таким же любимцем читателей, как первый. Дюма огорчился, поскольку, по его мнению, эти две новые книги были предостерегающими. Ему хотелось открыть соотечественникам глаза на дисциплинированный и воинственный народ, который готовится их истребить. Пруссия казалась ему сегодня тем более грозной и опасной, что она уже доказала могущество своей армии, разгромив австрийцев под Садовой и аннексировав Ганновер, став отныне цельным государством, раскинувшимся от Немана до Саара, государством, чьи амбиции, думал он, несомненно, на этом не остановятся. И был уверен, что одна только Франция способна преградить дорогу Бисмарку, хотя после поражения французов в Мексике и казни марионеточного императора Максимилиана все больше и больше сомневался в том, что

Наполеон III сможет управлять внешней политикой страны.

Дюма только что ненадолго съездил в Германию, чтобы разобраться в том, какие чувства испытывает ее население по отношению к Франции, и вернулся оттуда удрученным. «Тот, кто не путешествовал по Пруссии, не может составить себе представление о той ненависти, которую питают к нам пруссаки, – пишет он. – Это род навязчивой идеи, которая смущает и самые ясные умы. В Берлине можно сделаться популярным министром лишь в том случае, если дашь понять, что рано или поздно Франции будет объявлена война. Можно стать оратором лишь в том случае, если всякий раз, как взойдешь на трибуну, будешь отпускать по адресу Франции одну из тех тонких эпиграмм или остроумных двусмысленностей, которыми так легко орудуют северные немцы. Наконец, можно быть поэтом лишь при условии, что тобой написан прежде или будет написан против Франции какой-нибудь ямб под названием „Рейн“, „Лейпциг“ или „Ватерлоо“».

Эти страшные в своей ясности строки нисколько не тронули парижан, больше озабоченных собственными мелкими личными делами, чем тем великим делом, которое, возможно, готовилось по ту сторону Рейна. Стремясь вернее привлечь внимание земляков, Дюма в феврале 1868 года основал новую газету, которая должна была заменить покойного «Мушкетера II»; она называлась «Дартаньян» («Le Dartagnan») и выходила по вторникам, четвергам и субботам. Цена подписки – пятнадцать франков в год. Используя страницы этой газеты с громким именем, Александр предавался бесконечным разглагольствованиям как на самые серьезные, так и на самые легкомысленные темы. А читатели – читатели не понимали, чего он от них хочет. В итоге через пять месяцев «Дартаньян» прекратил свое существование, и Дюма назначил его преемником еженедельную «Театр-газету». Форма изменилась, содержание осталось тем же, соответственно и участь новое издание постигла та же: газета тихо скончалась, просуществовав всего несколько месяцев.

И отсюда или при этом – вечная нехватка денег, мешавшая писателю грезить в свое удовольствие: несмотря на возобновление «Антони» и «Госпожи де Шамбле», Дюма с трудом сводил концы с концами. Приходилось платить судебным исполнителям, которые один за другим являлись к нему в дом, приходилось занимать, чтобы спасти имущество от ареста, не зная, как и когда он сможет вернуть новый долг, приходилось увертываться, ловчить, пускать пыль в глаза, лгать и изворачиваться… Александр продал кое-какую мебель, рассчитал

всех слуг, кроме кухарки и верного грузина Василия… Но он по-прежнему не мог обходиться без женщин. Они были его насущным хлебом, они составляли самую суть его жизни. Теперь почти все, что еще приходили к нему, были нищими и вороватыми проститутками. Они таскали у него последние деньги, завалявшиеся в ящиках секретера. «Хоть бы одну несчастную монетку в двадцать франков мне оставили!» – жалобно восклицал он в присутствии Матильды Шоу, занимавшей все больше места в его существовании.

Подумать только – он знал ее еще совсем ребенком, а теперь она его балует и нежит, как дедушку, не способного себя обслуживать; Александр уже и сам не знал, радоваться ли заботам Матильды или огорчаться из-за этих неумолимых перемен в их отношениях.

Как-то раз она застала Дюма бессильно лежащим на диване, в глазах – тревога. «Как ты вовремя! – простонал он. – Я болен, мне надо выпить отвар, а я никого не могу дозваться… По-моему, все меня бросили… И ко всему еще мне надо ехать в гости!.. Будь добра, посмотри в ящиках моего комода, не найдется ли там сорочки и белого галстука». Матильда исполнила его просьбу, но нашла только две неглаженые ночные рубашки. Тогда Дюма попросил ее обойти ближайшие лавки и поискать для него вечернюю сорочку большого размера, она повиновалась, но все те, которые ей предлагали, оказались бы малы великану, для которого предназначались. В конце концов в магазине «Рубашка Геркулеса» нашлась белая манишка в красную крапинку. Матильда не колебалась ни минуты: если и был в Париже один-единственный человек, способный носить подобную вещь и не выглядеть при этом посмешищем, то этот человек – Дюма! Она купила манишку, и Александр заявил, что он в полном восторге. Вернувшись со светской вечеринки, он со смехом объявил: «Мой наряд восприняли как напоминание о моей дружбе с Гарибальди!»

А вскоре Дюма уже не смог выходить из дома, перестал бывать на приемах и на театральных премьерах. Он терял голос, страдая хроническим ларингитом, онемевшие ноги подгибались под непомерным весом огромного тела. Он растолстел, ему мешал выпирающий живот, руки у него дрожали так сильно, что в них не держалось перо. Но он все еще не отказался от того, чтобы работать, как прежде, каждый день. Просто теперь довольствовался тем, что диктовал свои тексты. Его секретарь, Виктор Леклер, быстро записывал реплики для пьесы, которую Дюма сочинял по мотивам своего романа «Белые и синие». Точно так же шла работа над наспех задуманными романами «Гектор де

Сент-Эрмин», «Таинственный доктор», «Дочь маркиза». Но если Дюма и заставлял себя этим заниматься, то не столько из потребности создавать новых персонажей, исследовать новые страсти, сколько ради того, чтобы зарабатывать деньги, вместе с тем предоставляя соотечественникам последнее свидетельство своего мастерства. В течение долгого времени сочинительство было для него наслаждением, теперь оно превратилось всего лишь в коммерческую повинность. Если бы только каждое из произведений, созданных им на старости лет, читатели встречали с восторгом! Нет! Александру казалось, что он напрасно хлопочет, надсаживается, лезет из кожи вон: никто не испытывал к нему благодарности. Любители литературы так часто видели имя Дюма на обложках книг и на афишах театров, что теперь устало от него отворачивались. Больше никто не говорил: «Наконец-то новый Дюма!» – теперь произносили с едва приметной досадой: «Опять этот Дюма!» В самом деле, его слишком хорошо знали для того, чтобы продолжать читать и продолжать слушать.

Пройдя долгий путь, Александр осознал страшное значение слов: «он свое отжил»! Его время ушло! Люди хотят, чтобы им дали то, чего они никогда не видели, никогда не читали! Они расхваливают незнакомцев, чтобы создать у себя иллюзию, будто это они их открыли… Вот и младший Дюма, его сын, воспользовался этим преимуществом молодости. Если бы те же самые пьесы написал его отец, успех был бы куда меньше. Может быть, напечатав свой следующий роман под псевдонимом, он вновь обретет благосклонность толпы, жаждущей новизны? Может быть, книги Дюма станут покупать, если он выдаст их за произведения, принадлежащие перу другого писателя? Нет, нет, к подобной уловке он прибегнуть не может, это было бы для него слишком унизительно!

Он вспомнил о Ламартине, который совсем недавно умер в нищете: тот на старости лет тоже занимался работой, недостойной его гения… Все чаще и чаще Александр обращался к воспоминаниям, пытаясь убедить самого себя в ценности своих творений. Его волновало суждение, которое вынесут о нем грозные следующие поколения: вот от кого он точно получит по заслугам! Но так ли велики его заслуги? Девятнадцатого апреля 1868 года после долгой размолвки он отправляет Огюсту Маке письмо, которое очень напоминает подведение итогов в завещании: «Не будем больше говорить о прошлом. Прошлое принадлежит моим поверенным. К счастью, я вырвался из их рук. Начиная с января этого года каждая вещь, которая подписана нашими двумя именами, должна приносить нам равный доход.

Не думаю, что между нами надо еще что-то улаживать. Я полагаюсь в этом на ваше слово».

В июне Дюма отправился в Гавр, чтобы заработать немного денег, читая лекции. Одновременно с ораторской деятельностью, все еще забавлявшей его своей новизной, он писал статьи для «Большой Газеты» Вильмесана. Но его последняя работа, посвященная змеям, стала всего-навсего бесстыдной компиляцией трудов Бюффона на эту тему. Вильмесан это заметил и резко прекратил публикацию текста, авторство которого показалось ему сомнительным. Александр утешался после этого публичного унижения, держа на прогулках за руку маленькую Микаэлу, с которой ненадолго встретился в Гавре. Он посетил также устроенную в этом городе выставку, побывал на воскресном бое быков, осмотрел окрестности, провел некоторое время в Этрета с Курбе и Моне… А вернувшись в середине сентября в Париж, с удовольствием узнал о том, что одна из его пьес, «Совесть», снова пойдет в «Шатле», а другую пьесу, «Госпожа де Шамбле», будут ставить в конце октября в театре «Порт-Сен-Мартен». Двойной успех!

В начале следующего года в том же театре «Шатле» начали репетировать драму в пяти действиях и одиннадцати картинах, которую он создал по мотивам романа «Белые и синие». Пока шли репетиции, актер Тайяд, явившись однажды к автору за разъяснениями насчет роли Сен-Жюста, внезапно заметил, что Дюма перестал участвовать в разговоре, уснул на полуслове и теперь похрапывает, закрыв глаза и приоткрыв рот. Совсем старик… Тем не менее работа над этой патриотической драмой шла гладко, и 10 марта 1869 года состоялась премьера. «Либеральная империя» проявила доброжелательность, позволив играть спектакль, в котором впервые с тех пор, как на престол взошел Наполеон III, актеры на сцене кричали «Да здравствует Республика!» и пели «Марсельезу». Эта дозволенная смелость привела зрителей в восторг. Дюма преисполнился гордости. Однако близкие тревожились из-за того, что он то и дело засыпал, их беспокоила старческая дрожь его пальцев. Дети советовали Александру поберечь себя, но он в ответ писал сыну в мае 1869 года: «Это правда, рука у меня дрожит, но пусть эта неприятность тебя не беспокоит, скоро все пройдет. Напротив, именно покой виновен в том, что у меня дрожит рука. А как же иначе? Она настолько привыкла работать, что, когда я несправедливо обидел ее, принявшись диктовать вместо того, чтобы писать самому, принялась дрожать от ярости, лишь бы не оставаться такой неподвижной. Как только я снова стану всерьез писать сам, и рука моя всерьез вернется к своим величественным манерам».

Несмотря на то что сам Дюма притворялся, будто легкомысленно относится к своим недомоганиям, отделывался шутками, сын настаивал на том, чтобы он показался доктору Пиорри. В конце концов уговорил, и тот посоветовал больному подышать живительным воздухом моря. Александр провел лето 1869 года в Роскове, в Бретани, взяв с собой кухарку и секретаря. Местность была бедная, еда плохая. Кухарка ругалась и проклинала все на свете: мясо отвратительное, артишоки слишком твердые, фасоль гнилая, масло прогорклое. В конце концов, выведенная из себя скудостью припасов, она потребовала расчет. Мари издали тревожилась об отце, лишившемся услуг этой кулинарки, умевшей баловать его вкусными блюдами. Он успокаивал дочь: «Лапочка моя дорогая, не беспокойся так о нашем будущем, пока что мы не умираем с голоду. Добрые души из Роскова объединились и поставляют нам продовольствие». Он не лгал: соседи, сжалившись над старым знаменитым писателем, которому теперь нечего было есть, стали приносить ему рыбу – камбалу и макрель – и омаров. Воздав должное дарам моря, Александр решил написать «Большой кулинарный словарь». Описание самых вкусных гастрономических чудес вдохновит его куда больше, думал он, чем описание тридцати шести исторических персонажей, уже выжатых им досуха словно лимоны до последней капли сока.

Несмотря на этот утешительный проект, возвращение в Париж оказалось безрадостным. Здоровье Александра еще ухудшилось, долги нарастали. Верный Василий время от времени отправлялся в ломбард, чтобы заложить столовое серебро или какую-нибудь драгоценность. Нередко приходилось Дюма посылать его и к сыну, богатому и благоразумному драматургу, чтобы выпросить очередную подачку, которой тот, как всегда, старика одаривал, но, как всегда, весьма и весьма неохотно. Жалея отца, Александр Второй все же не мог простить ему расточительности и непредусмотрительности. Какого черта, можно же все-таки быть гениальным и при этом уметь считать! «Посмотрите на меня! Посмотрите на Гюго!» Александр Первый, замкнувшийся на себе, подавленный, охваченный робостью и нерешительностью, больше ничего не писал и не диктовал, он довольствовался тем, что перечитывал свои старые книги. Как-то Александр Второй застал его перелистывающим страницы «Трех мушкетеров».

– Ну и как? – поинтересовался сын.

– Хорошо! – признал отец.

– А «Монте-Кристо»?

– Он не стоит «Трех мушкетеров».

В другой раз, задумавшись о том, как будут оценивать его творчество грядущие поколения, Дюма пробормотал в присутствии младшего Александра: «Мне кажется, будто я стою на вершине монумента, сложенного из камней, где каждый камень – это моя книга, и этот монумент подо мной шатается, словно построен на песке». Сын откликнулся: «Не тревожься, монумент крепко сложен, и основание под ним прочное». Дюма, наполовину убежденный, улыбнулся, закрыл лежавшую перед ним книгу и вновь погрузился в задумчивость завершающего свой путь автора, полного недоверия к своему прошлому и опасений за свое будущее.

В начале 1870 года у него во рту появился нарыв, и он долго не мог разговаривать. Доктор Декла посоветовал пациенту уехать в теплые края, туда, где больше солнца, чтобы вновь набраться сил и обрести вкус к жизни. Собрав немного денег, Александр отбыл в Испанию вместе с Адольфом Гужоном. В дороге он развлекался тем, что сочинял эротический «Роман Виолетты»: последняя дань восхищения женским полом, который он так любил и по которому все еще вздыхал. Нет, для того чтобы придать ему сил, требуется не ясное небо юга, думал он, ему куда больше помогла бы новая любовница. Но сумел ли бы он еще ее удовлетворить? Дюма предпочел не отвечать себе на этот вопрос, да и роман тоже вскоре забросил. В Мадриде, во время спектакля в Королевском театре, он уснул и нарушил ход представления своим храпом. Зрители, сидевшие в соседних креслах, разбудили Александра, и он под общий смех покинул зал.

Девятнадцатого июля в Биаррице он был ошеломлен, потрясен и сломлен известием о начале войны с Пруссией. Он вернулся в середине августа в Париж, но не понимал, как сможет жить дальше в этой стране, где все молодые люди были отправлены для принесения в жертву на поля сражений. С каждым днем груз горя и позора становился все тяжелее. Виссенбург, Фрешвиллер, Резонвиль, Сен-Прива – названия этих мирных городков теперь напоминали лишь о кровавых поражениях. Пруссаки наступали со всех сторон. Где же они остановятся? Мари, примчавшаяся из Трувиля, склонилась над постелью отца, лежавшего без движения, без голоса и почти без сознания.

Второго сентября Седан капитулировал, Наполеон III был взят в плен. Два дня спустя провозгласили Республику. Узнав об этом, Александр заплакал. Радовался ли он торжеству либеральных взглядов или горевал о поражении Франции? Республика, империя? В конце концов он в них совершенно запутался. Свою собственную войну он вел не против Пруссии, но

против смерти. Но, собственно говоря, что же за болезнь угрожала его жизни? Врачи не решались высказаться определенно: диабет, гипертония, увеличение щитовидной железы, хронический ларингит? Тело разрушалось сверху донизу. Просто чудо, что больной все еще жив…

Пруссаки вот-вот могли войти в Париж. Мари, желая уберечь отца от опасностей, которым он мог подвергнуться, если враг займет столицу, с трудом дотащила его до железнодорожного вагона. Один из последних уходящих поездов отвез двух пассажиров в Невиль-ле-Дьепп, в местечко под названием Пюи, где у Александра-младшего была вилла. Выйдя на перрон, Дюма-старший, оглушенный, едва державшийся на ногах, сказал сыну: «Я приехал к тебе умирать». Ему отвели лучшую комнату, в первом этаже, окнами на море. Обе внучки, которых родила его сыну Надежда Нарышкина, часто заходили к Александру и развлекали его своей болтовней; сама Надежда Нарышкина и ее старшая дочь Ольга окружили больного нежной заботой. Аннушка, русская горничная, не знала, как ему угодить, старалась как могла сделать его пребывание в доме приятным и спокойным. Переживший столько мучений писатель, у которого на старости лет иссякли и мысли, и деньги, только удивлялся тому, что под конец жизни окружен такими удобствами и такой любовью. По его собственным подсчетам, он заработал за всю свою жизнь восемнадцать миллионов франков золотом – и потратил их на роскошные приемы, на путешествия, в которые отправлялся как вельможа, на покупку кораблей и мебели, на подарки женщинам. Вот и оказался в положении больного бродяги на попечении детей! Как-то вечером, думая обо всех тех богатствах, которые заработал и промотал, он прошептал, обращаясь к сыну и показывая на два луидора, лежавшие на столике у его изголовья: «Все говорят, что я был расточителен. Ничего подобного! Вот посмотри, как все ошиблись! Когда я в молодости приехал в Париж, у меня в кармане было два луидора… Видишь, они все еще при мне!» В другой раз, когда сын сказал ему, что русская горничная Аннушка находит его очень красивым, он вздохнул: «Постарайся укрепить ее в этой мысли!»

Но если Дюма все еще слабо интересовался тем, что происходило в доме, если соглашался порой поиграть в домино или разрешал в хорошую погоду усадить его в кресло на террасе, то до известий из Парижа ему больше дела не было. Он все чаще засыпал, и сон его становился все более тяжелым.

В понедельник, 28 ноября 1870 года, он отказался встать с постели. В ночь с 4 на 5 декабря у него случился апоплексический удар. Мари позвала аббата Андрэ, приходского священника из

церкви святого Иакова в Дьеппе. Но священник не смог принять у Дюма исповедь – больной был слишком слаб для того, чтобы пошевелить губами, – и кюре оставалось лишь произнести над его неподвижным лицом молитву об умирающих. В десять часов вечера 5 декабря 1870 года Александр Дюма, не приходя в сознание, скончался на руках у дочери. «Он был гением жизни, – напишет Жорж Санд, – он не заметил прихода смерти». Назавтра, когда тело Александра покоилось на смертном одре, глаза были навеки закрыты, руки сложены на груди, в Дьепп вошли пруссаки. Грохот их сапог не потревожил покоя того, кто так боялся поражения Франции.

Похоронами Дюма-отца занимался Дюма-сын. Восьмого декабря 1870 года писателя временно похоронили на кладбище при маленькой церкви в Невиле-ле-Дьепп. Кроме родственников, за гробом шли делегация дьеппского муниципалитета и несколько художников. Падали крупные хлопья снега. Речи были уныло благопристойными. Газеты, захлебывающиеся военными новостями, ни слова не сказали о событии. Александр Дюма, великий театральный деятель, не сумел красиво уйти со сцены. Правда, Эмилия, узнав в Марселе, куда она уехала на время военных действий, о кончине прежнего любовника, демонстративно надела траурное платьице на свою дочь Микаэлу.

Как только война завершилась и закончилась оккупация, Дюма-сын перевез останки отца в Вилле-Котре и опустил их в могилу, вырытую рядом с могилами генерала Дюма и Мари-Луизы, его родителей, которых он так любил. Друзья пришли поклониться покойному: здесь были барон Тейлор, Эдмон Абу, Мейсонье, сестры Броган, даже Маке… После обычных речей сын произнес несколько прочувствованных слов: «Мой отец всегда хотел, чтобы его похоронили здесь. Он оставил в Вилле-Котре дружбу и воспоминания, и именно эти воспоминания и эта дружба встретили меня здесь вчера вечером, когда руки верных друзей протянулись к гробу, чтобы сменить носильщиков и самим отнести в церковь тело их великого друга… Я хотел бы, чтобы эта церемония была не столько траурной, сколько праздничной, не столько погребением, сколько воскрешением».

Накануне он получил письмо от Виктора Гюго, вернувшегося из ссылки с гордо поднятой головой: тот сидел у постели больного ребенка и не смог присутствовать на погребении. «Ничья слава в этом веке, – писал Гюго, – не превзошла славы Дюма, его успехи – больше чем успехи, это триумфы, они гремят фанфарами. Имя Александра Дюма принадлежит не только Франции, но всей Европе; оно принадлежит не только Европе, но всему миру. […] Александр Дюма из тех людей, которых можно

назвать сеятелями культуры; он оздоровляет и укрепляет дух необъяснимым, веселым и сильным, светом; он оплодотворяет души и умы; он рождает потребность в чтении, он взрыхляет человеческую почву и засевает ее. От всех его творений, столь многочисленных, столь разнообразных, столь мудрых, столь пленительных и столь мощных, исходит свет, свойственный Франции».

Понемногу страна смирилась со своим поражением. Французы привыкали жить в республике, говорить об Эльзасе и Лотарингии с гневным отчаянием, лелеять мечту о необходимости взять реванш над Германией. Дела потихоньку начинали идти, семьи зализывали раны, книги вновь продавались так же хорошо, как и прежде, театральные спектакли делали отличные сборы, порядок восстановился, деньги потекли ручьями. Но чего-то недоставало даже тем, кто лучше всех сумел приспособиться к новой политической и социальной раскладке. Сами того не зная, они тосковали по добродушию и безрассудству, по веселой виртуозности, по мудрости и яркости, которые научил их любить своими романами и своими пьесами литературный колосс. Они еще не осмеливались произнести это вслух, боясь, что профессиональные критики назовут их наивными и примутся обличать небрежный стиль их любимого автора, примитивное изображение персонажей и неправдоподобие сюжетов в его романах и пьесах, но им казалось, что Александр Дюма вырывается из-под власти обычных суждений. Они смутно чувствовали, что плодовитый и громогласный творец заслуживает иного разбора, чем тот, которому подвергают других писателей. И вызвано это, должно быть, тем, что за почти сорок лет своей карьеры он дал жизнь нескольким незабываемым героям и на глазах у своих читателей превратил историю Франции в мифологию.

notes

Примечания

1

Старое название острова Гаити, западная часть которого с конца XVII века и до 1793 года была французской колонией. (*Прим. пер.*)

2

Иначе говоря – метр восемьдесят шесть сантиметров. (*Прим. авт.*)

3

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

4

Там же.

5

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

6

См.: *Андре Моруа*, «Три Дюма» и *Даниель Циммерман*, «Александр Дюма Великий» («Alexandre Dumas le Grand»). (*Прим. авт.*). Цит. по: *Андре Моруа*. Три Дюма. М., 1986, с. 23–24. Перевод Л. Беспаловой и С. Шлапоберской. (*Прим. пер.*)

См.: *Даниель Циммерман*, там же. (*Прим. авт.*)

8

Цит. по: *Андре Моруа*. Три Дюма, с. 25. (*Прим. пер.*)

9

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*). Цит. по: *А.Моруа*. Три Дюма, с. 27. (*Прим. пер.*)

10

Там же.

11

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

12

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

13

Сказочный персонаж, которым пугали детей. (*Прим. пер.*)

14

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

15

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

16

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

17

Благодарственный молебен.

18

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

19

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

20

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

21

В тексте письма, процитированном Александром Дюма («Мои мемуары»), фамилия Мио (Miaud) заменена анаграммой: Одим (Audim). (*Прим. авт.*)

22

См.: *Александр Дюма*. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

23

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

24

На месте улицы Старых Августинцев теперь расположены улицы Аргу и Эро. (*Прим. авт.*)

25

Александр Дюма приводит эти слова в своих мемуарах. (*Прим. авт.*)

26

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

27

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

28

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

29

В наше время – площадь Буаельдье. (*Прим. авт.*)

30

Александр Дюма-сын родился 27 июля 1824 года. (*Прим. авт.*)

31

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

32

На самом деле ему было тогда двадцать три. (*Прим. авт.*)

33

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

35

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

36

Письмо, написанное в конце сентября или начале октября 1827 года. (*Прим. авт.*)

37

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

38

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

39

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

41

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

Он убавил себе год. (*Прим. авт.*)

43

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

45

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

47

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

49

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

51

Подробнее письма Мелани см. в книге Андре Моруа «Три Дюма». (*Прим. авт.*)

Александр Дюма. Мои мемуары. (*Прим. авт.*)

53

Фамилия Мерль (Merle) означает «дрозд»; французское выражение «merle blanc» – буквально «белый дрозд» – соответствует русскому «белая ворона»; напомню, что белый был цветом роялистов. (*Прим. пер.*)

54

Прозвище, родившееся благодаря карикатуре на Луи-Филиппа, созданной художником и журналистом Шарлем Филипоном (1806–1862), основателем нескольких газет, в том числе и «Charuvari», где начинал Домье. (*Прим. авт.*)

Графиня Даш. Воспоминания о других. (*Прим. авт.*)

Две последние улицы были впоследствии присоединены к нынешней улице Сен-Мартен. (*Прим. авт.*)

Александр Дюма. Путевые впечатления. (*Прим. авт.*)

См. *Клод Шопп*. Александр Дюма. (*Прим. авт.*)

Gaoté (gaieté) (*фр.*) – веселье, оживление, шалость.

Цит. по: *Андре Моруа*, указ. соч., с. 133.

61

«Мемуары барона Тьебо», изданные Фернаном Кальметтом. Плон, 1894. (*Прим. авт.*)

62

См. *Даниэль Циммерман*. Александр Дюма великий. (*Прим. авт.*)

63

Цит. по: *Клод Шопп.* Александр Дюма. (*Прим. авт.*)

Большая часть писем Каролины Унгер приведена в книге: *Клод Шопп*. «Александр Дюма». (*Прим. авт.*)

65

Пушкин умер 1 февраля 1837 года, но юлианский календарь, принятый в России, на двенадцать дней отставал от григорианского, которым пользовались в других странах, и во Франции эта дата соответствует 13 февраля. (*Прим. авт.*)

См.: *Клод Шопп*. Александр Дюма. (*Прим. авт.*)

67

Александр Дюма. О Жераре де Нервале, «Новые воспоминания», процитировано в: *Даниэль Циммерман*. Александр Дюма Великий. (*Прим. авт.*)

См.: *Александр Вейль*. Моя молодость. (*Прим. авт.*)

Графиня Даш. Воспоминания о других. (*Прим. авт.*)

70

«L’ Indépendance Belge», номер от 20 марта 1852. Текст приведен в книге: *Клод Шопп*. Александр Дюма. (*Прим. авт.*)

71

Во Франции эта мера длины была равна приблизительно 120 см. (*Прим. перев.*)

Будущая улица Шоссе-д’Антен. (*Прим. авт.*)

Сын его сестры, Мари-Александрины-Эме. (*Прим. авт.*)

74

Александр Дюма. История моих животных, глава I. (*Прим. авт.*)

Александр Дюма. Тысяча и один призрак. (*Прим. авт.*)

Александр Дюма. Соратники Иегу, глава XXXVI. (*Прим. авт.*)

77

Александр, видимо, спутал Сарру, бесплодную жену Авраама, с молодой рабыней Агарью, которая, напротив, родила ему сына Измаила. (*Прим. перев.*)

78

Приведено в книге: *Клод Шопп*. Александр Дюма. (*Прим. авт.*)

79

Дюма-сын. Предисловие к «Даме с камелиями». (*Прим. авт.*) Цит. по: *Андре Моруа*. Три Дюма, сс. 184–185. (*Прим. перев.*)

Цит. по: *Андре Моруа*. Три Дюма, с. 194. (*Прим. перев.*)

81

Приведено Даниелем Циммерманом в книге «Александр Дюма Великий». (*Прим. авт.*) Цит. по: *А.Моруа*. Три Дюма, с.196. (*Прим. перев.*)

82

Цит. по: *Андре Моруа.* Три Дюма, с.197. (*Прим. перев.*)

83

См.: *Леон Гозлан.* «Замок Монте-Кристо». Статья, опубликованная в «Историческом альманахе», 1848. (*Прим. авт.*)

Письмо от 2 августа 1848 года. (*Прим. авт.*)

85

Действительно, кроме «отца французской трагедии», существовал и второй Корнель – Тома (1625–1709), поэт, лексикограф и журналист, по примеру старшего брата пробовавший свои силы в драматургии, но безуспешно. Имя его теперь можно найти только в больших энциклопедических словарях, да и то потому, что он родственник прославленного Пьера Корнеля. (*Прим. перев.*)

Кантон во Франции – территориальное подразделение округа. (*Прим. перев.*)

87

Александр Дюма. Последний год Мари Дорваль. (*Прим. авт.*)

88

Приведено Даниелем Циммерманом в книге «Александр Дюма Великий». (*Прим. авт.*)

Перевод Е. Клюева. (*Прим. перев.*)

90

Анри Бауэр в зрелом возрасте прославится как социалист и коммунар. Этот критик и театральный деятель, высланный в Новую Каледонию и впоследствии помилованный в 1880 году, станет, в свою очередь, отцом Жерара Бауэра, талантливого публициста и будущего члена Гонкуровской академии. (*Прим. авт.*)

Александр Дюма. Соратники Иегу. (*Прим. авт.*)

92

Приведено в книге Даниэля Циммермана «Александр Дюма Великий». (*Прим. авт.*)

93

Цит. по: *Андре Моруа*. Три Дюма, с. 293. (*Прим. перев.*)

94

Из письма к сыну. Цит. по: *Андре Моруа*. Три Дюма, с. 293. (*Прим. перев.*)

«Охотник на львов в Южной Африке» (*англ.*).

«Истории, рассказанные сыщиком» (*англ.*). См. *Клод Шопп*. Александр Дюма. (*Прим. авт.*)

97

Цит. по: *Андре Моруа*. Три Дюма, с. 308–309.

Цит. по: *Андре Моруа*. Три Дюма, с. 309.

Максим Дю Кан. Литературные воспоминания. (*Прим. авт.*)

Там, где сейчас находится церковь Троицы. (*Прим. авт.*)

101

«По Венгрии». «Новости» от 14 февраля 1866 года. (*Прим. авт.*)

Спаситель мира (*лат.*).

103

Цит. по: Андре Моруа. Три Дюма, с. 346. (*Прим. перев.*)

Цит. по: *Андре Моруа*. Три Дюма, с. 347. (*Прим. перев.*)

105

См.: *Даниель Циммерман*. Александр Дюма Великий. (*Прим. авт.*)